

Борис Васильев

Морские  
Баталии





# *Борис Васильев*

Собрание сочинений в восьми томах

---

Том первый

Повести и рассказы

ТРАСТ-ИМАКОМ  
РУСИЧ  
СМОЛЕНСК  
1994

**ББК 84Р7  
В19**

**Васильев Борис. Собрание сочинений в 8 томах. Том 1.  
Повести и рассказы. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, РУСИЧ,  
1994.— 544 с.**

**ББК 84Р7**

**В  $\frac{4702010200}{3Д7(03)—92}$  Без объявления**

**ISBN 5-86171-006-6**

© Б. Васильев, 1994.  
© А. Макаренков, оформление.  
© ТРАСТ-ИМАКОМ совместно  
с фирмой «Русич».



ЛЕТЯТ МОИ

КОНЦ



# ЛЕТЯТ МОИ КОНИ...

## *Повесть о своем времени*

«Я, Васильев Борис Львович, родился 21 мая 1924 года в семье командира Красной Армии в городе Смоленске на Покровской горе...»

А сейчас я еду с ярмарки.

Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем самым вложивших свой камень в котомку моей усталости. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться на траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя и еще ничего не болит, кроме сердца.

И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Я еще хочу бежать вслед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком пустом перроне.

Чувства притупляются, как боевые клинки: об них уже не обрежешься, не вздрогнешь вдруг от запаха первого снега, от цвета свежей смолы, от стука вальков на реке. Уже не слышно тишины и не видно тьмы, уже позади все, что случалось впервые, и порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Уже знаешь, что ждет за поворотом, потому что потерял им счет, но сердцу не прикажешь, и оно снова и снова замирает в груди, и ты упрямо надеешься успеть понять, додумать, написать. Но уже ничего не вернешь, и неразгаданные мысли, ненаписанные романы и не встреченные встречи, что призрачным роem еще вьются вокруг, уже для других.

Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то



найдя, а что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее; многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным гусарским самодовольством. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы.

Мне сказочно повезло: я увидел свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен — есть множество городов и красивее, и древнее его, — повезло потому, что Смоленск моего детства еще оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту.

Город превращают в плот история с географией. Географически Смоленск — в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей — расположен на Днепре, вечной границе между Русью и Литвой, между Московским великим княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концоз и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разноречье и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой формуле: ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА. Здесь победители рождались с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смо-

ленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное детство.

...Я вижу нашу комнату в домике на Покровской горе: тогда она казалась мне огромной, потому что свет керосиновой лампы не в силах был растопить темень в ее углах. Я сижу за столом, и мой подбородок упирается в книгу. Бабушка только что научила меня читать (подозреваю, чтобы я ей не мешал), и я громко читаю, а за столом чинно пьют чай старые женщины. На столе — колючий колотый сахар, черный хлеб и бабушкино печенье из ржаной муки, и хотя в стране нэп и лавки ломаются от товаров, у сидящих за столом нет денег на эти товары.

— Ай, какой хороший мальчик! — Худая, коричневая от бесконечных стирок рука ласково гладит меня по голове. — Нет, вы только послушайте, как громко он читает!

— Пусть мадам Мойшес не обижается, но нельзя же каркать в ухо русскому ребенку, — строго говорит рыхлая белесая дама. — Он научится картавить раньше, чем петь свои детские песенки.

— Ай, пани Ковальска, вы стали специалисткой по-русски? Так с вас же он всю жизнь будет говорить «койбаса» и «уошадь». Ну скажите мне, мадам Урлауб, разве я говорю неправду?

— Мадам Алексеева — артистка, она была в Париже и за границей, и она все объяснит, — решает третья гостя.

— Не так важно, как говорить, а важно, что́ говорить, — вступает бабушка, и все вежливо перестают пить чай. — А люди делятся только на мужчин и женщин, и если ты родился мужчиной, то будь им, а если женщиной, то тем более.

А я громко читаю, еще не ведая, что плыву на плоту и что люди делятся не на русских, поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться и на кого положиться нельзя. Это проверенное деление: плот только-только оправился от урагана, имя которому «гражданская война», и его пассажиры очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной, ну а женщиной — тем более.

...Я люблю тебя, старый Смоленск, ибо ты — колыбель детства моего. Ныне от тебя остались осколки, как от греческих амфор, а еще проще — как от моего детства.

Твоя крепость выдержала пять осад, но она не могла выдержать ни последней войны, ни лихорадочного послевоенного строительства. И если знаменитые Молоховские ворота взорваны давно, то твоя еще более знаменитая Варяжская улица — твоя благородная седина, знак твоей древности — переименована в Краснофлотскую совсем недавно, а в десятке шагов от рвов бывшего Королевского бастиона, где когда-то насмерть стояли твои жители во главе с воеводой Михаилом Шеиным, построен танцевальный зал...

Нет, не танцзалом запомнилось мне детство, а Храмом. Двери этого Храма были распахнуты во все стороны, и никто не стремился узнать имя твоего бога и адрес твоего исповедника, а назывался он Добром. И детство, и город были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра — детство или Смоленск.

— Эй, ребяташки, донесите-ка бабушке кошелку до дома!

Так мог сказать — и говорил! — любой прохожий любым ребятам, игравшим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть русским или эстонцем, поляком или татаринном, цыганом или греком, а старушка — тем более: это было нормой. Помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова. Конечно, помощь — простейшая форма Добра, но любой подъем начинается с первого шага.

Мы снимали домик на Покровской горе; в нем я родился, а почтовый адрес его тогда писался так: «Покровская гора, дом Павловых». Напротив, через овраг, почти осеняя домик ветвями, рос огромный дуб. Сегодня такое дерево непременно обнесли бы оградой и снабдили табличкой: «ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ», но дуб не дожил до наших дней: в войну его спилили немцы. Не знаю, уцелел ли пень, — я не хочу видеть останков прекрасного, потому что помню это прекрасное живым. Это с него упал Метек Ковальский и сломал руку; это с него меня снимал дядя Сергей Иванович; это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Моня Мойшес, и всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб от хохота вздрагивал до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры: не по этой ли причине и спилили тебя проклятые наци?

— Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Янеку соль, скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у Матвеевны стакан пшена в долг...

Голос мамы до сей поры звучит в моей душе; стремясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без громких слов прививала мне великое чувство повседневного бытового интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, и тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами; венгр дядя Антал разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко ворочали молотами цыгане Қоля и Саша; Матвеевна поила меня козьим молоком, в Альдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с Реном Педаясом. А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам Урлауб, немец дядя Карл и слепой цыган Самойло, доктор Янсен и ломовой извозчик Тойво Лахонен и... Господи, кого только не осеняли твои ветви, старый славянский дуб?!

В шесть лет я расстался с дубом: после очередного переезда в какой-то городишко мы вновь вернулись в Смоленск, но жили уже в центре города, на улице Декабристов. А встретился с ним совсем неожиданно через год — пришел на экскурсию. Первую экскурсию в жизни.

Мою первую учительницу звали... К стыду своему, я не помню, как ее звали, но помню ее. Худощавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались белоснежные воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень старой, из прошлого века. И в один из общевыходных она велела собраться у школы, но не всем, а тем, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел, пришел одним из первых; учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским часам, под которыми назначались все свидания и от которых шло измерение во всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый и звонкий смоленский трамвай. И мы покатали вниз, к Днепру, по Большой Советской. Миновали Соборную гору, выбрались через Пролом из старого Смоленска, переехали по мосту через Днепр и сошли у рынка. И под предводительством первой учительницы переулками, садами и дворами вышли... к дубу.

— Это самый древний житель нашего города, — сказала первая учительница.

Может быть, она сказала не теми словами, сказала не так, но суть заключалась в том, что этот дуб — остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездово, неподалеку от Смоленска, где и по сей день сохранилось множество их могильных курганов. И что вполне возможно, что Смоленска в те далекие времена еще не существовало, что возник он позднее, когда по Днепру наладилась ре-

гулярная торговля, и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам в священной роще и плыли дальше из варяг в греки. И постепенно вырос город, в названии которого сохранился не только труд его первых жителей, но и аромат его красных боров.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу, я помню до сей поры его грубую теплоту: теплоту ладоней, пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к прошлому, впервые ощутил это прошлое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с ужасом думаю, каким бы я стал, если бы не встретился со своей первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них будущих роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать Граждан Отечества своего...

...Много лет спустя на встрече с молодыми учеными в столь же молодом — даже кладбища своего не было, о чем мне с гордостью поведали организаторы встречи, — городе меня спросили, а зачем-де нужна история в век научно-технической революции, то есть в век качественного скачка человечества? Чему может научить современного специалиста отвага давно отшумевших битв и дальновидность давно истлевших правителей? Да и наука ли вообще эта самая История, коли она с легкостью выдает сегодня за черное то, что еще вчера считала белым? Вопросы задавались с технической точностью и продуманностью, аудитория затаенно ждала, как я выкручусь, а я с горечью думал, каким же провидцем оказался бестелесный Козьма Прутков, сказав, что «специалист подобен флюсу». И дело не в том, как я тогда ответил, — дело в том, что я тогда увидел: город без кладбища и людей без прошлого. И понял, что мудрость и ученость разнятся между собой, как нравственность и знание статей Уголовного кодекса.

История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделался крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее для этого, по крайней мере, два спасительных аргумента: во-первых, все уже было, а во-вторых, знания не делают человека умнее, несмотря на всю их ослепительную новизну. Некий усредненный современник наш знает сегодня несравненно больше, чем знали образованнейшие люди сто лет назад, но означает

ли это, что усредненный современник наш стал умнее Герцена лишь оттого, что его мозг хранит бездну необъятельной информации? Так история — я уж не говорю о ее нравственном воздействии — спасает нас от спесивой самоуверенности полужайства.

История разлита во времени и в пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно и не обладая ими. Есть счастливые города, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие в себе историю. Камни Смоленской крепости, кривая Варяжская улица древнего города, само название его, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и воздух Смоленска питали меня историей, и я чувствовал ее и любил, еще не ведая, что это — богиня, а не только наука.

Никольская улица, уже тогда переименованная в улицу Декабристов, упиралась в Никольские ворота крепости. И над этими воротами в выбоине стены лежало ржавое французское ядро. Лежало не музейным экспонатом, не туристским сувениром Суздаля — лежало боевым документом прошлого: так, как упало, и в том месте, где встретила стена выстрел наполеоновского артиллериста.

В городском парке — старом Лопатинском саду моего детства — до войны сохранялись мощные руины средневековой темницы с остатками решеток толщиной в детскую руку. Когда-то в ней томились генеральный судья Сечи Запорожской Василий Кочубей со своим верным Искрой, несчастный царевич Иоанн Антонович — «Железная маска» русской истории, пленные поляки при Екатерине Второй. На каменной плите подоконника неровными буквами выбил свое имя несчастный узник...

...Так я написал, и так было напечатано в журнале «Юность» № 6 за 1982 год. Я получил множество писем, и в одном из них (в письме Владимира Алексеевича Борисюка, тоже смолянина) содержалось любопытное продолжение этого абзаца:

«...на нем (на подоконнике темницы.— *Б. В.*) было выцарапано: «КАБОГРАЛЛО». Абракадабра?.. Многие ломали головы. Однако кто-то расшифровал (или — знал), оказывается — аббревиатура:

КА — Капитолина

БО — Борис

ГР — Григорий

АЛ — Александр

ЛО — Лопатины — дети губернатора Лопатина, устроителя сада!..»

Вы и сейчас можете погулять по Блонью — так называется сквер в центре города. Блонье... болонье... заболонь... Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы штурмующих и где прятались женщины и дети во время осад города.

При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар по повелению Святополка Окаянного зарезал юного князя Муромского Глеба, брата Бориса. Оба брата стали первыми русскими святыми, а Смядынь — это окраина Смоленска.

Как-то еще в школе я составил список знаменитых своих земляков, ставших украшением русской истории. Не буду приводить его полностью, но хочу напомнить, что Твардовский и Тухачевский, Глинка и Пржевальский, князь Потемкин и адмирал Нахимов, Исаковский и Коненков — смоляне.

В июне 1936 года городские власти решили осушить остатки крепостного рва подле Молоховских ворот. Тогда это была огромная гниющая лужа; когда спустили воду и осела муть, полутораметровый слой вонючего ила оказался битком набитым холодным и огнестрельным оружием. Здесь перемешались все эпохи, и рядом с татарской саблей мирно сосуществовал палаш начала века, а пулеметная лента лежала подле дуэльного пистолета. Чудо объяснялось просто: донная грязь сохранила не только оружие некогда штурмовавших крепость воинов, но и то, которое бросали в топь темными ночами гражданской войны, не желая сдавать властям.

Первыми о кладе, естественно, узнали мальчишки. Оружейный Клондайк ожил: десятки невероятно грязных Томов Сойеров искали свое сокровище. Нас кусали какие-то зловредные жуки, к нам присасывались пиявки, но оторвать нас от поисков было невозможно, пока за это дело не взялась милиция, а случилось это лишь на третий день. Мне досталась русская бердана без приклада, австрийский штык, сломанная офицерская сабля, почти целая пулеметная лента и великое множество самых разнообразных патронов — для винтовок, револьверов, пистолетов. Другим повезло кому больше, кому меньше, — не в этом дело. Важно, что мы сами производили раскопки, отчетливо ощущая не денежную, а неуловимую историческую ценность находок. И это тоже было прекрасным уроком истории.

...Человек живет для себя только в детстве. Только в детстве он счастлив своим счастьем и сыт, набив собственный животик. Только в детстве он беспредельно искренен и беспредельно свободен. Только в детстве все гениально и все красиво, все естественны, как природа, и, как природа, лишены тревог. Все — только в детстве, и поэтому мы так тянемся к нему, постарев, даже если оно было жестким, как солдатская шинель.

— Нет уже тех деревьев, под которыми ухаживал мой отец, — с тоскливой горечью поведал мне как-то один старый человек.

Нет уже тех деревьев, ибо «ВСЕ ПРОХОДИТ», как было написано на перстне царя Соломона. Все — кроме детства. Оно остается в нас пожизненно, потому что если «КТО ТЫ?» — плод взрослой твоей ипостаси, то «КАКОЙ ТЫ?» — творение детства твоего. Ибо корни твои в той земле, по которой ты ползал.

Я везу с ярмарки сокровище, которое не снилось ни королям, ни пиратам. И бережно перебираю золотые слитки воспоминаний о тех, кто одарил меня детством и согрел меня собственным сердцем...

Я не должен был появиться на свет. Я был приговорен, еще не начав жить, родными, близкими, знакомыми и всеми медицинскими светилами города Смоленска. Чахотка, сжигавшая маму, вступила в последнюю стадию, мамины дни были сочтены, и все тихо и твердо настаивали на немедленном прекращении беременности.

А меня так ждали! Войны вырывали мужчин из женских объятий, а в краткие мгновения, когда мужчины возвращались, ожесточение, опасности и стрельба за окном мешали любви и нежности: между мужчиной и женщиной лежал меч, как между Тристаном и Изольдой. Дети рождались неохотно, потому что мужчины не оставались до утра, и женщины робко плакали, провожая их в стылую темень.

А смерть меняла одежды куда чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра — случайной пулей, послезавтра — оспой или расстрелом по ошибке. И на все нужны были силы, и на все их хватало. На все — кроме детей. И я забрезжил как долгожданный рассвет после девятилетней ночи.

А маму сжигала чахотка.

И меня и маму спас один совет. Он был дан тихим голосом и больше походил на просьбу:



— Рожайте, Эля. Роды — великое чудо. Может быть, самое великое из всех чудес.

Через семь лет после этих негромких слов доктор Янсен погиб. Была глухая дождливая осень, серое небо прижалось к земле, и горизонт съезжился до размеров переполненного людьми кладбища. Мы с мамой стояли на коленях в холодной грязи, и моя неверующая матушка, дочь принципиального атеиста и легкомысленной язычницы, жена красного командира и большевика, истово молилась, при каждом поклоне падая лбом в мокрую могильную землю. И вокруг, всюду, по всему кладбищу, стояли на коленях простоволосые женщины, дети и мужчины, молясь разным богам на разных языках. А у открытого гроба стоял инвалид-краснознаменец Родион Петров и размахивал единственной рукой с зажатой в кулаке кепкой.

— Вот, прощаемся. Прощаемся. Не будет у нас больше доктора Янсена, смоляне, земляки, родные вы мои. Может, ученей будут, может, умней, а только Янсена не будет. Не будет Янсена...

...О, как я жалею, что я — не живописец! Я бы непременно написал серое небо, и мокрое кладбище, и свежевырытую могилу, и калеку-краснознаменца. И — женщин: в черном, на коленях. Православных и католичек, иудеек и мусульманок, лютеранок и староверок, истово религиозных и неистово неверующих — всех, молящихся за упокой души и вечное блаженство не отмеченного ни званиями, ни степенями, ни наградами провинциального доктора Янсена...

Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю жизнь представлявшего мне стариком. Опираясь о большой зонт, он неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты, сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были неутомимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем и ночью.

Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал

пульс, торопился только к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует ухаживать за больным, и при этом никогда не опаздывал. У входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя — смотря по сезону, — а войдя, направлялся к печке. Старательно грея гибкие длинные ласковые пальцы, тихо расспрашивал, как началась болезнь, на что жалуется больному, и какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрел руки. Его прикосновения всегда были приятны, и я до сих пор помню их всей своей кожей.

Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь в насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избегал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой... Господи, о чем его только ни спрашивали! Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам одинаково: кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было иным. Равно как хлеб, вода и детство.

Святость требует мученичества — это не теологический постулат, а логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным освещением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и обреченным на особую, мученическую смерть. Нет, не он искал героическую гибель, а героическая гибель искала его. Тихого, аккуратного, очень скромного и немолодого латыша с самой человеческой и мирной из всех профессий.

Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на подсчет. Внизу были дети, и этим было подсчитано все.

В те времена центр города уже имел канализацию, которая постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с бадьей, ко-

торой откачивали просочившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие в одну смену не управлялись, все замирало до утра, и тогда бадьей и воротом завладевали мы. Нет, не в одном катании — стремительном падении, стоя на бадье, и медленном подъеме из тьмы — таилась притягательная сила этого развлечения. Провал в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен метаном, напрямую был связан с недавним прошлым наших отцов, с их риском, их разговорами, их воспоминаниями. Наши отцы прошли не только гражданскую, но и мировую, «германскую» войну, где применялись реальные отравляющие вещества, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи. Названия этих газов — хлор, фосген, хлорпикрин, иприт — присутствовали и в наших играх, и в разговорах взрослых, и в реальной опасности завтрашних революционных боев. И мы, сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные дыры, как в газовую атаку.

Обычно на бадью становился один, а двое вертели ворот. Но однажды решили прокатиться вдвоем, и веревка оборвалась. Доктор Янсен появился, когда возле колодца металась двое пацанов. Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, нашел уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не отдохнув, полез за вторым. Спустился, понял, что еще раз ему уже не подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание. Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось.

— Рожайте, Эля.

Так в вонючем колодце погиб последний святой города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков, и меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора.

— А дома у него — деревянный топчан и книги, — тихо сказала мама, когда мы вернулись с кладбища. — И больше ничего. Ничего!

В голосе ее звучало благоговение: она говорила о святом, а святость не знает бедности.

Я возвращаюсь с ярмарки, а потому невольно думаю о смерти. Человек создан на столетия, если судить по огромной, ни с чем не сравнимой трате сил. Лев, убив антилопу, в сытой дреме отдыхает сутки. Могучий сохатый после часового боя с соперником полдня отстаивается в

чащобе, судорожно поводя проваленными боками. Айтма-товский Каранар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и торжествовать полмесяца. Для человека подобные подвиги — блеск мгновения, за который он платит столь малой толикой своих запасов, что вообще не нуждается в отдыхе.

Цель зверя — прожить отпущенный природой срок. Сумма заложенной в нем энергии соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а столько, сколько надо, будто в нем предусмотрено некое дозирующее устройство: зверю неведомо желание, он существует по закону необходимости. Не потому ли звери и не подозревают, что жизнь конечна?

Жизнь зверя — это время от рождения до смерти: звери живут во времени абсолютном, не ведая, что есть и время относительное. В этом относительном времени может существовать только человек, и поэтому жизнь его никогда не укладывается в даты на могильной плите. Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись как часы, и сутки, пролетевшие словно мгновения. И чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени, и для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и страдать.

Это — о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку отпущено «горючего» заведомо больше, чем нужно для того, чтобы прожить по законам природы. Зачем? С какой целью? Ведь в природе все разумно, все выверено, испытано миллионолетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то все-таки нужен. А огромный, многократно превышающий потребности запас энергии для чего дан человеку?

Я задал этот вопрос в 5-м или 6-м классе, когда добрел до элементарной физики, и решил, что она объясняет все. И она действительно все мне тогда объяснила, кроме человека. А его объяснить не смогла: именно здесь кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика понимания. Я тогда, разумеется, этого не представлял, однако энергетический баланс не сходился, и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено.

— Для работы.

— Понятно,— сказал я, ничего не понял, но не стал расспрашивать.

Это свойство — соглашаться с собеседником не тогда, когда все понял, а когда ничего не понял,— видимо, заложено во мне от природы. Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы. Но одна благодатная сторона в этой странности все же была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов. Сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным: жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их.

Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл существования. Это стало главной заповедью, символом веры, альфой и омегой моего мировоззрения. И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рожден был с этаким блеском в очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, иступленного труда.

Пояснив однажды смысл жизни, отец никогда более не возвращался к этой теме. Он восторгался закатом или мелодией, тишиной или книгой, человеческим поступком или человеческим гением искренне и безгрешно. Странно было видеть затянутого в кавалерийскую портупею, увешанного оружием командира, с юношеским пылом декламировавшего в центре Блонья:

Ты скажешь: ветренная Геба,  
Кормя Зевесова орла,  
Громокипящий кубок с неба,  
Смеясь, на землю пролила.

У красного командира, контуженного немцами и раненого белоказаками, восторженно горят глаза, а голос дрожит от сдерживаемых рыданий. Смешно? Вероятно, и смешно, и нелепо до крайности, но у слушателя — круглоголового, круглоглазого и круглоухого — бегут мурашки по коже. Пока — от чужого восторга перед всемогуществом человека, завтра — от собственного. Важно посеять этот восторг. Найти время, чистое сердце и добрые семена.

А вот о необходимости труда, о его красоте, чудодейственной силе и магических свойствах не говорилось никогда. О работе болтают бездельники: нормальные люди ее делают. Старательно, четко, аккуратно и скромно. Ведь работать, не крича о собственном трудовом рвении, столь же естественно, как есть не чавкая.

Порой мне с удивительной ясностью вспоминаются вечера моего раннего детства. Наша большая даже по тем временам семья — двое детей, мама, бабушка, тетя, ее дочь и кто-то еще — жила на паек отца и на его более чем

скромную командирскую зарплату в тесном домике на Покровской горе, где ни у кого не было своей комнаты и никто, кроме меня, не спал в одиночестве. При домишке был огород, которым занимались все, потому что речь шла о хлебе насущном, и я знаю, как горят ладони, обожженные свежевыполотой травой, с того трепетного возраста, которому уступают места в метро даже мужчины.

Так вот, о вечерах. Осенних или зимних, с бесконечными сумерками и желтым кругом керосиновой лампы. Отец сапожничает, столярничает или слесарничает, восстанавливая и латая; мать и тетка тоже латают, штопают или перешивают; бабушка, как правило, тихо поскрипывает ручной мельницей, размалывая льняной или конопляный жмых, который добавляют в кулеш, оладьи или лепешки, потому что хлеба не хватает; сестры — Галя и Оля — попеременно читают вслух, а я играю тут же, стараясь не шуметь. Это обычный вечерний отдых, и никто из нас и не подозревает, что можно развалиться в кресле, вытянув ноги, и, ничем не утруждая ни единую клеточку собственного мозга, часами глядеть в полированный ящик на чужую жизнь, будто в замочную скважину. Для всех нас искусство — не только в процессе производства, но и в процессе потребления — серьезный, истари особо уважаемый труд, и мы еще не представляем, что литературу можно воспринимать глазами, зевая, закусывая, выпивая, болтая с соседкой. Мы еще с благоговением воспринимаем СЛОВО, для нас еще не существует понятия «отдых» в смысле абсолютного безделья, и человек, который не трудится, заведомо воспринимается с отрицательным знаком, если он здоров и психически полноценен.

В «Толковом словаре» Даля нет существительного «отдых», есть лишь глагол «отдыхать». И это понятно: для народа, тяжким трудом взыскующего хлеб свой, отдых был чем-то промежуточным, сугубо второстепенным и несущественным. Отдых для русского человека — равно крестьянина или интеллигента — всегда выражался в смене деятельности в полном соответствии с научным его пониманием.

Когда же он превратился в самоцель? В пустое времяпрепровождение, ничегонеделание, в полудрему под солнцем? Мы и не заметили, как отдых стал занимать непропорционально много места в наших разговорах, планах и, главное, интересах. В нашем сознании «труд» и «отдых» как бы поменялись местами: мы работаем для того, чтобы отдыхать, а не отдыхаем, чтобы работать. И я не удивлюсь, коль в новом «Толковом словаре» «труд» перестанет быть

существительным, а вместо него останется глагол «трудиться». «Трудиться» — заниматься каким-либо трудом с целью заработать денег на «отдых» (см.)».

Я столь запальчиво пишу об этом повальном бедствии нашем, потому что с детства был приучен глубоко презирать две язвы человеческого общества: идеализацию безделья и натужную, потную, лакейскую жажду приобретательства. Я понимаю, что неприлично ссылаться на собственную семью, но ведь я еду с ярмарки, а потому хочу низко поклониться тем, кто посеял во мне нетерпимость.

Я вырос в семье, где господствовал рациональный аскетизм: посуда — это то, из чего едят и пьют, мебель — на чем сидят или спят, одежда — для тепла, а дом — чтобы в нем жить, и ни для чего более. Любимым присловьем моего отца было: «Не то важно, из чего пьешь, а то — кем пьешь».

Из этого вовсе не следует, что отец «закладывал за воротник»: он не чурался рюмочки, но до войны — только по праздникам, а после оной — еще и по воскресеньям. Он был беспредельно жизнелюбив и столь же беспредельно гостеприимен, но глагол «пить» подразумевал для него существительное «чай». Хорошо, если с мамиными пирогами, но пироги случались не часто.

Принцип рационального аскетизма предполагает наличие необходимого и отсутствие того, без чего спокойно можно обойтись. Правда, одно «излишество» у нас все же было: книги. Отца часто переводили с места на место, и мы привыкли собираться. Все переезды, как правило, совершались внезапно, громом среди ясного неба. Отец приходил со службы, как обычно, и не с порога, не вдруг, а сняв сапоги, ремни и оружие, умывшись и сев за стол, припоминал, точно мимоходом:

— Да, меня переводят. Выезжаем послезавтра.

И начинались сборы, лишённые лихорадочной суматохи, потому что каждый знал, что делать. Мне, например, полагалось укладывать книги. Возникла эта особая ответственность, когда я был ростом с ящик, но и тогда никто не проверял моей работы: родители старомодно считали, что недоверие унижает человеческую личность.

Это-то я теперь понял, что они так считали, а тогда, кряхтя и сопя — фолианты встречались! — осторожно снимал книги с полок, волок их к ящикам и старательно укладывал ряд за рядом. И дело даже не в том, что мне доверяли упаковывать единственную ценность не только

нашей семьи, но и вообще всего человечества, как я тогда сообразил, — дело в том, что я физически, до пота и ломоты в неокрепших мускулах ощущал эту великую ценность. Я по детскому, первому, а следовательно, и самому прочному опыту узнал, сколь весом человеческий труд, завещанный людям на века. И, становясь перед книгами на колени — иначе ведь не упакуешь, — я еще бессознательно, еще не понимая, но уже чувствуя, становился на колени перед светлыми гениями всех времен и народов.

...Кажется, я так и остался стоять на коленях перед ЛИТЕРАТУРОЙ. И сейчас, возвращаясь с ярмарки, горжусь, что меня хватило на это при всех несуразностях и печалях бытия.

Менее чем за год до кончины отец совершил традиционное путешествие в гости к старому другу. Друг жил в Гороховце под Горьким, и отец каждое лето отправлялся к нему за четырьестами с лишним километров на личном транспорте: на велосипеде.

Совсем недавно — шестидесятые годы. В полном разгаре яростная борьба за престижность. Уже полушубки покупаются не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы было «как у людей». Уже на владельца мотоцикла смотрят с ироническим соболезнаванием, уже с первых петухов занимают очередь за золотишком; уже пудами скупают книги; уже... Представьте же, а представив, вообразите, как встречу этому потоку в кителе без погон, полотняной фуражке и сапогах невозмутимо едет на велосипеде участник четырех войн. Неторопливо крутит педали и едет. Навстречу. Не шоссейному движению, а мещанской суете. Вопреки — так, пожалуй, будет точнее.

...Я перестаю писать, потому что слезы мешают видеть. Не умиления слезы, не печали — гордости за дух человеческий. С какой спокойной мудростью отец не замечал холуйского стремления «достать», «добыть», «купить», «продать», а если суммировать — «чтобы как у людей». Чтоб жена в кольцах и дочь в дубленке, чтоб «сам» в машине, а дом — в книгах, которые никто не раскрывает. И какой же надо обладать душой, чтобы выдержать чудовищное давление пресса, имя которому — «как все»!



Я рос на улицах Смоленска куда интенсивнее, чем дома. Как только мы перебрались с Покровской горы в центр, так покой садов, дворов, пустых сараев и ничейных оврагов, на которых мирно паслись козы, сменился мощным двором, с трех сторон замкнутым зданием, а с четвертой — системой бесконечных сараев. А шелест деревьев, кудахтанье кур и нервные вопли коз — грохотом ошинованных колес, топотом копыт, скрипом, стуками, отдельными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.

Основным транспортом были тогда ломовики. Лошади, лошади, лошади — сквозь все детство мое прошли лошадиные морды и лошадиные крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Сотни лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: их кормили лошади, щедро рассыпая овес, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый — в фольклор вошедший грубостью своей! — ломовой извозчик не поделился бы со своей лошастью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал безнадежно пьян, ибо пили они тоже «как ломовые».

...Через десять лет — в октябре сорок первого — судьба вновь свела меня с лошадьми. Я выбрался из последнего своего окружения и попал в кавалерийскую полковую школу. Мне досталась аккуратная гнедая Азиатка, чуткая в поводе и легкая в прыжках. Каждое утро она ласково тыкалась бархатными губами в ладонь, а получив кусок хлеба с солью, благодарно толкала мордой в плечо и вздыхала. Я учился на ней скакать, вольтижировать, брать препятствия, рубить лозу и стрелять с седла, она всегда была послушна, и я очень к ней привязался. И как-то раз, в конце октября, что ли, мы занимались в открытом манеже.

— Завязать повод всем, кроме головного! Подтянуть стремяна! Руки назад! Учебной рысью... ма-арш!..

Мы тряслись по кругу, вырабатывая нелегкое кавалерийское умение управлять лошастью с помощью одних шенкелей, когда послышался гул моторов и дежурный завопил: «Воздух!..»

Мы еще только разводили лошадей по станкам, когда «юнкерсы» пошли на бомбежку. Вой и грохот накатывались все ближе, а когда я, держа под уздцы Азиатку, бегом миновал ворота конюшни, раздался удар, на меня посыпалась труха, что-то с силой толкнуло в спину, а моя смиренная

лошадка вдруг понеслась по проходу, волоча меня на поводу. У денника я вскочил, как-то сдержал лошадь, а когда привязал и оглянулся, то увидел, что осколки выворотили у моей Азиатки добрых три ребра...

Когда закончился налет, мы шестером, поддерживая с двух сторон, вывели лошадь и уложили на старую попону. Командир эскадрона — злой казачий капитан, послав немцев замысловато и многоэтажно, протянул наган, а я замахал руками: «Нет!..»

— Живо дер ты, а не казак! — заорал капитан. — Немедля пристрели кобылу! Милосердие другу окажи, мать твою...

В те времена — как это странно писать, а ведь это так и есть! — так вот, в те давно прошедшие времена любая животина была необходима человеку как помощник в легкой борьбе за существование. Помощниками были лошади и коровы, овцы и козы, собаки и даже кошки, ибо в домах копошилось множество мышей, перед которыми женщины всего мира испытывают мистический ужас. Содержание животного для развлечения расценивалось резко неодобрительно, и по завышенным меркам тогдашней нравственности это было справедливо: в стране не хватало еды, и дети зачастую голодали страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добреньким, но требовательным, как к себе самому. И не было того массового умирительного восторга перед, скажем, собакой, положение которой резко ухудшилось, несмотря на все внешние признаки обратного. Ухудшилось потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.

Я начал рассказ о ломовых извозчиках, потому что в детстве не существовало большего удовольствия, чем катание. Правда, почему-то только зимой: сани мягко скользили по укатанному снегу, морозный ветер холодил лицо, радостно фыркала лошадь, и жизнь и ощущалась, и в самом деле была праздником. С середины марта снизу, с Днепра, шли бесконечные обозы: везли укрытые рогожами ледяные глыбы, выпиленные из речного льда. Их доставляли на городские холодильники, льда требовалось много, смоленские горы были круты, и битюги, оскользаясь, волокли нагруженные платформы в гору, а вниз шли порожняком.

И вот тут-то и следовало догнать сани и вскочить на ходу, но непременно спиной, чтобы кнут пришелся бы по пальтишку. Кнуты посвистывали, но куда чаще мы катили вниз в полном согласии с хозяином. Обратное, в гору, прицепиться было сложнее, но и тогда находился кто-либо, понимавший мальчишескую страсть. Кроме ломовых существовали и легковые пролетки, и санки, и крестьянские розвальни, и лесовозные роспуски, но ломовик был более массовым и более демократичным, и мы предпочитали его.

А автомашин было мало. Мы знали их наперечет, но я особо следил за желтой легкой, которая гонялась за мной довольно долго. Не знаю, кому она принадлежала, потому что мне тогда везло, и я вовремя уносил ноги. А преследовала она меня из-за того, что я однажды кинул палку ей под колеса: интересно же, как палка ломается, правда? Вот я и кинул, но не рассчитал, и палка треснула шофера по голове, поскольку машина была открытой. Он невероятно оскорбился и долго пытался мне отомстить, но, повторяю, я замечал его первым. А вскоре произошло совершенно невероятное событие.

В самом начале тридцатых годов штаб, в котором служил отец, начал менять автопарк, списав в утиль старые машины. Но отец предложил не выбрасывать это старье, а отремонтировать и на его базе создать клуб любителей автодела, как это тогда называлось. Отца поняли, поддержали и... и отдали в его распоряжение три списанные машины и бывший каретный сарай. Он размещался напротив нового стадиона, что был устроен на бывшем плацу возле Лопатинского сада и где стоял чугунный памятник-часовня героям 1812 года, а по бокам его — две бронзовые пушки, с которых я смотрел первые в своей жизни футбольные матчи.

Три автомобиля: грузовой «уайт», столь же древний «бенц» и знаменитая русская легковая машина «русобалт». Каждая машина отличалась не только маркой и назначением, но имела и свои индивидуальные особенности. Я лазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу как мог и чем мог и сейчас хочу вспомнить хотя бы о грузовичках.

«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон (камера и крышка), а металлический обод, облитый сплошной резиной. Вследствие этого летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил, буксовал и терял управление на всех горках, а поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им редко. Кроме

того, «уайт» имел настолько низкие борта, что отец сажал людей на пол, а там трясло совсем уж невыносимо. Кабины у него не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно посередине. Однако отец почему-то именно на нем чаще всего обучал своих бойцов.

Насколько «уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «бенц» казался несуразно коротким. У него была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина делалась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и кривые смоленские горы. Кроме того, «бенц» имел еще и конусное сцепление, которое часто слипалось, и тогда мы либо пилили на уже включенной передаче, либо отец глушил мотор и лез под машину расцеплять не желавшее расцепляться. Это случалось куда чаще, чем можно вообразить: грузовичок вел себя с капризами живого существа.

Но самым оригинальным был его сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собой маленькую сирену с ручкой, напоминающей водопроводный вентиль, который надо было вращать как можно быстрее. Естественно, тот, кто сидел за рулем, не мог этим заниматься, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку смоляне ходили как хотели, когда хотели и куда хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки со всего города безошибочно определяли:

— Борькин папка на драндулете шпарит!

Сложнее всего оказывалось, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была человеком, мягко говоря, взнервленным, легко выходила из равновесия, боялась машины, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось нечем. А люди блуждали под колесами, не смотря на устрашающий грохот нашего «бенца», и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:

— Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!

Если при этом учесть, что сиденье «бенца» было пухлым от обилия нежнейших пружин, а смоленская мостовая — отнюдь не предназначенной для автомобильного движения, то можно вообразить, как выглядела эта езда. На каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова, рискуя опуститься в полнейшую неизвестность; отец при этом держался за руль, женщины — за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука. Словом, это были путешествия из раздела незабываемых.

Правда, если говорить начистоту, то отец куда чаще лежал

под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом для постоянных шуток, но отец разделял шутки в свой адрес и смеялся раньше всех. Он выпросил совершеннейший металлолом, который красноармейцы на руках перекатили из гаража при штабе в каретный сарай напротив стадиона. И можно представить, сколько сил затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого, упорно веря, что все дело лишь в желании да труде. И ему всегда хватало и труда и желания.

В нашем гараже не было электричества: глухой каземат без окон, цементный пол, верстак, ящик с песком и бочка с бензином. Дело в том, что бензоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду оптом, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели.

Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под «бенцем», подстелив войлочную кошму, и регулировал пресловутое конусное сцепление. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая требуемые инструменты, и громко распевал песни. У меня никогда не было ни слуха, ни голоса, но была — и есть по сей день — потребность петь во все горло. И я орал песню, которая гулко раздавалась под кирпичными сводами, и тут погас фонарь. В этот момент я подавал отцу очередной ключ, и он сказал:

— Спички над верстаком, на полочке. Сможешь сам зажечь?

— Смогу, — ответил я и наступил на керосиновую лампу, которая стояла на кошме, освещая отцу объект регулировки.

Раздался хруст, стало темно, а потом по кошме побежали огненные ручейки. Я заорал еще громче, ощутив вдруг прилив необъяснимого восторга. И сквозь ор еле слышал треск и напряженный, но спокойный отцовский голос:

— Открой ворота и уходи. Открой ворота и уходи.

Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, как только я раздавил лампу. Но до этого он разъединил тяги и зацепился гимнастеркой за рычаг и, лежа, рвался из-под «бенца», не видя, как отцепиться. Пока я в неверном свете начинающегося пожара искал запоры ворот и открывал тяжеленные створки, а отец, разодрав до горла гимнастерку, сорвался с рычага и выкатился на волю, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг ярким пламенем, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант; бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и — руки. Конечно, это горел бензин, который

выплескивался на руки, но я и сейчас помню бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил ее, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и спешно покатил горящую бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за миг до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя почти все квартиры лишились стекол.

— Шляпа! — сказал отец, загасив остатки пожара.

Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: значение определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться...

Каждый год летом мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни: ну, пыли в нем было побольше. И все же ездили — думаю, срабатывала привычка — сперва в Высокое, потом — снимая где-либо что-либо. Мама любила Вонлярово, и отец в майские праздники — это были едва ли не единственные гарантированные свободные дни для командиров — отправлялся договариваться. И было три машины в его полном и бесконтрольном владении, а мы поехали на велосипеде. И помню разговор накануне:

— Я не могу, Эля, не имею права. Вот когда будем переезжать, тогда пойду в штаб и попрошу разрешения.

— Я не пушу с тобой Бориса!

— А ему-то не все равно, на чем ехать?

И я поехал на отце. А сколько отцов не выдерживало, не выдерживает и еще не выдержит искуса и повезет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на эту машину и порой способен погубить душу на веки вечные. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся.

...Закройте глаза и представьте: по современному шоссе, забитому «Жигулями» и «Запорожцами», «Москвичами» и «Волгами», неторопливо работая педалями, едет старый человек в офицерском кителе без погон, сапогах и белой полотняной фуражке. Ему за семьдесят, у него отрублен палец на левой руке, отравлены газами легкие и прострелено плечо. А он — едет. Навстречу потоку.

Вопреки...

В Вонлярово можно было проехать большаком, можно — по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не нужно усматривать в этом стремление к оригиналь-

ничанию — он вообще был лишен его начисто, — а вот стремление к расширению моего горизонта у него было всегда. И мы поехали по тропинке, что вела вдоль железнодорожного полотна. Она была утоптана до бетонной твердости, и ехать было приятно. Я сидел на раме и держался за руль, а отец неспешно вертел педали, и мы катили. По ровному и под гору, а в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем — именно так разговаривают во всем мире с детьми, а со взрослыми — только в России. Но дело даже не в разговорах, — в конце концов, разговоры одинаковы у всего детства, — дело в дороге. В том третьем пути, который мы с отцом прошли туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не спидометром автомашины, — измерив собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под горку ты отдыхаешь, а в гору — задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне порой кажется, что все те объяснения — что машины не его, что бензин не его, что... — были затеяны отцом с единственной целью: показать, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой...

Я пишу о своей семье и своем детстве потому, что все, чем я обладаю, — оттуда. Конечно, я идеализирую и свое детство, и свою семью, но идеализировать своих родителей куда естественнее, чем строго реалистически подсчитывать их недостатки. Но поскольку рос я не только дома, я не могу забыть того, с чем, к счастью, незнакомы идущие вослед. Я был счастливым: отец получал комсоставский паек и два раза в неделю — обед для семьи. То есть для мамы, Гали и меня, но ведь были бабушка, Оля, тетя Таня, кто-то еще. И все равно я был счастливым, и мне завидовали. С той поры я никогда не ем на улице: боюсь снова увидеть взгляд из тех, тридцатых годов. До ужаса боюсь.

Я стараюсь отвлечься от сегодняшних лиц и вспоминаю лица своих сверстников тех дней. Время размыло их, но оно оказалось не в силах добавить красок в их смутные очертания. И я вижу дряблую старушечью кожу на ножках семилетних девочек, четкие — углем обводили для смеха! — ребра восьмилетних мальчишек, проваленные, точно растущие внутрь, щеки и у тех и у других и серьезные, пугающе серьезные глаза.

...Куда с таким недетским вниманием вглядывались мои друзья? В сытость завтрашнего дня? Она пришла, мы отъелись, заулыбались, запели веселые песни и... И пошли на фронт. И фашистские танки забуксовали на баррикаде из двадцати миллионов наших тел...

С какого-то времени — старею, что ли? — жизнь стала представляться мне горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег детей. Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя будущего; дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот, противоположащий берег, и начинаем спускаться. И есть какая-то черта, какая-то ступень на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. Надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: там спросят. На том берегу, где мы — только гости. Порою досадные, порою терпимые, порою засидевшиеся и всегда — незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее опыте...

Я родился на перекрестке двух эпох, и в этом мне повезло. Еще судорожно и тихо отходила в вечность Русь вчерашняя, а у ее одра неумело, а потому и чересчур громко уже хозяйничала Россия дня завтрашнего. Старые корни рубились со звонким восторгом, новое прорастало медленно. Россия уже отбыла от станции Вчера, еще не достигла станции Завтра и, судорожно громыхая разболтанными вагонами, испуганно вздрагивая на стыке дней своих, мчалась из пронизанной вспышками выстрелов ночи гражданской войны в алый рассвет завтрашнего дня. Наш паровоз летел вперед.

И еще ничего не успели разложить по полочкам, расsortировать и классифицировать. Все было в куче, как в зале ожидания: наивный максимализм и весомые червонцы нэпа; вера во Всемирную революцию и бешеная активность Союза Воинствующих Безбожников; еще свободу путали с волей, еще любой мог считать себя «согласным» или «несогласным», и в анкетах того времени существовала такая графа; в школах была отменена история, а на уроках литературы яростно спорили, стоит ли изучать крепостника Пушкина, и прочно выбросили из программ помещика Тургенева и путаника Достоевского.



Сейчас мне представляется, будто тогда мы наивно и хмельно играли в жмурки, ловя нечто очень нужное с завязанными глазами. И при этом смеялись, хлопали в ладоши, радовались — те, кто стоял вокруг. А те, кто метался в центре, — те не смеялись. Но мы ничего не замечали: нас распирало ощущение победного торжества.

В этой «игре» с завязанными глазами рушилась старая культура и создавалась новая. Отрицание прошлого и всего, что хоть чем-то напоминало об этом прошлом, было столь всеобщим, нетерпеливым и современным, что никому и в голову не могло прийти печалиться по поводу разрушаемой Триумфальной арки, снесенных по непонятной прихоти Молоховских ворот или взорванного храма Христа-Спасителя. Нет, кому-то конечно же приходило, кто-то страдал, а кто-то и действовал (ведь спасли же, в конце концов, Триумфальную арку!), но это — в стороне от потока, от грома аплодисментов, рева труб, грохота барабанов и торжествующего звона песен: «Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы...» Существует атмосфера праздника: мы выросли в климате праздника.

...А вам не кажется, что в праздники люди перестают думать? Вспоминать о потерях, горестях, нехватках, недостатках, болях, печалях? Ни о чем таком, естественно, не вспоминают в праздники, да и сами-то праздники, вероятно, возникли, когда люди вырывались из трудностей хотя бы на время. Но представьте, о чем думают на свадьбе, а о чем — на похоронах: какой простор для размышлений, не правда ли? И это закономерно: трагедия учит, а комедия поучает. Нет, я совсем не против праздников, они необходимы, как радость, но давайте все же помнить, что в праздники мы сентиментальнее, снисходительнее и глупее, чем в будни...

Мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен.

Это — так. Но для чего? Чтобы вступить в бой или попросить пощады? Сорвать цветок для любимой или помочиться в родник? Заслонить собою друга или потискать девуку?

Цель, ради которой мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен, определяется отцами. Мать дарует нам силу и здоровье для этой отцовской цели, если мы — плод любви, а не потливой похоти. На этой взаимосвязи любви и долга доселе держится мир.

Без колебаний приняв Великую Октябрьскую революцию, мой отец был все же сыном отвергаемой культуры. Я уж

не говорю о бабушке и маме — женщины вообще консервативнее, а ведь именно они создают тот особый дух семьи, который мы, однажды вкусив, носим в себе до последнего часа. И так было во всех семьях, инерционно стремившихся передать нам нравственность вчерашнего дня, тогда как улица — в самом широком смысле — уже победно несла нравственность дня завтрашнего. Но это не рвало нас на части, не сеяло дисгармонии, не порождало конфликтов: это двойное воздействие в конечном итоге и создало тот сплав, который так и не смогла пробить крупновская сталь.

Конечно, воспитывает не только внешняя и внутренняя среда, а сумма самых неожиданных и труднопредсказуемых влияний, сумма авторитетов семьи, двора, улицы, детских и взрослых коллективов. Воспитание не профессия, а призвание, талант, дар божий. И этим благородным божьим даром была щедро наделена моя бабушка. Легкомысленная, никогда не унывающая фантазерка с детской душой, живостью и фигуркой девушки.

...Я сижу в большой комнате и, высунув от старания язык, раскрашиваю командирскими карандашами иллюстрации в пухлом комплекте «Нивы». Бабушка сидит рядом, курит длиннейшую махорочную самокрутку и раскладывает большой королевский пасьянс. Входит мама. С плачем и пустой корзинкой.

— Беспризорники вырвали у меня весь наш хлеб!

Бабушка невозмутимо выпускает огромный клуб махорочного дыма (в ту пору еще не ведали, что курить вредно).

— Элочка, все трын-трава, испанский мох. Интересно, куда же мне девать девятку трэф?

— Твое легкомыслие, мама, переходит все границы. Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня!

— Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня, а сколько дней его не видели эти немые гавроши? Перестань лить слезы, Эля, и скажи, куда же мне девать эту несчастную девятку трэф?..

Это — бабушка.

Если выдвинуть на середину комнаты самую большую кровать, а на нее положить кверху ножками обеденный стол, то получится корабль. А если попросить бабушку стать королевой, то она через минуту войдет в комнату царственной походкой и с короной на голове.

— Кто ты, о чужеземец?

— Я родом из Генуи, ваше величество, и зовут меня Христофор Колумб...

И тут появляется незапланированная мама.

— Боже мой, что происходит?

— Я отправляю в великое плавание Христофора Колумба, Эля,— торжественно говорит Изабелла Испанская.— Только на таких каравеллах и можно открыть еще не открытые Америки.

Это — бабушка.

...— Эля, в Преображенской церкви дают керосин. Где наш бидон?

Исчезли керосин и сахар, крупы и постное масло, спички и соль. А хлеб стал выдаваться по карточкам. Прекрасный черный хлеб, от запаха которого у меня и сейчас перехватывает горло, тогда распределялся пайками (ударение на первом слоге). Пайка хлеба — полфунта. Двести граммов.

Бабушка берет бидон и идет стоять в длиннющей очереди. В очереди еще полно «бывших» (ныне они официально именуется «лишенцами», поскольку лишены избирательного права), и бабушка отводит душу в воспоминаниях и французском языке.

О, эти очереди! Возникшие при царе как очереди за хлебом, вы упорно не желаете покидать многострадальную родину нашу уже как очереди за тем, «что дают». Начавшись в рабочих кварталах Петрограда, вы меняли свой социальный состав, пока окончательно не перетасовали граждан России. Какой поэт, какой прозаик возьмется описать знаменитое: «Кто последний, что дают?»...

Через два часа бабушка возвращается без керосина и даже без бидона.

— Эля, нам поразительно повезло. Поразительно! Я случайно встретила мадам Костантиади. Ты помнишь мадам Костантиади? Так представь себе, она служит в оперетте и завтра поведет Бореньку на «Фиалку Монмартра»!

— Зачем шестилетнему ребенку оперетка? Узнать «смотрите здесь, смотрите там»?

— Пусть он узнает, куда смотреть через искусство, а не через уличные сплетни. Кроме того, с ним пойду я.

— А где бидон?

— Бидон? Какой бидон? Ах, с керосином? Я отдала его мадам Костантиади: представляешь, она уже месяц живет без света и примуса.

Это — бабушка.

...Мы сидим в центре Смоленска на Блонье. Я задаю бесконечные «почему», мешая бабушке насладиться французским романом. Чтобы я отвязался, она нарушает один из основополагающих законов нашего дома: ничего не есть на улице. Покупается мороженое в круглых вафлях, на которых отпечатано «БОРЯ». Мы — в сладостном предвкушении: я собираюсь заняться мороженым, бабушка — наконец-то вцепиться в роман. Я уже высовываю язык, слизывая растаявшую капельку с колючего ободка вафли, как вдруг рядом оказывается маленькая оборванная девочка. Черные глазки-бусинки с наивным восторгом не отрываются от мороженого. Я ревниво хмурюсь...

— Какая прелесть! — громко объявляет бабушка, оставив роман. — Так женщины смотрят на бриллианты. А как грациозно она стоит! Боже, боже, и ты еще чего-то ждешь, Боря? Немедленно отдай этой прекрасной незнакомке мороженое, если ты — настоящий мужчина!

Это — бабушка.

...Когда-то отец увлекался копированием картин, и в одной из комнат нашего домика на Покровской горе висели «Иван-царевич на сером волке», «Аленушка», «Богатыри», что-то еще. И вот зимними вечерами мы с бабушкой уходили в ту комнату. При этом бабушка оставляла дверь в большую комнату открытой, чтобы свет керосиновой лампы падал на какую-либо из отцовских копий. Мы усаживались перед нею и...

— Ранним утром три русских богатыря выехали на разведку, — приглушенно и заманчиво начинала бабушка. — Они ехали долго, и мягкий ковыль бесшумно стлался под копытами их коней...

И васнецовские богатыри оживали в мерцающем свете. Они скакали по степи, высматривали врага, сходились с ним в жестокой рубке. И свистели стрелы, звенели мечи, ржали кони, стонали раненые...

— Ты видишь, видишь, пятеро врагов напали на одного Алешу Поповича? — горячо, убежденно спрашивала бабушка. — Ох, как ему трудно сейчас! Держись, Алеша, держись!

— Алеша! — во весь голос кричали мы оба. — Держись, Алеша!..

В упоении мы вопили на весь дом, но никто ни разу не сказал бабушке, что она забивает голову ребенку какими-то бреднями. Наоборот, когда кончалось наше «кино» — а кончалось оно неизменно победой Добра, — я врывался в большую комнату и с порога начинал восторженно

рассказывать, что я только что видел, все с живейшим интересом и совершенно серьезно расспрашивали меня о битве трех богатырей или о чудесном спасении царевны.

Это — бабушка.

...Мы живем в центре, а я учусь в 1-м классе 13-й образцовой школы имени Бубнова, что напротив часов. И как-то входит невероятно радостная бабушка:

— Эля, это чудо! Я устроилась билетершей в пятнадцатую синагогу!

Бабушка путала многое по легкомысленности, трогательно пронесенной ею сквозь все три революции, германскую и гражданскую войны, нэп, коллективизацию и начало первой пятилетки. В помещении бывшей синагоги ныне располагался театр, который смоляне называли Пятнадцатым. Вот с этого бабушкиного заявления и началось мое знакомство с кинематографом, поскольку кинотеатр оказался ближе, чем школа.

Каждое утро бабушка брала венский стул, клала в плетеную сумку очки и очередной растрепанный роман и отправлялась на работу. Впрочем, она не любила этого слова и всегда говорила, что «идет на службу». Так вот, придя «на службу», бабушка распахивала настежь двери, ставила на пороге личный стул, надевала очки, сноровисто сворачивала сигарку из крепчайшей махры, доставала роман, прикуривала и... И тут следовало выждать, пока бабушка не исчезнет в парижских трущобах. Если момент угадывался точно, желающие должны были по возможности чинно миновать бабушку и раствориться в прохладном сумраке бывшей синагоги. Если же какой-либо недотепа слишком медлил или слишком торопился, бабушка строго смотрела на него поверх очков и укоризненно говорила:

— Пожалуйста, мальчик, не шумите. Вы мешаете читать.

Шли последние годы немного кино, и я знал о нем все. Я знал, какой фильм интересен, а какой — нет, какой актер играет превосходно, а кого постигла неудача, какую музыку следует исполнять при появлении батышки Махно, а какую — при сумасшествии Бейдемана. Я множество раз смотрел «Красных дьяволят», «Дворец и крепость», чей-то «Спартак» и чью-то «Куртизанку», какого-то «Наполеона», и неизвестно кем созданный боевик об англо-бурской войне, и сотни иных фильмов. Среди них плохих, естественно, было несравнимо больше, чем удачных, и вся эта киномакулатура не набила мне оскомины только потому, что я был приучен

бабушкой относиться к кино как к импульсу для личного творчества, как к канве, на которой должна быть моя вышивка. Я не просто додумывал фильмы — я сочинял их заново, и поэтому любая ерунда вызывала во мне интерес. Удивительно, но это свойство воспринимать кино прежде всего как полуфабрикат — исключения, естественно, случаются — сохранилось до сей поры. Я и теперь с удовольствием пересказываю фильмы, но сколько раз пересказываю, столько вариантов и создаю, иначе мне просто неинтересно пересказывать, а зачитать и смотреть.

И все это — бабушка. Я мог бы вспоминать о ней бесконечно: она сама научила меня сочинять. Но я сочиняю на реальной основе, потому что бабушка была именно такова. Я лишь кое-что суммирую, чтобы проявить в родном мне характере черты определенного социального типа.

...Мама рассказывала, что бабушка, уже долгое время не узнававшая никого, перед самой кончиной открыла глаза, посмотрела на маму и строго спросила:

— Где Боря, Эля? Где мой Боря?

Шел март 1943 года, и я находился далеко от города Камень-на-Оби. Города, ставшего последней пристанью бабушкиного земного бытия...

Я пишу о многом и о многих, а о маме — сдержанно, и может создаться впечатление, что мне либо не хочется, либо нечего сказать о ней. Но это не так, я много думаю о ней и помню постоянно: она умерла в Татьянин день, на десять лет пережив отца. Умерла не от чахотки, грозившей ей в расцвете ее лет: она обменяла меня на смерть, всю жизнь помнила об этом и почему-то очень боялась, что я застрелюсь. Не знаю, откуда возник этот страх, но он был, он мучил маму, пока она еще хоть что-то сознавала. Она дала мне не только жизнь, но и ее обостренное восприятие, оттененное думами о смерти, которые все чаще посещают меня. Она дала мне прекрасный пример любви, самоотречения и преданности... Она... да разве можно перечислить, что дает мать самому любимому из своих детей?!

По рассказам знаю, что где-то в конце девятнадцатого, после очередного ранения, на побывку прибыл отец. Он много выступал с беседами о положении на фронтах, в том числе и в госпитале, куда мама пошла его послушать. Раненые задавали множество вопросов, среди которых был и такой:

— Товарищ командир, а на что живет твоя молодая жена и малютка-дочь, когда ты на фронте проливаешь свою героическую кровь за наше общее счастье? Обещания получает по иждивенческому талону? Долой! Предлагаю резолюцию...

Приняли резолюцию: «Обеспечить жене красного командира Елене Васильевой работу и трудовое питание при раненых героических бойцах...» Но работой обеспечивали совсем не героические раненые бойцы, а бывшие военные чиновники, криво усмехавшиеся при упоминании о красном командире. И маму обеспечили инфекционным баракком, а через месяц она заболела оспой. По счастью, она много раз делала прививки, болезнь прошла в легкой форме, оставив на очень красивом лице мамы несколько оспинок на память о гражданской войне. А получал ее дядя Карл, пришедший с одеялом и приятелем.

— Легкая она была, как спичка,— любил рассказывать дядя Карл, отпуская воду на водокачке.— Такая была легкая, что я никому ее не отдал и нес от госпиталя до дома без пересмены.

У мамы был нелегкий характер, но и неласковая жизнь, на которую она никогда не жаловалась. Мама рассказывала мне многое, куда больше, чем отец, но — странное дело! — я никак не могу представить ее молодой. Легко представляю молодого отца, с натугой — молодую бабушку, но мама для меня всегда немолода. И может быть, поэтому мне с особой болью думается о ней...

...О, как неистово хочется вернуться в детство, хотя бы на полчаса! Увидеть отца, маму, бабушку, обнять их, попросить прощения и непременно успеть сказать:

— Почитай мне вслух, мама...

Учился я огорчительно и потому, что часто менял школы, и потому, что никогда не был усидчив, и потому, что отличался памятью, обладал изрядным запасом слов и быстро наловчился рассказывать не то, о чем меня спрашивали, а то, что я знал. Скажем, если вопрос касался Америки, я старался соскользнуть либо на Колумба, либо на Кортеса, либо на Пизарро. А рассказывать с бабушкиной легкой руки я наострил, на ходу сочиняя то, чего не было, но что могло бы быть. Это позволяло кое-как перебираться из класса в класс, а причиной всему была моя почти пагубная страсть: я читал. Читал везде и всегда, дома и

на улице, во время уроков и вместо них. Читал все подряд, в голове образовалась полная мешанина, но постепенно все сложилось, я вынырнул из литературной пучины и смог оглядеться.

Годам к восьми я все знал о «Пещере Лейхтвейса» и тайнах тугов-душителей, о сокровищах Монтесумы и бриллиантах Луи Буссенара; я скакал за всадником без головы, отбивался от коварных ирокезов, рыл подземный ход вместе с Эдмоном Дантесом. Моими личными друзьями были Ник Картер, Джон Адамс и Питер Мариц, юный бур из Трансвааля. И обо всем этом я часами рассказывал в темных подвалах приятелям-беспризорникам, упиваясь не только самим рассказом, но и возможностью прервать его на самом интересном месте:

— Пить охота.

И не признающая никого и ничего вольница бросалась за водой без всякого промедления. Я на практике познал то, что много позднее вычитал у Ницше: «Искусство есть форма властвования над людьми...»

Мы привыкли третировать литературу, так сказать, «низкого пошиба» куда с большим усердием, чем подобное ей в кино, на телевидении или в театре. Такова традиция, признак хорошего тона и т. п. Я все понимаю, я не стремлюсь быть оригинальным, но я хочу отдать должное этой, «низкого пошиба». И не только потому, что она учит уважать книгу и — выражаясь толстовским языком — «полюбить» ее, а потому, что она чиста в истоках своих. В ней всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок, в ней прекрасны женщины и отважны мужчины, она презирает раболепство и трусость и поет гимны любви и благодетелю. Во всяком случае, такова была она, эта литература, в дни детства моего.

У нас в семье читали вслух при первой возможности, но читали почтенных писателей: Тургенева, Гончарова, Гоголя, Лермонтова и почему-то весьма скромного Данилевского. Не скажу, что мне было невероятно интересно, зато интересно было моему отцу, который не уставал восхищаться прочитанным. Его авторитет всегда был для меня абсолютным, а потому я, еще ничего не понимая, уже твердо знал, что кроме литературы, которую пересказывают в подвалах, существует и литература, которую, образно говоря, читают, сняв шляпу. А что касается скромного Данилевского, то я и по сей день благодарен ему за первые уроки родной истории.

Если Григорий Петрович Данилевский впервые представил мне историю не как перечень дат, а как цепь деяний



давно почивших людей, то другой русский писатель сумел превратить этих мертвецов в живых, понятных и близких мне моих соотечественников. Имя этого писателя некогда знали дети всей читающей России, а ныне оно прочно забыто и если когда и поминается, то непременно с оттенком насмешливого пренебрежения. Я говорю о Лидии Алексеевне Чарской, чьи исторические повести — при всей их наивности! — не только излагали популярно родную историю, но и учили восторгаться ею. А восторг перед историей родной страны есть эмоциональное выражение любви к ней. И первые уроки этой любви я получил из «Грозной дружины», «Дикаря», «Княжны Джавахи» и других повестей детской писательницы Лидии Чарской.

Я так подробно пишу о своем постижении истории, потому что история и литература с детства переплелись в моем сознании, и я до сего времени воспринимаю литературу как беллетризованную историю, а историю — как лишенную беллетристики литературу. Но в этом сыграли роль не только Данилевский и Лидия Чарская.

...Я прожил без малого шесть десятков, я еду с ярмарки и все никак не могу понять, как можно не восторгаться, не любить, а то и просто не знать истории родной страны. Откуда это массовое поветрие? От вульгарного ультраклассового представления, что монархическая Россия не стоит нашей благодарной памяти? От спесивого полуграмотного убеждения, что история ничему не учит? От низкого уровня преподавания истории в школах?

*Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие.*

Так говорил Пушкин.

Избегая назиданий, будто между прочим, отец сумел посеять в готовой под юсев душе моей преклонение перед героями. Первые ростки совпали с выходом в свет знаменитой книжной серии «Жизнь замечательных людей»; основатель ее тоже был убежден, что в молодых сердцах надо сеять восторг — и пожнешь жажду подвига. Первая книга «ЖЗЛ», которую я прочитал, была о Сен-Симоне: «Вставайте, сир, вас ждут великие дела!» Я был потрясен величием духа потомка королей, а за ним последовали жестокий конквистадор Франциско Пизарро и отчаянный

пират сэра Фрэнсис Дрейк, отважный путешественник Давид Ливингстон и азартный репортер Стенли, угрюмый завоеватель Тамерлан и фанатично преданный идее Христофор Колумб. Я всегда увлекался людьми активного начала и упорно собирал книги о полководцах, путешественниках и авантюристах всех времен и народов. Заметив это, отец принес огромную, еще старой печати, карту мира, набор командирских цветных карандашей и научил кропотливо прокладывать маршруты, а не просто читать. И я милую за милей прошел с Магелланом, вычертил путь Джеймса Кука и точно знал, куда и как плыл Лаперуз. Отважные, но отдаленные временем, а потому почти абстрактные путешественники ожили с помощью этой карты, обрели плоть и страх, дерзость и отчаяние, веру в свое призвание и ослепительный миг торжества.

Если я познакомился с историей через литературу, а с географией — через великих мореплавателей, то следующий шаг логично следовал из восторженного отношения к героям и героике. Конечно, тут сыграло роль и то, что я был сыном участника гражданской войны, рос среди рассказов и воспоминаний, в семь лет разбираю наган и знал все виды стрелкового оружия так, как современный мальчишка знает марки автомашин. Игра с огромной картой мира, где каждое путешествие имело свой цвет, вскоре оказалась недостаточной; карты стали изменяться, пока не превратились из карт географических в карты топографические. Помню, что, с упоением прочитав о Ганнибале, я начал излагать его подвиги отцу, а отец, выслушав, спросил, понял ли я, что значат для военного искусства знаменитые Канны. Я начал что-то бормотать, привычно стремясь перебраться на то, что мне ведомо, но отец взял бумагу, набросал схему сражения и подробно растолковал, как Варрон построил свои когорты, что противопоставил могучему, но малоподвижному противнику Ганнибал и как конница его брата Гасдрубала, разметав римские заслоны, зажала легионы в железное кольцо. Я не утверждаю, что именно тогда я понял, в чем заключается искусство полководца, — для этого понадобились и время, и военная академия, и масса изученной литературы, — но меня поразила осязаемость, что ли, отгремевшего сражения, его четкая, геометрическая завершенность: битва решалась как теорема «что и требовалось доказать».

Великие мореплаватели отошли на второй план: словно поняв правила некой «военной игры» истории, я и играл в нее. Сражений было множество; чтобы в них разобраться, надо было читать уже не романы и даже не «ЖЗЛ». И я

ринулся к отцовским полкам, потому что отец любил военную историю и собирал библиотечку. Это было нелегко, но у меня хватило восторженной настойчивости самому разбираться: я читал, чертил схемы и упоенно громил противника или терпел жесточайшие поражения. Для примера могу упомянуть, что лет этак в двенадцать я осилил скучнейшую «Историю военного искусства...» Дельбрюка, но так и не смог повторить этого подвига, когда мне перевалило за пятьдесят.

Так я увлекся военной историей, но дело не только в том, что я многое узнал. Вскоре мне уже перестало хватать одних «сюжетов», если под «сюжетом» понимать собственно битву: я стал интересоваться причинами и следствиями, опыт чтения научной литературы у меня уже был, и я начал читать историю, как читал литературу, то есть взахлеб. Это случилось классе в восьмом, и с того времени я точно знал, что буду историком.

...Я не стал историком. Порой я с густой горечью думаю, кем мы не стали. Мы не стали Пушкиными и Толстыми, Суриковыми и Репиными, Мусоргскими и Чайковскими, Баженовыми и Казаковыми. Мы не стали учеными, инженерами, рабочими, колхозниками. Мы не стали мужьями, отцами, дедами. Мы стали ничем и всем: ЗЕМЛЕЙ.

Потому что мы стали солдатами.

Мы взрывали, вместо того чтобы строить; ломали, вместо того чтобы чинить; калечили, вместо того чтобы помогать, и убивали, вместо того чтобы в счастье и нежности зачинать новые жизни. Говорю «МЫ» не потому, что хочу урвать кроху вашей воинской славы, знакомые и незнакомые ровесники мои. Вы спасали меня, когда я метался в Смоленском и Ярцевском окружениях летом сорок первого, воевали за меня, когда я скитался по полковым школам, маршевым ротам и формированиям, дали мне возможность учиться в бронетанковой академии, когда еще не был освобожден Смоленск. Война переехала и через меня и если не запахла, не искалечила, не задушила, тяжесть ее все равно невозможно сбросить с плеч. Она — во мне, часть моего существа, обугленный листок биографии. И еще — особый долг за то, что целым и невредимым оставили именно меня...

В 54-й неполной средней школе города Воронежа мне наконец-таки повезло с учительницей русского языка: это была Мария Александровна Морева. С ее помощью в 7-м классе мы начали выпускать литературный журнал объемом в две ученические тетради. Мы — это Коля и я. Коля писал

стихи и поэмы с продолжением «в след. №» и подписывался «ОЛЕГ ГРОМОСЛАВЦЕВ». Я строчил рассказы о гражданской войне, Африке и Испании, которые подписывал еще более звучно: «И. ЗЮЙД-ВЕСТОВ». Почему я избрал псевдонимом «Юго-Запад», этого я объяснить не могу. У меня всегда была склонность к трескучим фразам, и псевдоним «ОЛЕГ ГРОМОСЛАВЦЕВ» был навязан скромному поэту мной. В отличие от меня, Коля совсем не стремился писать о том, чего не ведал, и одно его стихотворение было напечатано в воронежской молодежной газете: его передала туда Мария Александровна. И я до отчаяния завидовал Кольке...

...Его звали Николаем Петровичем Плужниковым, у него была сестра Вера, и я назвал его именем одного из первых своих героев — героя романа «В списках не значился». Мне необходимо было положить свой венок на могилу самого близкого друга моего...

В воскресенье 22 июня 1941 года я с Колей и еще с двумя ребятами из нашего класса бежали купаться на реку Воронеж. На углу Комиссаржевской и Энгельса нас застигла гроза; ближе всего оказался навес над подъездом бывшей нашей — она была неполной, то есть семилеткой, а мы уже учились в девятом — школы № 54. Мы спрятались под ним и громко вопили от восторга перед ливнем, громом и молниями. А потом открылась дверь, и вышел директор Николай Григорьевич, которого мы когда-то так боялись. Лицо его было серым. «Мальчишки, — сказал он. — Война, мальчишки. А мы заорали «ура!».

Из четырех семнадцатилетних парнишек, глупо оравших «ура!» в день начала Великой Отечественной войны, в живых остался я один.

В той самой школе, в которой мы с Колей выпускали рукописный журнал и на крыльце которой нам суждено было встретить войну, произошло еще одно событие, не менее для меня важное. Актер Молодого (он так и назывался) театра Миша (фамилию я, к сожалению, забыл) организовал драмкружок. Кружок осилил всего один спектакль — «Юбилей» Чехова, где я играл Шипучина. Затем Миша исчез, кружок распался, но вскоре меня вызвала учительница немецкого языка Анна Яковлевна Цвик. Я приуныл, полагая, что дело касается моих успехов, но Анна Яковлевна предложила тайком подготовить спектакль

по какой-то одноактной пьесе на два лица «про шпионов». Мы стали репетировать то в пустых классах, то на дому и неожиданно для всех сыграли спектакль. Успех был феерическим, нас приглашали в другие школы, и я ходил задравши нос. И в какой-то из школ нас увидел знаменитый воронежский актер Папов; после спектакля он говорил со мной и пригласил на генеральную репетицию. Был «Гамлет» (о нем много писали тогда), и я ошалел не только от Гамлета, но и от атмосферы репетиции, от собственного присутствия не в качестве зрителя, а в качестве приглашенного, то есть почти своего, театрального человека. Пустяк? Да, но с этого пустяка началась моя особая влюбленность в театр, которую я пронес сквозь войну, ученье, работу на заводах, как Нао в романе Рони-Старшего «Борьба за огонь» пронес тлеющую искорку в плетенке, обмазанной глиной. Долог путь от винограда до вина.

...Если условиться под молодостью понимать возраст, а под юностью — период жизни, то наше поколение было лишено юности. Оставаясь молодыми — и даже очень молодыми! — мы перешагнули через юность не потому, что взяли в руки оружие, а потому, что взяли на себя ответственность за чужие жизни. Нет, мы не стали молодыми стариками — мы стали молодыми взрослыми. Ранняя ответственность совершенно по-особому оттеняет последующую жизнь — я дружу со многими солдатами, сержантами и офицерами той поры, — и все эти рано поседевшие мужчины сохранили в себе огромный запас веселого, шумного, подчас озорного детства, точно компенсируя этим украденную у них юность. Она стучалась в наши жизни, и не наша вина, что мы не могли распахнуть ей навстречу наши сердца. Мы многое потеряли, но у потерь есть одно хорошее свойство: они оттачивают память...

На примере своего поколения я берусь утверждать, что молодость — богатство старости. Ее можно растратить на удовольствия, а можно и пустить в оборот...

Летом сорокового года комсомольский отряд нашей школы отправился на уборку урожая в донскую станицу. То ли это было шефством, то ли комсомольской инициативой, то ли чем-то еще добровольным — суть не в причине, а в следствии. А следствием был незабываемый август, работа до шестнадцатого пота, азарт тяжелейшей страды, четырехчасовые провальные сны в соломе рядом с грохочущей

молотилкой, и снова — работа, работа, работа. Поначалу я так уставал, что не мог есть, но втянулся, окреп и трудился уже на равных. А потом мне поручили возить зерно на элеватор. До него было не близко — более суток волю переставляли клещатые копыта, норовя свернуть куда угодно, лишь бы не идти прямо. Зерно насыпалось в бричку по борту, и мы с убийственной медлительностью тащились по степи. И все замирало, замедляло свой естественный ход, и не было ничего, кроме мерного скрипа брички, тяжелого шага волов и странного, животного ощущения воли. Все смешалось — пространство и время: я спал днем, а бодрствовал ночью и, кажется, впервые понял, что такое ночь и что такое день.

...Я пишу об этом потому, что отчетливо помню чувства сорокалетней давности. И когда говорю, что еду с ярмарки, то вроде и вправду еду и вновь ощущаю скрип перегруженной брички, вздохи волов, густоту ночного воздуха, запах полыни и звездопад августовского неба. А я лежу на душистом зерне и знать не знаю, что ровно через год буду метаться в окружении в нехоженых смоленских лесах. И, вместо того чтобы стать юношей, стану солдатом, как миллионы моих ровесников.

Как-то на одном из пленумов Союза кинематографистов я в полемическом задоре объявил вредными (или, как минимум, бесполезными) все учебные заведения, в которых из нормального человека делают «писателя или киносценариста». Возможно, я перегнул палку, но и сегодня мне кажется, что обучать профессиональным навыкам следует не до того, как человек на личном опыте узнал, что такое пот и надежда, предательство друга и измена женщины, а после. После того, как будущий писатель собственным горбом научится зарабатывать хлеб насущный, сохранив желание стать писателем, несмотря на ежесуточное недосыпание. Это представляется мне нормальным, естественным отбором в противовес принятому сейчас выращиванию гениев на клумбах. Понимаю, что я субъективен, что в конечном счете все зависит от таланта, но как быть со скудостью жизненного багажа? Заменить его творческими командировками? Допускаю, что в некоторых случаях командировки могут помочь, но полностью поверить в их всемогущество мне решительно мешает собственный житейский опыт.

В 1949 году я работал на Урале инженером-испытателем, был весьма активным комсомольцем, играл Петра в «Ме-

щанах», вел концерты — словом, изо всех сил уничтожал время, которого так не хватает сейчас. И однажды был востребован в заводской комитет комсомола.

— Товарищи, я пригласил вас, чтобы сообщить приятнейшее известие: к нам едут писатели, — сказал секретарь.

Я оказался в составе «группы приема», и работа кипела. Помню, что к нам направлялись три прозаика (одним из них был Бирюков, автор нашумевшей тогда «Чайки»). Члены «группы приема» немедленно прочитали все, что успели создать прибывающие гости, а самое интересное заключалось в том, что огромный заводские яростно чистили не только снаружи: к дню приезда писателей сколачивались смены и бригады, в которых напрочь отсутствовали пьяницы и прогульщики, лентяи и бракоделы, чересчур молчаливые и чересчур болтливые, а из женских бригад на это время изымали пожилых и некрасивых, доукомплектовывая их секретаршами и машинистками для пущей приятности. Мы заседали допоздна, уточняя маршруты, которыми поведут дорогих гостей, и расставляя на этих маршрутах сплошных передовиков.

Мнение, будто писатель наделен сверхъестественной наблюдательностью, распространено весьма широко, но мне оно представляется величайшим заблуждением. Правда, и здесь я, естественно, исхожу из личного опыта, понимаю, что он далеко не абсолютен, и все же, все же... Во-первых, писатель — не натуралист, а мир людской — не муравейник, а во-вторых, наблюдательность подразумевает конкретное мышление, а писатель могуч мышлением образно-ассоциативным. Пишу эти всем известные истины только для того, чтобы признать, что писатель — конечно же! — наблюдает. Наблюдает хотя и неосознанно, но придирчиво, днем и ночью вслушиваясь и всматриваясь в самого себя. И всех героев своих писатель, как правило, лепит по собственному образу и подобию, выламывая собственные ребра не только для Ев, но и для Адамов.

Отец всю жизнь носил военную форму. Он вышел в отставку до того, как ввели брюки навыпуск, всю службу проходил в гимнастерке, галифе да сапогах, а когда надел подаренный гражданский костюм, то тут же и упал, чуть не вывихнув ногу в лодыжке. Это настолько вывело его из свойственного ему душевного равновесия, что на повторный эксперимент с ботинками он так и не решился, до самой смерти своей не изменив родной для него русской офицерской форме. И в гроб лег в ней.

Он был небольшого роста, а я удался в мамину породу и в 6-м классе догнал отца, так сказать, в длину. И тут же надел его старую гимнастерку, брюки, шинель и сапоги. Гимнастерка и шинель свисали с плеч, сапоги чуть хлюпали на ногах, но рос я быстро, подгоняя себя под форму, которую снял лишь в 1954 году. По моему примеру военную форму надел и мой друг Володя Подворчаный; вечерами мы любили прогуливаться в районе военного училища, потому что курсанты в сумраке отдавали нам честь, а мы очень радовались. В школе меня прозвали Солдатом, а когда я получил направление в академию, отец уверовал, что я и в самом деле солдат, что это — моя судьба и что служить мне всю жизнь до законной отставки. Да и сам я тогда верил в это, тем более что служба моя по окончании академии оказалась уникальной: я работал испытателем колесных и гусеничных машин. И отец очень радовался, старомодно полагая это карьерой, втайне гордился сыном с высшим военным образованием в двадцать три года и ведать не ведал, какую свинью ему подложит этот преуспевающий инженер-капитан. Впрочем, я тоже не ведал: все произошло как бы само собой.

После войны наша армия переживала естественный процесс смены офицерского состава. На места командиров, имевших богатейший боевой опыт, но не обладавших специальным образованием (как правило, училище военного времени), начали приходить выпускники академий, не имеющие полновесного боевого опыта, но обладающие полновесными академическими дипломами. Таких образованных офицеров было немного, приходили они в части по одному, по два, оказываясь белыми воронами в среде, спаянной фронтовой дружбой, общей опасностью и общей судьбой.

И тогда я написал пьесу, назвал ее «Танкисты» и послал в ЦТСА. По ведомственной принадлежности. Это было в апреле, а к маю я получил телеграмму от заведующего литературной частью Антона Дмитриевича Сегеди: «ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО». Я выпросил у начальства два дня и приехал в Москву. 3 мая меня принял Алексей Дмитриевич Попов — руководитель Центрального театра Советской Армии.

Мне казалось — да и сейчас кажется, — что я просидел весь день в тесном кабинетике на втором этаже. Я был так взволнован, что напрочь, начисто забыл этот столь знаменательный для меня разговор; я поддакивал, радостно соглашался, что-то бессвязно записывал, подавленный жаром, импровизацией, стремительностью и напором. Меня много раз просили написать об этой встрече для книги об



А. Д. Попове, в юбилейный сборник, но я всегда отказывался, а на меня обижались, не представляя, что я не хочу ничего сочинять, а что было на самом деле — не помню. Ничего не помню, кроме одной фразы:

— Вы написали пьесу из зрительного зала, а надо писать — со сцены. Но вы ничего не смыслите в театре, а потому извольте ходить к нам каждый день. На репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь, тогда и пьеса получится.

А еще помню, как он метался по крохотному кабинету, объясняя, что я написал. Он играл все роли, изредка заглядывая в мою рукопись, исчерканную его красным карандашом: теперь она хранится в музее театра. И втолковывал мне, что такое *роль*, а я так ничего и не запомнил.

Домой я вернулся, ощущая себя драматургом и невероятно важничая. И сразу же подал рапорт с просьбой о демобилизации «в связи с желанием заняться литературным трудом». Не стану описывать всех мытарств, вызовов в генеральские кабинеты, слез матери и хмурых взглядов отца. В конце концов я добился своего, и в сентябре 1954-го получил полную возможность «заниматься литературным трудом»...

...Странно, трижды жизнь предоставляла мне редчайшее право самому решать свою судьбу. Я всегда воспринимал это восторженно и никогда — критически, всегда глядел на предоставляющуюся возможность изнутри, а не снаружи, не желая думать, чего это стоит, а мечтая о результатах. Так было, когда я с энтузиазмом ринулся на инженерный факультет военной академии, не только не имея ни малейшей склонности к технике (кроме пожара в гараже), но будучи гуманитарием, так сказать, с головы до пят. Так было и тогда, когда по тесному кабинету метался прекрасный Алексей Дмитриевич, а я не столько слушал его, сколько рисовал в воображении афиши московских театров и прикидывал названия будущих премьер. Так было и в третий раз, когда вместо театра я оказался в кинематографе, который должен был бы, кажется, постичь с помощью родной бабушки на венском стуле...

ЦТСА заключил со мной первый в моей жизни договор, на аванс от которого я купил первый в своей жизни костюм и шляпу; на пальто денег не хватило, и я долго ходил в офицерской шинели и — в шляпе. Общими усилиями пьеса

была доведена до сценического варианта, начались репетиции. Спектакль ставил Иван Петрович Ворошилов; я постоянно спорил с ним и дома — а жил я тогда у сестры вместе с ее семьей и мамой (отец не выезжал с дачи более чем на сутки: он не любил Москвы) — всячески поносил режиссера. А поскольку называл я его по фамилии и при этом в выражениях не стеснялся, мама очень пугалась и бжала наглухо закрывать окна.

В декабре 1955 года начались общественные просмотры. Пьеса к тому времени изменила название, поскольку в репертуаре театра оказались «Летчики» Л. Аграновича и С. Листова. Иметь рядом с «Летчиками» еще и «Танкистов» было чересчур, и в конечном счете моя пьеса стала называться «Офицер». Спектакль театр намеревался показать 25 декабря, о чем оповещали расклеенные по Москве афиши. Состав был отличным: Колофидин, Сазонова, Зельдин, Сошальский, Алексеева, Сомов; в театре и по сей день этот спектакль считают одной из принципиальных удач, хотя он так и не увидел света. И мне достались на память афиша, программа да актерская теплота. А если учесть, что пьесу хотел ставить Акимов и уже приступил к читкам, а главный редактор журнала «Театр» Н. Ф. Погодин намеревался опубликовать ее, то следует признать, что начал я «занятия литературным трудом» с хорошего нокдауна, через год после демобилизации оказавшись у разбитого корыта.

Я перестал бегать по театрам и начал писать. Так много, плохо и быстро я не писал никогда. Я упрямо продолжал считать себя драматургом, был убежден, что постиг театр и что теперь дело только за моим пером...

...Признаюсь, то, что я не драматург, я понял не так уж давно, поработав с самыми разными театрами и самыми разными режиссерами. Понял, что драматургами, как и прозаиками, не становятся, а рождаются, что мало знать законы жанра, специфику театра и уметь писать слева — кто говорит, справа — что говорят. Драматург и сам мир видит драматургически, конфликтно и обнаженно, и людей не столько стремится типизировать (что естественно для прозаика), сколько приблизить их к амплу, подмечая в жизни «роль», а уж потом — тип. Это мне никогда не удавалось, и я не просто не помогал театральным режиссерам, а сам того не желая, всегда заставлял их преодолевать «литературу», то есть мое восприятие мира. Но это, повторяю, я сообразил значительно позже, а тогда — строил.

Из всех торопливо написанных тогда пьес свет увидела

одна: «Стучите — и откроется» (тоже об армии). Она была поставлена в театре Черноморского флота и в театре Группы войск в Германии. Славы она мне не принесла, денег тоже (я по-прежнему жил на весьма скромную зарплату жены), зато я получил право писать во всяких бумажках, что мои пьесы «идут как в театрах нашей страны, так и за ее пределами». Как назвался я И. Зюйд-Вестовым в 7-м классе, так им и остался. Жизнь была не слишком веселой, но я не унывал, неистово веря, что все будет прекрасно. Я всегда верил в собственную мечту исступленнее, чем в реальность, и не продал этой веры на ярмарке, с которой сейчас возвращаюсь.

Здесь следует кое-что объяснить. В те времена (тридцать лет назад) при Главкино существовала Сценарная студия, директором которой был В. Е. Дулгеров. Статус этой студии отличался от современной тем, что она как бы совмещала собственно производственную студию со сценарными курсами, состоявшими из мастерских, которые вели признанные мастера кино: Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Мария Николаевна Смирнова, Екатерина Николаевна Виноградская, Александр Петрович Довженко, кто-то еще и — Николай Федорович Погодин. Мастера набирали начинающих на основании их заявок, а начинающие писали по этим заявкам сценарии, получая стипендию в полторы тысячи рублей (150 по нынешним деньгам). Условия были весьма льготными, желающих — множество, но Николай Федорович неожиданно пригласил меня и сохранял место, пока я не сочинил приемлемой заявки. А через восемь, что ли, месяцев закончил сценарий, по которому Свердловская киностудия поставила фильм «Очередной рейс» с Георгием Юматовым в главной роли. Таким образом я из драматурга переквалифицировался в киносценариста, но моя драматургическая карьера на этом этапе закончилась прекрасным аккордом.

В 1956 году Союз писателей решил провести в Перedelкине полуторамесячный семинар молодых драматургов. Кого там только не было: Александр Володин и Леонид Зорин, Михаил Шатров и Марк Соболев, Микола Зарудный и Виктор Курочкин, Лев Давыдычев и Лев Устинов, Леонид Агранович, Зак и Кузнецов, Алешин, Маша Сторожева, Афанасий Салынский... и много-много других. Ночные споры до хрипоты, общие читки пьес, разбор по гамбургскому счету: мы были молоды и отлично знали, как именно надо писать. А руководил этим шумным, озорным и очень та-

лантливый сборищем Владимир Федорович Пименов; ныне птенцы его давно оперились, но до сей поры с юношеским пылом вспоминают ту переделкинскую осень, и если у меня спрашивают, бывает ли толк от творческих семинаров, я категорически утверждаю это, помня свой первый семинар.

Но вернемся к Сценарной студии, которая оказалась для меня единственным творческим учебным заведением и куда я ходил,— правда, реже, чем на бабушкины киносеансы. Формой ученья были лекции, индивидуальные занятия с мастерами и просмотры. Хорошо помню первую обзорную лекцию, которую прочел Виктор Борисович Шкловский. Начал он совсем уж парадоксально:

— В кино за вход платят рубль, а за выход — два. Кто к этому не готов, пусть сейчас же уйдет отсюда и займется чем-либо полезным.

Никто, разумеется, не ушел, но жизнь подтвердила правоту очередного парадокса Виктора Борисовича, и я, например, до сей поры никак не могу расстаться с кино, хотя почти все картины, сделанные по моим сценариям, стоили мне дорогих компромиссов. Да, в кино ни в грош не ставят автора, не считают сценарий литературой, но где, скажите мне, раздобыть те заветные два рубля, которыми, по словам Шкловского, надо оплатить уход из кинематографа?..

Студия — не семинар, и я не могу вспомнить всех, кто занимался одновременно со мной. Помню Юлию Друнину, Тадеоса Бархударяна, Аллу Белякову, Даниила Храбровицкого и, конечно,— Кирилла Рапопорта, своего друга и соавтора многих сценариев. А кто со мной был в мастерской Погодина, я напрочь позабыл, потому что бегал к Николаю Федоровичу один, но — почти каждый день.

...Круглая, в кольцах седых волос, всегда трясущаяся голова, прищуренный, невозможно лукавый взгляд — искоса, как луч, и — улыбка. Особая, погодинская, с сотней оттенков, намеков и значений. И сентенции:

— Есть только четыре вида драмы: он любит ее, а она его не любит; она любит, но он не любит; оба любят, но кто-то мешает им быть вместе; оба не любят, но кому-то надо, чтобы они не расставались. Вот за чем следит зритель, все остальное — собачья чушь.

— Зритель пошел страшный: в современной пьесе ружье непременно должно висеть в первом акте, но не вздумай из него выстрелить; на смех поднимут.

— Никакой специфики кино нет, это алхимия. Все поκειται на тех же китах: любовь, ненависть, ревность, за-

висть, месть, самопожертвование. Какая же здесь специфика? Что кони по экрану скачут? Собачья чушь, а не специфика.

— Писать — каторга, скучнейшее занятие. Я написал чертову уйму пьес, а с наслаждением — только «Аристократы». Так что не жди, что воспаришь, а каждый божий день лезь в забой, как шахтер. Вдохновение для дам придумано вкупе с экспромтами.

— Ты что, на машинке сочиняешь? Ну и не будет из тебя толку. Писать надо пером. Обыкновенным пером скрипеть по бумаге, как сто лет назад скрипели. Тогда мысль не рвется. А машинка — она ведь железная. Отъединяет.

— Не садись писать, пока точно не знаешь, чем закончишь. Середины можешь не знать, это даже вредно — знать все последовательно. Мертвечина. Но конец знать обязан: конец — цель, в которую ты стреляешь.

— Знаешь, в чем принципиальная разница между мужчиной и женщиной? Каждый мужчина мечтает убить мамонта, но не каждому это удается. А каждая женщина мечтает завладеть мужчиной, который уже убил мамонта. Вот отсюда и исходи.

— Герои должны говорить неожиданно и внешне нелогично. Тогда возникает диалог. А если ожидажно — болтовня. Собачья чушь.

— Писателю требуется обаяния больше, чем актеру: он ведь свой текст говорит. Оттачивай, понял?

— Писать надо так, чтобы зритель в шепоте крик услышал. А путь для этого — как у скрипача: каждый день работать. Каждый, без выходных: только таким путем уйдешь от халтуры...

Так учил меня Николай Федорович Погодин. Естественно, я не стенографировал его, и то, что изложено здесь, кристаллизовалось значительно позже, когда я смог прибавить к учению личный опыт. В конечном счете творчество и есть умение добавит в известное всем капельку личного опыта.

Начало моей карьеры в кино было обещающим. Не успел запуститься в производство «Очередной рейс», как мне и Кириллу Рапопорту предложили написать сценарий «Сержанты», оказавшийся первой ласточкой нашего многолетнего соавторства. Вслед за выходом на экран фильма «Очередной рейс», имевшего хорошую прессу и зрительский успех, я написал еще один сценарий для той же студии. Он назывался «Длинный день», снимались в нем Афанасий Кочетков и Евгений Лазарев, а вторым режиссером на картине работал выпускник ВГИКа Элем Климов. А как

только эта картина пошла в прокат, я получил предложение от уже известного в то время режиссера Марлена Хуциева написать с ним вместе сценарий, условно названный Марленом «Застава Ильича».

Не знаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы я с достаточной ответственностью взялся за эту работу. Вероятно, справился, Хуциев получил бы приемлемый сценарий, снял бы его и... Но это — из области предположений, а в действительности я отнесся к предложению крайне легкомысленно, пригласил в помощь Кирилла Рапопорта, и в результате Марлен оставил нас. Вместо двух легких говорунов он взял молодого Шпаликова, написал с ним сценарий, снял фильм, получивший позднее название «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ».

Кажется, на этом и кончилось мое поступательное движение на стезе кинодраматургии. Правда, я стал членом СК СССР, получив тем самым формальное право на творческую работу, что несколько примирило моего отца с избранной мною судьбой. Но в собственно работе, дававшей мне заработок, так как я нигде не служил, появился ощутимый сбой. Я добросовестно кропал сценарии, основанные на сюжетах, а не на идеях, и все чаще слышал от редакторов уничтожающее определение:

— Литература.

Увы, я не обладал кинематографическим видением, не умел кинематографически мыслить и даже записывать. То, что выходило тогда из-под моего пера, было просто плохой литературой, и поэтому режиссеры избегали меня. Это был тяжелый период, и лишь одна встреча радует меня и до сей поры. Встреча с режиссером Владимиром Михайловичем Петровым, поставившим много картин, и в их числе «Грозу» по Островскому и «Петр Первый» по Ал. Толстому с Николаем Симоновым. Нас познакомила Нина Васильевна Беляева — редактор «Мосфильма», знавшая меня еще по сценарной студии. Писатель Сергей Никитин предложил свою повесть о девушке-партизанке, а сценарий написать не смог, и в помощь прикрепили меня. Сценарий назывался «Ее лицо», был доведен до запуска, но от него отказались (тогда шла лютая борьба с абстракционизмом в живописи, а наш герой как раз им-то и увлекался), но дело не в сценарии, а во Владимире Михайловиче. Он жил на Воронского, рядом со старым Домом кино (ныне Театр киноактера), где меня часто принимали, кормили, поили старым коньяком — супруга Владимира Михайловича Кетеван Георгиевна была по-грузински гостеприимна, — а меня тянуло в насквозь прокуренный кабинет. Там повсюду валялись

раскрытые пачки самых разных сигарет, на полках стояли книги на русском, английском, французском и немецком языках, и не просто стояли, но и читались, и часто переводились мне с листа. Хозяин всегда просил прочитать, что я принес — будь то короткий эпизод или кусок сценария, — и, слушая, рисовал, схематично, но точно раскадровывая мою литературную запись.

— Вы так себе это представляете?

— О да, конечно!

— Не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь соглашаться. В мире нет двух людей, которые одинаково видели бы третьего. Поэтому речь может идти лишь о том, что у нас общего, а что — разного. И по законам логики подобие надо отбросить — это заведомый штамп, — а над различными точками зрения неторопливо поразмышлять.

Владимир Михайлович был рациональным даже в лучших своих картинах. К старости он приобрел некоторый скепсис в адрес любимого им кино, но скепсис с привкусом горечи, а не злорадства. А я в это время остро нуждался в ином взгляде на искусство, и Владимир Михайлович неназойливо прививал мне его, постепенно размывая наносные пласты наивной восторженности и ложной патетики.

После неудачи с инсценировкой повести Никитина мы с В. М. Петровым сделали сценарий «Сегодня, в 16.10», довели его до подготовительного периода, а потом и его закрыли, усмотрев противопоставление поколений. Больше с Владимиром Михайловичем я не работал, встречались мы очень редко, а вскоре он умер. Умер завидной смертью: вышел покурить во время съемок, сел в кресло — и будто уснул. И сигарета долго дымилась в холодеющей руке... Он как-то читал мне Пушкина:

Иль в лесу под нож злодею  
Попадуся в стороне,  
Иль со скуки околею  
Где-нибудь в карантине...

Я разуверился в своих способностях и перестал писать. Я лишь кое-что сочинял, зарабатывая на жизнь: подтекстовки к киножурналам «Новости дня» и «Иностранная хроника», компилятивные передачи для телевидения и сценарии КВН — Клуба веселых и находчивых. Был тогда на телевидении такой очень популярный цикл, основанный на импровизациях, но, естественно, требующий организованного материала. Вот я и писал для этого сценарии и впервые напечатался не как прозаик и не как драматург, а как составитель сборника сценариев КВН для самодея-

тельности и автор предисловия в издательстве «Советская Россия». Эта книжечка — первая, и она дорога мне совершенно особо.

В то время я начал путешествовать. Еще в 61-м году нас с женой пригласили в большое автомобильное путешествие друзья. Мы проехали почти семь тысяч километров, отправившись сначала на запад, а затем на юг, до Крыма. Мы не торопились, останавливаясь в красивых и памятных местах, ночуя в палатках и машинах. Так я впервые попал в Брестскую крепость еще до того, как туда протоптали туристическую магистраль; уже был музей, но еще были стены, иссеченные пулями, и подвалы с обожженными сводами, и тишина после боя, и хруст осколков под ногами. И мы бродили по крепости целый день, и я все время думал, что как раз тогда, когда я метался в окружениях, крепость сражалась. А потом весь путь до моря и от моря робко мечтал, что когда-нибудь возьму да и напишу, как она сражалась, пока мы бегали по лесам.

...Признаюсь, мечты — именно мечты, а не мысли! — о прозе посещали меня давно, но носили отвлеченный характер: хорошо-де было бы написать роман... А тут впервые мечта обрела почву, конкретность, пафос, трагизм. Мечта начинала превращаться в мысль, будоражила, вместо того чтобы убаюкивать, лишала сна, тревожила и — злила. Злила, потому что я понимал ее нереальность.

Наверно, это естественно: утверждение через отрицание. Я помню, как злился и паниковал, впервые задумавшись над романом «Были и небыли». Это случилось задолго до поездки в Болгарию и никак еще не связывалось с русско-турецкой войной. Это была мечта написать роман о дедах вообще, без всякой исторической основы, а потому как бы и ни о чем. В известной степени это сродни тому отчаянному чувству невозможного, какое испытываешь, мучаясь над первой фразой. Именно над первой: как начать? В этом заложено нечто большее, чем просто написание слов: акт рождения. Реализация чего-то не существовавшего доселе. Миг, превращающий эфемерные, неясные, преступно личные мысли в некую общественную значимость. Всегда боялся этого, и всегда меня неудержимо тянуло еще и еще раз пережить это. И такое ощущение, будто вот этот момент и есть творчество, а то, что потом, — просто работа. Ремесло, которым зарабатываешь на жизнь.



Вскоре после путешествия я впервые попал на Среднюю Волгу, а точнее — на ее приток Унжу. При впадении Унжи в Волгу стоит город Юрьевец; когда наполнили чашу Горьковского водохранилища, вода залила низменную часть города, и ее жителей переселили за сорок километров вверх по Унже, где отстроили поселок с ласковым названием Дорогиня, с запанью, ремонтными мастерскими и затоном для малого флота. Когда мы туда впервые попали, там была глушь да непроходимые, заболоченные леса. И медведи по осени приходили к поселку поглядеть на людей перед тем, как завалиться в берлоги.

Такова была Дорогиня, куда можно было добраться на неторопливом «Витиме» за четыре часа от Юрьевца. А еще выше, у Горчухи, была промышленная гензапань, и огромные баржи развозили оттуда лес по всей Волге. На гензапани грохотали сплотовые машины, качались венгерские плавучие краны «гансы» и суетилось множество народа. В основном это были сезонники, а матросов не хватало, и катера простаивали. И, вдосталь наглядевшись на невиданную прежде работу, на веселый азарт погрузок, на весь этот тяжкий, потный, мокрый, но такой захватывающий, такой наглядный труд, мы с женой пошли на катер с тем же названием «Дорогиня», и капитан Сергей Ларионов взял нас на борт помощником и матросом.

Это была честная работа, от которой засыпаешь, как в детстве, просыпаешься с песней в душе и ломотой во всем теле и видишь, как встает солнце и тают речные туманы, и не замечаешь, когда оно заходит. И грохот дизелей за тонкой переборкой не мешает слышать, как нос катера вспарывает речную волну, и необъяснимая радость переполняет тебя, и ты — родной брат всем этим усталым, чумазым людям, и чем-то из юности веет, что ли: «Закурим, браток, пока немец не стреляет...» И через неделю я не выдержал. Я купил тетрадку и карандаш, а когда стояли в ожидании буксира, трясясь от волнения, вывел первую строчку: **«ВЕЧЕРАМИ В МАЛЕНЬКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ ТИХО».**

Так начал я свою первую повесть, названную в полном соответствии с И. Зюйд-Вестовым «Бунт на Ивановом катере» и напечатанную в 1970 году в журнале «Новый мир» под куда более скромным названием «Иванов катер». Но строка не изменилась, так и оставшись изначальной во всей моей прозе.

Однако начать-то я начал, но внутренней убежденности в своем праве на прозу у меня не было. Я не верил сам себе и, написав треть, отложил повесть. Я уже владел

словом, но как писатель еще не созрел, хотя давал себе отчет, что могу им стать. И все же долго не мог заставить себя достать написанное и забыть обо всем на свете. Нужен был еще один импульс, чтобы я перешел на новые рельсы.

Последним толчком оказалась обида. Обыкновенная человеческая обида, в которой мне не стыдно признаться: меня не выбрали делегатом на съезд кинематографистов. Если бы это произошло сейчас, я бы пожал плечами и пошел работать, но тогда под гнетом комплекса неполноценности любое небрежение переносилось чрезвычайно болезненно. Особенно когда тебя в утешение избирают председателем счетной комиссии, и ты даже не можешь скрыться с людских глаз. Я держался как мог, шутил и громко хохотал, а в груди ворочалось мстительное: «Ну погодите, я вам еще докажу!..» И пошел доказывать.

Первую повесть — то, что потом назвалось «Иванов картер», — я закончил в канун 1968 года. Поначалу я послал ее в журнал «Волга», но оттуда ответили, что повесть написана чрезвычайно пессимистично, что герои ущербны, фон мрачен и что вообще так не бывает. И тогда я отдал ее знакомому по «Мосфильму» редактору В. В. К., который работал в одном толстом московском журнале.

В. В. прочел рукопись быстро, позвонил, сказал, что дает читать членам редколлегии, и просил принести как можно больше экземпляров. Я немедленно притащил все, что у меня было, и В. В. уже очно подтвердил, что у журнала самые серьезные намерения, что после редколлегии мне выделят редактора и что журнал планирует напечатать мою повесть в первой половине будущего года. Боже, как я был счастлив! Я вылетел из редакции прямехонько на бульвар, где меня ждала Зоря (я впервые представляю свою жену, хотя женился-то я в 1946-м, а ждет она меня в 1968-м. Ай-ай, нехорошо). И мы пешком шли до Белорусского вокзала и все говорили и говорили. О том, что еще предстоит сделать в этой повести, что предстоит написать в будущем и что теперь наконец-то пришла пора покончить с литературной поденкой ради хлеба насущного и работать, работать, работать! А на другой день позвонил Александр Евсеевич Рекемчук — это ему передал рукопись В. В., — сказал, что ему все нравится, что замечания у него несущественные, что он от души поздравляет меня и что будет стоять за эту повесть горой, потому что легкой жизни мне ждать не следует.

— ???!

— Да, да, нервы потреплют основательно. Но ни в коем случае не отдавайте главного!

Через неделю позвонил В. В. На сей раз голос его не гремел победным оптимизмом, а был тих и — как мне показалось — смущен. Он сказал, когда состоится редколлегия, но предупредил, чтобы я не строил радужных планов: повесть встретила серьезные возражения, в план будущего года меня не включают, редактора давать нецелесообразно и бороться надо за то, чтобы остаться в резервном портфеле журнала.

На редколлегию мы прибыли плечом к плечу с Рекемчуком. Вид, вероятно, у меня был неважный, потому что Александр Евсеевич все время наставлял:

— Будут брать за горло — покажи характер.

Началась редколлегия, повесть представлял В. В., а я настолько ошалел, что ничего не соображал. И куда делись все комплименты и поздравления? Он скупно отметил в качестве положительной стороны тематику («о рабочем классе», как выяснилось) и долго говорил об общей пессимистической тональности, с которой автору, то есть мне, предстоит серьезная борьба. Я не верил собственным ушам, но тут встал Рекемчук и в пылу спора вознес повесть на недосягаемую высоту. И тогда все дружно накинулись на меня, будто я был тайным пособником закоренелых врагов. В чем только меня ни обвиняли — именно меня, а не мою повесть, вот ведь в чем парадокс! — и в очернительстве, и в незнании жизни, и в клевете, и в перегибах, и во всех прочих мыслимых и немыслимых грехах. Но до выводов дело так и не дошло, потому что разгневанный Александр Евсеевич, обругав всех чинушами, велел мне «показать характер». Я показал, и мы с Рекемчуком хлопнули дверь в буквальном смысле слова.

Не знаю, что послужило причиной столь беспощадного разгрома, но думаю, что мне повезло. И дело даже не в том, что я — случись обратное — вряд ли написал бы «А зори здесь тихие...», а в том, что я не встретился бы с Борисом Николаевичем Полевым и редколлекцией журнала «Юность» и не возникла бы цепочка, связавшая воедино прозу, театр и кинематограф. В конечном счете все самое хрупкое — например, любовь, дети, творчество — рабы слепого случая. Закономерности действительны только для больших чисел..

Итак, рассвирепевший Рекемчук увел меня с редколлекции, велел на другой день забрать в журнале все экземпляры повести и лично отвез ее в другой толстый журнал.

Она лежала там довольно долго, но однажды меня вызвали. Я приехал, поднялся на второй этаж и был введен в кабинет Александра Трифоновича Твардовского. Он торопился, разговаривал стоя и очень коротко:

— Мы берем вашу повесть, но надо сокращать. Ваш редактор — Анна Самойловна Берзер. Слушайте ее.

Кажется, я тогда ничего не успел сказать. Вскоре Александр Трифонович умер, моя работа с Анной Самойловной отложились, но я дорожу этим мимолетным свиданием. Со мной, хотя и коротко, говорил сам Твардовский, и говорил задолго до «Зорей».

Одиннадцатого мая 1968 года в подольском военном госпитале умер мой отец, так и не дождавшийся моего признания. Оно состоялось через год, и мне всегда хотелось поступить так, как поступил герой горьковского рассказа, — прийти на могилу и доложить:

— Отец — сделано!

Но тогда оно еще не было сделано, я не знал, когда оно будет сделано, но уже знал, что сделано будет. Это не самоуверенность, а диалектический скачок, переход количества в качество: я созрел. И зрелость выразилась не в том, что я стал лучше писать, а в том, что я понял, о чем я должен писать.

Странное дело, это понимание не поддается логическому объяснению. До момента прозрения было проще: я знал, что собираюсь писать, и мог рассказать сюжет или заведомо туманно изложить нечто в заявке. Теперь эта легкость испарилась, я вдруг разучился рассказывать. Да и что рассказывать-то? Сюжет? Но разве в сюжете дело? Разве «Зори» исчерпываются историей, как пять девушек и старшина не пропустили фашистских диверсантов? Разве «В списках не значился» — это о том, как молоденький лейтенант сражался в Брестской крепости? И «Не стреляйте белых лебедей» — роман о защите окружающей среды? А «Были и небыли» — о русско-турецкой войне? Конечно же нет — они больше сюжета, шире только рассказанных событий, и это как раз и есть мое постижение литературы. Мое, личное: у других, естественно, все складывалось по-иному.

Наши предки, встречаясь, желали друг другу здоровья и расставались, прося прощения. Первоначальный смысл слов затерялся в пережитом, истерся от частого употреб-

ления: изменившийся быт исключил из обихода множество традиций, и мы уже не говорим «Здравствуй!» новорожденному и «Прости!» умирающему. И все же в нас что-то осталось, что-то не поддающееся логическому осмыслению, может быть, память предков. Иначе я не могу объяснить, откуда у меня чувство вины перед теми, кого уже нет.

Никто из нашей семьи не простился с отцом. Накануне у него была сестра: он ни на что не жаловался (он никогда никому не жаловался), был ласков и улыбочив и знал, что не доживет до утра. Сестру тогда удивило, что он ничего не попросил, но она посчитала это извечным отцовским стремлением ничем не досаждать людям. Даже самым близким и самым любимым. И Галя распрощалась с ним, как всегда, но в дверях оглянулась: отец лежал в своей излюбленной позе — на спине, бережно положив под голову свои все умеющие делать руки. Он кротко (я сознательно употребляю это архаическое наречие в наш совсем не кроткий век) улыбнулся ей в последний раз.

— А глаза у него были такие синие, будто не на меня он смотрел, а в небо,— каждый год рассказывает мне сестра.

Да, он уже смотрел в вечность, и потому у него были необычной синевы глаза. Он прекрасно прожил свою жизнь и, несмотря на незаслуженно мучительную смерть, лежал в гробу спокойно и просто. Будто уснул. Мучениям подверглось его тело, но не душа. Душа осталась незамутненной и после жизни.

Вероятно, у него были враги — нельзя честно прожить жизнь, не нажив врагов. Отец никогда не говорил о них: он говорил только о друзьях, и зло не имело у него права голоса. Он жил с ощущением, что кругом только очень хорошие люди, и всегда вел себя так, чтобы занимать как можно меньше места. Он никогда не входил первым, никогда никого не отталкивал и никогда не садился в городском транспорте. И нянечка в госпитале рассказывала, что отец последние часы не спал, а ходил по коридору: он терпел рвущие живое тело боли, но мог застонать во сне и, чтобы этого не случилось, чтобы не обеспокоить соседей по палате, бегал по госпитальным коридорам ночи напролет.

Отец вышел в отставку сразу после войны, получил участок в поселке на Зеленоградской, построил домик и уже не стремился в Москву. «Домик», правда, сказано смело: это была скорее сторожка с засыпными стенами общей площадью в восемнадцать квадратных метров, которую он построил сам от фундамента до конька крыши. Он вообще все делал сам, знал десятки ремесел и по-молодому тянулся

к новому, сам себе, например, соорудив телевизор из бросовых деталей.

Осенью поселок пустел, но отец любил тишину и одиночество: мама уезжала к сестре до весны. Отец топил печь, читал, чистил дорожки, с невероятным увлечением паял и перепайвал что-то, совершенствуя свой самодельный телевизор, и ему вечно не хватало времени. Брошенные собаки собирались к нему со всего опустевшего поселка, безошибочным собачьим нюхом определяя, что он — человек. Он кормил эту ораву, и она преданно сопровождала его в поссовет на партийные собрания.

...Когда-то мне часто снился один и тот же сон: старый запущенный сад, в голых ветвях которого путаются обрывки низких осенних туч. За садом тучи вплотную примыкают к земле, но в саду светло, тепло и тихо. Мы бродим с отцом, по колено утопая в мягкой листве. Ее так много, что кусты крыжовника и смородины скрыты под нею, как под одеялом, и я знаю, где они, эти кусты. Я разгребаю листву и собираю ягоды с голых ветвей. Огромные, перезрелые, очень вкусные ягоды.

И еще листва скрывает яблоки. Они лежат в слоях опавших листьев, не касаясь земли. Крепкие, холодные яблоки.

Мне хорошо и немного грустно. Все — низкие тучи и тепло земли, холод яблок и сладость плодов, моя грусть и сам старый сад — все, все, весь сон! — переполнено чувствами. Я не понимаю их и не пытаюсь понять; я просто счастлив, что ощущаю их, я готов обнять всю землю и слушать весь мир.

А солнца нет. Есть отец: молчаливый, небольшого роста мужчина, идущий рядом. И мне кажется, что тепло и свет — от него. Он излучает их для меня, оставаясь где-то в тени, не выражая ни одобрения, ни порицания и лишь молча протягивая мне крепкие холодные яблоки...

Приснись же, старый, как добрая сказка, сон! Ты все реже и реже посещаешь меня, и вместо твоей гармонии приходят кошмары.

Приснись мне, отец! Протяни яблоко. Согрей.

И успокой...

Я написал об отце по той же причине, что и о бабушке: он тоже был вполне определенным русским социальным типом. Ныне настолько редким, что впору вспомнить о

Красной книге. И еще потому, что должен, обязан успеть доложить:

— Отец — сделано!

Кажется, в июне 1968 года я начал писать повесть о войне. Я писал неторопливо, иногда несколько строчек в день, часто отвлекаясь. Тогда на киностудии «Ленфильм» режиссер Михаил Ершов снимал фильм по нашему с Кириллом Рапопортом сценарию «На пути в Берлин». Я часто ездил на съемки, даже снялся в эпизоде, бывал на натуре и в павильонах, а писать не спешил. У меня не было ни договоров, ни обязательств, а было тревожное чувство обязанности. До сей поры я не испытывал подобного чувства, хотя четверть века зарабатывал на жизнь пером. Но одно — «зарабатывать на жизнь», а другое — «быть обязанным». Я закончил эту повесть в апреле 1969 года, назвал ее чудовищно («Весною, которой не было», это же придумать надо, это же опять «И. Зюйд-Вестов» выскочил!), положил в конверт и отправил в журнал «Юность». Дней через десять телефонный звонок разбудил меня в шесть часов утра:

— Вы — автор повести? Никому не давайте, мы берем и ждем вас сегодня в редакции.

Звонил Изидор Григорьевич Винокуров — он тогда был заведующим отделом рукописей в «Юности». И впервые я пришел к нему, а уж он знакомил меня с работниками редакции, и в том числе — с Марией Лазаревной Озеровой: их, то есть Озерову и Винокурова, Борис Николаевич Полевой называл моими крестными. И они в самом деле мои крестные, благословившие меня в серьезную литературу.

Я узнал Бориса Николаевича Полевого задолго до того, как был представлен ему Марией Лазаревной. В 1954 году театр города Дзержинска, что на Оке, первым в стране поставил спектакль по книге «Повесть о настоящем человеке». И случилось так, что я попал на премьеру этого спектакля.

Узкий и длинный зал был переполнен, я сидел на стуле в проходе, упираясь ногами, чтобы не сползти вперед. Но вдруг запела труба, и я обо всем забыл. Я не знаю, хорошо ли играли актеры, не знаю, какова была режиссура, не знаю, удачной ли оказалась инсценировка, — я ничего не знаю, потому что подобного спектакля я более не видел. Я видел лучше — и много лучше! — но *такого* мне видеть более не привелось. Переполненный зал не пустел в антрактах: он подпевал трубе, играющей за кулисами, отбивал ритм и дышал таким единением со сценой, какого — повторю — мне ощутить более не посчастливилось. А когда

окончился спектакль, на сцену вышел Полевой, и зал поднялся, взорвавшись овацией. Не спектаклю, не актерам, нет — Настоящему Человеку, который, смущенно улыбаясь, стоял на сцене в мешковатом костюме без галстука...

— Откуда вы появились, тезка? Расскажите, как дошли до жизни такой...

Многие любят спрашивать — то ли утоляя собственное любопытство, то ли отдавая дань вежливости, — но я мало встречал людей, которые спрашивали бы с такой искренней заинтересованностью. И я рассказывал Борису Николаевичу многое из того, что намеревался написать: он оказался первым слушателем туманных, очень сумбурных, еще непонятных и самому автору рассуждений о будущих романах «В списках не значился» и «Были и небыли». Нет, Борис Николаевич никогда ничего не оценивал в подобных беседах, ничего не советовал и ни от чего не предостерегал, но слушал с таким искренним интересом, что мне хотелось писать.

— Слушайте, старина, это поразительно, что вы рассказали. Кстати, венгры подарили мне бутылочку превосходного вина, и я думаю, что нам следует выпить по глотку. Закройте дверь, я достану рюмки.

Живая заинтересованность и благожелательность были основой характера Бориса Николаевича. А ведь заинтересованность в судьбе ближнего и благожелательность к окружающим — это как раз то, чего так не хватает в нашем мире. То действительное добро, без которого трудно жить и трудно работать.

Конечно же редактор Борис Полевой не только хвалил — на полях рукописей, прочитанных им, пестрели возпросительные и восклицательные знаки, галочки и знаменитое «22!», которое я получал, кажется, чаще остальных авторов «Юности». Борис Николаевич первым обнаружил во мне «И. Зюйд-Вестова» и боролся с ним неустанно и сурово. И я стал строже писать, потому что на полях были эти «22!».

Повесть прошла обсуждения без замечаний, если не считать настойчивой просьбы одного члена редколлегии оставить в живых хотя бы одну зенитицу. Замечания самого Б. Н. Полевого сводились к трем пунктам:

заменить «шмайссеры» на автоматы, что понятнее обычному читателю;

заменить «еловое корневище» на «еловый выворотень»; ради бога, другое название (22!).



Последнее оказалось делом нелегким: мы заседали часа четыре в кабинете Марии Лазаревны на Воровского. Мы — это Озерова, Винокуров, Ирина Сергеевна Боброва и Андрей Мускатблит. Андрей исписал два листа названиями, но толку не было, как вдруг Изидор Григорьевич сказал:

— Зори тихие. Зори здесь тихие. Нет, «А зори здесь тихие...».

На этом можно было бы поставить точку. Не потому, конечно, что повесть «А зори здесь тихие...» есть некая вершина — это хорошая работа, не более того, — а потому, что эта повесть в моей судьбе оказалась перевалом: я стал писателем. Я прекратил «занятия литературным трудом», а начал писать, начал работать, осознав не только свои возможности, но и меру своей ответственности, поняв, что путь к вершинам писательского мастерства вымощен страницами *ненаписанных* романов, ибо способность подвергать сомнению собственную работу на любом этапе и есть основной признак художника. Конечно же, я не считаю, что постиг все тайны мастерства и что отныне мне подвластен любой материал и любая тема: я учусь. В этом одна из причин отсутствия моего, лично мне принадлежащего стиля: «Зори» написаны совсем иначе, чем, скажем, «Лебеди», а «В списках не значился» не так, как «Были и небыли». Я всегда стремлюсь подыскать для нового материала особую, только ему присущую форму. Не мне судить, насколько это удастся, но — повторяю — я к этому стремлюсь, ибо не стоит вливать новое вино в старые мехи.

К этому времени относится моя вторая, куда более плодотворная встреча с театром. Первым поставил спектакль по повести «А зори здесь тихие...» режиссер Ленинградского театра юного зрителя Семен Ефимович Димант: премьера была сыграна уже 9 мая 1970 года. Но успех ожидал эту повесть на другой сцене — в Театре драмы, что на Таганке. Однако это совсем иная тема, и коли касаться ее, то надо рассказать и о Ленинградском театре драмы и комедии на Литейном, и о Борисе Ивановиче Равенских, и о Михаиле Александровиче Ульянове, и о Белорусском академическом театре драмы имени Янки Купалы, и о Марке Анатольевиче Захарове, и о будапештском театре «Микроскоп», и о венгерском режиссере Иштване Иглоди, и о Русском драматическом театре в Риге, и о театре «Современник», и об Олеге Павловиче Табакове, и о Вячеславе Спесивцеве, и еще о многих, многих других: театр требует особой работы. Впрочем, как и кино.

А я еду с ярмарки.

Еще смеются рассветы, и уже чуть грустят вечера. Еще хочется танцевать, но уже просыпаешься с легкой горчинкой, вспоминая, как прыгал и махал руками. Еще, как в детстве, хочется куда-то бежать, кого-то спасти, но все чаще и чаще приходят мгновения, когда уже не хватает воздуха со всего земного шара и начинаешь судорожно заглатывать его, а он не желает лезть в твою грудную клетку.

А ведь там бьется сердце. Оно всю жизнь бьется в клетке, и мало, ох как мало счастливых, которые выпускали это сердце на волю! И если я завидую кому-либо, то только этим безгранично свободным людям.

Прожитая жизнь — одеяло, которым тебя когда-нибудь закроют с головой. Оно может оказаться теплым, коротким или подмоченным, а у меня — лоскутное. Ничто не вечно, но если хоть один лоскутик мой понадобится людям через четверть века, я буду иметь все основания считать себя счастливым. Нет, мне не приснилась моя жизнь — я сшил ее себе сам. Как умел, как мог, но — сам. И на основании этого рискну утверждать, что признаю лишь один талант — неистребимую жажду работы. Через соблазны, через усталость, через «не хочу» и через «не могу». И талант этот — не от бога и не от природы, а только от родителей. И я встаю на колени и низко кланяюсь им, как мама когда-то кланялась праху доктора Янсена.

Я жил страстью, а не расчетом, не оглядываясь по сторонам и не прикидывая, что ждет впереди. Я плыл не против течения, не по течению, а туда, куда указывал вложенный в меня компас, стрелка которого с раннего детства была ориентирована на добро. И я никогда не задумывался, добро ли я совершаю или зло, веря, что зло от чистого сердца во сто крат лучше добра по расчету. Да, я многих обидел и многим причинил боль, я грешен, как грешен любой из нас, но пот смывает все грехи, если пролит он для людей и за людей. И это единственное средство остаться чистым в наш век загрязненной окружающей среды.

Ах, как спешат мои кони! Я не гоню их, но и не удерживаю, будучи твердо убежденным, что нужно прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни. А дни мелькают, как верстовые столбы, и мне неведом их конечный счет. И это прекрасно, и надо каждый день начинать так, будто он — последний, а ложаешься спать, с ликованием ощущать, что впереди — целая жизнь. Да притом еще и непочатая.

Писателя отличает одно странное свойство: способность отчетливо помнить то, что с ним никогда не случилось.

Это не память разума, а память всех чувств, свойственных человеку, и когда разворошишь ее — видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь, как наяву. И коли случается такое — разговариваешь с героями как с реальными людьми, болеешь их болями и смеешься их шуткам. И если ты искренне болеешь и от души смеешься — читатель тоже будет болеть и смеяться. Он заплачет там, где плакал ты, вознегодует твоим гневом и засияет твоей радостью. Если ты был искренен. Только так. Искренность писателя есть его единственный пропуск в читательскую душу. Разовый, разумеется. И всякий раз его приходится выписывать заново каждой новой строчкой.

А еще мне представляется, что писатель — Творец. Он создает мир, который не существовал ранее, и населяет его людьми, рожденными не женщиной, а им самим. Он управляет событиями в этом созданном им мире, он вяжет из событий истории, он заставляет солнце светить, когда он этого хочет, и присылает дожди и ненастья по собственной воле. У него огромная, божественная власть в мирах, сотканных им из собственной бессонницы, и значит, он должен быть справедлив, как высший судья. А справедливость — это победа добра.

И я мечтаю об этой победе. Я мечтаю о ней постоянно, неистово и нетерпеливо и сражаюсь за нее на всех доступных мне фронтах. Добро должно восторжествовать в этом мире, иначе все бессмысленно. И я верю, оно восторжествует, потому что мои мечты всегда сбывались.

Правда, одна мечта так и осталась несбыточной. Я всю жизнь мечтал передохнуть. Долго-долго — с мая по октябрь — бродить по селам и рекам, встречаться с людьми, собирать грибы, ловить рыбу, с уютной думою глядеть в ночной костер и просыпаться от капель росы. А вместо этого я все бегу и бегу неизвестно куда, бегу, задыхаясь и падая, и все никак не могу добежать.

Ах, как быстро летят мои кони!..

1980

## ПОСТСКРИПТУМ

Эта повесть была опубликована в журнале «Юность» в 1980 году. Правда, опять не под моим названием: я назвал рукопись «Взбежать на холм и отдохнуть в траве», но редакция заменила его на «Летят мои кони».

Дело не в названии — дело в ощущении незавершенности. Я писал и печатался, а ощущение не проходило. Лет через восемь, что ли, я надолго попал в больницу, оторвался от начатых работ, а времени было много, и в конце концов я начал записывать нечто для самого себя. Это — не проза, это — заметки к ней, которые я никогда не осмелился бы напечатать, если бы не неожиданный возврат в прошлое, случившийся в январе 1993 года.

Года два или три назад научно-популярные журналы (в особенности «Наука и жизнь») опубликовали серию статей, посвященных одному открытию: оказывается, полушарии нашего мозга отвечают за различные проявления разума. Одно из полушарий регулирует рациональный анализ предложенных обстоятельств, другое — эмоциональный, и только во взаимоотношении этих анализов, в их согласном труде человек и находит решение, максимально приближенное к идеалу. Неодинаковым развитием полушариев объяснялись заодно и чисто практические склонности людей, условно говоря, к «физике» или «лирике», их способности, взгляды и тому подобное. Это несколько обескураживало, но и только, а, помнится, поразило меня иное. Остроумная теория не объясняла, в каком полушарии искать совесть, честь, благородство, милосердие, достоинство, гордость и их антиподы, на перечисление которых не хватит времени. И я понял, что для объяснения не человека как представителя животного мира, а человечества как феномена мироздания мне мало двух полушариев, ибо секрет того, как и почему человек стал человеком, находится в некоем третьем измерении.

Я помню себя очень маленьким. Меня ведет за руку отец, и теплая, нежная пыль смоленской проселочной дороги ласкает мои голые ноги. Прошло шесть десятков лет, я — пожилой человек даже по меркам современности, а ласка родной земли до сей поры ощущается мною физически, я чувствую ее давно огрубевшей кожей. Не с этой ли целью отец заставлял меня ходить босиком?

А встречные мужики непременно приподнимают шапки (в те времена взрослые не появлялись вне дома с непокрытыми головами), и отец старомодно прикладывает ладонь к фуражке. Старомодно потому, что отдание чести было отменено в Красной Армии, но отец упорно придерживался офицерской привычки. И чуть сжимал мою руку:

— Поздоровайся, Боря.

Лаской земли и вежливостью людей встречала меня Россия через десять лет после Революции и в самом начале своего конца, официально поименованного коллективизацией. И вот ее я не помню: для меня она олицетворялась лишь в том, что меня перестали увозить на лето в Высокое — имение моего деда с материнской стороны Ивана Ивановича Алексеева. Это был старый особняк с двумя пристроенными крылами и огромным запущенным садом. Его не тронули в Революцию, но, думается мне, совсем не потому, что дед Иван Иванович был народником и членом кружка Чайковцев.

Я не помню своего деда, и с единственной чудом уцелевшей фотографии на меня смотрит усталое чужое лицо. Мама много рассказывала мне о нем и о его брате (своем дяде) Василии Ивановиче, который был учителем старшего сына Л. Н. Толстого Сергея: в воспоминаниях Сергея Львовича «Очерки былого» часто упоминается о Василии Ивановиче не только потому, что он был учителем, но и потому, что именно В. И. Алексеев спас рукопись «Евангелия» Л. Толстого, переписав его за ночь, о чем не знал Синод, уничтоживший оригинал.

Но это — к слову о семье, в которой мне посчастливилось родиться. А из рассказов мамы непосредственно о деде я особенно отчетливо запомнил один.

Дело было еще в Мировую войну, когда мама вместе с отцом, получившим отпуск по ранению, приехала в Высокое. Дед очень обрадовался приезду дочери с зятем, но, будучи человеком весьма сдержанным, начал с показа хозяйства: по словам моего отца, он был никудышным хозяином и именно поэтому любил похвастать своими успехами. А в данном случае они заключались в том, что деду удалось разыскать плотника, что в уже порядком обезлюдевших к тому времени деревнях было и впрямь непросто. И они пошли вслед за дедом, но, подойдя к месту работы, дед вдруг замедлил шаги, а потом остановился и прижал палец к губам.

В тенечке под стеной сладко спал с таким трудом нанятый плотник.

— Тише, — шепотом сказал дед. — Отдыхает.

И чуть ли не на цыпочках вернувшись к дому, с горечью вздохнул:

— Устали люди.

Л. Н. Толстой любил рассказывать своим детям, как молодой священник Аким воровал яблоки из сада любимого брата Л. Н. Николая («Николеньки»). И во время этого воровства сам хозяин Николай Николаевич тихо сидел в кустах и очень боялся, что Аким его заметит и тем самым попадет в неудобное положение.

Для меня эти два случая — из одного ряда. Из «третьего полушария», которое так берегла и лелеяла русская интеллигенция.

Прошло много лет — у нас ведь время измеряется не годами, а трагедиями: революцией, коллективизацией, Великим террором, Великой войной, голодом, страхом, потерей близких, утратой собственных корней — и моя тетья Татьяна Ивановна решила навестить Высокое, на сельском кладбище которого возле церкви похоронен ее отец и, следовательно, мой дед. Это был 1974-й год; на обратном пути в Ярославль, где она тогда жила, тетья заехала ко мне и рассказала об этом последнем поклоне.

Намереваясь поклониться могиле отца и побывать на родине, тетья, по ее собственному признанию, ни на что не рассчитывала. Ее отец умер в двадцатых годах, сама она в то время жила в Смоленске, откуда и приезжала на похороны вместе с моей матерью. Но потом все вскружилось и взбаламутилось, озверелая борьба с церковью и столь же озверелая коллективизация отрезали дворянским дочерям дорогу к могиле собственного отца, а через несколько лет арестовали мужа тети Тани, но саму ее не тронули, предписав безвыездно жить в г. Жиздре. Затем — война, проутюжившая смоленскую землю, угон в Германию тети с дочерью и маленьким сыном, возвращение, новое предписание проживать в захолустье, и только спустя почти двадцать лет — Ярославль, где в то время работал ее сын Вадим и где случилось ей закончить свою жизненную Одиссею. Не на что было рассчитывать, но родина есть родина, и тетья Таня ехала скорее поклониться ей, чем могиле отца, отыскать которую у нее практически не было шансов. С этими мыслями она добралась до Ельни и села в машину, которая шла мимо села Высокое. А кладбище и церковь располагались где-то недалеко от Высокого, и, когда водитель сказал: «Церковь», тетья сошла, не раздумывая.

Церковь оказалась действующей. Службы не было, тетья сразу же направилась к священнику, который выглядел весьма молодо, что тетю поначалу огорчило. Узнав, что

она приехала повидать родные места, что знакомых в селе у нее нет, священник предложил ей перекусить, а уж потом вместе пойти в село, где его ждала заболевшая прихожанка. И за чаем, слово за слово, тетя рассказала, что подле этой церкви полвека назад был похоронен ее отец.

— Под белым каменным крестом?

— Да,— сказала тетя, и, как она сама признавалась, сердце ее замерло.

— Ваш отец — Алексеев Иван Иванович? Я провожу вас к его могиле.

И крест оказался на месте, и могила выглядела ухоженной. Когда тетя отплакалась, священник рассказал, что, по словам его предшественника, могилу восстановили прихожане сразу после войны.

Затем священник проводил тетю Таню в село. Почти все избы были новыми, и тетя невесело подумала, что ей уже не найти никого, кто мог бы рассказать о полувековом перерыве. Но тут священник предложил тете зайти с ним вместе к захворавшей прихожанке. И тетя следом за ним вошла в новую избу, освещенную настольной лампой. За столом сидела молодая пара.

— Батюшка пришел! — крикнула женщина.

— Иду, батюшка,— слышался старческий голос из другой комнаты.

Вошла маленькая старушка, и в этот момент муж дочери зажег полный свет. Никто ничего не успел понять, как старушка качнулась, быстро подошла к тете Тане, обняла ее и тихо сказала:

— Здравствуй, барышня.

Нет, не дочь местного помещика обнимала старая женщина: она обнимала землячку, ровесницу, свидетельницу юных надежд и мечтаний. Не крестьянка трогательно обнималась с дворянкой: трагически разорванная цепь общерусской судьбы, преемственности, традиций, веры предков и общей памяти в этот миг соединились. Встретились два звена; все это поняли, и благоговейная тишина стояла в доме, пока в объятиях друг друга рыдали сестры смоленской земли.

Тетя Таня гостила в Высоком три дня. А перед отъездом землячки устроили ей общие проводы, и это был единственный банкет в ее многострадальной жизни.

После того, как нам в Высокое путь был заказан, мои родители каждое лето отправляли меня в деревню, и я первым делом сбрасывал сандалии (тогда было принято их

носить). Отец никогда не утверждал, что хождение босиком полезно для здоровья (он вообще почему-то не любил слово «польза»), но был свято убежден, что родную землю необходимо ощутить босыми ногами с самого раннего детства. Мы жили в Вонлярово, потом — в Красном Бору, причем мама с Галей ночевали в доме (дач тогда не было: во всяком случае я их не помню), а мы с отцом — на сеновалах: право ночевать там всегда заранее оговаривалось. Отцу редко удавалось вырваться из города (командиры тех времен, как, впрочем, и все, работали от зари до зари); но я не боялся ночевать в одиночестве. Я быстро обзавелся друзьями — в детстве я был чудовищно общительным — и частенько ночевал с новыми приятелями на чужих сеновалах, в стогах, а порою и где придется. Маму это держало в известном напряжении, но отец поощрял мою независимость.

И однажды — это случилось в деревне Волково по Старо-Московскому шоссе — меня с приятелями разбудили на рассвете:

— Бабка Семеновна повесилась!

Старая женщина окончила свою жизнь на опушке леса. Она привязала веревку к суку, надела петлю на шею и подогнула колени. Я и сейчас вижу ее пугающее мертвое лицо и колени, недостающие до земли.

За три дня до этого в селе закрыли церковь. И не просто закрыли, а разгромили: мы бегали смотреть на этот разгром и орал от неистового восторга. Здоровенный мужик, взобравшись на крышу, бил кувалдой по кресту. Крест вздрагивал, но не гнулся, купол глухо гудел, с тяжким звоном била кувалда, а во дворе весело жгли иконы, книги, церковные облачения.

«...сумасшедшие взбунтовались, заперли врачей и слушателей дома душевнобольных и сами стали хозяйничать...»

Этот анекдот любил рассказывать своим детям Л. Н. Толстой.

Должен отметить, что я был подготовлен к школе примерно так, как если бы поступал в гимназию: я не просто умел читать, писать, считать: я был ознакомлен с русской историей, представлял, что такое география и даже имел некоторые познания в астрономии: знал все планеты, Большую Медведицу, Полярную звезду. Помню, как отец, взяв в руки глобус, плавно обносил его вокруг керосиновой лампы, объясняя мне не только смену дня и ночи, но и времен года. Я помнил массу стихов, очень горевал, что



Пушкина и Лермонтова убили на дуэли, что Гоголь сошел с ума, что Чернышевского посадили в крепость, а Достоевского сослали на каторгу, и тем не менее я не ощущал никакого преимущества в 1-м классе 13-й школы. Может быть потому, что в здании этой школы еще витал дух гимназии, а в центре города Смоленска еще не вытоптали остаток русской интеллигенции, готовившей своих отпрысков по старинке, загодя и — дома, что весьма существенно.

Но уже во втором классе я оказался совершенно в ином положении. Страшный голод, поразивший Украину и прилегающие к ней черноземные области России, двинул на север огромные массы беженцев. Такого количества просящих подаяния полутрупов, бездомных детей, нищеты и горя, я думаю, Смоленск не видывал за всю свою историю. В зиму 1931 — 32 годов мертвецы на улицах стали таким же обычным явлением, как и подкинутые малолетние дети, которые еще не могли сами прибиться к армии беспризорников, оккупировавшей смоленские подвалы, подземелья и башни Крепости.

И на следующий год я, продолжая числиться за школой № 13, учился в каких-то полутемных комнатах какого-то неизвестного мне здания. В классах было набито по шестьдесят, а то и по восемьдесят детей, мы сидели по трое на партах, и вши свободно путешествовали по тихой (голодные дети всегда тихие), удивительно послушной толпе. Меня ежедневно мыли дегтярным мылом, остригли под «нулевку», бабушка ощупывала каждый шов моей одежды и каждый миллиметр моего тела, но в больницу я все-таки угодил. Правда, никто не знал, а сам я не говорил, что высиживал в школе только до большой перемены, когда раздавали по тоненькому кусочку черного хлеба с постным маслом. Получив еду, я немедленно сбегал к беспризорникам, с которыми очень сдружился, и поэтому понять, где я подцепил тиф, — сложно.

Если наложить собственную жизнь на жизнь страны, возникает история не как наука, а как биография народа. Без громких событий и громких имен, без лозунгов и призывов, без насильственных свершений, всеобщей истерии и постепенно — грошик к грошику — накапливаемой ненависти к тем, кто объявлялся виновником все возрастающих трудностей, при всеобщем ожесточении и непонимании, что же происходит не где-нибудь, а тут же, рядом, на до последней выщербленки знакомых улицах родного города.

Куда вдруг исчезла семья жившего этажом ниже инже-

нера, упорно ходившего в старомодной инженерной фуражке? Дети его были старше меня, я с ними не дружил, но всегда здоровался, как то было принято в те последние годы российской агонии. Их комната (под нами) некоторое время пустовала, а потом туда вселился жилец, о котором мне запрещено (категорически!) было говорить кому бы то ни было. А мне было непонятно, что он один (ОДИН!) занимал целую квартиру в то время, когда во всем Смоленске не осталось ни единого незаселенного подвала, когда жителей было несоизмеримо больше, чем кроватей, когда жили в крепостных башнях, казематах, церквах и даже в склепах.

Я рано ложился спать: до пятнадцати лет я не помню случая, чтобы меня не отправили в постель позднее половины десятого. Зато и вставал я не позже семи; меня будили и сразу же поднимали — я не знал, что значит нежиться в постели поутру. Позавтракав кашей (почти праздник!), а чаще поджаренной на сковороде болтушкой из ржаной муки, я отправлялся на улицу, поскольку отец был убежден, что необходимо гулять перед занятиями в школе. Так было заведено не ради «пользы», а ради строгого распорядка дня, который отец считал основой воспитания. В этот распорядок входило множество мелочей: никогда ничего не есть между завтраком, обедом и ужином; пить только дома; заниматься чем угодно, но непременно одному; читать вслух не менее одного стихотворения; обязательно рассказывать прочитанное; застилать собственную постель, убирать со стола, выносить мусор, колоть и носить дрова и еще бездна всего иного. Многие я сохранил и по сей день, что-то уже растерял, но долг перед семьей, стремление никого не обременять и посылить помогать другим — это отцовское наследство. Единственное, кроме командирского ремня со звездой на пряжке.

И вот однажды, выйдя ранним утром в наш огромный двор, я увидел под окном бывшей квартиры исчезнувшего инженера... французскую булку, ныне называемую городской. Я видел их куда реже, чем современный мальчик видит кокосовые орехи, и поначалу не поверил собственным глазам: зажмурился, потряс головой, но булка не исчезла. И тогда я схватил ее и, в нарушение всех отцовских наставлений, съел до последней крошечки. Ел, забившись в угол, давясь и отчетливо понимая, что совершаю нечто почти противозаконное.

Наш двор ограничивала тыловая сторона дома, когда-то бывшего гостиницей — фасад ее выходил на Большую Советскую напротив магазина «Культтовары». И как-то на

общую дворовую помойку оттуда вынесли две огромные плетеные корзины очисток от жирной копченой воблы. Было раннее утро, и когда я вышел во двор, помойка буквально кишела беспризорниками. Они грубо отпихивали качавшихся от голода нищих, но мне дали место. И я жадно обсывал эти отбросы в шуме, ругательствах и слезах тех, кого не допустили к пиршественному столу.

А ведь в то время люди не просто недоедали, а падали от истощения, и мне не раз приходилось видеть торчащие из сугробов головы, руки или ноги погибших холодными ночами. А из бывшей гостиницы, именуемой теперь Домом ответработников, корзинами выносили жирные очистки и выбрасывали из окон булки.

Нет, я не голодал. Я недоедал, но это неважно. Я видел голод и видел чудовищную, необъяснимую безнравственность, которой до жестокости оставалась крохотная грань. Горькая чаша переполняется горькими каплями, и я спешу, спешу, потому что эти капли — дни моей жизни. Я ощущаю их изнутри, вероятно тем самым «третьим полушарием», которому так и не нашли места ученые мужи в живом человеке. Спешу и потому что-то пропускаю, а пропускать нельзя ничего, ибо это — капельки. И им следует знать счет, чтобы понять, как, когда, каким же образом переполнилась чаша.

У меня были два брата-кузена — Павел с материнской стороны и Евгений — с отцовской. И еще у меня была прекрасная коллекция старинных монет, изломанного старого оружия, мундирных пуговиц, каких-то регалий, расплющенных свинцовых пуль и даже нательных крестиков и образков. Страсть к собирательству — абсолютно бессистемному, дилетантскому — сохранилась у меня и до сего времени. Но первыми, кто пробудил во мне эту страсть, были мои братья.

Дело в том, что, будучи представителями враждебного класса, они не могли поступить ни в одно учебное заведение. Необходимо было в рабочем котле смыть с себя вредоносную накипь привилегированного сословия, и братья пошли на биржу труда. Не знаю, сколько времени они обивали пороги, но в конечном счете им выдали ломы, рукавицы и отправили... разбирать Смоленскую Крепость. То самое «ожерелье Земли Русской», о которой с такой гордостью отзывались современники. И сокрушая на века, на нас сегодняшних рассчитанную кладку, они все находки приносили ко мне. Теперь-то я понимаю, когда зародилась идея труда ради процесса воспитания, то есть труда бессмысленного, а потому изначально безнравственного.

И нельзя забывать об этих каплях: позднее они воплотятся в строительство Беломорканалов, БАМов, во взрывы храмов, башен, усадеб и дворцов. Все начинается с бессмысленности.

Я не помню начала массовых арестов. Я помню исчезновение людей, которые иногда появлялись у нас и о которых после их исчезновения категорически запрещалось упоминать. Они автоматически уходили не только из жизни, но и из памяти, но я бы не хотел, чтобы из этого был сделан вывод о равнодушной осторожности семьи, в которой я рос. Такова была система, а чего она стоила моим родителям, мне уже никогда не узнать. Конечно, они не были борцами (отец всю жизнь исповедовал идею, что армия должна стоять вне политики, учитывая ее «слепое могущество» — его слова), но можно себе представить, чего им стоило как понимание, так — в особенности! — и приспособленчество в предложенных условиях.

Помню, как плакала Галя. Она мечтала о медицинском институте, но отец довольно сурово приказал ей после 7-го класса поступить в электротехникум. Теперь-то я понимаю, почему он так сделал: в школе хорошо знали о ее происхождении, а в техникуме ее ожидала новая среда. Полагаю, что с нею отец провел тот же разговор, что и со мной: никогда не говорить о Высоком, не упоминать о деде и во всех анкетах писать: сын военнослужащего. А мама — хорошо помню! — умоляла бабушку не говорить по-французски хотя бы в очередях.

— В России объясняются по-русски!

— Увы, ныне в России объясняются по-площадному. Нет русской брани: есть только площадная брань.

Наша семья мимикрировала стремительно, но я не имею права ее укорять. Все воспринимали предложенные правила поведения, и только бабушка упорно не желала этому подчиняться. Дважды ее забирали какие-то добродоты, но отец выручал, а один раз довольно жестоко побили, но не помню, чтобы и эта мера «общественного воздействия» хоть как-то подействовала на нее. Она чуть сбавила тон, когда арестовали мужа ее дочери Татьяны Ивановны, а саму тетю Таню сослали в Жиздру, но не потому, что испугалась, а потому, что поняла главное:

— Порядочность стала преступлением.

Утро отнюдь не красило нежным цветом древние стены России. Утро было свинцово холодным, утро отбирало тепло от людей: начиналась Великая Энтропия перекачки живого к омертвленному.

Люди быстро сжимались в комочек. Я хорошо помню, как исчезала застольная беседа, сопряженная с долгим,

неторопливым чаепитием. Ради нее собирались тогда не только представители старой интеллигенции, но и соседи, горожане. К нам приходили сослуживцы отца, мамыны приятельницы и даже бабушкины знакомые по многочисленным очередям, и начиналось действо, а не просто разговор, как таковой. Чисто русское действо, о котором наши внуки узнают лишь по словарям под ныне неупотребляемым словом «беседа». Если захотят.

Однажды я глупо созорничал на такой беседе. Дело в том, что гости, как правило, приносили ломтик хлеба и совсем крохотный кусочек сахара. Все это складывалось в общую хлебницу и сахарницу, но я умудрился раздобыть горчицу и успел незаметно вымазать ею два кусочка хлеба. Естественно, это сразу открылось, все пытались обратить проказу в шутку, но мама расстроилась, хотела прилюдно отчитать меня, но отец отправил спать. Мой топчан находился за печкой, я немного помыкался, поняв, что совершил пакость, но скоро уснул. А проснувшись, увидел суровые глаза отца, и мне стало стыдно до жара.

— Постарайся никогда не делать вечером того, от чего утром будет стыдно.

Вот и все, что он сказал. А мне и сейчас стыдно, когда вспоминаю те тоненькие лепестки тяжелого черного хлеба, которые люди отрывали от себя ради беседы.

Странное свойство воспоминаний: с горечью пишешь об утраченном навеки чисто русском явлении, и вдруг ощущаешь во рту физическую горечь и аромат той горчицы, которую готовила бабушка, не тратя драгоценного сахара, а обходясь какими-то ей одной ведомыми приправами. И еще — мамин постный сахар, неременный атрибут тех бесед. Он только назывался так, а готовился из молока и того сахарного песка, что полагался отцу в пайке. На сладкий чай его не хватало, все пили «вприкуску», и мама варила песок с молоком: до сих пор помню тарелку, в которой он застывал. Может быть потому, что вылизывать эту тарелку было моей привилегией.

А еще все ребята жадно и много ели всякие травы, едва они прорастали. Не знаю, что мы ели, и тогда не знал: ослабевший организм не просто требовал зелени, но и безошибочно подсказывал, что именно можно есть. А торгсиновские витрины и сквозь стекла источали аромат колбас и сыров, шоколада и апельсинов, но нас быстро гнала от этих витрин недремлющая милиция.

На углу Большой Советской и Пушкинской («под ча-сами») торговал едва ли не последний разносчик: длинный худой китаец с растерянной улыбкой. Он продавал бумаж-

ные фонарики, воздушных змеев, веера, шарики на резинке — все домашнего производства, за гроши. И он исчез как-то внезапно, тихо, незаметно. И маленький скверик на Пушкинской, гордо именовавшийся «Садом имени товарища Томского», тоже вскоре утратил свое имя. Все исчезало, и если мне, мальчишке, любое исчезновение равно как и появление нового казалось самим существом мира взрослых, то каково было этим взрослым, я и сейчас с трудом могу себе представить. Мы пережили НАШЕСТВИЕ, куда страшнее иноземного. Ведь иноземное иго сплачивает коренное население, стирая грани его сообществ, но наше иго, будучи внутренним, играло на этих гранях, ибо могло существовать, только разрушая единство народа.

1988 г.

Признаюсь: еще месяц назад я не понимал выражения «Малая родина». Я люблю Смоленск, где родился, где пошел в школу, но город — даже такой небольшой, каким был Смоленск моего детства, — не дает ощущения, что земля под тобою и есть земля предков твоих. Тем более, что отца часто переводили в другие города и городки, и войну, к примеру, я встретил в Воронеже у дверей 54-й неполной средней школы.

А 17-го января этого, 1993 года я трясся в газике, который вел Глава администрации Ельнинского района Смоленской области Тимофей Васильевич. А вокруг были поля да бесконечные березняки, деревни попадались редко, и новые избы в этих деревнях особенно бросались в глаза, потому что был этот край опустошен и заброшен, беден и неуютен, как и вся наша Великороссия, центр кристаллизации русского народа, безумным и безнравственным решением сверху превращенный в пустынную обезлюдевшую часть суши под названием Нечерноземья. Здесь много лет укрупняли и разукрупняли, сводили начисто обжитые места и перепахивали кладбища, что-то начинали и не заканчивали, с чем-то кончали и забывали навсегда, как Фирса, и эти всеми забытые Фирсы обеих полов тихо и покорно доживали свой век, и дети здесь были редки, как великодушные в наши дни. И если в Ельнинском уезде сто лет назад проживало 142 250 душ обоого пола, то теперь доживает 19 тысяч.

Тимофей Васильевич вез меня на могилу моего деда. А я толком не знал, где она: я бывал в селе Высоком

совсем маленьким, еще до школы, и почему-то считал, что дед похоронен возле церкви того же села.

А началось все с того, что интеллигенция Смоленска, объединившаяся в «Смоленское Собрание», пригласила меня посетить родной город. Перед этим его сопредседатели главный режиссер Смоленского театра драмы Игорь Александрович Южаков и доцент педагогического института Михаил Ефимович Стеклов дотошно расспрашивали меня о моих предках. И я рассказал им о деду по матери Иване Ивановиче Алексееве, потому что он был не только моим дедом, но и героем моего романа «Были и небыли» Ваничкой Олексиным. И по чисто советской привычке особо упирал при этом, что дед был народником, одним из первых членов кружка Чайковцев, ходил «в народ», сидел в «Крестах», строил со своим братом Василием Ивановичем коммуны в штате Канзас по рецепту Фурье. Что после провала этого эксперимента закончил Техноложку, служил в Варшаве, Бресте, где-то еще, и закончил свою жизнь на родине в селе Высоком Ельнинского уезда. И добрые, отзывчивые, интеллигентные в старом русском понимании этого слова мои смоленские друзья решили преподнести мне сюрприз: отыскать могилу моего деда.

— В селе Высоком церкви нет и никогда не было, — сказал мне Тимофей Васильевич, когда мы добрались до Ельни. — Ближайшая церковь — в селе Уварово, и ваш дед мог быть похоронен только там. Однако церковь была закрыта в начале 80-х, начала действовать недавно, архивы неизвестно где. Будем искать на месте.

Церковь оказалась маленькой, приземистой и старой — конца 18-го — начала 19-го столетий. Кладбище за нею существовало, но ни крестов, ни могил не просматривалось под снегом: его еще не привели в порядок. Мы попали к концу службы, что шла в наспех отремонтированном правом приделе, прихожан оказалось на редкость мало, в основном старушек. Пожилой священник приехал недавно и ничего не знал. Я стал толковать что-то о народнике Алексееве, но Тимофей Васильевич перебил меня:

— Ну, а тут-то кем был ваш дед?

— Помещиком, — со всей вложенной в меня советской застенчивостью признался я.

— Это проще. Про народников мои старушки и слыхом не слыхивали, а помещика, поди, не забыли!

Не забыли. И с помощью некоего Алексея Васильевича, на которого указали старушки, мы быстро установили, что Иван Иванович Алексеев, помещик села Высокое, действительно похоронен здесь, при церкви, но крест с могилы

кто-то куда-то увез, а место Алексей Васильевич знает и готов показать, когда растает снег. Заодно он вспомнил, где была усадьба («Белый дом в два этажа...»). Точно: белый, двухэтажный, помню! И мы поехали в Высокое: дома его уже напользли на разрушенную в войну усадьбу, но еще сохранились две аллеи, когда-то ее ограничивающие. Аллеи, по которым я — давным-давно! — бегал. Точнее — учился бегать.

На обратном пути я молчал, и сопровождающие ко мне не обращались, понимая, что происходит в душе моей. Я переживал огромное потрясение: я нашел свой корень. Нашел не рассудочно, не умом: я ощутил его всем своим существом, чувствами, подкоркой. Генетическая нить вдруг обрела реальность, которой я, офицерский сын, обитатель военных городков и гарнизонов, был лишен, казалось, навсегда. Я — горожанин, мне в полной мере свойственны как достоинства, так и недостатки городского жителя, но тогда, подпрыгивая на ледяных ухабах в «газике», я впервые с горечью подумал, насколько же город беспощаден к родовым корням своих собственных горожан. Я вспомнил отцовский гроб, уплывший от меня на лифте Донского крематория, и гроб матери, через десять лет повторивший тот же последний... нет, не путь — спуск в никуда, в ничто. Я не бросил горсти земли на их гробы, их прах не растворился в земле, у них — захоронения урн, а не могилы. И у меня осталась память, только — память, а не реально существующие места их последнего упокоения. Это были даже не мысли, а скорее — чувства. Предмыслие.

Я прожил достаточно длинную жизнь, чтобы ощутить, а не просто логически понять все три этапа, три поколения русской интеллигенции от ее зарождения до гибели через ступени конфронтации, физического уничтожения, мучительного конформизма уцелевших до возрождения веры в гражданские права и горького понимания, что интеллигенция так и осталась невостребованной. Ведь необходимость и сила русской интеллигенции была в ее понимании своего гражданского долга перед родиной, а не просто в исполнении тех служебных функций, которые столь характерны для западных интеллектуалов и которые силой насаждала сталинская деспотия. Ее вызвал к жизни отнюдь не зарождающийся рынок России, а общественная потребность, жажда внести свой вклад прежде всего в гражданское становление общества.

Толстой яростно спорил с официальной церковью вовсе не потому, что его обуяла гордыня: феодальное построение церкви, феодальное мышление ее пастырей, наконец, феодальная зависимость высших церковных структур уже не отвечали



изменяющимся потребностям общества, начинали сковывать как личную свободу, так и личную инициативу русской буржуазии. Личность не только способна обходиться без посредников между Богом и своей душой, но и обязана: это главное условие ее дальнейшего развития — вот основной мотив Толстовского религиозного учения. Совершенствование личности без полуграмотных попов, без лживых иерархов, без средневековой мишуры богослужения — в этом он видел завтрашний день христианства, без которого, по его глубококому убеждению, русский народ никак не может обойтись.

А русская адвокатура, столь богатая яркими талантами? Впервые за все время существования нашего народа она открыто выступила в защиту личности против государства, взывая прежде всего к гражданскому чувству присяжных, даже если эти присяжные тщательно подбирались Охранкой, как то случилось в знаменитом «Деле Бейлиса».

А русская журналистика, представленная такими именами, как Короленко, Гиляровский, Дорошевич? Полистайте журналы того времени: великосветские сплетни и даже государственный официоз отходят на второй план, потесненные статьями и очерками о быте простых людей, о которых авторы всегда рассказывают через личность, утверждая ее, как основное богатство нашего народа.

А русское купечество, из среды которого вдруг вышла целая плеяда меценатов и — ни одного «спонсора»? Миллионы, еще вчера преподносившиеся церкви для спасения своей многогрешной души, вдруг переадресуются русскому искусству для спасения души народа без тени самоутверждения, не ради тщеславия или, Боже упаси, прибыли. И здесь — борьба за личность, за ее просвещение, развитие и конечное торжество.

Хорошо, это — вершины, хотя Толстой говорил, что суждение о народе надо основывать на его вершинах, а не на унылой среднестатистической арифметике, что было излюбленной манерой Советской власти. Но судьба деда, реальную могилу которого я обрел? Он был потомком старых псковских дворян Алексеевых: это в доме его деда Александра Алексеева, поручика Псковского полка, жил в Кишиневе его земляк Александр Сергеевич Пушкин. Это из него позднее вся жандармерия во главе с Бенкендорфом выколачивала признание, не ему ли Александр Сергеевич поручил распространение запрещенных строф из «Андрэ Шенье»? Поручика Александра Алексеева разжаловали в рядовые не столько за стихи, сколько за отказ сообщить, откуда они у него оказались, а он через год вернулся с Кавказа в офицерских погонах с «Георгием» на груди, как

о том мне, его далекому потомку, рассказывал покойный Натан Эйдельман. А его вполне обеспеченные внуки — я имею в виду своего деда Ивана Ивановича и его брата Василия Ивановича — вдруг умчались в Америку доказывать, что свободный труд свободного человека способен сотворить чудо. Чуда не произошло, братья разорились, но ведь они искали не выгоды, не барышей, а тропинки спасения для освобожденной личности.

Русская интеллигенция была востребована историей для святой цели: выявить личность в каждом человеке, восславить ее, укрепить нравственно, вооружить не раболепием православия, а мужеством индивидуальности. А ныне то тут, то там начинают мелькать статейки об историческом преступлении русской интеллигенции: их пишут холопы, так и не ставшие интеллигентами. Бог им судья, хотя невежество оскорбительно не для почивших, а для живущих. Русская интеллигенция породила не только Чернышевского с топором и Ленина с его невероятной харизмой, но и Герцена, утверждавшего, что для торжества демократии необходимо сначала вырастить демократов; и Плеханова, поддерживавшего Временное правительство, поскольку, по его убеждению, «Россия еще не смолола той муки, из которой можно было бы испечь пирог социализма». Я мог бы привести массу подобных примеров, да стоит ли? Интеллигентом нельзя стать, даже получив диплом с отличием: это — нравственная категория, а не мера образовательного ценза.

И эта высочайшая нравственность русской интеллигенции, ее чувство сопричастности к судьбе народа были отринуты левыми экстремистами, захватившими власть. Для них все было ясно, все — объяснимо, а потому они не просто не нуждались в личности — они считали своей задачей ее разрушение. Послушный специалист всегда предпочтительнее думающего, сомневающегося и страдающего интеллигента, а потому второе поколение русской интеллигентной и нравственной элиты — поколение моих отцов — было поставлено перед дилеммой: либо конформистское служение властям, либо — уничтожение. А под уничтожением Советская власть всегда понимала не только самого строптивого, но и его семью, что проводилось в жизнь с железной непреложностью. Судите людей по внутренним обстоятельствам того времени, в котором довелось им жить и страдать.

Русский народ не может существовать без собственной интеллигенции в исторически сложившемся ее понимании не в силу некой богоизбранности, а потому, что без нее он никогда

не повзрослеет. Нам свойственна детская непосредственность, детское бескорыстие, детская доверчивость и детская жестокость: любой русский всегда моложе своего ровесника за рубежом, будь то немец или японец, француз или американец. А детству нужен пример для подражания — вот основа нашей страсти как создавать себе кумиров, так и оплевывать их. Пушкин называл наш народ народом младенческим, вовсе не имея в виду его физический возраст: немцы, итальянцы, греки, не говоря уже об американцах, стали нациями куда позже России. Наш народ вернулся единым русским народом с поля Куликова, то есть более шести веков тому назад. И за шесть веков мы так и не повзрослели, ибо постоянно, поколение за поколением опекались батюшками: батюшкой был Государь, барин, священник. Мы росли под патронажем этих «батюшек», работали на них, воевали за них и умирали, забытые ими. И мы привыкли к постоянной опеке, привыкли переключать свои заботы на их ответственность, привыкли просить их поддержки, помощи или хотя бы совета, и спасти нас от этого исторического иждивенчества может только собственная интеллигенция. Она возродит в каждом из нас дремлющую личность, объяснит нам ее величайшую ценность и уникальность, приучит смело опираться на собственные способности и силы, а не ожидать советов, одобрения или поддержки очередного «батюшки». И она придет, эта новая интеллигенция, она возьмет на себя нравственное возрождение народа, избавив его от далеко небескорыстного патронажа «батюшек властных структур». Я верю в это, ибо в Книге Судеб России еще великое множество чистых страниц.

У меня есть могила деда и нет могилы отца. Прах деда растворился в родной земле, напитав собою корни деревьев и трав; прах отца улетел в черную трубу крематория.

Вам не кажется, что в этом — судьба всей русской интеллигенции Двадцатого столетия?..

1993 г.

*PS.* Я лишь однажды упомянул в этой книге о моей жене, с которой прожил почти пятьдесят лет. Но все, что я написал, я писал для нее. Все, до последней странички —

ЗОРЕ АЛЬБЕРТОВНЕ ВАСИЛЬЕВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ.



**ИВАНОВ**  
**КАТЕР**



## ИВАНОВ КАТЕР

Вечерами в маленькой поселковой больнице тихо. Бесшумно скользнет по коридорчику сестра, разнося градусники. Прокряхтит сухонькая старушка, да скрипнет дверь за мотористом с «Быстрого», выходящим покурить в холодные сени.

А сегодня тишина нарушилась тяжелыми шагами врача, беготней сестер, тревожным скрипом носилок.

Моторист выскочил в коридор:

— Никифорова с Иванова катера в операционку повезли.

— Утоп!..— ахнула бабка.

— Нет, бабка, за борт свалился...

За разговорами не заметили, как по коридору мимо палат прошли двое; один прихрамывал, крепко налегая на палку.

Он был немолод. От хромоты в левой ноге чуть сутулился и при ходьбе привычно выносил вперед правое плечо. Морщины избороздили до черноты загорелое лицо, и особенно много их набежало возле глаз, словно человек этот всю жизнь смотрел против ветра.

Он шел, стараясь без стука ставить палку, а впереди беззвучно летела девчонка-сестра, от бьющей через край энергии выворачивая по-балетному носки матерчатых тапочек. У операционной остановилась:

— Посидите.

Боком скользнула в дверь, а он осторожно присел на краешек стула, поставив между ног палку.

Как все здоровые люди, он был чуть напуган больничной тишиной: стеснялся сесть поудобнее, скрипнуть стулом, поправить сползавший с плеча тесный халат. Стеснялся своего здоровья, стоптанных башмаков из грубой кожи и тяжелых рук, сплошь покрытых ссадинами и порезами.

— Иван Трофимыч?..— Моторист опять вылез в коридор.

— Петр? — шепотом удивился Иван.— Ты чего тут?

— Аппендикс вырезали,— не без гордости сообщил моторист, садясь рядом.— Флегмонозный.

— С Федором-то беда какая...— Иван вздохнул.

— А что случилось?

— Запань у Семенова лога утром прорвало. Не знаю, откуда вода пришла, а только рвануло троса, и понесло лес в Волгу. А тут — ветер, волна. Треск стоит — голоса не слышно. Ну, все кто куда: с лесом не пошутить.

— Ай-яй-яй!..— опечалился моторист.— И много ушло?

— Да нет, немного. Аккурат мы воз навстречу вели, к «Немде» цеплять. Пиловочник сплошь, двести сорок метров. Ну, увидал я: лес в лоб идет...

— Буксир топором да к берегу! — сказал моторист.— Затрет бревнами — «мама» сказать не успеешь.

Иван улыбнулся.

— А я по-другому рассудил. Плот только сплочен, троса добрые, а ширина в этом месте невелика: развернул, корму в Старую Мельницу сдал — там камни, уязвил прочно. А катерок свой за мысок спрятал. Знаешь, где малинники?

— Ну?

— Ну и сдержал лес, не пустил в Волгу-то, на простор.

— Ишь, сообразил! — завистливо вздохнул моторист.— Премия, поди, будет, благодарность...

— Благодарность, может, и будет, а вот помощника уж не будет,— вздохнул Иван.— Как ударило нас первой порцией — троса запели, а Федора на бревна сбросило. Выловили, а рука на жилах висит.

— Оклемается,— уверенно сказал моторист. — Мужик здоровый. Да и доктор молодец: меня пластал — любо-дорого.

Стемнело, когда из операционной вышел доктор. Увидев его, моторист трусливо юркнул в палату. Скрипнув стулом, Иван встал навстречу, но доктор опустил рядом, и Иван, постояв немного, тоже присел. Он стеснялся начинать разговор, а доктор молчал, медленно разминая в пальцах папиросу.

— Перелом позвоночника,— сказал он, прикурив и глубоко затянувшись.— Скверное дело, капитан.

— Долго пролежит? — тихо спросил Иван, плохо представляя, что это значит.

— Всю жизнь.— Врач курил жадно, изредка разгоняя рукой сизые клубы дыма.— Всю жизнь, капитан, какая осталась...

— Трое детей...— невольно вырвалось у Ивана.

— Что?

— Трое детей,— повторил Иван и опять встал.— Старшему — двенадцать, не больше...

Доктор молчал. Вспышки папиросы освещали его осунувшееся лицо и капли пота на лбу.

— Рыбки можно ему?

— Рыбки? — переспросил врач.— Фруктов хорошо бы. Витамины, понимаешь?

И опять замолчал. Иван постоял немного и, тихо попросившись, похромал к раздевалке.

В раздевалке он сдал халат и в обмен получил потрепанный рабочий пиджак. Пожилая гардеробщица полюбопытствовала насчет Никифорова, и он сказал ей, что дело Федора плохо и что у него трое детей. Гардеробщица, вздыхая и сокрушаясь, отперла уже по-ночному заложенные двери, и он вышел на темную окраинную улицу поселка.

Он привычно свернул вниз, к пристаням, но, пройдя немного, остановился. Посмотрел на часы и, быстро перекидывая палку, враскачку зашагал по узкой крутой тропинке от угла и громко постучал палкой по запертой калитке.

Сквозь надрывный собачий лай послышался сиплый сонный голос:

— Кого нелегкая?

— Это я, Бурлаков. Открой, Степаныч, дело к тебе.

— На место, дармоед!..— В щели чуть приоткрытой калитки показалась осанистая фигура.— Что за дело?

— Яблоки у тебя есть, Степаныч?

— Яблоки?..— Хозяин неожиданно тоненько захохотал.— Какие тебе яблоки в июле, старый пень?

— Понимаешь, Никифоров в больнице. Доктор фрукты велел...

— В больнице?..— Хозяин задумался.— В больнице — это другое дело.— Он распахнул калитку.— Шагай, Трофимыч. Осторожно, приступочка тут.

Вслед за Степанычем Иван поднялся на крыльцо и прошел в темные сени. Хозяин щелкнул выключателем; голая лампочка осветила просторное помещение, заваленное плетеными корзинами, мешками и ящиками.

— Фрукт — великое дело.— Степаныч выволок из угла дырявый мешок, развернул: на дне лежали битые зеленые яблоки.— Первый урожай. Сам бы ел, но ради такого дела...

— Кислятина, поди.

— Ты что? Папировка, первый сорт. Гляди-ко...— Хозяин взял яблоко и начал с хрустом жевать его, причмокивая от удовольствия.— Восемь килограмм, хоть на безмене прикинь.

— Почем же?

— Ну, как для больного — по рублю.



— Круто берешь, Степаныч...

— Первые ведь, от себя отрываю.

Иван молча отсчитал деньги, взвалил на плечо мешок. Хозяин вел его к калитке, по инерции расхваливая уже проданный товар:

— Витаминов в этих яблоках — вагон! У меня вон детсад закупает, прокурор для больной жены. Сила яблоки: сорт особый... Счастливо, Трофимыч! Заходи, если что. Тебе — в первую очередь...

По крутой тропинке Иван спустился к пристаням и сразу увидел плакаты с броской надписью: «Герои нашего затона». Героев узнать было бы невозможно, если бы художник не подписал каждый портрет: «Капитан Иван Бураков», «Помощник капитана Федор Никифоров», «Матрос Елена Лапушкина». Все трое сурово глядели вдаль...

Катера стояли за полузатопленной баржей. Они были одинакового размера, формы, убранства, одинаково освещались сигнальными фонарями, и только на самом дальнем совсем по-домашнему сушилось на веревке белье.

Иван спрыгнул на катер, громыхнув по железной палубе костыльком. На шум из рубки выглянула худенькая молодая женщина в выгоревшем ситцевом платье; голова ее была повязана полотенцем.

— Вы, Иван Трофимыч?

— Ты чего это в полотенце?

— Голову мыла. Как Федор?

Он присел, вытянув натруженную ногу, закурил и рассказал, что говорил доктор и как он заходил к Степанычу за яблоками.

— Плохо, Еленка.

— Шесть душ кормил, — вздохнула она. — Шесть душ, сам седьмой...

— Сам седьмой, — повторил Иван, упорно разглядывая огонек папиросы.

Они опять замолчали. Еленка стояла, по-бабьи пригорюнившись, опустив худенькие плечи, чуть прикрытые легким платьем, а он неторопливо курил, по привычке держа папиросу огнем в ладонь.

— Кого-то вместо Федора пришлют, — не то спросила, не то сказала она.

Иван бросил папиросу за борт, поднялся:

— Пойдем в кубрик. Застынешь.

По железному трапу они спустились в тесный низкий кубрик. Четыре дивана окружали небольшой, прикрепленный к полу стол; три из них были застланы. В углу возле трапа размещалась вделанная в железный шкаф печурка;

остывшая, она изредка потрескивала. В противоположном углу был шкаф для одежды и еще один маленький подвесной шкафчик, в котором хранились судовые документы, ведомости, бинокль и прочее ценное имущество.

От недавно истопленной печи в кубрике было душно. Иван снял пиджак и палкой открыл потолочный люк. Свежий воздух ринулся вниз, а Иван с беспокойством оглянулся на Еленку:

— Не надует?

— Нет.— Она ловко поворачивалась в тесном проеме между печуркой, кухонным столиком и трапом, готовя ужин.— Я уж и постирать успела, и помыться, и обсохнуть, пока вы ходили.

Большими ломтями она нарезала черный хлеб, подала соль, пучок зеленого лука, ложку и большую эмалированную миску, доверху налитую густой ухой. Он взял было ложку, но посмотрел на Еленку и отложил:

— А ты что же? Или не голодна?

— Не хочу,— сказала она.— Вы кушайте. Не знаю, горяча ли уха.

— В самый раз,— сказал он и начал есть, а она села напротив и подперла подбородок рукой.

Они вообще говорили мало, а за едой не говорили никогда, потому что еда не была для них развлечением. Еленка просто молча глядела, как неторопливо и старательно он ест, как аккуратно подставляет под ложку ломоть хлеба, чтобы уха не капала на стол и чтобы ей было меньше хлопот с уборкой. Она любила смотреть на него, когда он ел: в ней появлялось уютное чувство хозяйки, заботливо кормящей главу семьи после тяжелого трудового дня, и тогда тесный кубрик казался просторным домом, бревенчатые стены которого веками источают смолистый дух...

Иван вытащил из миски большую разваренную рыбу и стал есть ее, выбирая кости.

— Хорошего Федор подъязка поймал...— начал он и, поняв, что ест сейчас, пожалуй, последний улов, который выпал на долю его помощника, сказал: — Яблоки Федору отнесешь в больницу. Я утром к домашним его зайду, а оттуда — в контору: надо нового помощника искать.

Потом он вылез на палубу покурить, а Еленка убрала со стола и вымыла яблоки, заботливо вытерев каждое. Ей хотелось надкусить одно, почувствовать во рту кислый до оскомины сок, но она только понюхала их и сложила в сшитый из старой наволочки мешок.

Покончив с хозяйством, она разделась и легла. За тон-

ким бортом чуть слышно плескалась вода, а в кубрике было так тепло и привычно, что она почти сразу же уснула и не слышала, как Иван с грохотом запирал на ночь тяжелую дверь рубки.

Иван легко засыпал в любом месте — будь то узкий диван кубрика или колючий лапник фронтовых привалов. Спал без сновидений и всегда на правом боку, но сегодня никак не мог уснуть.

Глупо и обидно, что человек, как бы силен он ни был, не может предотвратить беду. Стоять бы Федору на шаг правее борта сегодняшним утром — и спокойно храпел бы он сейчас на соседнем диванчике. Всего на шаг правее. На полшага...

Он тяжело заворочался, но, боясь разбудить Еленку, сразу притих: молодые любят спать, им это полезно.

Еленка... Две женщины в его жизни, но первую не стоит вспоминать. Первая родила ему Сашка, а любви не было, и вышло ни то ни се, ничего не вышло, если говорить честно. И правильно, что отдал он тогда жене дом, а себе взял новый костюм да ордена, которые надевал три раза в год: на праздники и в День Победы. Очень правильно, хоть и бобылем оказался уже в возрасте, когда у других — и дети, и радость, и место за столом, которого никто не займет. А она вроде бы счастлива теперь, и то ладно...

Расчесал ты, Иван, старую болячку: зуд по всей душе пошел. Покурить надо. Покурить, проветриться — и забыть.

Иван спустил ноги с чуть вздохнувшего дивана. Ощупью нашел штаны, накинул на плечи пиджак и, растопырив руки, пошел к трапу. Нащупал поручни и полез в рубку, с силой подтягивая тело. В рубке разыскал старые галоши (Еленка в них мыла палубу, когда было жарко и железо нагревалось так, что босиком и не ступишь), не смог в них влезть и, громыхнув-таки дверью, вышел на палубу.

Небо было в тучах, звезд не видно, а луна еще не народилась. Иван присел на крышу моторного отделения и закурил.

Вода чуть слышно плескалась о борт. Она плескалась всегда — днем и ночью, в штиль и шторм, но он слышал этот плеск только по ночам, если случалось не спать. А в остальное время просто исключал его из сознания, как городской житель исключает грохот трамваев. А ночью любил слушать...

Замерзнув до озноба, он бросил окурок, запер дверь рубки и осторожно спустился в черноту кубрика. Нырнул под одеяло, и пружины дружно вздохнули под его тяжестью. Натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза.

Он открыл их, вдруг почувствовав, что Еленка стоит рядом.

— Проснулась?

— Я давно проснулась,— сказала она.— Я слышала, как вы ворочались и вздыхали.

— Надо спать,— сказал он, невольно притягивая ее к себе.— Надо спать, а то что мы завтра за работники будем...

Он почувствовал, как губы касаются его щеки: она никогда не целовала его, а только касалась губами, смешно вытягивая их. Он повернулся на бок, и она быстро юркнула под одеяло.

— Зачем вы по железу босиком ходите?..

Они любили друг друга молча. Ни разу ни одного ласкового слова не расслышал Иван и тоже молчал, про себя выдумывая ей самые нежные прозвища...

Было еще совсем темно, когда Еленка шевельнулась.

— Что так рано? — спросил он.

— Лифчик у меня сохнет,— сказала она, и он понял, что она улыбается.— Рассветет — мужики смеяться начнут: что, мол, за сигнал поднят на Ивановом катере?

Она чуть коснулась рукой его лба, и он с сожалением отпустил ее. Он всегда отпускал ее с сожалением: слишком уж коротки были летние ночи.

Утром, пока Еленка готовила завтрак, он достал из носового трюма пять больших лещей: он сам наловил их, сам солил, сам коптил на можжевельнике так, что кожа их даже в сумерки светилась теплым золотистым светом.

— Никифоровой,— сказал он, поймав удивленный взгляд Еленки.— Скажу, что Федорова доля осталась.

— А Сашку?

Иван помолчал, нахмурился. Буркнул под нос:

— Обойдется Сашок без рыбки.

Они позавтракали вчерашней ухой, напились чаю и сошли на берег. Еленка свернула наверх, к больнице, а Иван, зажав под мышкой пакет с лещами, похромал вдоль причалов, здороваясь с каждым встречным.

Дом Никифоровых стоял с края берегового порядка. Федор поставил его прошлым летом, получив за два года стажировочные и взяв ссуду в конторе. Иван все время думал об этой ссуде, но надеялся, что теперь начальство либо скостит долг Никифорову, либо, на худой конец, растянет его на много лет...

Он хорошо знал этот дом: Федор часто приглашал капитана то на дочкины именины, то на рождение сына. Иван покупал тогда бутылку водки, а Еленка надевала синее шерстяное платье. Хорошие это были вечера...

Он толкнул тяжелую дверь и вошел в дом. За дощатой перегородкой, отделявшей жилую комнату от маленькой прихожей, слышался громкий обиженный плач.

— Паша!..— окликнул Иван.

Плач стал сильнее, но ответа не последовало.

— Есть кто живой? — спросил Иван, все еще не решаясь без приглашения идти в комнату.

— Я живой,— недовольно ответил мальчишеский голос, и на русской печи задвигалось что-то похожее на худой, обтянутый штанами зад. Зад этот, вильнув, попятился к приступочке, и Иван наконец разглядел Вовку — старшего отпрыска Никифорова рода.

— Здравствуй, дядя Иван,— степенно сказал Вовка, подавая левую руку, так как в правой он держал шерстяные, домашней вязки женские чулки.

— Чего Оленька кричит?

— Развивается.— Вовка сел на пол и стал надевать чулки на худые исцарапанные ноги.— Может, артисткой будет: орет больно здорово.

Чулки были велики, но Вовка не обращал на это внимания, деловито прикручивая их к тощим икрам специально припасенными веревочками.

Поняв, что толку от Вовки не добьешься, Иван аккуратно вытер ноги о половичок и прошел в комнату. В углу на неприбранной кровати кричал ребенок, привлеченный подушкой. Увидев Ивана, ребенок сразу перестал орать и улыбнулся, показав два крохотных зуба.

— Ну что, Ольга, орешь? — спросил Иван, снимая с нее подушку.— Мокрая небось?

Он развернул девочку, переменял простынку и вновь уложил Ольгу на место. Девочка пускала пузыри и улыбалась, крепко держа Ивана за палец.

— Она кормлена? — спросил Иван.

— Кормлена,— сказал Вовка.— Бабка кашу варила.

Остатки каши были разбросаны по столу. Там же стоял чугунок, грязные тарелки и хлеб.

— А где бабка?

— В церкви. Пошли они с дедом в церковь и Надьку с собой увели.

— А мать?

— В больнице. Еще не рассвело — побежала. Все равно к папке не пустят, чего бежать?

Вовка вошел в комнату. Кроме бабкиных шерстяных чулок на нем были надеты тяжелые башмаки.

— Ты чего это в чулки вырядился?

— Это теперь не чулки,— сказал Вовка, любуясь собой

в зеркало, подвешенное на стене.— Это теперь гетры, дядя Иван. Гетры — футбольная форма.

Иван посмотрел на него, сказал серьезно:

— Плохо с отцом-то, Вова.

— А чего плохо-то? Чай, не утонул: отлежится.

— Эх, глупый!..— Иван с сожалением и очень стесняясь высвободил палец из детского кулачка.— Рыбу я там принес. Сунь ее в подпол.

Вовка нехотя пошел исполнять поручение. Пока он, сопя и вздыхая, громыхал тяжелым люком, Иван собрал грязные тарелки, смахнул со стола, прикрыл хлеб и чугунок с кашей кухонным полотенцем.

— Ты бабки дождись или матери, футболист,— сказал он, когда Вовка вернулся.— Ребенка одного не оставляй.

— А что ей сделается? — недовольно спросил Вовка.— Я ее подушкой привалю, чтобы не ползала и не убилась.

Из разговора было ясно, что Вовка уже все продумал и спорить с ним бесполезно. Поэтому Иван начал издали:

— Ты вроде рыбачить со мной собирался?

Вовка мгновенно повернулся к нему.

— Когда пойдем?

— Когда?..— Иван испытующе посмотрел на него.— Три условия тебе ставлю: посуду помыть, воды в бачок натаскать и Ольгу не оставлять. Выполнишь?

— Выполню,— вздохнул Вовка.

— Завтра в семь приходи к катеру. Знаешь, где стоим?

— Знаю! А чего брать? У меня и на верхоплавку есть, и закидушка...

— Снасть будет полная. Пальтишко захвати.

— Так тепло. Лето.

— Леща пойдем брать, Вова. А лещ, он ночью ловится, в тишине.— Иван положил руку на нечесаную, добела выгоревшую голову мальчишки и подумал, что здорово решил насчет рыбалки: значит, часть улова можно будет свободно отдать Вовке как долю в общем труде.

— Все сделаю, дядя Иван,— говорил Вовка, провожая его к дверям.— Посуду помыть — раз, воды натаскать — два, Ольгу не оставлять...

— Да, вот еще.— Иван остановился.— Матери скажешь, чтобы сегодня же в отдел кадров с паспортом пришла. Со своим паспортом, не забудешь?..

Иван шел назад легко и быстро. Все же удачно начался день: и с Вовкой он справился, и насчет рыбалки придумал, и вовремя, очень даже вовремя вспомнил, что Паша Никифорова нигде не работает. И только досадное обстоя-

тельство портило настроение: как же это можно идти в дом, где малые дети, и не захватить с собой кулек карамелек?..

На крыльце приземистого одноэтажного дома, где размещался отдел кадров, сидел рослый парень, сбив на затылок помятую форменную фуражку с треснувшим серебряным «крабом». У ног его стоял потрепанный чемоданчик, к ручке которого был лямками привязан плотно набитый солдатский вещмешок. Темные масляные пятна окрасили мешок в грязно-черный цвет: видно, хозяин швырял его где попало. Флотские брюки парня, зауженные согласно столичной моде, тоже были в пятнах и потеках, зато белоснежная рубашка сияла ослепительной чистотой; в вырезе ее виднелись неправдоподобно синие полосы новенькой тельняшки.

— Откуда будешь, парень? — спросил Иван.

— Снизу, — равнодушно ответил парень.

— Горьковский?

— Почти что угадал.

— А чего здесь сидишь?

— Начальство документы изучает...

Он вдруг цепко, искоса глянул на Ивана.

— Говорят, у вас плавсостав укомплектован под завязку. Верно?

— Кто его знает, — уклончиво сказал Иван. — Вроде бы нет...

— Значит, в лапу ждет! — Парень выругался. — Либо на пол-литра рассчитывает.

Начальник отдела кадров получил на фронте штыком в живот и с той поры ел одну манную кашу с молоком.

— С дизелями знаком? — спросил Иван.

— Судовой механик... А что?

— Посиди пока. Узнаю, — сказал Иван и мимо парня прохромал в отдел кадров.

Начальник отдела кадров был худ и черен, как ранний грач. Иван давно знал его: еще до войны вместе ходили в клуб водников на танцы.

— Здорово, герой затона. — Улыбка у начальника пряталась в глубоких морщинках, и о существовании ее догадывались немногие. — Сразу могу обрадовать: начальство премию вам отгрехало.

Иван промолчал.

— И еще одно, уже по секрету. Сегодня местком засесть будет насчет твоего катера. Полагаю, решат присвоить имя, Иван Трофимыч. Большая честь тебе оказывается.

Раньше не было такого порядка: мелкие суда шли под номерами, крупным наименования присваивали либо на судоверфи, либо приказом по пароходству. А как выбрали в бюро Володьку Пронина, так все пошло иначе. Сумел Володька начальству внушить, что имя для судна почетней благодарностей, и присвоил местному праву решать, кто этого почета достоин.

— Только пока — ни гугу, — сказал начальник. — Будет приказ, будет и оркестр. — И опять собрал возле рта морщины, зачихал в них улыбку и спросил: — Рад?

— Рад, — вздохнул Иван и закурил, стряхивая пепел в ладонь, потому что начальник курящих не жаловал и пепельниц не держал. — Рад-то рад, Николай Николаич, только кто дает, тот и отбирает.

— А ты оправдай.

— Так ведь не посуху ходим, а по воде. — Иван улыбнулся, потом помолчал, показывая этим, что шутки кончены, и сказал серьезно: — Ты вот что, Николай Николаич, ты жену Федора Никифорова оформи матросом ко мне на катер.

Начальник с удивлением посмотрел на Ивана.

— Трое детей, Николаич. На Федорову пенсию не потянет.

— Жалостливый ты больно мужик, Иван Трофимыч, — с неудовольствием сказал начальник.

— Надо, Николай Николаич. Был я у них: надо.

Начальник только вздохнул.

— Ладно. Пришли ее сегодня с паспортом.

— Сама придет: я Вовке, сыну ее, наказал.

Начальник пометил что-то в календаре, усмехнулся:

— В начале навигации ты обязательство брал сократить экипаж с пяти до трех человек. Было такое?

— Было, — сказал Иван. — При толковом помощнике вполне можно обойтись без моториста и второго матроса.

— А теперь сам второго матроса просишь. Некрасиво получается.

— Утремся, — сказал Иван. — Напишу заявление, что погорячился и без второго матроса обойтись не могу. Ну, ругнут меня на партсобрании, а Паша Никифорова каждый месяц полсотни получать будет. Правильно или неправильно?

— Правильно вообще-то, — согласился начальник. — Продавай свою рабочую гордость за полста рублей.



— Ничего,— улыбнулся Иван.— Не такой уж я гордый.

— Ну, договорились,— сказал начальник.— Второй вопрос: кого вместо Федора?

— Вместо Федора? — Иван встал, подошел к окну, выбросил пепел с ладони.— А что за парень у тебя на крыльце сидит?

— Не советую, Трофимыч,— поморщился начальник.— Ой не советую.

— Почему?

Начальник придвинул лежащие с краю стола документы, раскрыл трудовую книжку.

— «Прасолов Сергей Павлович,— читал он, изредка поглядывая на Ивана.— Специальность — судовой механик, холост...» Подходит?

— По всем статьям.

— Погоди.— Начальник перевернул несколько страниц и с выражением прочел: — «Уволен из Саратовского грузового порта десятого июня сего года по собственному желанию...» — Он отложил книжку и посмотрел на Ивана.

— Ну? — спросил Иван, ничего не поняв.

— Парень в середине навигации по собственному желанию ушел. Спросил я его, что же это за желание такое: бросить Саратовский порт и к нам в глухомань приехать? Смеется: у вас, говорит, невесты на всю Волгу славятся.

— Может, человек веселый.

— Веселый?.. Это ведь пишется только, что по собственному желанию. Не первый год кадрами заведу: знаю. А что там у него на самом деле было — поди вон к тетке Авдотье да погадай.

— Значит, неправду в документах пишут?

Начальник досадливо поморщился:

— Есть, Иван Трофимыч, правда, а есть — истина. Против истины мы ни на волос не согрешим: дело это святое... — Он вздохнул.— Сколько у тебя матросов вместе с Никифоровой будет?

— Два.

— Правильно: зарплата — двоим, а палубу драить — одна Елена. Так?

— Ну?

— Так где же она, правда-матушка?

— А-а... — Иван улыбнулся.— Подкусил!

— Вот так и в нашем деле,— со вздохом сказал начальник.

Он замолчал и снова стал придирчиво изучать трудовую книжку судового механика Прасолова.

— А вдруг — не так? — сказал Иван и встал.— Вдруг

ты ошибаешься, Николай Николаич? Вдруг он и вправду по собственному желанию уволился и к нам приехал с дорогой душой, а мы...

— Сомневаюсь,— сказал начальник.

— А я не могу человека загодя плохим считать,— с непривычной горячностью сказал Иван.

— Значит, хочешь брать?

— Беру. Опыт у него есть?

— Достаточный,— сказал начальник.— Он вон и по Енисею навигацию проплавать успел... Ладно, Трофимыч, гуляй себе на катер, прибирайся, а парня я пришлю. Только помни: я тебя по дружбе предупредил, и чтобы потом...

— Ничего потом не будет,— сказал Иван и, пожав сухую, всегда горячую руку начальника, вышел из отдела кадров.

Парень сидел на старом месте, только возле ног прибавилось окурков. Он встретил Ивана спокойным взглядом серых холодных глаз и чуть заметно усмехнулся.

— Катер возле затопленной баржи причален,— сказал ему Иван.— Как оформишься, приходи не мешкая. Катер номер семнадцать, запомни.

Парень вскочил, хотел что-то сказать, но из окна крикнул начальник:

— Прасолов!.. Ну-ка, зайди!..

Прасолов подхватил вещи, шагнул к крыльцу. В дверях остановился.

— Спасибо, капитан! С меня — пол-литра!..

С яблоками Еленка обернулась быстро: дежурила знакомая девчонка и без разговоров взяла мешочек. Впрочем, Никифоров считался тяжелым, лежал в отдельной палате, и доктор, вопреки обыкновению, пустил к нему жену еще до завтрака. Все эти новости сестра выпалила Еленке и ушла.

От больницы Еленка спустилась к рынку, купила мяса и, завернув его в припасенную газету, пошла на катер.

Поставив вариться мясо, Еленка переделалась и принялась за уборку. Открыв люк в кубрике, выколотила диваны, вытащила наверх одеяла и подушки. Потом достала швабру и, надев на босу ногу галоши, принялась с ожесточением скрести маленькое суденышко.

— Чего расстаралась, соседка? — спросила с ближайшего катера пожилая женщина-матрос.— До Ноябрьских далеко...

— Да я так.— Еленка почему-то смутилась и отвечала, не поднимая лица.— Все равно пока без работы стоим.

— А Никифоров как?

— Не видала я его, родных только пускают. Девчонка там знакомая работает, говорит, плохо, мол.

Вопрос любопытной соседки — нет, не о Никифорове, другой, — застал Еленку врасплох. Еще вчера она и не думала об уборке, но сегодня на борт должен был вступить кто-то посторонний, и ей хотелось по-хозяйски блеснуть чистотой, порядком и сытным обедом.

Где-то в глубине души она хотела, чтобы неизвестный оказался молодым и веселым, но думала об этом робко, словно тайком от самой себя, потому что и для нее и для Ивана куда было бы проще, если бы он был местным, имел на берегу дом, семью и все связанные с этим интересы. Такой человек не мог нарушить установившийся на катере порядок, и жизнь не требовала бы ни перемен, ни ухищрений. Все текло бы своим чередом — даже ее редкие ночные свидания с Иваном...

Размышляя об этом, она выдраила до блеска старый катерок и спустилась вниз, где на крохотной печурке кипел обед. Она успела только приподнять крышку, как на палубе гулко грохнуло, катерок качнуло и незнакомый голос громко спросил:

— Разрешите войти?

Она поспешно накрыла кастрюлю, вытерла руки и, старательно оправив платье, с опозданием крикнула:

— А кто там?

И полезла наверх, заранее смущаясь, потому что голос был насмешливым и молодым. Еще из рубки — сквозь стекло — она увидела рослого парня с чемоданом и вещмешком. — Здравствуйте, — очень тихо сказала она.

— Привет, хозяйка. — Парень в упор разглядывал ее серыми глазами. — Будем знакомы: Прасолов Сергей Павлович.

— Лапушкина, — сказала она и, стесняясь, подала руку ковшиком, на мгновение. Потом спросила: — К нам, значит?

— К вам. — Он поймал ее взгляд, улыбнулся вдруг, как выстрелил: — Как вахта идет, товарищ Лапушкина?

От прямого, вызывающего взгляда, от вопроса, сбивающего на игривый, неравноправный тон, Еленка совсем сникла и, пробормотав что-то, торопливо спустилась в кубрик. Здесь она опять принялась за обед, все время с непонятной тревогой прислушиваясь к шагам над головой. Зная, каким звоном отзывается каждый шов палубы, она безошибочно определяла, что он делает там, наверху: тонко взвизгнула плохо смазанная петля носового люка, скрипнула дверь рубки, грохнул пол машинного отделения.

Парень грохотал по-хозяйски, не стесняясь, не спрашивая, что где лежит. Тяжело взревел двигатель, катерок мелко затрясся, но Сергей не выключал ход, а придирчиво гонял старенький мотор на всех оборотах, выслушивая каждый цилиндр. Он больше не беспокоил ее и не выходил из машинного отделения. Заглушив движок, звякал ключами, изредка что-то насвистывая. Даже когда пришел Иван, не вылез навстречу, а гулко крикнул снизу:

— Капитан, спуститесь-ка!..

Иван ушел к нему, и они долго не появлялись. Еленка сготовила обед, накрыла на стол, а их все не было, только голоса неразборчиво гукали в звонком трюме да дважды взревел запущенный двигатель.

Они спустились вместе — умытые, с розовыми, натертыми полотенцем лицами.

— Ну, я же сразу сказал, что в пятом цилиндре палец люфтует! — почему-то очень радостно говорил Сергей. — И форсуночки проверить не грех: подача паршиво отрегулирована, для дяди...

— Обедать, — сказала она, то снимая, то снова накрывая кастрюлю крышкой. — Стынет.

— С мясом! — улыбнулся Иван. — Ну, Еленка, рассталась ты сегодня.

— Что же я! — крикнул Сергей и кинулся на палубу.

Он тут же вернулся с мешком и чемоданом.

— Для первого знакомства. — И со стуком поставил на стол бутылку водки.

— Это ты, парень, зря, — сказал Иван. — У нас закон: только по праздникам.

— Я, капитан, законы соблюдаю. — Сергей зубами надорвал пробку. — Ты что, матрос, два стакана ставишь?

— Выпей с нами, Еленка, — сказал Иван. — За знакомство.

Они выпили, и Сергей с Иваном завели длинный разговор о двигателе, который следовало бы перебрать, о работе, которую невозможно спланировать, о простоях и премиальных, переработках и выходных, и Еленка вскоре совсем освоилась, потому что новый помощник не обращал на нее никакого внимания.

— Вот ты говоришь: смесь богатая, — сказал слегка зашмелевший Иван. — Ладно, богатая. Так. А есть резон регулировать? Есть резон экономить? Нету такого резона, потому что тут не об экономии думать надо, а наоборот: куда лишнее горючее деть.

— Много? — спросил Сергей.

— Две тонны вот тут. — Иван похлопал себя по шее. —

Движок старый, масло жрет в три горла, а кто с этим считается? Нормы единые — по отношению к топливу. Вот и приходится из-за масла нормы завышать: пишешь «сто моточасов», а на самом-то деле хорошо, если полсмены отработал.

— Да и самому, наверно, не без выгоды,— усмехнулся Сергей.— Ты, капитан, не хмурься: нам теперь в одном кубрике щи хлебать.

— Катер наш на побегушках, и платят нам повремено,— сказал Иван, закуривая.— Просто глупость получается, вот какое дело. И не хотел бы, а сам собственной рукой каждый месяц моточасы приписываю, иначе без масла останусь.

— А если назад, на нефтянку сдать? Мол, излишки?

— За излишки, парень, хлестче бьют, чем за перерасход.

— Да, капитан, тут повертись! — засмеялся Сергей.— Ладно, что-нибудь сообразим: докажу, что не зря ты меня на крыльце подобрал...— Он прошелся, хлопнул по железному ящику в углу.— А что же музыка не работает?

— Перегорела музыка,— сказал Иван.— Надо бы радиста.

— Считай, что нашел.— Сергей подсел к приемнику.— Я на флоте кем только не был...— Он свинтил барашки, снял крышку: обнаружилась затянута паутиной пустота.— А где же передатчик? Или не выдавали?

— Выдавали,— улыбнулся Иван.— В начале навигации все выдают — и приемник и передатчик. Приемник мы берем: известия послушать или музыку, а передатчик снимаем и — обратно на склад. Мороки с ним уйма, ответственность, а радистов на весь затон — два человека.

— Темные вы люди! — не то шутя, не то серьезно сказал Сергей.— Подай-ка мне, матрос, отвертку да батарейку с научниками. В чемодане они.

Еленка не сразу поняла, что он обращается к ней: так запросто, походя прозвучала эта просьба.

— Подай, что просят,— сказал Иван.— Значит, разбираешься? Золотые, видать, руки.

— А это поглядим — золотые они или оловянные.

Работать он умел: не суетился, не ошибался в инструменте, не тратил силу там, где нужна была сноровка. Простучав с помощью батарейки цепи, нашел сгоревшее сопротивление, опять послал Еленку за какой-то коробкой, разыскал в этой коробке нужную деталь и кое-как, временно, поставил ее на место.

— На соплях,— улыбнувшись, пояснил он.— Раздобудь паяльник, матрос, сделаю намертво.

Иван недоверчиво хмыкнул, но Сергей тут же поймал «Маяк». В динамике что-то потрескивало, но слушать было можно.

— Вот и вся беда,— сказал Сергей, навешивая щитки на работающий приемник.

Они долго слушали музыку. Сергей попытался было подсвистывать, но поймал недовольный взгляд Ивана, замолчал и слушал дальше уже серьезно. И Еленке понравилось, что он поглядывает на Ивана с уважением, не выпячивает своих привычек, а подлаживает их под жизнь того кубрика, в котором ему теперь и спать, и щи хлебать...

Как только концерт кончился, Иван поднялся, щелкнул выключателем.

— Теперь полчаса объяснять будут, почему музыка хороша. Подай-ка костылек, Еленка.

Еленка подала стоявшую у трапа палку, спросила:

— Далеко ли собрались?

— Стариков надо проведать.— Иван глянул на Сергея.— Айда с нами, а?

Пошли втроем. Иван с помощником шли впереди, говорили о работе, о рейсах, о глубине судового хода и мелях, обозначенных по всему плесу сухими жердями. Разговор был серьезным, и Еленка не решилась их окликнуть, задержавшись у ларька. Купила конфет старухе в гостинец, а потом долго бежала следом, потому что шли они широко и, увлеченные разговором, не заметили, что она отстала. Догнала возле баржи-такелажки, да и то потому, что Иван остановился.

— Гляди, парень, вот в этих хоромах настоящие волгари живут, потомственные,— сказал он, указывая палкой на старую, замшелую баржу.— Здесь теперь склад такелажный, а хозяин — шкипер, значит,— с хозяйкой жилье себе оборудовал. Утеплит, ну, печку я им сложил, и — живут!

— А зимой?

— И зимой тоже. Прежде на брандвахту переселялись, а теперь не хотят. Приросли к этой барже, как чага к березе. Да и то, деваться старикам особо некуда: было два сына — война забрала, а дочь в городе Ленинграде живет, замужем. Ну, и опять же в Ленинграде вода другая, а тому, кто на Волге вырос, это не все равно.

— Скотинка у них тут,— улыбнулась Еленка.— Кот Васька, собака Дружок да коза Машка. Невелик зоопарк, а есть каждый день просит.

— Люди они старые, а значит, с чудинкой,— сказал Иван.— Ты учти это, Сергей.

— Будет сделано, капитан. Не у бабы-яги росли, пони-  
маем...

Иван первым ступил на хлюпающие сходни, и, как только чмокнули они под его тяжестью, тотчас же настороженно тявкнула собачонка.

— Свои, Дружок, свои! — крикнула Еленка, проходя вслед за Иваном на баржу.

Собака подошла, ткнулась в ноги Еленке, обнюхала Сергея и, степенно помахивая хвостом, проводила до тяжелой двери. Иван стукнул в дверь палкой, приоткрыл, крикнул в сумрак коридорчика:

— Можно, хозяйева?

Никто не отозвался, но они, не задерживаясь, прошли этот коридорчик, и Иван постучал в следующую дверь — такую же тяжелую, срубленную, вероятно, еще в прошлом веке.

— Кого бог несет? — донесся из-за двери скрипучий старушечий голос, показавшийся Сергею неприветливым.

При этих словах Иван распахнул дверь и посторонился, пропуская Еленку и помощника.

Они вошли на кухню, крохотную из-за громоздкой русской печи. В кухне стоял тяжелый корабельный стол, который не дрогнул бы и от десятибалльного шторма, и такие же, рубленные топором, лавки.

У квадратного оконца сидела сухонькая, чистенькая старушка с черными, живыми и, как опять показалось Сергею, недобрыми глазами. Строго поджав губы, она молча смотрела на них.

— Здравствуй, Авдотья Кузьминична, — сказал Иван и подал старухе руку. — Вот нового помощника привел для знакомства.

— К чаю поспели, — сказала старуха, сунув Сергею жесткую, как наждак, ладонь и расцеловавшись с Еленкой. — А познакомиться — еще познакомимся: до ледостава далеко.

Сказавши это, она отвернулась и начала доставать из стенного шкафчика граненые стаканы.

Еленка осталась помогать ей, а мужчины прошли в комнату; в проеме вместо двери висела ситцевая занавеска. Здесь стояла кровать с множеством подушек, платяной самодельный шкаф, дерматиновый диван, несколько стульев и стол — точная копия того, кухонного. За столом сидел грузный, в седых космах старик и читал толстую расстрепанную книгу. При виде вошедших он аккуратно заложил книгу листочком и снял круглые железные очки.

— Здорово, капитан, — сорванным голосом сказал он. — Слышал уж и про беду твою, и про удачу.

Старик крепко пожал им руки, они сели, и Иван спросил с удивлением:

— Что сипишь-то, Игнат Григорьич? Простыл?

— Да вот...— Старик покашлял, покосился на занавеску, помял пальцами большой, заросший седой куделью кадък.— Должно, так...

— Где там! — крикнула из кухни старуха.— Напился в Петров день да все песни играл, как молодой!

Старик смущенно крикнул, но спорить не стал. Закурил предложенную Иваном папиросу, глянул на Сергея выцветшими, но еще по-молодому пристальными глазами:

— Волгарь?

— Саратовский.

— Или там работы нет?

— Работа везде есть,— осторожно ответил Сергей.

— Посторонитесь-ко,— сказала Еленка, внося кипящий самовар.

Она поставила самовар на стол, опять пошла на кухню. Старик крикнул вдогонку:

— Мать, а мать, пошуруй-ка в шкапчике!..

— Шурую,— отозвалась старуха.— Ты уж тут так прощуровал, что и глядеть-то не на что.

— Не надо, Игнат Григорьич,— поспешно сказал Иван.— Не хлопчите.

— Твое дело, Ваня, гостевое,— сказал шкипер, вставая.— А нам для знакомства обычай велит.

Он прошел на кухню. Сергей ударил кулаком в ладонь, зашипел:

— Неладно получается, капитан. Старики, понимаешь, шуруют, а мы... Давай я сбегаю?

— Ох, напрасно все это! — вздохнул Иван.— Не к месту, не ко времени... Да и не достанешь уже: закрыто.

— Это я-то не достану? — улыбнулся Сергей.— Засакай время, капитан...

В дверях он столкнулся со шкипером: старик торжественно нес четвертинку.

— Такой, стало быть, нынче улов, мужики... Ты куда это, парень?

— Четверть часа поскучайте,— сказал Сергей и вышел.

Он вернулся быстрее, чем обещал: вошел красный, запыхавшийся, но довольный. Молча поставил на стол бутылку, сел слева от шкипера.

— Выпить захочется — так и парилка не нужна,— улыбнулся старик.

Стол был уже накрыт: сопел самовар, стояли стаканы, соленая щука, вяленый лещ, грузди прошлогоднего



засола — уже склеенные, пожухлые, моченая брусника, отварные, крепенькие — одна к одной — сыроежки в уксусе.

— Все теперь на вино горазды, — сказала старуха. — Что мужики пьют да бабам подносят — это не удивительно, а вот что бабы пьют да мужикам подносят — это уж совсем на удивление.

— Вот я тебе, мать, и поднесу, чтоб меньше удивлялась, — улыбнулся шкипер и налил старухе на доньшко граненого стакана. — Ну, гости дорогие, выпьем, как говорится, за хлеб да за сено, за пол да за стены, за мышку, за кошку, на нашу дворняжку да за козу Машку.

Мужчины выпили, а женщины только пригубили и тут же оставили стаканы подальше.

— Кушайте, гости дорогие, — сказала старуха и, отломив корочку хлеба, стала жевать ее передними уцелевшими зубами.

Еленка ухаживала за ней, выбирая кусочки помягче и повкуснее. Авдотья Кузьминична принимала эти знаки внимания с царственной невозмутимостью.

— Мы с тобой на той неделе по чернику пойдем, — сказала она. — Как, Иван, отпустишь матроса-то?

— Да какая тебе черника сейчас? — засмеялся шкипер. — Ноги убьете да комаров покормите — вот и вся добыча.

— Сегодня у нас что? — спросила Авдотья Кузьминична и сама же важно пояснила: — Сегодня у нас семнадцатое, по-старому — день Андрея Наливы и память иконы божьей матери Ганатской. Через четыре дня — Казанская. А на Казанскую, считай, так: поспела черника, поспела и рожь. Зажинки в старину начинались, песни по вечерам молодежь играла, и хороводы водили в поле.

— Это же когда было-то, мать? — улыбаясь, спросил шкипер. — Это тогда было, когда мы еще без химии жили. А теперь все смешалось и календарь твой недействительный.

— То не мой календарь, а божий, — строго сказала старуха. — Земля по божьему календарю творит.

— Ну, насчет приметы это верно, — сказал старик, сдаваясь. — Коли черника, то и рожь. Это верно.

— А насчет леща какая примета, Игнат Григорьевич? — спросил Иван. — Пообещал я, понимаешь, Никифорову мальчонке...

— Лещ вообще-то берет, — сказал шкипер. — Однако жара стоит, звон в воздухе, а он этого не любит. В глубину ушел, к стрежню поближе. Попробуй с плотов, что против Никольских островов зачалены.

— А на приваду что?

— Кашку свари покруче: пшенку либо перловку. Анисовых капель добавь маленько, чтобы дух по воде шел. А червей я тебе дам.

Червей старик разводил сам в железном ящике, подсыпал им мучицы и спитого чаю, раз в два дня поливал разведенным молоком. Черви у него росли крупные, вертлявые, ярко-красные — один в один, не в пример бледным и тощим обитателям супесных берегов.

— Давай, мать, за молоком завтра наострайся, — озабоченно сказал старик. — Пятые сутки червей одним чаем потчую.

— А что же Машка-то ваша? — спросила Еленка. — Или забастовала?

Старуха горестно вздохнула, а шкипер засмеялся:

— Тю-тю наша Машка! Продали мы Машку-то свою. Аккурат в Петровки и продали.

— Продали?.. — ахнула Еленка. — Да как же так?

— Расскажи, мать. Повесели гостей! — смеялся шкипер.

— Смеху тут немного, — вздохнула старуха. — А дело было так. Задумала я козленочка поймать...

— Это она задумала, она!.. — хохотал шкипер. — Не Машка, Трофимыч, а она!

— Да будет тебе, — отмахнулась старуха. — Ну, покорила я свою Машку, почистила, причесала — ладненькая такая козочка стала, аккуратненькая. Григорьич ей рюмочку поднес — заиграла моя Машка, как молодая: копытцами бьет, глаз имеет, трепещет вся. Ну, думаю, быть мне с козленочком. Привела ее на пункт, фельдшеру предъявила. Осмотрел ее фельдшер, огладил. «Давай, говорит, Кузьминична, с богом на святое дело. Сейчас, говорит, Борьку приведу». Отвел он меня во дворик, указал, куда Машку привязать, а сам ушел. Привязала, стою. Обошлось, думаю, не углядел фельдшер, что Машка-то ровня мне будет, если по козлиному веку считать. Только это я порадовалась, фельдшер козла вводит, Борьку то есть. Глянула я: батюшки светы, бугай! Ну, чистый бугай: грудь колесом, рога как оглобли и землю копытом роет. «Не мешай ему, — говорит фельдшер, — Кузьминична: дело он свое знает, породы знатнейшей, только, говорит, с норовом, паразит». Впустил он, значит, его, а сам пошел: дела, мол. Ну, я стою, жду. И Борька стоит. И Машка моя вздыхает, ножками перебирает, глаз на меня косит: перепугалась, видать. Машенька, говорю, касаточка, не бойся, говорю. Он, говорю, только с виду такой архаровец, а так — козлик как козлик. Только это я сказала, Борька вдруг фыркнул этак насмешливо,

подскочил да как с разгона даст Машке в бок. Машка — и ножки кверху, а он, паразит, развернулся да этим же манером мне в зад рожищами-то своими! Я и с копыт долой. Валяемся вместе с Машкой в пыли, а он отошел в сторонку и ровно смеется над нами. Поднялась я: пойдем, говорю, Машка, домой. Видно, говорю, стары мы с тобой стали: фельдшера еще обмануть можем, а уж козлов этих чертовых...

— Разобрался козел-то! — весело кричал старик. — Сразу, брат, и разобрался, и меры принял!..

— Вот и решили мы Машку продать, — вздохнула старуха, не обращая внимания на шумную веселость мужа. — В Петров день и продали. Наревелась я, как веревку-то из полы в полу передавала, а этот, — она кивнула на шкипера, — только водку глотал да песни орал с радости.

— С горя, мать, с горя! — сказал шкипер. — И мне Машку жалко, но обновление в жизни должно быть.

— Неужели продали? — тихо спросила Еленка, все еще не веря.

— Уговорил, — опять вздохнула старуха. — Неделю бабанил: телка, говорит, купим.

— Телок-то получше будет, — сказал вдруг Сергей.

— Да, — сказал старик, закуривая. — Коза — ту хоть газетами корми, а коровке сенцо подавай.

— Ну, вот и на попятный, — пригорюнилась Авдотья Кузьминична. — Ну, ровно чуяла я...

— Будет, мать, у тебя телок, будет, — сказал шкипер. — Я от своего слова сроду еще не отказывался. А что сено теперь дороже молочка, так это тоже надо учесть.

— Без коровушки и дом не дом, а так, общежитие, — тихо сказала старуха. — Ты вот, Еленка, не понимаешь этого, а когда зимой-то стоит она за стеной да вздыхает, до того тепло на душе становится, до того радостно... Это ведь скотина добрая, незлобивая, а уж такая ласковая, такая привязчивая, что и человек рядом с нею ровно отгаивает. И уж не о суетности мирской, а о вечном думает, о добром...

— Христианка ты у меня, мать, — улыбнулся шкипер. — Чуть что — сразу по Писанию.

— Крестьянка, — строго поправила старуха. — Крестьянка я, Игнаша, крестьянская дочь.

— А ты, Игнат Григорьич, с колхозом насчет сена не говорил? — спросил Иван. — Может, столкнешься: выделяют деляночку. А с покосом мы тебе всегда поможем.

— Покос не вопрос, да осока в цене высока, — улыбнулся шкипер. — Тыщу лет деды наши осоку эту с низин выводили, а мы ее обратно единым махом.

— Как это так? — спросил Сергей.

— Просто, парень: пойму затопили. Все заливные луга, все низиночки да ложки под воду ушли, а остались одни косогоры, где сроду ничего, кроме бурьяна, и не росло.

— Да, убили красу, — вздохнула старуха.

— Странные это рассуждения, — сказал Сергей. — Много чего, конечно, жалко, но не это же главное. Главное — электроэнергия. Энергия, а не цветочки в девичьи веночки. А потом — чего старое-то жалеть? Отгуляло и — не брыкайся!..

— О сегодняшнем дне все стараемся, — перебил шкипер. — Сегодня купить на рупь пятаков, а завтра — хоть трава не расти. Так?

— Не так! — резко сказал Сергей. — Энергия — это и сегодня, и завтра, и вообще... Красоты не будет, да? Ну, этой не будет, так другая будет, велика ли важность.

— Ладно, отложим красоту. — Шкипер надел очки и достал книгу, которую читал до их прихода. — Парень, я вижу, ты деловой, и красота тебе — как безногому валенки. Давай и мы по-деловому рассудим. Знаешь ли ты, парень, что такое луг вырастить? Не год на это уходит, не сто лет — тысяча. Тысячу лет люди луга эти пестовали, кочкарник да лютик всякий на нет сводили, кусты корчевали, болота сбрасывали. И лугам цены не было, и скот нагуливался тут такой, какой сейчас только на выставке и увидишь. Теперь же луга эти под воду ушли карасям на утеху, низины позатопило, и всего в приплоте имеем одну осоку да болотный мох.

— Ежи пропали, — сказала вдруг старуха. — Раньше ежей в лесу было — тьма-тьмущая, а теперь совсем пропали.

— Сырость, — подтвердил старик. — Боровая дичь да зверье начисто из этих мест ушли. А лес с ними сжился, они ему помогали, он их кормил. А сейчас что будет? Утка тебе семян не разнесет — для этого белка нужна, глухарь, тетерев. И с этой стороны лесу — полный карачун, и через сотни лет внуки наши одну сплошную ольху вдоль всей Волги увидят — там, где на нашей еще памяти мачтовые сосны шумели.

— Да все устроится, — сказал Сергей. — Ну, напортачили, конечно, это есть, а панику поднимать не стоит. Сейчас в наших руках техника, атом, химия — все исправим, дайте срок!..

Старик угрюмо молчал.

— Домой! — сказал Иван и встал. — Спасибо вам, хозяйева, за хлеб-соль, за ласку...

Ночь выдалась черная, звездная, густая. Ивана чуть

пошатывало, и Еленка вела его под руку. Сергей шел сзади, сунув руки в карманы. В сонной тишине тяжело ударил запоздалый жерех.

Разбудили их рано: в четвертом часу гулко загрохотало над головой:

— Эй, хозяйка, к диспетчеру на полных оборотах!..

В кубрике было еще темно. Еленка сидя натянула платье, соскочила на холодный пол. Иван уже возился наверху, открывая задраенные на ночь люки.

— Видать, в Красногорье пойдем,— сказал он.— Туда пораньше надо, пока плотами ход не заставили. Отдавай чалку, Сергей.

Сергей спрыгнул на баржу, отпугал разлохмаченный старый канат, спросил:

— А завтракать?

— На ходу.— Иван запустил двигатель.— Еленка по-кормит по очереди.

До десяти они без отдыха сновали по реке: ходили в Красногорье, возили приказ в контору, проволоку на вторую сплотовую, монтеров в самые верховья: там открывался хлебный ларек. Хлопот было много, а еще больше — криков и недовольства, потому что всем было некогда, а старенький катерок никак не мог одновременно поспеть в разные концы.

— Вот глупость-то! — сердился Сергей.— За каждым нарядом к диспетчеру мотаться — это ж придумать надо!

Катер стоял у причала: надобность в нем вдруг схлынула. Из кубрика появилась Еленка. Выплеснула помой, сказала ворчливо:

— Люльку бы забросили, что ли.

Иван снял с крыши рубки снасть, вместе с Сергеем собрал дуги в крестовину, натянул сеть.

— Маловата люлька-то,— сказал Сергей.

— В норме,— пояснил Иван.— Полтора на полтора, больше инспекция не велит.

Он закинул люльку с кормы, подождал, пока она ляжет на дно, закрепил веревку за леер.

— И ловится? — спросил Сергей.

— На еду хватало.

Помолчали. Сергей, покурив, кинул окурочок за борт, спросил:

— Поглядеть?

— Погляди,— сказал Иван.

Сергей прошел на корму, намотал на руку веревку,

рывком поднял из воды. Край зацепился за обшивку, дуги спружинили, подбросив в воздух брызги и двух небольших подлещиков, серебряно блеснувших на солнце.

— Я ж говорю, мала сеть!..

— Не рви,— сказал Иван.— Тащи спокойно, рыба целее будет.

За сорок минут поймали полтора десятка окуней и подлещиков — мелких и тощих. Иван не удержался:

— Федор на это дело мастак был...

— Трофимыч! — крикнули из окна диспетчерской.— Давай пока к нефтянке!..

— Ну, считай, еще пятьсот литров на мою шею,— вздохнул Иван.

Сергей вытащил люльку, положил ее на корме, отдал чалку. Иван завел двигатель, стал отводить катер кормой вперед, разворачиваясь. Сергей заглянул в рубку:

— Дай постоять.

— Становись.— Иван отошел в сторону, сдвинув к стенке высокий табурет на трех ножках.— Держи пока на створы.

Сергей стоял за штурвалом, чуть расставив ноги, ссутулившись. Поначалу он нарочно повалил катер с борта на борт, проверяя, как он слушается руля и велик ли свободный ход. Катерок рыскнул несколько раз, но выровнялся и точно, как по нитке, пошел на створы. Иван молчал, приглядываясь к помощнику: все в нем, начиная с позы, убеждало, что парень ходил по воде.

— Клади направо, к мыску.

Сергей заложил так, что катер не пришлось подравнивать.

Иван одобрительно улыбнулся:

— Ловко.

— На том и держимся! — весело ответил Сергей.

Он мягко причалил к нефтянке — чистенькой, выкрашенной в красную краску нефтеналивной барже. Передал штурвал Ивану, спрыгнул на баржу, зачалил катер.

На шум вышла приземистая молодуха в платке и телогрейке. Из-под короткой юбки выглядывали ярко-синие рейтузы.

— Не курить, мужики! — привычно крикнула она.

— Здорово, хозяйка,— весело сказал Сергей, с удивлением разглядывая толстуху.— Ты чего это вырядилась, как дед-мороз?

— А ты посиди здесь восемь часов, так узнаешь.— Она встретила его взгляд, с готовностью заулыбалась, сразу порозовев всем скуластеньким, некрасивым лицом.— Новенький, что ли?

— Вместо Никифорова,— сказал Иван.— Вот наряд, Шура.

— Пьете вы горючку, что ли? — удивилась Шура, взяв наряд.— Идем, распишешься.

Она еще раз глянула на Сергея, хихикнула и пошла к каюте. Сергей метнулся к катеру, зашептал:

— Погоди тут, капитан...

Торопливо прошел в каюту. Иван открыл горловины баков, промыл фильтры, подтащил рукав от третьей помпы (он всегда управлялся от нее), подсоединил.

— Ой, щекотно!..— громко взвизгнула толстуха.

Из каюты вышел Сергей. Подошел к Ивану, давясь от смеха:

— Ну, дура! Страшное дело... Ты какой подсоединил?

— Третий.

— Ну и держи его крепче.

Кинулся к первой помпе, сунул рукав в вентиляционное отверстие, включил: топливо туго побежало по рукаву, перекачиваясь из отсека в отсек. В дверь выглянула Шура:

— Ты чего колдуешь?

— В порядке! — Сергей шагнул к ней, оттесняя в каюту.— Давай-ка, девочка, документики проверим...

— Ну, ты, медведь! — Шура крепко ударила его по спине.— Ты руками-то не очень, слышишь?

Дверь за ними закрылась. Иван хмуро держал пустой рукав. Рядом мерно работала помпа, гоняя топливо по замкнутому кругу. Щелкала стрелка, отсчитывая литры. Из рубки вышла Еленка.

— Скоро?

— Скоро...— Иван помолчал.— Обманываем, Еленка.

— Как так?

— Он другую помпу включил. Переливает из пустого в порожнее.

— Молодец! — улыбнулась Еленка.— Давно бы так.

— А у Шурки лишнее окажется.

— Вы за Шурку не беспокойтесь, Иван Трофимыч. Шурка лишнее колхозу за полцены продаст и вам же спасибо скажет.

Из каюты выскочил Сергей, глянул на счетчик.

— Шестьсот нащелкало.

— Хватит, Сергей.

— Давай уж до тысячи, капитан. До тысячи я, пожалуй, выдержу.

Улыбнулся Еленке, подмигнул шальным, победным глазом, опять скрылся в каюте.

— Хват,— неодобрительно заметил Иван.

Еленка промолчала. Посидела немного, ушла в кубрик. Пришел Сергей. Усмехаясь, быстро отключил помпу, смотал рукав. Шуры не было.

— А масло? — спросил Иван.

— Двойная норма. По знакомству.

Вдвоем накачали масла в бак. Иван прошел на катер, закрыл горловины.

— Готово, Шурочка! — крикнул Сергей.

Вышла Шура. Остановилась в дверях — непривычно тихая, с застывшей улыбкой:

— Дом пять. С палисадничком.

— Угу, — кивнул Сергей, отдавая чалку.

— Обманываешь, поди? — тихо спросила она.

— Ровно в восемь, как договорились. До встречи, курносая! — Прыгнул на катер, не оглядываясь, прошел в рубку. — Дура стопроцентная.

Иван молчал. Он отводил катер кормой и сквозь стекло рубки видел толстуху. Она стояла у борта, держась за леер, и глядела им вслед.

— Веди, — сказал Иван, отходя от штурвала. — К диспетчерской.

Сергей посмотрел на него, усмехнулся:

— Мне еще противнее, капитан. А что сделаешь? Жизнь такая, что только поворачивайся побойчей, а то затолкают.

У диспетчерской их ждала высокая худая женщина в белом платочке, повязанном вровень с бровями. Она схватила у Сергея канат, неумело зачала, приговаривая:

— Да сама я, сама... Не беспокойтесь.

— Паша?.. — Иван торопливо прохромал к носу. — Ну, давай шагай на катер. Как Федор?

— Да все так же, Иван Трофимыч, все так же. Кланяться вам велел, благодарил. И я вам благодарная, Иван Трофимыч, так я вам благодарная...

Она тихо заплакала, утирая слезы концом платка.

— Будет тебе, Паша, — сказал Иван. — Садись вот сюда.

— А Федя лежит, — совсем тихо сказала Паша. — Не шевелится, тихо лежит, спокойно...

— Да... — Иван вздохнул, присел рядом, вытянув хромую ногу. — Была в кадрах?

— Была, Иван Трофимыч. Оформили меня. Вот. — Паша достала новенькую трудовую книжку. — Я ведь работать пришла, Иван Трофимыч. Я за Федю моего.

— Домой ступай, — сказал Иван.

— Да как же, Иван Трофимыч? Ведь матросом я к вам. Пятьдесят рублей положили мне...



— Двадцатого приходи. Получка у нас двадцатого и пятого каждого месяца.

— Вы позволите, Иван Трофимыч, хоть постираю с вас. Рубашечки, может, бельишко. И товарища вашего.

— Не надо, Паша, спасибо. Ступай домой. Вовке скажи, что жду его к семи, как условились.

Потом их срочно отрядили тянуть плот — «воз», как это именовалось здесь. Многотонная громадина длиною в четверть километра медленно ползла сзади, катерок, задыхаясь, волок ее, дрожа корпусом и глубоко осев кормой. Трос звенел, как струна.

— Сдадим и пообедаем, — сказал Иван. — Пора уж.

Он сидел перед рубкой рядом с бригадиром плотовщиков — рослым, угрюмым мужиком, ехавшим на буксир оформлять акт о сдаче плота. Бригадир всю дорогу радовался, что работа идет без перебоев, и этот плот — уже сверхплановый.

— Премию дадут, Трофимыч. Рубликов, думаю, полтора. Может, сена раздобуду: лето уже за половину вышло...

Навстречу шел «Быстрый» — катер сплавконторы. Сергей дал отмашку по борту, но «Быстрый» с ходу подошел почти вплотную.

— В два митинг!.. — прокричал в рупор капитан. — У конторы! Понял, Трофимыч?

— Понял, Антон Сергеич! — крикнул Иван, и катер ловко отвалил в сторону.

— Точно, говорили насчет собрания, — подтвердил бригадир. — Ну, Трофимыч, кажись, с тебя причитается...

Сдав плот, они ходко пошли к конторе. Причал был весь забит катерами, и Иван отшвартовался у борта самоходного топлякоподъемника.

— И вас с работы сняли? — удивился он.

— Приказ такой, — ответил капитан подъемника, совсем еще молодой, плавающий самостоятельно первую навигацию.

Через топлякоподъемник к ним пробирался председатель месткома Володька Пронин — в белой рубашке, при галстуке, с папкой.

— Ну, быстренько, быстренько, люди ждут. Значит, по-вестка такая: я информирую о вашем трудовом подвиге, затем...

— Ох, Володя, не надо!..

— С воспитательной целью...

Тут из рубки вылезла Еленка. Пронин пронзительно глянул на нее.

— Товарищ Лапушкина, вы бы приделались. Перед народом стоять будете.

— Не пойду я, Иван Трофимыч...

— Живо, живо, товарищ Лапушкина! — крикнул Володька.

Еленка завозилась, переодеваясь, и вышли они на площадь, когда народ уже собрался. Володя шел впереди, пробираясь к спешно сооруженной трибуне. Люди с готовностью уступали дорогу.

— Здорово, Иван Трофимыч!

— Гляди, Еленка-то, Еленка-то сияет!..

— Трофимыч, магарыч не зажми!..

Вслед за Прониным они поднялись на трибуну, где уже стояли директор Юрий Иванович, парторг Пахомов и Николай Николаевич. Володька прошел к перилам трибуны, на ходу доставая из папки исписанный лист.

Иван не слушал, о чем кричал Володька. Он стоял неуклюже вытянувшись, не зная, куда девать ставшие вдруг ненужными руки. Впопыхах он забыл палку, нога замлела, но он не решался шевельнуться. Он был оторван от своих и мучительно стеснялся и хромой ноги, и небритых щек, и мятых, давно не глаженных брюк.

Володька говорил до того плавно, что никто уже не слушал его. Голубой папиросный дымок вился над толпой, она беспрестанно двигалась, словно переминаясь с ноги на ногу, и приглушенно шумела.

— Вот они, герои затона! — продолжал Пронин уже слегка осевшим голосом. — Капитан Иван Трофимыч Бурлаков, матрос Елена Лапушкина!..

Он громко зааплодировал и представил слово директору. Директор достал из кармана бумагу, расправил ее и начал читать строгим, ровным голосом. Шум сразу стих.

— «...В ознаменование трудового подвига, совершенного экипажем, с сего числа присвоить буксирному катеру номер семнадцать личное наименование «Волгарь» и впредь именовать так во всех видах судебных документов...»

Люди захлопали, а молодой голос спросил:

— А зачем так, товарищ Федоров?

Кричал белобрысый капитан топлякоподъемника.

— А как предлагаете? — спросил директор.

— Предлагаю просто: «Иванов катер». Все равно его так везде зовут. Даже в Юрьевце.

— Точно! — весело крикнул еще кто-то.

— Минуточку, товарищи, минуточку! — Пахомов шагнул к перилам.

Возникшее было оживление потухло. Пахомов продолжал:

— Мы знаем, как называют «Семнадцатый» и у нас,

на затоне, и на гензапани, и даже на Волге. Только это ведь прозвище, товарищи. Прозвище катера, а не имя. А судно должно иметь имя. Это — высокая честь, товарищи! И лучшего имени, чем «Волгарь», мы не придумаем: специально под капитана подгоняли!

Кто-то неуверенно хохотнул, а Пахомов спросил:

— Как считаешь, Иван Трофимыч?

Вопрос застал Ивана врасплох. Он невольно шагнул вперед, словно из строя, поднял зачем-то руку, опустил и хрипло сказал:

— Вообще-то конечно. Имя хорошее.

— Вот как отвечает настоящий водник, — сказал Пахомов. — Скажи пару слов народу, Иван Трофимыч.

— Я? — растерялся Иван. — Зачем? Да что ты, Павел Петрович.

Пахомов знал: когда Иван говорил вот так тихо и просто — никакая сила не могла его сломить. Поэтому он только вздохнул и повернулся было к Володьке, чтобы тот закрывал митинг, как Сергей неожиданно предложил:

— Разрешите, я скажу. Как, Иван Трофимыч?

— Давай! — почему-то обрадовался Иван. — Пусти его, Петрович. Он — скажет, он все, что надо, скажет.

— От имени экипажа слово предоставляется новому помощнику капитана катера «Волгарь» Сергею Прасолову!

Народ помаленьку уже расходился, но это объявление вызвало интерес: остановились.

— Я работаю, — Сергей посмотрел на часы, — ровно смену. Конечно, от имени экипажа выступать мне, прямо скажем, рановато: кое-кто решит, что к чужой славе примазываюсь. Поэтому я чуть поправлю товарища парторга и честно скажу, что выступаю от своего собственного имени.

Сергей говорил без бумажки, весело и напористо. Шумок сразу стих, улегся.

— Мне выпала большая честь: работать на «Волгаре». Получается, вроде я в лотерею «Москвич» выиграл, только как бы в рассрочку: теперь платить придется.

— Точно, парень! — крикнули из толпы и дружелюбно засмеялись.

— Тогда разрешите сразу же первый взнос сделать! — Сергей помолчал, спрятал улыбку. — Мотались мы сегодня на «Волгаре» с четырех утра, горячего сожгли что положено, а рабочих ездов, прямо скажем, хорошо, если половина была. Почему? Да потому, что за каждым рядом, за каждым приказом назад надо идти, к диспетчерской...

— Верно! — крикнули из толпы.

— Сказали мне, что в начале навигации все катера были укомплектованы радиопередатчиками. Так?

— Правильно!

— А мы сдаем их! На склад!

— Морока с ними, парень.

— Морока потому, что специалистов нет. Так вот, я — специалист. Я действительно на Северном флоте служил, там и курсы кончил. И теперь предлагаю без отрыва от производства подготовить в каждом экипаже радиста. Дело это нехитрое, много времени не займет...

Первым захопал Федоров. Толпа подхватила, но Сергей поднял руку.

— Погодите хлопать. Хлопать тогда будем, когда диспетчер нас по радио вызывать начнет!..

Но ему хлопали долго и упорно. Сергей засмеялся, махнул рукой, отошел от перил.

Иван толкнул в бок начальника отдела кадров, шепнул:

— А ты говорил!..

— Дай бог, чтоб ошибся,— осторожно сказал Николай Николаевич.

— Спасибо, товарищ Прасолов.— Директор с чувством жал Сергею руку.— Очень, очень ценное предложение.

Пронин закрыл митинг. Толпа повалила к катерам, запрудив пристань. Взревели моторы.

— Вам выписаны премии в размере половины оклада,— сказал директор, прощаясь,— можете получить в бухгалтерии.

— Спасибо.— Иван вздохнул.— Это, конечно, хорошо, и Никифорову очень нужно...

До конца смены они ходили в именинниках. Каждый встречный катер непременно подваливал к борту, команда поздравляла, шутила: Иванов катер был популярен. А белобрый Вася — капитан топлякоподъемника — привез восемь отборных лещей.

— От нас в подарок. Принимай, Еленка.

В пять стали на прикол, пообедали, и Иван, послав Еленку за червями на такелажку, сел готовить снасти к вечерней рыбалке. Сергей в этом участия не принимал: достал из чемодана книгу по радиотехнике, завалился на диван. Через полчаса он уже похрапывал, уронив учебник на пол.

Иван наладил кольцошки, сшил из куска старой марли мешочки под приваду, разыскал грузы к ним. К тому времени вернулась Еленка, принесла червей, села рядом, долго смотрела, как Иван привязывает к каждому мешочку по массивному звену от якорной цепи.

В семь пришел Вовка с отцовским ватником под мышкой. Перебрался на катер, молча, как взрослый, подал Ивану руку.

— Был у отца-то, Вова?

— Был.— Вовка шмыгнул носом, отвернулся.— Лежит...

Губы его подозрительно дрожали, и Иван сразу же бодро и неискренне заговорил о другом:

— Кольцовки сделал, Вова. Вот, гляди: в кольцо жилку от привады опустишь, а на крючки, значит, червей...

— Без поплавка? — солидно спросил Вовка.

— А зачем он? На кольцовку крупная рыба идет. Станет брать — заметишь: пружинка задержается.

Из кубрика вылез Сергей. Зевнул, потянувшись:

— Сморила меня радиотехника...

— Сейчас к Никольским островам пойдем,— сказал Иван.— Там рыбачить будем, вернемся утром. Приходи к семи.

— Почему это? — Сергей непонимающе моргал.

— Ты вроде к Шуре обещался.

— Ах, к Шуре! — Сергей расхохотался.— Да на кой она мне.

— А она — ждет,— не глядя, сказал Иван.— Не знаю, конечно.

— Подождет да перестанет,— равнодушно сказал Сергей.— Это, капитан, все равно что с керосиновой бочкой обниматься.

— Не надо,— тихо сказал Иван.

— Чудак ты, Трофимыч! Ну, не буду, не буду, не хмурься.

Они отогнали катер к Никольским островам, зачалили за плот. Еленка осталась в кубрике, а мужчины и Вовка перебрались на мерно колыхающиеся пучки бревен. Иван выбрал место, показал мальчику, как ловить на кольцовку, забросил ему снасть...

Утром, отправив Вовку с уловом домой, Иван сходил в диспетчерскую, но там велели ждать: должен был прийти художник. Иван вернулся на катер, надел праздничный костюм и пошел к директору.

— У Юрия Ивановича оперативка,— сказала секретарша.

Иван потоптался, хотел было уйти, но тут из кабинета выглянул директор, отдал секретарше какие-то бумажки, спросил:

— Вы ко мне?

— К вам, — сказал Иван. — Я насчет Никифорова.

— Да, да. — Директор вздохнул. — Большое несчастье, Иван Трофимыч. Проходите.

— Ссуду он брал, когда строился, — еще на ходу начал Иван.

— Сколько, не знаете?

— Да тыщи две, наверно. На десять лет, что ли.

— Так. — Директор сделал пометку на календаре. — В постройкоме?

По одному, по двое собирались на оперативку производственников: начальники участков, мастера, снабженцы. Здоровались с директором, с Иваном, рассаживались вдоль длинного стола, шептались, шуршали газетами. Иван умолкал, потом начинал рассказ снова, сбивался, но все-таки изложил главное: как бы скостить с Никифорова долг.

— Это возможно? — спросил Федоров у главбуха.

— В принципе есть один ход: взять на себя задолженность за счет месткома вашего фонда, премиальных.

— Подработайте. — Федоров опять записал что-то на перекидном календаре. — И скажите Пронину насчет подарков семье.

От директора Иван пошел в бухгалтерию, получил премиальные на экипаж. Настроение у него было почти праздничное, и он тут же решил, что и он и Еленка должны отдать свои премии Федору.

Когда он вернулся на катер, художник уже кончил подкрашивать бортовые надписи. Иван полюбовался новым названием «Волгарь», выведенным на носу и на семи ведрах, стоявших на крыше рубки, — по букве на каждом ведре. Теперь художник выписывал это слово на спасательных кругах. Он пожал Ивану руку и молча протянул свернутые в трубку листы:

— На память.

Иван развернул: это были портреты команды, еще вчера висевшие возле конторы. Скуластые лица сурово глядели вдаль.

Потом они с помощником спустились в моторное отделение и долго возились, регулируя двигатель. Закончив, отогнали катер к затопленной барже и пошли в столовую, потому что Еленка уехала со стариками покупать долгожданную телку.

В столовой было шумно. Потолкавшись в очереди, долго блуждали с подносами, выискивая свободный столик.

— Иван Трофимыч! А Иван Трофимыч!..

Из угла махал незаметный морщинистый мужичонка неопределенного возраста, одетый в старенькую рубаху,

аккуратно застегнутую до самого горла. У ног его лежал ватник, в швы которого навеки въелась древесная пыль, и большой ящик с плотницким инструментом.

— Здорово, Михалыч,— сказал Иван, подходя.— Что-то давно не виделись.

— На запяни работал,— очень радостно объявил Михалыч, торопливо глотая второе.— Ты садись, Трофимыч, а я стоя похлебаю: стоя-то скорее выходит.

Он вскочил было, но Иван нажал ему на плечо и усадил на место.

— Успеется, Михалыч, жуй не спеша. Дома-то все в порядке?

— Слава богу, Трофимыч, слава богу. И корова справная, очень справная коровка попалась, так что не внакладе я оказался.

Он торопливо подхватил последний кусок и встал, освобождая Ивану место.

— Игнат Григорьевич телка покупает, слышал? — спросил Иван, садясь.— Козу-то Машку продали они.

— Стало быть, сенцо понадобится,— понизив голос, сказал Михалыч.— А понадобится — так ты, Трофимыч, мне свистни. Я теперь тут работаю, при мастерских: свистни, и я враз прибегу. Я на косьбу гораздый, не гляди, что мослы рубаху рвут. Семижильный я, Трофимыч, право слово, семижильный!

— Может, и свистну, Михалыч. Как шкипер скажет.

— Тебе, Трофимыч, всегда — с дорогой душой. В полночь-за полночь дочку родную отдам.

— Вот и столковались! — улыбнулся Иван, пожимая Михалычу руку.— Жене поклон, Михалыч. Заходи.

Михалыч ушел, волоча тяжелый ящик. К этому времени стол освободился, Сергей расставил тарелки и отнес поднос к раздатке.

— Смешной мужик,— сказал он, воротясь.

— Тихий,— улыбнулся Иван.— Тихий да невезучий — горемыка, словом. А плотник — золотые руки. Прямо артист.

— Глядел на тебя, как на икону. Должен, что ли?

— Нет,— сказал Иван.— Просто вышло так. Этим мартом медведь у него коровенку задрал: словно нарочно искал, кого побольнее обидеть. Ну, мужик и руки опустил: вроде пришибленный ходит и молчит. Расспросил я его, а он — заплакал, представляешь? Ну, мы и скинулись с получки, кто сколько мог, по совести.

— Ты все и провернул?

— Ну, при чем я? Работяги...

— Здоров, Бурлаков!

К столу, косолапя, шел Степаныч. Тарелка с борщом пряталась в огромных ручищах. Сел, расставил ноги, хлебнул.

— Дерьмо. Воруют, поди, гады! — Он вдруг подмигнул Сергею. — Вместо Никифорова, что ль? Подвезло.

Иван молчал. Сергей глядел равнодушно, но когда Степаныч бесцеремонно передвинул его тарелку, он спокойно вернул ее на место.

— Ну, как там Никифоров? — спросил Степаныч. — Все пластом, да? Дура Прасковья-то: в суд подать надо, А что? Точно, в суд. Пострадал на производстве, — значит, производство обязано деньгу гнать по гроб жизни. Я ей говорил, а она, дура, боится. А чего бояться-то, Бурлаков? Верно я говорю?

— Не знаю, может, и верно, — сказал Иван.

— Суд — милое дело. Никто не отвертится.

— Пойдем, капитан, — сказал Сергей, вставая. — А ты, рожа, когда меня в следующий раз за столом увидишь, лучше загодя у крыльца обожди.

— Чего-чего?.. — тоненько начал Степаныч.

— Борщ за шиворот вылью, — отчеканил Сергей и следом за Иваном пошел к выходу.

— Ты что это его, а? — спросил Иван, когда они шли к катеру.

— Нахалов не люблю. Бил, бью и бить буду — вот моя программа!

После обеда Иван прилег вздремнуть: он неделю недосыпал, за штурвалом клонило в сон. Сергей за столом тихо шуршал страницами, нещадно курил, разгоняя дремоту. Катерок тихо покачивало на волне, Иван сразу же уснул и проснулся только от женского голоса:

— Можно, что ли?

Голос был жеманным и незнакомым. Иван сел, оторопело оглядываясь:

— Кто?..

По палубе звонко цокнули каблуки, скрипнула дверь рубки, и на крутом трапе появились полные ноги. Ноги переступили на ступеньку ниже, вздрагивая круглыми коленками, и из люка выглянула Шура, стянутая шуршащим негнущимся платьем.

— Привет! — насмешливо сказал Сергей.

Вместе с Шурой в кубрик вполз удушливо-сладкий запах. Сергей повел носом.

— «В полет»!

— Угадал, — улынулась Шура, обмахиваясь платочком. — Жара! Погуляем?



— Занимаюсь я, между прочим. Радиотехника.

— Ну, занимайся, я обожду.— И Шура с готовностью уселась на свободный диван.

— Да чего уж...— Сергей с сердцем захлопнул книгу.— Пошли.

— Пиджак бы захватил,— сказала Шура, вставая.

— Жара — сама говоришь.

— А если посидеть захотим?

— Не захотим,— буркнул Сергей и первым полез из кубрика.

Шура вздохнула и покорно полезла следом. Иван ошалело проводил ее глазами и долго сидел на старом диване, испытывая смутное чувство гадливости и досады.

Чувство это оставило его только возле баржи-такелажки, когда еще на подходе он увидел на ней Еленку: она, тихо смеясь, играла с Дружком. Пес притворно рычал, стараясь лизнуть ее в лицо, но она ловко увертывалась. Иван остановился, любуясь ее мягкими движениями, и на душе сразу посветлело.

— Купили! — торжествующе закричала Еленка, увидев его.— С белой лысинкой!.. Да погоди же, Дружок!..

Она стремительно повернулась, уходя от собачьих лап, и легкое платье раздулось куполом.

Он вдруг захотел сказать, что любит ее, что она самая высокая его награда, что... И опять не сказал. Взошел по гибким сходням на баржу, подавил вздох.

— Ну, пойдем. Показывай.

Они открыли тяжелую дверь, но сразу же свернули вниз, в глухой, огромный трюм, где в полутемной выгородке стояла чистенькая рыжая телочка с белой отметинкой на лбу. Перед нею была бадейка с пойлом, но телочка уже не ела, а только меланхолично двигала мокрыми добрыми губами и вздыхала. Старуха стояла подле, то оглаживая ее, то поправляя бадью, а шкипер сидел на ящике и курил, усмехаясь.

— Вот красавица-то моя, гляди, Трофимыч!.. Вот умница-разумница, вот звездочка моя ясная!..— запричитала старуха.

— Сподобились, Трофимыч,— улыбнулся шкипер.— Сподобились мы, значит, счастья в коровьем образе.

— Молчи, балабон, прости господи!..— зыркнула на него жена и снова начала оглаживать телочку.— Ну, скушай, ясынька моя, ну, хлеба...

— Сказали бы мне лет сорок назад, что старуха моя от телка спятит, я бы ни за что не поверил,— улыбаясь, сказал шкипер.

— Наверх бы шли, дымокуры! — сердито сказала Авдотья Кузьминична. — Нечего тут курить, непривычная она.

— Видал?.. — хитро подмигнул шкипер. — Пойдем, Трофимыч, от греха...

— Вовремя ты пожаловал, — сказал старик, когда они выбрались на палубу. — Встретил я, когда телушку-то торговал, лесника нашего Климова Константина. Закинул на счет сенца, а он и говорит: Луконина топь. Там, говорит, сроду никто не косил, потому что дорог нет и далеко. Осока, конечно, но добрая. Коси, говорит, на здоровье, но выдергивай разом, а то колхоз заметит, и пропала твоя косьба. Вот я насчет завтра и подумал. Там до берега — версты три, даже и того меньше. На катер бы сволокли, а уж здесь-то, на барже, я частями высушу да и приберу.

— Косцов надо, — сказал Иван. — Ты да я — много ли наработаем?.. Ты вот что, Игнат Григорьич, ты Еленку за Пашей направь. За Пашей да за Михалычем: он сам помощь предлагал. А я на топлякоподъемник смотаюсь, Васю с Лидой попрошу. Да пусть Еленка косы у Никифоровых возьмет: у них есть...

Договорившись, Иван торопливо вернулся на катер. Сергей сидел в кубрике и прилежно трудился над радиотехникой.

— Ты чего... тут? — удивился Иван.

— А где мне быть?

— А Шура?

— Ах, Шура! — Сергей встал, с хрустом, с вывертом потянулся. — Черт ее знает. Может, дома ревет, может, на чужом пиджаке сидит... — Он поглядел на Ивана, засмеялся: — Чудак ты, капитан, честное слово, чудак! По-твоему, если девке чего на ум взбрело, так сразу надо поддакивать, да? Нет уж, сроду они мной не командовали и командовать не будут.

— Дело ваше, — сказал Иван. — Сейчас к Васе сходим, на топлякоподъемник.

По пути Иван рассказал о покупке и о том, что завтра надо косить на Лукониной топи.

— Надо так надо, — сказал Сергей. — Правда, косец из меня плохой.

— Затемно пойдем.

— Ну?

— И назад — затемно. Весь день с комарами.

— Ну?

— Все-таки выходной завтра...

— Что ты меня отговариваешь?.. — усмехнулся Сергей. — Ты прямо скажи: нужно — поеду, не нужно...

— Нужно,— улыбнулся Иван.

— Ну, и кончен разговор!..

Вышли, когда чуть просветлело. В предутренней тишине особенно громко стучал мотор. Иван стоял за штурвалом, Сергей курил, сидя на высоком комингсе рубки.

— А ничего, что катер без спросу взяли? — спросил он вдруг.

— Ничего,— сказал Иван.

Шкипер, Михалыч и Вася курили на корме, прячась от ходового ветерка. «Волгарь» бежал на полных оборотах, носовые волны елкой расходились по сонной реке. Иван придвинул табурет, сел.

— Странно,— сказал Сергей.— Сидишь за штурвалом. Непривычно.

— А-а. Знаешь, сколько я порогов обил; пока за штурвал пустили? Медкомиссия отказала вчистую: только на берегу.

— Заново комиссовали?

— Нет. Просто само собой, вроде все в порядке. Врачи молчат, начальство молчит, и я молчу. Молчком и работаю.

Из-за рубки вышел шкипер:

— Держи на стрежень, Трофимыч. Протокой не пройдемь: мель.

Катер повернул за мыс, и сразу берега расступились, исчезнув где-то за туманной линией горизонта, и вокруг разлилась вода. Желтая, почти неподвижная, она затопила все низины, все ложки, и мертвые березы по пояс торчали в ней.

— Гиблое место,— вздохнул шкипер.— Даже птица стороной облетает.

— Одна береза,— сказал Сергей.

— Ель первым же ледоходом свалило,— пояснил шкипер.— А береза все держится: корни глубокие.

— Береза — русское дерево,— улыбнулся Вася.

— Вот это ты верно сказал, Василий, верно,— подхватил Михалыч.— Я в Германии воевал, город Штеттин. Ранило меня там, осколком ранило. В госпиталь там поместили, так уж я насмотрелся. Не та береза, нет, не та! Духу нету, совсем духу нету, поверишь ли? Весна была, цветень самая, а — не пахли. Ничем не пахли.

— В Сибири тоже не пахнут,— сказал Сергей.— Может, порода такая.

— А почему она белая? — спросил Вася.— Смысл ведь какой-то должен быть, правда? У всех кора темная, а у нее — белая. Как тело. Зачем?

— Для красоты,— убежденно сказал шкипер.— Природа все для красоты делает, сама себя украшает. Смысл у нее в красоте.

— Ну? — усомнился Вася.— Это ты, Григорьич, того...

— Нет, брат, точно говорю. Возьми ты дерево любое, травинку, былиночку какую: красота! Ведь красота же, ведь человек сроду ничего лучше не придумал и не придумает.

— Чепуха,— сказал Сергей.— Целесообразность — вот что в природе главное. Целесообразность! Для пользы жизни.

— Целесообразность? — переспросил шкипер.— Ну, а зачем лисе хвост? Для какой такой целесообразности?

— Может, следы заметать? — засмеялся Михалыч.

— А рога сохатому? — не слушая, продолжал шкипер.— Ведь как мучается с ними, как бедует! А птичкам тогда как же с целесообразностью-то твоей?.. По целесообразности им всем серенькими быть полагается, а они — радостные!..

— Или — бабочки,— вставил Иван.— Прямо как цветы полевые.

— Нет, парень, природа-то помудрее нас с тобой будет. Куда помудрее! Это мы, люди то есть, еле-еле до целесообразности доперли и обрадовались: вот он, закон! И хотим, чтобы все в мире по этому закону строилось. А есть законы повыше этой самой целесообразности, повыше пользы. Просто понять мы их не можем, только и всего. Клади направо, Трофимыч: вон там, к обрывчику, и пристанем.

У обрыва они зачалили катер за корявый березовый пень и по сходням сошли на берег.

Шли по травянистому болоту, узко сдавленному черным непролазным осинником. Холодная сырость вызывала озноб, липла к телу, затрудняла дыхание. Почва мягко чавкала под ногами, и вода подступала к голенищам кирзовых сапог.

Сонные болотные комары, потревоженные шагами, тучами поднимались с земли. Еще не согретье солнцем, вяло оседали на одежде, заползали в швы. Женщины наглухо завернулись в платки, оставив только узкие щелки для глаз.

— Чуешь, как пахнет? — спросил вдруг Иван.

Влажный застоявшийся воздух был пропитан густым, приторно-тяжелым запахом.

— Багульник,— пояснил Иван.— Дурман тайги.

— Моль его не выносит,— сказал шкипер.— Моль, клоп — вся нечисть домашняя. Старуха моя пучки по всем углам держит, и на барже у нас — как в больнице.

Они все шли и шли, и болоту не видно было конца. Так же грузно оседала под ногами почва, так же хлюпала

вода и чуть слышно позванивала жесткая осока. Шкипер убирал с дороги сухие ломкие сучья осин.

Так протопали они километра три, а потом лес расступился, и перед ними открылась заросшая осокой поляна. Воды здесь было поменьше и осока повыше, но сапоги все равно утопали по самые голенища.

— Луконина топь,— сказал шкипер.— Вот с того угла и почнем, пока не жарко. А вы, бабоньки, палите костер да варганьте косцам еду.

Еленка, Лида и молчаливая Паша пошли к опушке, а мужчины начали отбивать косы. Вздрагивающий звон поплыл над болотом.

— Ты к жалу тяни, к жалу!..— суетливо подсказывал Михалыч Сергею.— От пяточки с наклоном да вперед, вперед, к носку...

— Ну, с богом, мужики! — торжественно сказал шкипер и широко, от плеча махнул косой.

С жестким хрустом осела под взмахом осока и, подхваченная пяткой, отлетела вправо. Еще взмах — и следующая охапка пристроилась к первой, образуя начало валка.

— Пошли!..— в восторге закричал Михалыч, взмахивая косой.— Раз!.. Раз!..

Он шел чуть согнувшись, прямо ставя ступни и приседая при каждом взмахе. Коса ходила легко, и так же легко, похрустывая, рушилась осока и ровным валком укладывалась справа от косца. Он на шаг продвигался вперед, одновременно вынося косу, и с каждым махом рос валок, а по голой, начисто выбритой топи потянулись две параллельные полосы пробороженной ступнями почвы. Полосы эти быстро наполнялись водой.

Иван и Вася тоже начали косить. Движения их были плавны и свободны, и со стороны казалось, что труд этот прост.

«Подведу я их,— подумал Сергей, примериваясь для первого маха.— Широко шагают, черти...»

Он с силой полоснул косой и обрадовался, когда осока покорно легла, срезанная остро отточенным лезвием. Шагнул, полоснул снова — и снова она рухнула, устилая путь. Ему пришлось подбирать ее полотном косы и оттаскивать в сторону, но он не останавливался, а шел и шел вперед.

— Хорошо!..— крикнул Михалыч.— Ах, хорошо!..

— Погоди, не то к вечеру запоешь! — отозвался Вася.

— Знаем мы эти песенки, Вася! Певали!..— Михалыч воткнул держак в болото, торопясь, стащил с себя сырой ватник.

Шкипер уже заново отбивал косу. Иван остановился тоже, вытер полотно пучком осоки, проверил пальцем.

— Наждак, а не осока.

— Осока добрая,— сказал шкипер.— До кустов дойдем — перекурим. Так, мужики?

Никто не отозвался. Косцы неторопливо двигались вперед, и осока с размеренным хрустом укладывалась в ровные, строгие валки.

Шкипер первым дошел до кустов, отбил полотно, не торопясь вернулся по проколу назад, к началу. За ним по одному вернулись остальные; только Сергей еще топтался где-то в середине, и извилистые рельсы его пути были густо усыпаны осокой. Косцы закурили из Васиной пачки, а Михалыч прошел к Сергею. Постоял сзади, посмотрел, тронул за плечо.

— Погоди, парень, погоди. Тужишься ты, косу таскаешь — не надо. Ты свободней держи. И пяточку к земле клони, пяточку самую. Она тебе травку и подберет, и в валок снесет. Гляди.

Он оттеснил чуть задохнувшегося Сергея, сделал несколько махов, не переставая поучать:

— В замах идешь — силу отпускай, не трать попусту. А вниз повел — на себя резче прими. Тогда коса сама и срежет и уберет.

— Иди, покурим!..— позвал Иван.— Слышь, Сергей!..

— Не заработал еще! — отозвался Сергей, вновь становясь на место.— Докошу — покурю.

— Не гони,— сказал шкипер.— Здесь призов не дают.

Покурив, они снова взялись за косы, и вскоре Михалыч догнал Сергея. Они почти не разговаривали: пройдя гон, возвращались, курили, отбивали косы и снова шли косить. Выбившись из их ритма, Сергей так и остался в одиночестве. Теперь он и косил один, и курил один, с каждым заходом ощущая, как наливается усталостью отвыкшее от таких нагрузок тело.

Взошло солнце. Косцы разделись до пояса: комары щадили в работе, атакуя только на перекурах. Зато пестрый злой овод все чаще жалил потные спины.

Женщины развели костер. Паша готовила завтрак, а Еленка и Лида уже сгребали осоку в копны, чтобы она зря не мокла в воде.

— Завтракать, мужики!..— крикнула Паша.

Косцы враз остановились, обтерли мокрые косы и воткнули держки в топь. Только Сергей продолжал косить. Шкипер подошел, положил руку на его голое потное плечо:

- Отдышись, пареньь.
- До кустов дойду...
- Весь день впереди. Намахаешься.

Сергей покорно воткнул косу и пошел к костру, чувствуя, как плывет и качается под ногами топь. У опушки Вася и Михалыч умывались в глубокой луже.

— Ополоснись, Серега,— сказал Вася.— Сразу посвежеет.

Сергей подошел, нехотя зачерпнул пригоршню холодной желтой воды, протер лицо.

- Зла мужицкая работка? — улыбнулся Михалыч.
- Приспособится,— сказал Вася.— Тут хитрости нету.
- Есть хитрости!..— возразил Михалыч.— В городе все быстрее норовят, все наскоком, все нахрапом. Нетерпеливые вы. А у нас так нельзя, не-ет, нельзя! У нас силу сберечь надо. Но — умеючи, умеючи, значит. Вот это и есть мужицкая хитрость.

Паша сварила ведро картошки с тушенкой, и они начисто выскребли ведро, напились чаю и сразу вернулись на недокошенные полосы.

— Ну, мужики, до обеда должны все скосить,— сказал шкипер.— Если осилим,— значит, выхватим это сенцо у бога из самой запазушки.

— Не у бога, а у колхоза имени Первого мая,— улыбнулся Вася.

— Сроду здесь колхоз не косил и косить не будет,— сказал Иван.— А траве зря пропадать не положено.

Солнце вставало все выше, топь звенела полчищами слепней. От болота поднимался пар, пот струйками тек по спинам косцов; они все чаще отходили к опушке, где бил родник, и пили холодную желтую воду.

— Как нога? — спросил шкипер.— Отдохнул бы.

— Ничего.— Иван сполоснул лицо, улыбнулся: — Погодка-то, а? Как заказанная...

Он врал, когда улыбался. Ногу ломило до пояса, он давно уже косил, стараясь не опираться на нее, но боль росла. Лечь бы сейчас, вытянуться — тогда отпустит. Но он не давал себе спуска. Никогда не давал: только начини болеть — и тело припомнит все осколки и пули, все контузии и ржавые сухари с болотной водой. Только распусти вожжи — не встанешь.

Поэтому он деловито ел за обедом пропахшую горьким осиновым дымом похлебку. Ел насильно: его мутило от боли и усталости.

— Не могу,— сказал Сергей и бросил ложку.— В глотку не лезет.

Он откинулся на кучу ломкого хвороста и закрыл глаза. Плыло, качалось болото...

— Попей.

Он открыл глаза: Еленка протягивала большую эмалированную кружку.

— Выпей, — повторила она. — Нельзя же ничего не есть.

— Ослабнешь, — сказал Иван.

Сергей хлебнул: в кружке было молоко. Прохладное, густое, почему-то чуть горьковатое.

— Больше не коси, — сказал Вася. — Что осталось, мы с Михалычем подберем, а вы копешки готовьте. Пудика по три потянем, Михалыч?

— Потянем, чего же не потянуть?..

Поначалу сгребать мокрую осоку показалось делом почти пустяковым. Но осока была не просто тяжелой; она была цепкой, как колючая проволока, пласты ее упорно свивались в большие вязкие комья, в которых намертво запутывались грабли.

— Ты руками, Сережа, — сказала Еленка.

Руки ее уже были порезаны в кровь, до волдырей искусаны комарами. Но она двигалась легко и гибко, словно не чувствуя усталости.

— Здоровая ты девка, — сказал Сергей.

— Привычная...

Через час с дальнего конца топи вернулись Михалыч и Вася. Сунули держак к кос в раскисшую землю:

— Готово, Игнат Григорыч.

— Ну что, мужики, отдохнем полчаса, а? — спросил шкипер. — Отдохнем, покурим и — двинем.

— Конечно, отдохните, — сказала Лида. — Нам тут еще грести и грести.

Косцы побрели к костру, а Сергей еще дергал, пинал, волок проклятую осоку. Еленка мягко отобрала у него грабли.

— Покури. Главный труд впереди, Сережа.

Пошатываясь, Сергей подошел к костру и почти рухнул на хворост. Вася протянул ему папиросу, он взял ее и держал в руке, как свечку: не было сил прикурить.

— Воровство — это когда корысть есть, — сказал шкипер, мельком глянув на него. — Украсть, продать да прогулять — вот воровство. Так я мыслю, Трофимыч?

— Мысль с совестью в разладе, — вздохнул Иван. — Я горючее тоннами тащу, Григорыч — траву, Вася...

— Краску! — засмеялся Вася. — Облез наш лайнер, как апрельский кот, глядеть невозможно. Лидуха пилит: давай, мол, подновим, давай, мол, выкрасим. Пошел я краску



добывать, а мне говорят: не положено. Ремонтные работы — зимой, сейчас средств нет. Я говорю: за мой счет. Все равно, говорят, не положено. Ну, плюнул я, сунул кладовщику на пол-литра, и краска сразу нашлась.

— А я гвозди, гвозди так добывал, — подхватил Михалыч. — Крыша прохудилась, ремонту требует, а гвоздей в продаже нет. Я туда, я сюда — нету! Пришлось со стройки захватить. Несу домой, а душа трясется. Страх ведь, страх!..

— От бесхозяйственности все, — вздохнул Вася. — Почему в Юрьевце, скажем, гвозди есть, а у нас нету? Что стоит завезти их вовремя?

— Расторопности мало, это ты, Вася, правильно говоришь, — сказал Иван. — И расторопности мало, и желания, и умения: вот и выходит, где — завал, а где — нехватка.

— Нет, это не воровство, — убежденно сказал шкипер. — Ну, а внутри-то мышка, конечно, скребет, это ты верно сказал, Трофимыч. Живет в нас эта мышка, будь она трижды неладна, и ворочается, и сна не дает. В старину тоже так случалось, но тогда способ знали, как эту мышку из души выжить.

— Что за способ? — спросил Вася.

— Каялись.

— Глупость это, Игнат Григорыч!

— Не скажи, Вася. Когда неведомо — откровение требуется. Груз с души снять нужно, поделиться, очиститься. Без покаяния умереть боялись, очень боялись.

— Перед людьми надо ответ держать, а не перед попом, — сказал Иван.

Все молчали. Михалыч неуверенно улыбнулся.

— Пошли тягать. — Шкипер достал из мешка веревки. — Берите снасть, муравьи.

Женщины помогали увязывать мокрую осоку, рывком подавали на плечи. Веревки намертво вонзались в тело, выламовывая спину, и мужчины, оступаясь, медленно брели по болоту.

Иван упал под первой копной: подвела нога. Упал неудачно, не мог встать, а только дергался, шепотом ругаясь. Вася, бросив осоку, кинулся, поднял:

— Оставь вязанку. Потом подберу.

— Ладно, Вася. Допру.

Вася шел сбоку, уголком глаза наблюдая за Иваном и вовремя подставляя плечо, когда Иван оступался. Поэтому они подошли к берегу последними: шкипер и Михалыч уже сматывали веревки, а Сергей сидел на своей ноше, опустив голову.

— Не ходи больше, Трофимыч,— сказал старик.— Отдышишься — тут попрыгай: сходни наладь, с катера все прими.

Иван кивнул: он понимал, что в этом деле не помощник. Выпростал из-под осоки веревку, сел рядом с Сергеем.

Михалыч, шкипер и Вася уже скрылись в лесу: чавканье сапог постепенно замирало вдаль. Иван закурил, протянул пачку Сергею.

— Живот что-то схватило,— виновато соврал Сергей.

— Иди на катер.

— Ничего.— Сергей встал.— Отпускает вроде.

Пошел назад, сматывая на ходу веревку. Хвост ее долго волочился сзади, подскакивая на кочках.

На подходе встретились Михалыч и Вася: с новыми ношами они шли к катеру. Михалыч разминутся молча, а Вася сказал:

— С дальнего конца копешки бери.

— Портянка сбилась.— Сергей поспешно и неуверенно улыбнулся.— Переобувался там...

Последние охапки несли уже в сумерках. Черные осины тревожно звенели по сторонам. Сергей шел последним, пропустив вперед Лиду и Пашу.

Почти в темноте перетаскали осоку на катер. Это были последние усилия: даже Вася перестал улыбаться. Иван накрыл старым брезентом сырую, остро пахнущую болотом кучу.

— Отдыхайте.

Они вповалку улеглись на брезенте, и Сергей сразу же провалился в полудремоту. Слышал, как застучал двигатель, как, отваливая, плавно качнулся катер и пошел вверх, натужно гудя мотором.

— Свалили! — выдохнул Вася.— Здорово это, когда своего достигнешь. Вроде уважение к себе самому поднимается.

— Дело вы для меня великое сделали, ребята,— тихо сказал старик.— Я за это...

— Ты нам за это покурить раздобудь, на том и сочтемся,— сказал Вася.

— Держи.— Сергей достал мятую пачку.— Не знаю, целы ли.

— Целые. Закуришь, Игнат Григорыч?

— Можно.

— Катер!..— крикнул Михалыч.

Сзади нагонял катер. С палубы его кричали что-то, неслышное за шумом двигателя, махали фонарем.

Теперь уже все толпились возле рубки: колхозный катер вечерами патрулировал по реке.

— Плакала наша работка...— вздохнул Михалыч.— Ах ты, господи, вот ведь не повезло, так не повезло...

И опять все замолчали, потому что молчал Иван, а ему одному принадлежало сейчас право решать. Но Иван упрямо держал максимальные обороты: катер дрожал как в лихорадке.

Справа открылся чуть видный в темноте пологий болотистый остров. Иван прижался вплотную к берегу: здесь течение было не таким сильным, но патрульный катер упорно шел в кильватере.

— Далеко? — спросил Иван, не оглядываясь.

— Метров триста,— сказал Вася.— Не уйдем, Трофимыч: у них и мотор посильнее, и катер не нагружен.

— Гаси топовые!..— крикнул Иван.

Сергей щелкнул выключателем, погасли опознавательные фонари, и тут же Иван стремительно заложил катер вправо, уходя в протоку.

— Куда?..— закричал шкипер.— Мель там, Иван! Мель!..

— Как крикну, все на левый борт,— сказал Иван, до рези в глазах всматриваясь в черную, заросшую камышом протоку.— Все — на один борт, поняли?

— Врежемся, Трофимыч,— сказал Вася.— Еще днище пропорешь.

— Все — на левый борт, как крикну,— повторил Иван.— Все — и бабы тоже. Готовьтесь. Только бы травы на винт не намотало...

Патруль чуть отстал: видно, капитан его не хотел рисковать в темноте, понимая, что все равно запер Ивана в ловушку.

— На борт!..— крикнул Иван, круто кладя руль.— На борт!..

Все кинулись к борту, и «Волгарь», развернувшись, боком лег на волну, задирая винт. Днище скребнуло по грунту, катер дернуло раз, другой, третий, но, дергаясь, он пробивался вперед, поднимая винтом тучи песка и ила. Мокрая груда осоки, дрогнув, медленно поползла к борту, но катер, дернувшись еще раз, прошел мель, и Иван тут же выровнял его и погнал вперед, уходя в темноту.

— Ушли!..— торжествуя закричал Михалыч.

— Да, Трофимыч...— Старик покрутил головой.— Всю жизнь на воде провел, а о таком не слыхивал. Орел ты, Иван Трофимыч.

— Лещ так перекаты проходит,— смущенно улыбаясь, сказал Иван.— Замечал, Григорьич? Весной, когда на нерест

идет. Встретит мель, ляжет на бок, хвостом работает и — вперед, вперед. Вот нагяделся я, значит, и — пригодилось. А вообще это скверно — убегать от закона. Очень скверно...

С перегрузкой на баржу все вышло гладко, и утром «Волгарь» стоял у диспетчерской, как всегда. Начались будни: обеды на ходу в грохочущем кубрике и простой, когда можно было половить рыбу для обеда; нудная буксировка плотов и доставка приказов; проводка барж и перевозка мелких случайных грузов. В понедельник директор отдал приказ, и Сергей начал регулярные занятия по радиотехнике. Он относился к ним очень серьезно, тщательно готовился, чертил схемы.

Вечерами Иван оставался один: Сергей уговорил Еленку заниматься в кружке. Отогнав катер к затопленной барже, Иван уходил к старикам и сидел там допоздна: помог шкиперу убрать сено, расширил закуток для телки, а когда не было работы, беседовал со шкипером или просто молча курил. Он не спешил теперь на катер.

На неделе зашла Паша: Федору стало лучше, он просил Ивана навестить его. В среду занятий не было, и они пошли втроем: Иван считал, что Сергей должен познакомиться с бывшим помощником.

— Должен так должен, — нехотя согласился Сергей. — Не знаю, капитан, будет ли ему приятно.

Никифоров лежал в отдельной палате. Лежал на животе, неудобно вытянув подвешенную на шнурах руку в гипсе. Худое лицо его заросло щетиной, глаза ввалились. Он встретил их приветливо, но говорил так мало и неохотно, что они вскоре заторопились.

— Погоди, Иван Трофимыч, — вдруг спохватился Федор, когда они уже подошли к дверям. — Останься на два слова, а?

Сергей и Еленка вышли, а Иван вернулся к Никифорову и сел на табурет возле его головы. Федор молчал.

— Может, лекарство какое нужно или еще что? — спросил Иван.

— Да не в этом дело, — вздохнул Федор. — Тут, понимаешь, баба моя в суд подавать надумала. Нажужжали ей, понимаешь.

— Не знаю, — сказал Иван, подумав. — Может быть, правильно.

— Да что правильно, что? — зло дернулся Федор. — Ты меры прими, понял? Она у меня дура, ей что наговорят, то она и делает. А я позора такого...

— Ты, Федя, взвесь все,— мягко перебил Иван.— Ты подумай.

— Так ведь на тебя же — в суд-то!..

— Ну и что? — Иван помолчал.— Если б я преступление совершил, тогда... И тогда было бы правильно, Федя.

— Дурак ты, капитан!..— Федор дернулся, скрипнул зубами.— Ты, это, не сердись. Не давай ты ей воли, Трофимыч. Позор выйдет. Один позор.

— Посоветоваться бы надо, Федя. С юристом.

— Не надо. Не хочу я этого. Не хочу!.. Обещаешь?

— Ладно, Федя.

— Ну, затем и звал. А сейчас иди. Сестру покличь: боли, мол, начались...

В Юрьевец для консультаций приехал профессор из самой Костромы. Иван случайно узнал об этом и кинулся в больницу. Главврач, недовольно хмурясь, написал записку, предупредив, что профессор — человек занятой и вряд ли согласится ехать в такую даль. И Иван тут же решил, что уговорить заезжую знаменитость сможет только Сергей.

— Понимаешь, я две недели Сашка не видал...

— Что за вопрос, капитан! — улыбнулся помощник.— Надо — значит, надо.

Иван выправил документы на рейс, долго объяснял, как идти, куда швартоваться, где искать профессора. Потом отдал чалку и стоял на берегу, пока катер не скрылся за дальним поворотом.

Налегая на палку, он медленно взбирался по крутой тропинке к поселку. Конечно, можно было пройти до лестницы и подняться по ней, но Иван всегда ходил только здесь. Это была тропинка его детства — узкая, утоптанная до бетонной твердости: даже палка не оставляла следов. Когда-то он на одном дыхании взлетал наверх, а теперь полз с остановками, приволакивая хромую ногу.

Наверху он оглянулся, но катера не увидел даже за первой излучиной: видно, шел «Волгарь» куда ходил своего капитана.

У ворот бревенчатого, в три окна дома он остановился. Низкий штакетник захлестнула малина, и с улицы двор не проглядывался. Иван одернул пиджак, застегнул на горле ворот рубахи, пригладил волосы и распахнул калитку.

За столом в палисаднике полная женщина перебирала клубнику. Она без улыбки посмотрела на Ивана, неторопливо заправила под косынку подбитую проседью прядь.

— Здравствуй, Иван.

— Здравствуй, Надя.— Иван присел, вытянув усталую ногу.— А где же Сашок?

— Сынок! — крикнула женщина.— Сынок, папа пришел!..

Прибежал Сашок, и они долго и старательно мастерили планер, руководствуясь крохотным чертежиком из «Юного техника».

— Ты, сынок, когда с мелочью какой работаешь — клеишь, к примеру, крючок к леске привязываешь или еще что,— языком зубы считай,— говорил Иван, оклеивая бумагой легкие крылья.

— А зачем?

— Для порядка. Сосчитал в одну сторону, тогда считай в другую. Глядишь, и не порвешь ничего, не сломаешь. Работа, Сашок, терпеливых любит, слушается их.

Это был его день. Он выторговал его, когда сын еще ползал по полу, и в такие дни они были только вдвоем: строили, чинили, бродили по лесу или ловили рыбу. Он просто учил сына тому, что знал сам. Поначалу казалось, что знаний этих много — целая жизнь,— но год от году становилось все труднее, и Иван с горечью чувствовал, как гаснет в сыне восхищение его рабочей сноровкой..

Профессор долго читал записку, все время нервно встряхивая листок.

— Это далеко?

— Шесть часов ходу,— сказал Сергей.— Против течения.

— Против течения — это очень хорошо,— неожиданно усмехнулся профессор.— В девять вечера зайдите за мной. Сюда.

Он сунул записку в карман и пошел наверх: на лестничной площадке ждали двое в белых халатах.

— Спасибо! — с опозданием крикнул Сергей, а Еленка испуганно дернула его за рукав:

— Тише!..

Они вышли на улицу.

— А вдруг поможет? — вздохнула Еленка.— Знаешь, мне Пашу жалко. И Федю, конечно, но Пашу — жальче.

— Она и сама жалкая,— сказал Сергей.— Живет голову втянув, словно вот-вот кто-то ударить должен.

— Так оно и есть, Сережа...— Еленка по-бабьи поджала губы.— Доля у баб такая — каждую минуту удара ждать.

Сергей посмотрел на нее, расхохотался, вдруг шутливо обнял.

— Пусти...— Еленка высвободилась и, чувствуя, что краснеет, поспешно отвернулась.— Может, в кино пойдём?

В кассах широкоэкранного кинотеатра толпились люди. Сергей быстро разобрался, в каком окошке дают на текущий сеанс, занял очередь. Еленка стояла рядом, искоса остро, изучающе поглядывая на соседей.

— Смотри, смотри! — не выдержав, зашептала она.— Чулки красные, а туфельки — черные...

— Ну и что? — спросил Сергей, бесцеремонно оглядев проходившую мимо девушку.

— Смешно. Как гусыня.

— Ты бы не надела?

— Да что ты!..— Еленка тихо рассмеялась.— Что же тут хорошего?

— Мне нравится,— сказал Сергей.

— Красные ноги?..— поразила её она.

— Красивые ноги,— поправил он.

— А-а...— смущенно протянула Еленка и замолчала. Потом спросила вдруг: — А когда колени торчат, тоже нравится?

— Если красивые?

— Что же в них может быть красивого? Колени и колени...

— У тебя, например, красивые,— улыбнулся он.

Еленка поспешно отвернулась. Сергей усмехнулся: ему нравилось вгонять её в краску.

Очередь двигалась медленно, и Сергей уже начал поглядывать на часы: до сеанса оставалось десять минут.

— Там без очереди не пускайте! — крикнул он.

— Все нормально,— лениво отозвались от кассы.

У дверей раздался шум, очередь заколыхалась, и хриплый бас пьяно и весело прокричал:

— Кто последний, что дают?..

Сквозь толпу ломился лохматый рослый мужик в серой, вольно распахнутой на груди рубахе.

— Расступись, народ!..

— Рычало...— прошелестело в очереди, и люди начали вжиматься в стенку.

— Пьяный...

— А он и не просыхает...

Рычало пролез к кассе, загородил окошко:

— Что осталось, красавица?

Очередь послушно молчала. Что-то неразборчиво ответила кассирша, и вновь пророкотал хриплый бас Рычалы:

— А интересно?

Сергей вдруг шагнул вперед, схватил за плечо Рычало, рванул к себе:

— А ну, убирайся отсюда!..

— Я?..— Рычало непонимающе моргал пьяными глазками.— Это ты — мне?..— Он чуть ворохнул плечом, сбросил руку, повернулся, огромный, уверенный.— Ах ты, морячок-дурачок!..

Сергей подобрался и, нырнув под руку, что есть силы ударил кулаком в живот. Рычало охнул и стал оседать на пол, хватая воздух.

Очередь молчала, скорее с удивлением, чем с восторгом глядя на него. Еленка сжала локоть, ткнулась лбом в грудь:

— Напугалась я...

— Ладно.— Он закурил, хотя в помещении курить воспрещалось, улыбнулся.

Прозвенел третий звонок, но они успели войти в зал и разыскать свои места. Почти полкартины Сергей глядел на экран не понимая, но потом успокоился, отвлекся и к концу успел посочувствовать герою, попавшему в неприятную историю. Еленке фильм очень понравился, потому что был без стрельбы и герои обретали счастье.

Они сидели далеко от выхода и попали на улицу с последними группами зрителей.

— Солнышко-то какое!..— радостно улыбнулась Еленка.

— Надо на катер глянуть,— озабоченно сказал Сергей.

Пошли к пристани напрямик, через пустырь. Еленка задирала голову к солнцу, щурилась, морща нос. Сергей усмехнулся:

— Щуришься, как котенок.

— Эй, морячок!..

Они оглянулись: нагонял Рычало.

— Отойди,— тихо сказал Сергей Еленке.

— Сережа...— Беспомощно оглядываясь, она схватила его за руку.— Тебе совестно, так я закричу, а?.. Закричу, Сережа. Может, с ножом он...

— Отойди!..— резко повторил Сергей и пошел навстречу Рычале.

Они остановились в двух шагах друг от друга. Рычало тупо моргал красными глазками и молчал.

— Что надо? — спросил Сергей.

Рычало упорно молчал, шмыгая толстым бородавчатым носом. Ветер шевелил его редкие седые волосы.

— Что надо? — повторил Сергей.

— Зачем ударил?..— тихо спросил Рычало.— Зачем, а?.. Не трогал ведь тебя, никого не трогал. А что пошумел, так ведь без злобы. Все знают. Инвалид я, осколок у меня



в брюхе. Немецкий осколок. А в него — кулаком. За что же так, а?..

— Еще хочешь?

— Эх ты...— Рычало тяжело вздохнул и опустил голову.

— Пошел прочь, пьяная морда,— брезгливо сказал Сергей и, не оглядываясь, вернулся к Еленке.

— Что? — с тревогой спросила она.

— Так,— усмехнулся Сергей.— Прощения просил.

Она засемила рядом, сбоку заглядывая в лицо Сергею.

— А ты — смелый.

— Приходилось, знаешь,— нехотя сказал он.

Катер сиротливо стоял в дальнем углу причала. Сергей проверил запоры, чалку, вернулся на пристань.

— Пошли в ресторан.

— В ресторан?..— Еленка никогда не была в ресторане и испугалась: — Что ты, Сережа!

— А что? Выходной — вроде праздника.

— Нет, нет. Совестно как-то. И дорого, поди.

— Да что там дорого, совестно! Мы хозяева, понятно? Для нас — все: и кино и рестораны. Земля для нас вертится, а ты — совестно!..— Он взял ее за руку.— Пошли.

— Нет.— Она решительно высвободила руку.— Я обед стготовлю. Любишь окрошку? На рынке квас продают.

— Ну крой.— Он чуть сжал ее руку и улыбнулся, и она в ответ смущенно и радостно заулыбалась.

Еленка вернулась с рынка бегом. Перебралась на катер, открыла дверь рубки хитро загнутой проволокой, спустилась в кубрик. На столе стояли три бутылки жигулевского пива, лежал кулек с конфетами и полкило чайной колбасы. Еленка съела довесок и начала готовить зелень для окрошки: ей очень хотелось, чтобы обед получился не хуже, чем в ресторане.

Вскоре пришел Сергей. Положил на стол две банки консервов, пощупал пиво.

— Пивко-то я не сообразил за борт опустить!

— А консервы зачем? — Еленка неодобрительно покачала головой: — Это же так, баловство, а я мяса купила.

— Мясо — к ужину,— сказал он, вскрывая перочинным ножом консервы.— Профессора кормить будем: путь не близкий.

— Верно, Сережа.— Еленка разложила по тарелкам зелень, нарезала хлеб, колбасу.— Садись.

— Ну, ты прямо шеф-повар! — улыбнулся он.— Доставь стаканы, я сейчас.

— Чего забыл?

— Утопленника!..— весело крикнул он с трапа.

Еленка достала стаканы. Вернулся Сергей, неся мокрую бутылку. К горлышку была привязана бечевка.

— Час в воде полоскал, а все — теплая.

— Напрасно.— Еленка строго поджала губы.— И не к месту, и не ко времени.

— Ее всегда ко времени! — Сергей зубами надорвал пробку, разлил по стаканам.— Давай, матрос. Чтоб плавалось.

— Ой, много...

— Пивком запьешь.— Он открыл пиво, принес стакан, налил.— Ну, залпом, по-флотски.

Водка была теплой, противно перехватывала дыхание, липла к горлу. Еленка вообще не любила ее, пила только в компании, да и то для виду, но Сергей был так настойчив, так заглядывал в глаза, что Еленка совсем закружилась. Она чувствовала удивительную свободу и легкость, охотно смеялась его шуткам, а после обеда даже закурила, держа папиросу в кулаке и шумно выдыхая дым.

— Вот ты, девочка, и осовременилась,— весело сказал Сергей.— А то такой монашкой живешь, что аж злость берет: тихая да серенькая, как мышка.

— У мышки хвостик есть.— Еленка старательно выговаривала слова.— Хвостик да домик. А у меня, Сереженька, ничего: ни хвостов, ни домов.

— Да и я такой же,— вздохнул он.— Отца на фронте убили, мать померла, когда я еще в техникуме учился. Вот и выходит, что мы с тобой как брат с сестрой... Ты откуда в этих краях вынырнула?

— Издалека, Сереженька, издалека,— нараспев сказала Еленка.

Она уже не смеялась, и улыбка, забытая на лице, казалась заученной и потому жалкой. Сергей пересел ближе.

— Ну, ты что? Брось.— Он обнял ее за плечи, прижал к себе.— Слышь, матрос, гляди веселей!

— Было ведь, все было, Сереженька,— тихо всхлипывая, говорила Еленка.— И дом был, и подружки, и парнишечка. И любовь была, Сереженька... Та, что нам только разик дается. Вот я себя и не пожалела, когда в армию он уходил. Все ему отдала, а написали, что гуляю, и — поверил. Вернулся, насмеялся надо мной, перед всеми выставил да и бросил. Бросил, как окурок, бросил!..

Она залилась слезами, уже не сдерживаясь. Сергей, топясь, целовал мокрое лицо. Еленка не отталкивала его, то ли не понимая, то ли по-детски зайдясь в плаче.

— Зачем? — перестав вдруг плакать, тихо сказала она.— Не надо этого, милый, не надо... Слышишь?..

Она бормотала эти привычные женские слова, а руки сами собой уже гладили его плечи.

— Оставь... Оставь, Сережа, милый... Ну, что ты делаешь со мной, что?..

...Вася третий час выбирал подвесной лодочный мотор. Ощупывал каждую деталь, осматривал крепления, по бумажкам сравнивал паспорта. Продавец давно перестал обращать на него внимание, и Вася очень страдал, что не может ни с кем посоветоваться.

— Скажите, товарищ продавец, а можно обменять, если что? — набравшись смелости, спросил он.

— Ну а что может быть? — лениво спросил продавец. — Завод гарантирует, что тебе еще надо?

Вася вздохнул, еще раз сличил паспорта и вдруг решил, что загадает: если мотор будет хорош, то Лидуха родит ему парнишку, а если, не дай бог, сломается, то девчонку. А загадав, сразу повеселел и протянул продавцу паспорт:

— Этот. Выписывайте.

Расплатившись, Вася взвалил на плечо покупку и пошел к пристани. Местный пароходик, курсирующий между Юрьевцем и их затоном, отходил вечером, но Вася надеялся, что подвернется какой-нибудь буксир. Еще издали, оглядывая пристань, он увидел притулившийся в уголке знакомый катер.

— Трофимыч!..— крикнул он, бережно сняв с плеча «Стрелу».— Иван Трофимыч!..

Никто не отозвался. Дверь рубки была открыта, и Вася, перетащив ящик на палубу, заглянул в кубрик: там было темно, но слышался негромкий храп.

Сгорая от нетерпения похвастаться покупкой, Вася тихо спустился по трапу. Нащупав пол, остановился и деликатно кашлянул, рассчитывая, что спящий проснется.

— Кто?..— испуганным шепотом спросила Еленка.

— Это я...— растерянно сказал он.— А Трофимыч?

— Нет его, нет,— испуганно бормотала Еленка, торопливо натягивая платье.— Кто тут? Зачем?

— Да это я, Василий...— Он увидел голого по пояс Сергея, разбросанную одежду, бутылки на столе и замолчал.

Еленка перелезла через спящего, спрыгнула на пол. Отвернувшись, застегивала платье.

— Заснула я,— жалко бормотала она.— Мы за професором тут. Жара такая...

— Да.— Вася растерянно топтался у входа.— Жарко, конечно. Домой скоро ли пойдете?

— Нет, не скоро, нет...— Еленка стояла к нему спиной,

лихорадочно поправляя волосы.— Ночью пойдем. А то и утром.

— Я на рейсовом тогда,— сказал Вася и полез наверх. Он вышел на палубу, взвалил на плечо «Стрелу».

— Стерва!..— громко сказал Вася и плюнул.

Профессор не помог Федору. Осмотрел, посоветовал не отчаиваться. Федор выслушал это молча, а сестру послал длинным матерком и потребовал, чтобы немедленно отправляли домой. Доктор с трудом успокоил его.

На «Волгаре» все вроде бы шло заведенным порядком. Только Еленка вдруг перестала ходить на занятия, два вечера проторчала на катере: перестирала Иваново белье, починила рубашки. Иван звал ее к старикам, но она отказалась.

— Зря Еленка курсы бросила,— сказал за ужином Сергей.— Сил на это особых не надо, а бумажку получить всегда полезно. Поговорил бы ты с нею, капитан.

Иван поговорил. Еленка долго и как-то странно смотрела на него, а потом сказала:

— Раз велите — буду ходить.

— Надо, Еленка,— сказал Иван.

Еленка покивала и ушла в свой угол. Она вообще стала какой-то тихой, вялой, покорной. Иван все приглядывался к ней, хотел расспросить, что случилось, да так и не собрался.

С Сергеем капитан виделся только на работе. Даже в свободные от занятий вечера Сергей куда-то уходил, возвращался поздно и сразу заваливался спать. Как-то Иван видел его с Шурой, подумал, что завертела-таки помощника девка, но как раз в тот вечер Сергей вернулся злой, а когда курили перед сном на палубе, сказал:

— Давай, капитан, в те дни заправляться, когда этой заразы на нефтянке не будет.

Завелись у него и друзья: ходил играть в карты к инспектору рыбоохраны, выходные проводил на гензапани. Но занятия не пропускал, по-прежнему тщательно к ним готовился, да и на работе неизменно был улыбчив и безотказен.

Только в субботу он решительно отказался взять на гензапань проволоку.

— В понедельник отвезем,— сказал он диспетчеру.— Закон есть закон: короткая суббота.

— Сходим, Сергей,— не очень уверенно сказал Иван.— Все равно делать нечего.

— Вечерок у меня занят, капитан.— Сергей покосился, помолчал, потом спросил: — К старикам не собираешься?

— Можно.

— Еленку с собой прихвати,— приглушенно сказал Сергей.— Понимаешь, друзья придут, ну и... Словом, помещение нужно.

— Можно,— еще раз согласился Иван: ему не понравились подмигивания Сергея.— Пойдешь куда на катере-то?

— Не сомневайся, капитан: в двенадцать буду на месте. Идти к старикам Еленка наотрез отказалась, и Ивану пришлось прикрикнуть на нее. Она испуганно глянула, तो-ропливо закивала:

— Иду, иду, не надо...

Было в ней что-то пришибленное. Иван крякнул с досады, но промолчал, а спросил уже по дороге:

— Ты вроде боишься меня?

— Нет, что вы.— Еленка опустила голову.

— Тихая ты что-то больно. Здорова ли?

— Здорова.

— Может, обидел кто? — не унимался Иван.

— Да что вы, Иван Трофимыч! — Еленка остановилась, глядя в сторону.— Говорю вам, что все в порядке, а вы — свое. Так лучше уж вместе не ходить...

— Ну, ладно,— проворчал Иван.— Не такая ты какая-то, вот и спрашиваю.

Больше они не разговаривали. За тяжелым рубленным столом на барже удобно было молчать.

— Ну, чтоб ходилось вам и плавалось.

Раздался стук, и в комнату вошли Лида и Вася.

— Можно, что ли, хозяйева?

— Ну, пойдет теперь музыка! — радостно крикнул хозяин, углядев в руках у Васи бутылку водки.— Теперь разговеемся!..

— Здравствуйте,— сказала Лида и чинно подала старухе кулек с конфетами.

Еленка вдруг вскочила, точно собираясь бежать, но Авдотья Кузьминична мягко потянула ее на место. Еленка затравленно оглянулась, схватила стакан и залпом выпила водку. Закашлявшись, опустилась на стул, пряча запыхавшее лицо.

— Вот это да! — удивленно сказал шкипер.— Только чего вспыхнула-то? Чего застеснялась?

— Задохнулась она,— сказала старуха.— Полстаканахватила враз. Отдышись да закуси, а то спьянишься. Возьми, Лидуха, стаканы в шкапике, да садитесь к столу, гости дорогие.

— Поспел ты, Василий, к самому почину.— Шкипер налил Весе, опять поднял стакан.— Ну, волгари, за Волгуматушку!

— Ох, балабон! — вздохнула старуха.— Галах ведь был, голь перекатная, босота волжская, а меня, единственную дочку, так заговорил, так забалабонил, что из отчего дома в угон взял.

— В угон? — удивилась Лида.— Это как же?

— А так: нанял тройку, усадил да и махнул на удалых сорок верст без передыху. Поп-пьянчужка обвенчал в селе Кудимове, да с тем и стали мы жить: по Волге мотаться из конца в конец.

— Хорошо, мать, жили,— улыбнулся шкипер.— Не было у нас ни кола ни двора, а морщиночки у тебя все-таки от смеха появились.

— Жили-то хорошо, а доживаем как?

— Ничего, Авдотья Кузьминична: нашего от нас никто не отымет, корня то есть. Добрый у нас с тобой корень: от босоты волжской мы идем, и нет нам ни сносу, ни износу.

— Корень,— вздохнула она и нахмурилась.— Изведут этот корень, и чихнуть не успеем.

— Это кто же изведет-то? — поинтересовался старик.

— А бабы нынешние, вот эти вот.— И Авдотья Кузьминична сердито ткнула в плечо Еленку.

— Да что вы, Авдотья Кузьминична? — удивилась Еленка.— Да за что же вы меня так?

— А чего не рожаешь? — строго спросила старуха.— Чего не рожаешь-то, бабонька?

— Ой, ну что вы...— Еленка еще ниже опустила голову, то заплетая, то расплетая бахрому льняной скатерти.

— Кабы ты одна была, то и бог с тобой,— все так же строго продолжала старуха.— А ныне, куда ни глянь, все такие!.. Ездил я прошлой зимой к Зинке, дочке своей. Отдельная квартира, мужик собственный, а детишек — ровнехонько один Андрюшечка. Я глянь-поглянь: у всех так, у всех по одному, а двое — так совсем редко. Ровно мода какая или указ...— Она вздохнула, глянула на Еленку.— Вот и ты, бабонька, такова ж. А жизнь знаешь что такое? Верть-поверть — и смерть. Спыхватишься — выть будешь, локти кусать, да поздно, прошел твой час...

Еленка вдруг вскочила, крепко уцепившись за край стола.

— Разошлась ты, мать,— сказал старик.

— Все тут, Григорьич, к месту говорено,— вздохнула Авдотья Кузьминична.— Или не к месту, Иван?

Иван промолчал, а шкипер поднял стакан с остатками водки.

— За это и выпьем, Иван Трофимыч. Вот за это самое. Чтоб, значит, и тебе ветер переменился. Не все чтоб в лицо дул, а хоть изредка да в спину подталкивал.

— За это и я выпью! — громко сказала Еленка. — Она взяла стакан, шагнула к Ивану. — За вас, Иван Трофимыч.

Выпила не отрываясь, опрокинула стакан вверх дном и только после этого села на место, слепо тыча вилкой в скользкую сыроежку.

— Будьте здоровы. — Вася чокнулся.

— Спасибо, люди добрые, — тихо сказал Иван. — Дай вам бог, как говорится.

Некоторое время они закусывали молча, не решаясь нарушить вдруг возникшей тишины. Старик недовольно крикнул:

— Сбила ты, мать, со здравия на упокой!

— Так ведь не все же ай-ай-ай, надо и ой-ой-ой, — сказала старуха. — Теперь почаевичаем да и поговорим.

— «Хаз-булат удалой, бедна сакля твоя...» — затынула Лида.

Старик подхватил, остальные молчали.

— Не идет, — вздохнул шкипер. — Без тебя, Еленка, ничего не вытянем.

— Не смогу я, Игнат Григорыч, — сказала Еленка, наливая чай. — Не тянет что-то на песни.

— А на танцы тянет? — вдруг громко, зло спросил Вася, в упор уставившись на нее.

Еленка неторопливо передала стакан с чаем, повернулась, глянула в глаза.

— Может, спляшем?

— И то дело, и то! — обрадовался старик. — Тащи, Лида, гитару, ежели не рассохлась она от тихой жизни!

Лида подала гитару. Шкипер подстроил ее, рванул струны, и Еленка, выбив дробь, пошла по комнате:

Милый мой по Волге плавал,  
Утонул, проклятый дьявол!  
Я одна, одна, одна:  
Не достать его со дна!..

Она лихо отбила приглашение, но Вася не шевельнулся: сидел набычившись, недобро поглядывая.

— Что, Васенька, коленки слабы? — пригнувшись к нему, вздохнула Еленка.

Ноги ее безостановочно дробили пол. Вася отвел глаза, буркнул:

— Напилась?

— А ты видел? Видел?..— почти выкрикнула она.— Ну, так и молчи. Молчи!..

Она вызывающе тряхнула головой и в полный голос неожиданно завела:

— «Хаз-булат удалой, бедна сакля твоя!...»

— «Золотую казной я осыплю тебя»,— вмиг пристроившись, осторожным басом подхватил шкипер.

Пели долго, пока не ушли Вася с Лидой. А как хлопнулась за ними дверь, Еленка оборвала песню.

— Ну, и нам пора,— сказал Иван, вставая.— Спасибо, хозяйева дорогие...

Было темно и очень тихо, когда они вышли на палубу. Теплым комком ткнулся в ноги Дружок и сразу же убежал на край баржи, где ударил топляк о замшелый борт. Черная вода чуть плескалась в сходни.

— Качается все,— шепнула Еленка, прижавшись к Ивану.— Я держаться за вас буду.

Он осторожно провел ее на берег, но и здесь она не отодвинулась, а все так же, путая шаги, прижималась к боку, и он обнял ее за прохладные, узкие, как у девочки, плечи.

— Не замерзла?

— Ножки не идут,— тихо засмеялась Еленка.— Не идут ножки домой.

Иван молчал, бережно поддерживая ее. Ему было хорошо и покойно, и он готов был идти вот так целую ночь по заваленному бревнами берегу, слушать ее бестолковый, ласковый шепот и молчать. Но прошли они всего несколько шагов, как Еленка остановилась, и он совсем близко увидел ее лицо: глаза казались огромными.

— Пойдем к деревне,— торопливым, очень деловым шепотом сказала она.

— Зачем?

— Пойдем, пойдем. Там тихо. Там нет никого, там...

Шли в темноте, спотыкаясь о бревна, путаясь в клубках ржавой проволоки. Еленка предупреждала, не оглядываясь:

— Бревно. Шагай левой. Проволока тут. Осторожно.

Заваленный бревнами берег кончился, под ногами мягко оседал песок. У обрыва Еленка остановилась, обняла, отстранилась вдруг..

— Сядь.

Он покорно сел, неудобно вытянув хромую ногу. Еленка лежала на спине, согнув колени: платье соскользнуло, и он все время видел белые колени, тесно прижатые друг к



другу. Сердце его билось тяжело и неровно; чтобы успокоиться, он закурил.

— Куришь зачем?

Он промолчал: ему не нравилось, что они сидят здесь, точно двадцатилетние, очень не нравилось. Но не было сил ни встать, ни сказать ей, что лучше уйти отсюда.

Легкие пальцы коснулись лица. Он вздрогнул: совсем как там, на катере. Она ласково отобрала папиросу, взяла его за руки, потянула к себе:

— Ну иди же, иди ко мне, иди...

Иван скорее угадал, чем расслышал эти слова: в висках стучало. Он качнулся к ней, вывертывая непослушную ногу. Еленка тянула за руки, и костыль, который лежал между ними, вдруг острым концом уперся в ребро, а она все тянула и тянула, шепча что-то...

Он опомнился. Рванулся, тяжело вскочил, поднял палку.

— Не звери мы, понятно? Не звери!..

Спотыкаясь, он бежал по берегу. Упал, налетев на бревно, поднялся, снова, не оглядываясь, спешил вперед, с силой налегая на костыль...

Катер уже стоял у затопленной баржи. Иван, оступаясь, спустился в кубрик. Сергей убирал со стола, складывая грязную посуду в ведро.

— Прибыл по расписанию, капитан.

Иван молча прошел в свой угол, вытащил одеяло, швырнул в изголовье подушку. Потом вдруг, грохоча, полез наверх.

Сергей вытер стол и, взяв ведро, вышел на палубу. Иван, сгорбившись, курил на моторном люке. Сергей зачерпнул воды, неторопливо перемыл посуду. Уже уходя, спросил:

— А Еленка где же?

Иван промолчал. Сергей спустился в кубрик, расставил посуду в шкафчике, постелил и лег, а Иван все не возвращался...

Проснулся Сергей от грохота.

— Ты, капитан?

— Я...— негромко, с длинной паузой отозвался Иван: он, согнувшись, шарил на полу костыль.

Сергей потянулся к лампочке, включил: Еленки не было.

— Еленка у стариков ночует, что ли?

Иван подобрал палку, полез наверх. Высунулся вдруг уже из рубки:

— Искать пойду.

— Кого?.. Да погоди же, капитан!

Сергей торопливо оделся, нагнал уже на берегу: Иван спешил, налегая на палку.

— Еленку искать? Ты чего молчишь-то?

— Обидел я ее,— глухо отозвался Иван.— За что обидел, а?..

— Где она? — помолчав, спросил Сергей.

Иван не ответил. В ночной тишине пронзительно громко скрипела палка, вонзаясь в песок. С низин в реку сползал туман. Сергей зябко передернул плечами.

— Выпил я вечером, только уснул, пригрелся...

— Жена ведь она мне,— вдруг точно самому себе сказал Иван.— Жена, а я — обидел. Зачем, а?.. Это же все равно что ребенка ударить, это же невозможно. Сердце у нее простое, открытое, а я — сапогом по нему, сапогом!.. Где же искать-то ее теперь, в реке?

— Да что ты, капитан.— Сергею вдруг стало страшно.— Да опомнись, что ты... Где расстались-то?

— Там.— Капитан ткнул палкой в рассветный полумрак: нагромождение бревен, старых пачек, сплочной проволоки.— Как к деревне подниматься.

— Еленка! — крикнул Сергей.— Еленка!..

Прислушались: ответа не было. Иван снова зашагал — напролом через завалы сохнувших на берегу топляков.

— Еленка! — еще раз крикнул Сергей. Послушал, догнал Ивана.— Может, она на баржу спать ушла, к старикам?

Иван молча шел впереди, больше обычного приволакивая ногу. Сергей еле попевал за ним.

Старики уже поднялись. Хозяйка растапливала печку, шкипер шуровал наверху: к началу рабочего дня приходили к барже катера за тросами, сплочной проволокой, цепями.

— Куда спешишь, Иван Трофимыч? — весело окликнул он.— Старые троса я без очереди выдаю.

— Еленка не у тебя, Григорьич?

— Потерял? — рассмеялся шкипер.— Ну, Иван, ну, орел.

— Пропала она, Игнат Григорьич,— тихо сказал Иван, обессиленно опустившись на кнехт.— Ночью-то обидел я ее...

Дружок, повизгивая, радостно тыкался в колени. Рыжий, злой как черт кот Васька лениво дремал на крыше, одним глазом наблюдая за собакой.

— Вот дела,— растерянно протянул шкипер.— Лишку она вчерахватила, это точно.

— Может, заявить куда? — Иван вскочил, прошелся.— Может, в реке искать?

— Не дури, Иван, и голову не теряй,— строго сказал старик.— Заводи катер да сбегай к Василию: там она может быть. А нет...

— Ясное дело, у Лиды она! — радостно крикнул Сергей. — И как это мы сразу не сообразили.

Возвращались — затон уже работал. Первые катера требовательно сигналили, отваливая от причалов; грохотали цепи на подъемном кране — «Гансе», как его называли здесь; сиплыми, сорванными голосами костерили кого-то плотовщики.

— Иван Трофимыч, за баржой давай! — крикнули из диспетчерской. — Под погрузку просят!

— погоди! Тридцать минут погоди!..

Еленки на катере не было. Иван завел мотор, крикнул помощнику, чтоб отдал чалку. Сергей прыгнул на затопленную баржу и тут увидал Еленку: она стояла на берегу, словно раздумывая, идти ли на катер.

— Есть пропажа, капитан! Нашлась!..

Иван выскочил из рубки, больно ударившись ногой о высокий комингс. Увидел, полез закуривать, смахнув со лба выступивший вдруг пот.

— Где гуляла? — сердито спросил Сергей.

Еленка незряче глянула, прошла мимо. Платье было измято, лицо осунулось, синие круги легли под глазами. Мужчины переглянулись.

— Иди за нарядом, — устало сказал Иван.

Спустился в кубрик. Еленка сидела в углу, сгорбившись, сунув ладони между колен. Глядела в пол, в одну точку, и Иван, как ни старался, не мог поймать ее взгляда.

— Ты где была?

Еленка не ответила, не шевельнулась. Иван потоптался, буркнул:

— Ладно, завтрак готовь. Сейчас за баржой пойдем.

Она подошла к печке, присела перед ней да так и застыла, словно забылась.

— Мы, понимаешь, всю ночь с Сергеем бегали.

— С Сергеем?

— Тебя искали!.. — Иван обрадовался, что она заговорила, заулыбался. — Весь берег обскакали, наорались до хрипоты. У стариков были.

— Зачем?

— Думали, у них ты.

— Бегали зачем, спрашиваю? Не надо за мной бегать, не маленькая.

Она говорила устало, равнодушно, словно не с ним, а с кем-то посторонним. Он больно почувствовал это, замолчал. Еленка медленно — щепочку за щепочкой — клала растопку. Много клала: больше, чем надо.

— Ты это... не сердись, — тихо сказал он. — Нельзя так, понимаешь, не дети.

Она подождала растопку, прикрыла дверцу.

— Не пойму: прощения просите, что ли?

— Ты где ночевала? — нахмурившись, спросил он.

— А вам что за дело, Иван Трофимыч? — Она впервые посмотрела на него, и он увидел ее пустые, словно высушенные глаза. — Вы мне не свекор, не отец. Что вам-то за интерес?

— Я тебе... муж,— с трудом сказал он.

— Муж? — Она усмехнулась. — Не-ет, не муж. Муж женой не побрезгует, а вы побрезговали. А теперь спрашиваете, где ночевала. Так нашлись добрые люди, приютили, не побрезговали.

В печке с шумом прогорала подтопка. Они оба забыли про нее, они видели только друг друга.

— Зачем ты врешь? — тихо спросил Иван. — Зачем ты выдумываешь, опомнись.

— Выдумываю? — Еленка улыбнулась. — Не-ет, не выдумываю. Адресок могу дать, если хотите...

— Замолчи!.. — крикнул он, что есть силы треснув палкой о стол.

Отскочивший конец со свистом пронесся мимо Еленки. Она еще выше вздернула голову, шагнула к Ивану, уже не помня себя:

— Жалела я вас, убогого! Жалела, понятно? Вы же всех обидеть боитесь, всего боитесь, а туда же: муж!.. Жалкенький вы, блажененький, только что на коленях не стоите. А ведь стояли бы, если б захотела, стояли бы как миленький, стояли бы!..

Она кричала что-то еще, но Иван уже ничего не слышал. Кровь отхлынула вдруг от сердца, туго ударила в голову, розовые круги поплыли перед глазами.

— Готово, капитан! — крикнул с палубы Сергей. — Отваливай!

— Веди сам, — тихо сказал Иван, из последних сил держась на ногах. — Я покурю. Покурю только...

Курил он долго. Сергей несколько раз заговаривал с ним, но Иван отвечал односложно, и помощник оставил расспросы. Зачалил катер, спустился в кубрик.

— Что с Иваном?

— Что? — спросила Еленка.

— С Иваном что, спрашиваю?

— А-а. Не знаю.

Сергей посмотрел на нее, пошел к трапу.

— А со мной что? — вдруг спросила она. — Не спрашиваете? Неинтересно?

— Интересно, — сказал он и полез на палубу.

Иван сидел сгорбившись, опустив плечи. Сергей оклик-

нул его, но тут послали тянуть воз, и Сергей пошел ча-  
литься и до обеда совсем позабыл про капитана. Вспомнил,  
когда Еленка крикнула снизу:

— Обедать!..

— Обедать?..— переспросил Иван.— Да, да, Иду.

Он спустился в кубрик, сел на свое место. Еленка поставила перед ним миску, но он отодвинул ее и спросил чаю. Выпив две кружки, впервые поднял на Сергея глаза:

— Я полежу, а? Справишься один?

— Конечно! — Сергей метнулся к дивану, раскинул постель.— Что за вопрос, капитан. Отдыхай.

Он лег, отвернулся к стене и так, не шевелясь, лежал, пока не кончился рабочий день. Слышал, как Сергей ча-  
лился, как шепотом уговаривал Еленку идти на занятия,  
как звенели под их ногами ступени трапа, как наконец  
затихло все; он остался один. Тогда он вылез на палубу  
и послал за водкой парнишку, что рыбачил с затопленной  
баржи.

Парнишка смотался мигом. Иван спустился вниз, сел к  
столу, налил полный стакан и заплакал.

Наутро он с трудом поднялся с постели. Сергей глянул  
на его серое лицо, свистнул:

— Лежать, капитан. Лежать пластом. Сам справлюсь.

Несколько дней он отлеживался, ничего не ел. Еленка  
бегала за молоком, Сергей раздобыл где-то меду. Отпаивали  
его, уговаривали, Сергей гнал к врачу — Иван только тряс  
головой.

А потом прошло. И ночью Иван сам выбросил за борт  
поломаный костыль.

... Утром в диспетчерской Ивану сказали, что его срочно  
просили зайти к юрисконсульту. Зачем, почему — никто не  
знал.

— Видно, насчет ссуды Никифорову,— предположил  
Иван.— Директор при мне обещал разобраться.

— Хорошо, если не насчет сена,— тихо сказал Сергей.

Старшего юрисконсульта Ефима Лазаревича Иван знал  
с войны: кругленький, седенький, чрезвычайно живой юрист  
и тогда был точно таким же, как и сейчас.

— Здравствуйте, Иван Трофимович.— Он обеими руками  
пожал жесткую руку Ивана, подождал, пока тот сядет.—  
Оторвал от работы — извините великодушно. Служба, зна-  
ете!..

Он деловито полез в стол. Порывшись, выудил тонень-  
кую папку, раскрыл ее и, нацепив очки, долго читал ка-  
кие-то бумажки. Иван сидел не шевелясь: в крохотном  
кабинетике стояла строгая тишина.

Ефим Лазаревич закрыл папку, снял очки, задумчиво потер переносицу.

— Как дела у вас, Иван Трофимович? Как «Волгарь» бегаёт? Вы курите. Курите, бога ради, не стесняйтесь.

Иван закурил, коротко рассказал новости, упирая больше на то, что положение Федора безнадежно и что в семье — семь ртов. Юрист вздыхал, поддакивал, качал круглой, поросшей седым пушком головой.

— Да, Иван Трофимович, да. Большое несчастье, очень большое. А как все это случилось? Знаете, с подробностями, если припомните. Очень важно — с подробностями.

— С подробностями?..— Иван не помнил никаких подробностей, а то, что помнил, считал незначительным. Передал коротко, как рвануло запань, как удалось ему аккуратно сдать воз: благо, случилось все на развороте и плот сам пошел в Старую Мельницу.— ...Ну а Федора — как подрезало...

— Да,— сказал юрист.— Жаль, что подробностей не помните... Значит, у борта стоял Никифоров?

— У самого борта,— подтвердил Иван.— За плотом следил, знаки мне подавал: мне из рубки назад плохо глядеть, не видно.

— А по инструкции где должен стоять?

— По какой инструкции?

— Ну, есть же инструкция по технике безопасности?

— А-а...— Иван силился вспомнить, что сказано в инструкции на этот счет.— Ничего там не сказано.

— Правильно,— почему-то с удовлетворением сказал юрист.— Но, может быть, есть какие-нибудь добавления, приказы?

— Ничего такого нет,— сказал Иван.— А в чем дело, Ефим Лазаревич?

— Дело?..— вздохнул юрист.— Дело, дорогой мой, в том, что Никифоров подал иск на возмещение убытков, которые он потерпел.

— Подал все-таки? — Иван растерянно улыбнулся.— А ведь не хотел...

Он замолчал. Ефим Лазаревич опять нацепил очки, раскрыл папку, долго перебирал бумаги. Потом снял очки, потер переносицу и откинулся от стола.

— Иск этот может иметь ход в случае, если вы, лично вы, Иван Трофимович, нарушили соответствующие правила эксплуатации. Поскольку в правилах ничего не сказано, как поступать при прорыве запани, то остается последнее.— Он щелкнул пальцами и опять потер переносицу.— Ники-

форов, выполняя ваш приказ, находился в опасном, особо оговоренном в инструкции месте. Был такой приказ?

Иван пожал плечами: слово «приказ» как-то не вязалось с теми отношениями, которые были на катере. Каждый делал свое дело, знал его, не отлынивал, и надобности в приказах никакой не было. Он сказал об этом Ефиму Лазаревичу.

— Ну, не приказ, Иван Трофимович, не приказ: распоряжение, указание, совет. Устно, разумеется, устно. Вы не сказали, например, Никифорову: «Стой здесь», когда пошел лес?

— Нет...— неуверенно сказал Иван.— Он сам знал, где стоять. Ведь мне-то из рубки плохо глядеть.

— Ну, а идея, сама идея плотом перегородить реку кому принадлежит? Кто первый сказал, что надо сдать плот? Вы или Никифоров?

Иван долго молчал, раздумывая. Идея принадлежала ему, но он боялся, что если скажет об этом, то Федору срежут пенсию или не выплатят ссуду. С другой стороны, дело касалось суда, а к этому органу Иван относился с огромным уважением. Поэтому он сказал дипломатично:

— Все так решили, Ефим Лазаревич.

— Все решили? Значит, и ответственность — пополам?

— Ответственность?..— Иван насторожился.— Нет, Ефим Лазаревич, вся ответственность — на мне. Я — капитан, я — в ответе.

Юрист улыбнулся.

— Хороший вы человек, Иван Трофимович. Очень хороший, но не думайте вы о других сейчас, бога ради! Вы думайте, как из неприятности выскочить.

— Неприятности?

— Суд — всегда неприятность. По иску Никифорова ответчиком не может быть признано предприятие, поскольку оно не отдавало приказ спасать лес. Дело происходило на катере — объекте, так сказать, экстерриториальном, где вся полнота власти принадлежит капитану. То есть вам, уважаемый Иван Трофимович. И вам следует не его выгораживать, а подумать о себе самом.

— Так ведь если виноват, что же думать? — тихо сказал Иван.— Виноват — отвечать буду. Как положено.

— Отвечать...— вздохнул юрист.— За исход суда я не беспокоюсь, но тень он бросит. И не только на вас — на весь коллектив. Мы держим переходящее знамя, рассчитываем на крупные льготы, а тут — это дело. Представляете?.. В каких вы отношениях с Никифоровым?

— Друзьями были.

— Уговорите его забрать иск назад. Дела он все равно не выиграет, только попортит кровь и себе, и вам, и нам.

— С сильным, значит, не судись? — тихо спросил Иван.

— В данном случае — безнадежно. От предприятия мы иск отведем, ну, а с вас что он получит? В лучшем случае — двадцатку в месяц...

Иван вышел от Ефима Лазаревича в полном смятении. Вначале он почти согласился с ним, что было бы лучше, если бы Федор забрал иск обратно, но упоминание о двадцатке сильно поколебало его. Двадцать рублей были для Федора суммой, и Иван готов был пройти через любой суд, только бы Федор ежемесячно мог получать с него эти деньги. Так было бы справедливо, если бы иск не коснулся при этом и других людей. Хотел этого Федор или нет, но своим иском он лишал их приработка, и Иван, понимая это, никак не мог прийти к какому-либо решению. Потоптавшись, он решительно свернул в отдел кадров.

У начальника шла летучка. Иван терпеливо дождался конца, ни до чего не додумался, но довольно ловко переказал все Николаю Николаевичу.

— Так, — сказал начальник. — А в ведомости у тебя Прасковья дважды в месяц расписываться не забывает?

— Не забывает, — подтвердил Иван.

— А о том, что Никифорову пенсию оформили, знаешь?

— Небольшая она...

— А единовременное пособие считал? А премиальные, что ты им отдал, учел? А то, что местком пятьдесят процентов ссуды на себя берет, слышал? Ну-ка, возьми счета да подсчитай, что выходит. А выходит, — Николай Николаевич смотрел колюче, непримиримо, — выходит, что твой бывший помощник — хапуга и прохвост.

— Несчастный он, Николай Николаич. Калека.

— Раз калека, значит, делай, делай, что душа желает? Вали на капитана, дои государство, как бесхозную корову, марай предприятие? Так?

Иван понуро молчал. Николай Николаевич вылез из-за стола, потирая бок, прошел к графину, запил порошок.

— Живот третий день горит, спасу нет, — сказал он, заметив внимательный взгляд Ивана. — И так двадцать лет одну кашку ем, а порой совсем немоготу. Угостил меня фриц знатно: всю жизнь помню. Ты кури, чего жмешься. Окно открыто, выдует все.

Иван закурил, ладонью старательно разгоняя дым. Николай Николаевич вернулся на место, спросил вдруг:

— А этот... Прасолов как?



— Хороший работник,— твердо сказал Иван.

— Ну-ну,— не без недоверия проворчал начальник.— Мой тебе совет: иди к Федору и поговори начистоту. Пусть поймет, что потеряет, если будет настаивать. От моего имени сказать можешь твердо: Прасковью уволю к чертовой матери. И местком не поможет. Ты слово мое знаешь, Трофимыч.

— Знаю,— вздохнул Иван.— Ой, неладно получается!..

У Никифорова дома Иван остановился. Переложил кулек с конфетами в левую руку, правой долго вытирал мокрый лоб: никак не мог решиться постучать в эту до трещинок знакомую дверь.

— Можно, хозяева? — ненатурально бодро крикнул он, заглянув в маленькие темные сени.

В доме было тихо. Иван прошел внутрь, нащупал вторую дверь — в комнаты, постучал. Опять никто не ответил, и он открыл эту дверь и еще раз — все так же бодро — спросил:

— Можно, что ли?

— Кто? — спросили из-за перегородки.

— Я, Бурлаков.

Иван прикрыл дверь и старательно вытирал ноги. Он узнал по голосу Федора, хотя голос этот и показался ему странно приглушенным. Федор больше ничего не говорил, и Иван все тер и тер подошвы о старый, грязный половик. С печи, не мигая, смотрели четыре глаза: старики, не шевелясь, сидели там и молчали, как сычи.

— Ну входи, раз пришел,— с неудовольствием сказал Федор.— Чего ты там?

Иван поздоровался со стариками, но они не ответили. Он прошел в комнату: Федор полусидел на кровати, обложенный подушками. На коленях у него лежал лист фанеры, а на нем — пузырек с клеом и стопка исписанных ученических тетрадей. Сбоку, у стены, спал ребенок.

— Здравствуй,— угрюмо сказал Федор.— Ну, что скажешь?

— Да вот...— Иван растерянно развел руками.— Навестить решил. Детишкам гостинца...

— Гостинец?..— Глаза Федора странно блеснули, он даже приподнялся на локтях, стараясь рассмотреть, что именно положил Иван на стол.— А мне гостинца не захватил? Нет?

— Ты что это, Федя? — с испугом спросил Иван.— Что, худо? Ты лежи, лежи...

— Восемь пудов поднимал,— задумчиво и спокойно перебил Федор.— Восемь пудов. А теперь — вот!..— Он под-

кинул в воздух исписанные фиолетовыми каракулями листы.— Вот, видал? Кульки клею. Копейка — кулек. Кто виноват, а? Молчишь?.. За славой все гнался. Получил славу? Тебе, хромому черту, хорошо: ты один, здоров как бык. А у меня — семь ртов. А я — кульки клею. Кулечки — малину продавать. Заработок — ровно на «Байкал». И то спасибо, свояк помог. Все занятие, артель «напрасный труд»...

В сенях хлопнула дверь. Федор рванулся.

— Кто?

— Да я, я, господи,— устало и безразлично сказала Паша. Вошла в комнату, увидела Ивана, качнулась, прислонилась к косяку и тихо сказала: — Здравствуйте, Иван Трофимыч...

— Принесла? — заглушив Иванов ответ, нетерпеливо спросил Федор.

— Принесла,— сказала Паша и достала из кошелки четвертинку.— Вот, Иван Трофимыч, все, что даете мне, на водку уходит. Каждый день требует. Каждый божий день...

Она опустила на стул, все еще держа четвертинку в руке.

— Ну?.. Давай, ну?..— зло и беспокойно закричал Федор.

— А что делать, а? — тихо продолжала Паша, не обращив на него внимания.— Ведь криком кричит от боли, исходит весь. А выпьет — вроде легче.

— Яд ведь,— сказал Иван.— Губишь ведь, Прасковья, опомнись.

— Знаю,— покорно согласилась она.— Врач специально предупреждал: ни капли.

— Ну давай, чего болтаешь?..— грубо закричал Федор.

— Зачем же ты...— начал Иван.

— А что делать? — опять спросила она.— Вы крики его послушайте, хоть раз послушайте. Ведь Ольку уже напугал: плачет она ночами, дергается. Ну, что делать, Иван Трофимыч, ну хоть посоветуйте...

— Давай,— крикнул Федор.— Давай, а то такой концерт устрою...

Иван нагнулся к столу, взял из рук Паши бутылку, все до капли вылил в большую эмалированную кружку.

— На!..— Он резко сунул кружку Федору.— Пей!.. Ну?..

Федор взял кружку, но пить не стал. Глядел исподлобья: кружка дрожала в руке, водка выплескивалась на детские тетради.

— А ведь был мужик,— тихо продолжал Иван.— Восемь пудов поднимал. Характер имел.

— Раздавило меня...— опустив голову, сказал Федор.— Как червя, раздавило...

— Гляди, до чего семью довел, гляди, глаза не прячь!.. Старики на печке шевельнуться боятся, девчонка по ночам плачет, Паша — тень одна осталась. А ты все куражишься, Федор, все ломаешься, безобразничаешь...— Он закурил, отошел к окну. Крикнул, не оглядываясь: — Ну пей, чего дрожишь? Пей при госте один, если уж и мужика в тебе не осталось!..

Тишина стояла в доме. Ворохнулся на кровати ребенок, почмокал сладко губами и затих. У стола плакала Паша, а Федор не поднимал головы.

— Паш, слышь-ко,— вдруг тихо сказал он.— Ты, это... Ты рюмки бы подала, что ли...

— Федя!..— выкрикнула Паша и, рухнув к ногам мужа, судорожно обняла их.— Федя! Феденька!..

Федор гладил ее по голове и, шмыгая носом, отворачивался: не хотел, чтобы видели слезы.

— Ну, что ты? Ну, Паша? Ну, неудобно: гость пришел, а ты... Дай-ка нам рюмочки лучше. Рюмочки, огурчика...

— Сейчас, Феденька, сейчас,— с торопливой готовностью сказала Паша, вставая.

Всхлипывая и ладонями вытирая слезы, прошла на кухню. Иван молчал. Федор повозился, то ли устраиваясь поудобнее, то ли от смущения. Сказал:

— Не сердись, Трофимыч. Не выдержал. Жалко себя стало, силы своей...— Он помолчал.— Ты знаешь... Знаешь, в суд я подал.

— Знаю.

— Ну вот...— Федор вздохнул.— Затаскают тебя, поди.

— Меня-то ладно.— Иван потушил окурок, вернулся к Федору.— Меня-то ладно, Федя. Тут хуже дело получается. Так получается, что работяг ты премии лишишь. Квартальной премии. А ведь они-то ни в чем перед тобой не виноваты.

— Как?

— На первое место по району вышли. А если суд, то, сам понимаешь, срежут. Знамя-то еще, может, оставят, а премию...

Вошла Паша, принесла две рюмки, тарелку с огурцами.

Мужчины молча чокнулись, несколько торжественно выпили.

Федор сунул в рот огурец, сказал деловито:

— Надо, Паша, к Ефиму Лазаревичу сходить и забрать назад то заявление.

Паша молча посмотрела на Ивана.

— Это свояк нам затмение устроил,— виновато улыбнулся Федор.— Хорошо, до позора дело не дошло. Сходишь, Паша?

— Схожу.

— Ну, молодец,— с облегчением вздохнул Федор.— Умница ты у меня и душа добрая. Будь здоров, капитан, и не сердись: тошно мне, знаешь...

И вновь Иван уходил со смятением в душе. Шел, глядя под ноги, не узнавая встречных, пытаясь понять, не слишком ли дорогой ценой заплатил он, не пустив в Волгу прорвавшийся лес. Ни до чего он так и не додумался, но твердо понял, что не успокоится, пока хоть мало-мальски не наладит Никифоровым жизнь...

Володьку Пронина время от времени озаряли идеи. Были они большей частью пустопорожними, касались усовершенствования торжеств или нового способа подачи заявлений, но Пронин брался за них с такой энергией, что уже во второй инстанции истинный смысл их терялся, а еще выше к ним начинали относиться даже с интересом:

— Инициативный работник.

— Часы! — крикнул Пронин, когда Иван рассказал ему про Федора.— Часы, товарищ Бурлаков! Дело тихое, чистое: сиди себе да колупайся. И ходить не обязательно.

— Да не умеет он часы. Сроду с дизелями.

— Научим. Сегодня же свяжусь с часовой мастерской, попрошу, чтоб прикрепили к нему мастера. Пусть первое время будильники ломает.— Пронин записал что-то на перекидном календаре совсем так, как это делал директор.— Так. Заметано. Что еще?

— Насчет ссуды. Ссуду бы с него скостить, Володя. Юрий Иванович дал распоряжение, а по вашей линии...

— Правильно критикуете: текучка заела. Соберу комитет, провернем. Заметано. Еще?

— Все,— улыбнулся Иван.— Кипишь ты, Володя, как ведерный самовар.

— Должность такая,— без ложной скромности согласился Пронин.— Народ раскачивать приходится, идеи бросать. Да, как у вас с новыми обязательствами?

— Мы старые еще не выполнили.

— Не надо за старое цепляться. Вы теперь на виду: именные. С вас и спрос другой. Прошу наметить, обсудить с экипажем.

— Ладно. Ты насчет Никифорова...

— Заметано! — Володька эффектно подал руку: — Ну, трудовых свершений вам, побед и прочее.

«Волгарь» по-прежнему бегал по затону, но Иван, занявшись делами Федора, меньше бывал на катере, и Сергей один мотался из конца в конец. Намотавшись за день, вечером аккуратно шел на занятия: кажется, ему даже нравилась эта непомерная нагрузка. Он был общительнее Ивана, быстрее сходился с людьми, и вскоре само собой получилось, что его фамилия стала чаще упоминаться на летучках, чем фамилия законного капитана «Волгаря».

В субботу Иван побежал в местком: Пронин все тянул с решением о ссуде. С утра катер нарядили тащить воз, и Еленка решила устроить генеральную приборку. Долго мыла кубрик, выколачивала на корме одеяла, морила клопов, которые нет-нет да и появлялись на катере. Сергей посмеивался:

— Смотри до дыр не промой!

Еленка сухо глянула — они почти не разговаривали — и принялась за трап. Выскребла каждую ступеньку, начала протирать перила и вдруг остановилась: на перилах химическим карандашом были написаны три имени: «ЛЮСЯ, КЛАВА, ВАЛЯ». Еленка хорошо знала этих девчонок — молоденьких кубометристок с запани. Знала и молву, которая ходила по поселку о трех подружках, зазывно голосивших двусмысленные частушки субботними вечерами. Глянула снизу на широкую спину Сергея, ссутуленную над штурвалом, усмехнулась и перенесла тряпку повыше.

В воскресенье Иван надел выходной костюм, сказал, ни к кому не обращаясь:

— К Сашку схожу.

Полез наверх, налегая на поручни. Сергей догнал его уже на палубе.

— Когда вернешься?

— А когда надо?

— Догадлив ты, капитан, — заулыбался Сергей. — Ну, часам к семи, думаю.

Иван коротко кивнул и похромал к носу. Сергей последил, как неуклюже перебирался он на затопленную баржу, как, сильно раскачиваясь, шагал к лестнице, ведущей в поселок: по тропинке он больше уже не поднимался.

Еленка убирала со стола. Сергей помолчал, прикидывая, как начать разговор: отношения были сложными.

— Как день провести думаешь?

— Мешаю, что ли? — не оглядываясь, спросила она.

— Почему мешаешь? Наоборот, предложение имею. —

Он замолчал, но она продолжала так же медленно, старательно вытирать стол. — Поедем на острова?

— Вдвоем?

— Шестеро поедем. Компанией.

— Лишняя я в вашей компании.— Еленка прошла в свой закуток, грохнула кастрюлями.

— Глупая.— Он вдруг шагнул, крепко обнял. Она рванулась, но он не отпустил. Зашептал в ухо: — Разве тебя забудешь?

— Пусти.— Она мягко высвободилась.— Не надо. Прощу тебя. Пожалуйста.

В тоне ее было что-то такое, от чего он сразу перестал настаивать.

— С радостью бы с тобой вдвоем на острова уехал, но — договорился, неудобно. В одиннадцать ребята из рыбнадзора придут. А потом за девчонками заедем. Ну, гуляют ребята с ними, ну, как тут отвертись?..— Он помолчал.— Поедем?

— Было бы куда уйти, Сережа,— ушла бы, не оглядываясь...

Гости прибыли точно. Красный, конопатый капитан катера рыбоохраны нес заботливо упакованную от посторонних глаз выпивку и авоську отборных, еще живых лещей. Быстрый, цыганского вида инспектор притащил завернутый в мешковину предмет:

— Тебе, Сергей.

Сергей развернул; это была новая сеть с крестовиной и растяжками: люлька. Мелкоячеистая, почти на три метра.

— Ну, теперь с рыбкой будем! — радостно сказал Сергей.— Теперь — порядок!

Девчонок было двое: Люся и Клава. Худенькая, с лисьим личиком и тонкими, как палки, ногами Люся с визгом бросилась на шею краснорожему здоровяку капитану. Сонная, круглая, как арбуз, Клава держалась степенно: подала каждому руку, покивала и уселась на моторный люк, побрав толстые ноги.

Сергей гнал катер к островам, мужчины держались в рубке: были они женатыми и, хоть семьи их жили далеко отсюда, все же побаивались молвы.

У дальнего островка Сергей причалил. Мужчины развели костер на мягком, прогретом солнцем песке. Потом дружно, в шесть ножей, чистили рыбу. За обедом мужчины поили девушек портвейном, много было шуток и смеха. Еленка совсем было оттаяла, но тут угрюмый инспектор начал скучно тискать равнодушную Клаву. Рыжий захохотал, хлопнув вертявую Люську.

— Гуляем, девки!..

Мучительно покраснев, Еленка низко пригнулась, пряча глаза. Сергей встал.

— Пойдем на катер.

На катере он наглухо задраил дверь рубки, спустился в кубрик. Еленка плакала, спрятав лицо в ладонях.

— Ну, чего? — Он тронул ее за плечо. — Брось, дураки они.

— Не уважают. За что? Ну, за что, Сережа?

— Глупости все это, мелочь. Они вообще-то ребята не плохие.

— Ох, как гадко все это, Сережа!..

Она замолчала. За глухими железными стенами чуть слышался неразборчивый визг Люськи, хохот капитана. Сергей сел рядом.

— Вытри-ка слезки, улыбнись. Ну, что ты?.. Ну, хочешь, бросим их тут, уедем?

— Хочу.

— Ну, и бросим. — Он повернул ее к себе, поцеловал. — Эх, Еленка, Еленка...

— Ты что? — Она рванулась, вскочила. — Ты что это, а?..

— Дура ненормальная, — со злобой сказал Сергей.

— Не будет этого. Никогда не будет. Никогда, — как в бреду, повторила она.

— Ну и заткнись! — грубо оборвал он. — Тоже цаца выискалась, девочку из себя строит.

Вылез из кубрика, что есть силы грохнул дверью. Еленка упала на диван, расплакалась в голос, не сдерживаясь.

Когда успокоилась, голосов уже не было слышно: гости то ли дремали, загорая на песке, то ли ушли в глубь острова. Еленка напряженно прислушивалась, пытаясь угадать, где они сейчас, но в кубрик доносился только плеск воды, шуршащий пережат камыша да резкие крики чаек. Потом грохнули по палубе шаги, и на трапе показался Сергей: он нес бутылку вина и тарелку с конфетами.

— Подлизываться пришел, — улыбнулся он.

— Где они?

— Гуляют. — Он хохотнул, не удержавшись. — Природа, Еленка, своего требует.

— Женатые ведь.

— А что им, убудет, что ли?

— И ты таким будешь, когда женишься?

— Я-то... — Сергей налил вина, хлебнул. — Это смотря на ком женюсь. Если муж налево свернул, так в том, Еленка, жена виновата.

— Жена всегда виновата.

— Ну, не скажи. Вот у меня кореш в Саратове... — Он вдруг замолчал, точно вспомнив что-то. — А ты чего не пьешь? Веселей гляди, матрос! Чего там, мир ведь, а?

А глаза никак не хотели улыбаться. Холодные и колючие, жили они отдельно от него — шумного, подчеркнуто веселого.

— Фальшивый ты.— Еленка вздохнула.— Ой, какой же ты фальшивый!

— Ну, что там — фальшивый, фальшивый. Какой есть...

Гости вернулись к ужину: усталые, равнодушные, далекие друг от друга. Мужчины держались особняком, капитан усердно скоблил толстую можжевелину с хитро загнутым корнем; инспектор лег в тень, прикрывшись от мух рубахой. Сергей помогал женщинам с готовкой, таинственно подмигивал, ухмылялся. Еленка злилась, но молчала. Улыбалась, пряча злые глаза, все снесла и выпросила-таки крепкую можжевелевую палку.

— Это — вам,— сказала она Ивану вечером, когда они остались одни в кубрике.— Не знаю, может, коротка.

Иван взял палку, примерил:

— В самый раз.

Равнодушно поставил в угол, начал стелить постель.

Еленка смотрела в сутулую широкую спину, молила, чтобы повернулся, чтобы спросил о чем-нибудь.

— Наврала я вам,— тихо, запинаясь на каждом слове, сказала она.— Ни у кого я тогда не была. Просто ревела на берегу до рассвета.

Иван молча снял пиджак, потащил через голову рубаху.

— Вы простите меня, Иван Трофимыч,— еле слышно сказала Еленка.

На секунду он замер, завяз в рубахе. Сказал глухо:

— Ты бы вышла. Раздеваюсь я.

Еленка качнулась, прижала руки к груди. Спотыкаясь, взбежала по трапу.

Иван лег к стене, закрыл глаза. Может, надо было шагнуть к Еленке, шагнуть и обнять, и все бы вернулось, но он сразу же прогнал эту мысль.

Он отрезал Еленку, отрезал по самому сердцу. Нет, совсем не за то, что она в запальчивости наврала ему, не за ложь — за правду: она просто жалела его.

Утром встал с глухой, уже привычной головной болью. Поднялся на палубу: на корме Сергей собирал новую люльку. Иван тупо посмотрел на широко раскинутую сеть.

— Что это?

— Подарок,— горделиво улыбнулся Сергей.— Кончилась наша кустарщина, капитан.

— Закона не знаешь?

— Законы, капитан, для дураков пишут. Для дураков да для судей, когда эти дураки попадают.



Иван метнулся в кубрик. Выскочил оттуда, молча отстранил Сергея и полоснул по сети остро отточенным ножом.

— Ты что?

— А я — дурак, — запинаясь от ярости, сказал Иван. — Тот дурак, для которого законы пишут.

И опять широко, уже не примериваясь, резанул сеть.

— Не смей!.. — Сергей, не рассчитав, с силой толкнул капитана.

Иван отлетел к борту, ударился о леер. Нож, выскользнув, упал в воду. Иван тяжело поднялся, шагнул к сети, скомкал. Сергей ухватился за другой конец:

— Рыбинспектор дал. Понятно тебе?.. Сам дал, лично!..

— Не дам!.. — Иван, задыхаясь, рвал к себе. — Не позволю!..

— Моя сеть, ясно? Мне подарили! Мне, ясно?..

Тяжело дыша, они почти упирались лбами. Сергей был здоровее и помаленьку, по частям перетягивал сеть, мотал Ивана по всей корме.

— Оставь! Слышишь?.. Добром прошу, — бормотал он.

Иван вдруг бросил сеть и, схватив с палубы тяжелую крестовину, далеко швырнул в воду.

— Вот так-то, Прасолов. Так-то лучше будет. Спокойнее.

— Твою мать... — сквозь зубы выругался Сергей. — Добро, капитан, побеседовали. В жизни этой беседы не позабуду.

— Уходи с катера. — Иван закурил, затянулся, говорил почти спокойно. — Сам уходи. Не сработаемся.

— За бабу считаешься? — тихо спросил Сергей. — Эх, мужик называется! Дерьмо собачье.

Швырнул в воду исполосованную сеть, пошел к рубке. Навстречу вылезла Еленка.

— Завтракать.

— Идем. — Иван встал. — Я сказал тебе, Сергей. Все.

— Не задержусь, капитан. Теперь не задержусь, не думай!..

Но задержаться Сергею все-таки пришлось: он задумал досрочно выпустить своих радистов. Просьбу встретили недоверчиво, но пошли навстречу: создали комиссию, в состав которой вошли директор, главный инженер и по собственной охоте Пронин.

Группа не подвела Сергея: из пятнадцати выпускников четырнадцать получили свидетельства. Пятнадцатый слушатель — Еленка — не явился на экзамены. Сергею объявили благодарность в приказе и наградили именными ча-

сами. Он был очень доволен и ради такого случая закатил на катере торжественный ужин.

— Не откажешься, капитан?

— Можно, — сказал Иван.

Сергей пригласил всю комиссию, но пришли только Володька Пронин да парторг Пахомов. Пронин держался официально, говорил тосты, но быстро опьянел и стал пялить глаза на Еленку. Еленка развеселилась, покраснела, закрылась рукой.

Спяну Пронин принимал Еленку и Сергея за молодоженов, лез с поздравлениями, журил, что скрыли правду.

— Волжская свадьба!.. — кричал он, требуя внимания. — Катера — все в цветах! Музыка! Народное гулянье!.. Товарищ Прасолов, возродим народные обычаи? Возродим?..

Пахомов пил мало. Вел с Иваном тихий мужской разговор о лесе, заработках, хозрасчете, который в порядке эксперимента хотели ввести на их запани с будущего года. Он не поддерживал этого новшества, хмурился:

— Опять, значит, рубль гнать будем, да? А сознательность?

— Без рубля тоже не проживешь.

— Правильно. Но вот мне скажи: хорошо зарабатываешь?

— Хватает.

— Вот. Ты — передовой, ты из премий не вылезает. По высшей сеточке пятый год без промаха. Почему? Потому, что ты нам проценты даешь, а мы тебе — соответственно. А при этой самой новой экономике что будет? А то будет, что станешь ты, передовик, получать куда меньше, чем сейчас.

— Почему? — не понял Иван.

— А потому. Сейчас откуда фонд зарплаты идет? Оттуда. — Пахомов важно поднял к темному потолку толстый палец. — Существуют утвержденные ставки, кому сколько полагается. А будет что? Будет фонд зарплаты исчисляться из прибылей, и станем мы его делить на всех чохом. А какой он будет, этот фонд, после всех отчислений? Неизвестно. А ну — запань прорвет? А ну — катер на мель сядет? А ну — еще что? Вот и получится шиш без масла.

— Этого я не понимаю, — вздохнул Иван. — Работать надо хорошо — и запань не прорвет, и на мель никто не сядет...

— Комнату! — вдруг заорал Пронин. — Товарищ Пахомов, сделаем комнату молодоженам?

Иван поднял голову, удивленно посмотрел на Еленку. Она с веселым вызовом встретила его взгляд, и он сразу отвел глаза.

— Комнату? — Пахомов, не понимая, моргал белесыми ресницами.

— Не надо им комнату, — глухо сказал Иван, уставясь в стол.

— Нет, надо! — озорно сказала Еленка. — Очень даже надо!

— Им — не надо, — упрямо повторил Иван. — Старикам лучше дайте. Столько лет на барже...

Разошлись за полночь. Сергей пошел провожать. Еленка, напевая, убирала со стола. Иван начал стелить постель, спросил вдруг:

— Поздравить можно?

— С чем, Иван Трофимыч?

— Ну, с этим... Комнату вон обещали. И вообще.

— Можно, Иван Трофимыч. — В Еленку вселился какой-то бес: хотелось озорничать. — На свадьбу-то придете?

— Ну что ж, поздравляю, — не глядя, сказал Иван и, забыв о постели, тяжело полез на палубу.

— Далеко ли собрался? — спросил Сергей, встретив его у рубки.

— Порыбачить хочу, — хмуро сказал Иван. — Давно не рыбачил.

— Гляди не опаздывай: я завтра с утра занят.

— Ладно. — Иван поковылял к носу. — В шесть вернусь.

Сергей спустился в кубрик. Сказал, усмехнувшись:

— Розыгрыш наш Ивану против шерсти: рыбачить пошел.

— Надоели вы мне, — вздохнула Еленка. — Все надоели. Для себя жить буду. Вот как. Для себя.

Сергей потушил свет, разделся, лег. В кубрике было тихо, только чуть поскрипывал борт, касаясь затопленной баржи. Сергей думал о том, как хорошо прошел вечер, и о том, какой серьезный и деловой разговор вел он, провожая парторга до дома. Завтра начнут ставить на катера рации: дело это поручено лично ему и...

— Спишь?.. — странным приглушенным шепотом спросила вдруг Еленка.

Сергей спрыгнул с дивана...

Два дня Сергей только ночевал на «Волгаре»: устанавливал на катерах передатчики, регулировал, налаживал связь. Он работал с азартом, умел подчинить людей своей веселой настойчивости. Дело, запланированное на неделю, провернул за двое суток, получил крупную премию, ходил победителем. Резко сократились холостые пробеги катеров.

А Иван жил молчком. Молчком работал, молчком ел, молчком курил на палубе. Он не заговаривал больше об уходе Сергея с катера, понимая, что уходить-то надо ему. Он проиграл эту молчаливую битву за первенство на «Волгаре» и, оставаясь капитаном, фактически был просто третьим лишним. И не было сил бороться. Просто — жил, и все. Тихо жил.

В воскресенье он надел выходной костюм, прихватил новую палку: шел к Сашку. Еленка вручила ему сверток с пойманной накануне рыбой, спросила, когда вернется.

— В семь,— сказал он.— Пойдете куда?

— Не знаю.

— Я к тому, что ногу ломит,— пояснил Иван.— Ломит с вечера. Как бы грозы не было.

— Да какая гроза! — засмеялся Сергей.— Барометр в диспетчерской на великой суши вторую неделю застрял.

— Мой барометр поточнее,— сказал Иван и полез из кубрика.

День был безветренным, сонным, белесым от зноя. С утра на пристани толпился народ: люди собрались в Юрьевец, но рейсовый запаздывал где-то вверху, в Красногорье. Мужчины прели в темных выходных пиджаках, поругивали пароходство, курили. Сергей из любопытства пошел узнавать, вернулся с ржым капитаном и рыбинспектором.

— А народ-то зря на пристани топчется: рейсового не будет. В Красногорье винт о топяк сломал, при мне диспетчер звонил.

— Ну, Сергей, на тебя вся надежда,— улыбнулся ржий.— Не срывай нам мероприятия.

— Ты что, капитан? Это тебе не по нашим дебрям ходить: там, в Юрьевце, документы нужны.

— А ты к пристани не швартуйся — и документов никто не спросит.

— Деньгу можно зашибить немалую,— понизив голос, сказал инспектор.— Гляди, сколько рублей на берегу мается.

— Деньги само собой,— нажимал капитан.— Главное — людям помочь: выходной пропадает.

— Это верно...— заколебался Сергей.

— Ой, Сережа, не соглашайся,— вмешалась Еленка.— Нельзя так, не положено! И Иван Трофимыч не позволит.

— Ну, на Трофимыча-то я облокотился,— усмехнулся Сергей.— А вот если в Юрьевце засекут...

— Не засекут,— убеждал капитан.— В Ямском долу отшвартуешься, я проведу.

— Там, между прочим, совхозный сад,— сладко причмокнул инспектор.— Вишни уродились дай бог!..

— Без штанов с этой вишней останетесь,— сердито сказала Еленка: боялась, что Сергея уговорят.— Собаки — как лошади.

— У Лешки все собаки знакомые! — захохотал капитан.— Уж как-нибудь, хозяйка, корзиночку сообразим.

— Уговорил! — крикнул Сергей, заметно волнуясь от принятого решения.— Уговорил, рыжий черт! Командуй погрузку!..

Насажали полный катер. Женщины и дети разместились внизу, где сердитая разнаряженная Шура с нефтянки отвоевала полдивана. Мужчины толпились на палубе, набились в рубку, торчали под окнами: Сергей с трудом видел фарватер.

Капитан нахально собирал деньги: два рубля с взрослого, рубль — с ребенка. Ворчали, но платили: не сидеть же на берегу, ожидая, пока починят рейсовый.

На носу голосисто пели Клава и Люся. На моторном люке обветренные плотовщики азартно рубились в «петуха». Еленка сидела с бабами в кубрике, болтала, настроженно встречая колючие взгляды Шуры.

Над разомлевшей рекой плыло марево. Тяжко было дышать, но «Волгарь» бежал ходко, и свежий ветерок сушил липкий, изнурительный пот.

С остановками одолев крутую лестницу, Иван нашел знакомый дом запертым. Покурил на скамейке у калитки и пошел назад, на берег, потому что идти больше было некуда.

Уже у лестницы он подумал, что своим внезапным появлением нарушит планы Сергея и Еленки. Вспомнил, как предупредительно собирала его Еленка к Сашку: теперь в этом он увидел одно нетерпение. Вспомнил и затоптался: идти на катер было нельзя.

Тогда он, обогнув причалы поверху, выбрался к реке на окраине возле развалин старой мельницы. Берег был пустынен. Иван снял пиджак и сел на бревно.

Против него торчали в небе клыки грейфера: Васин топякоподъемник расчищал здесь дно. У борта стояла лодка, на палубе мелькал кто-то: Иван напряг зрение, с трудом угадал Васю. Видно, молодые собирались на берег или решили испытать новый мотор.

Иван никогда не завидовал ни молодости, ни здоровью, ни силе, но счастьем завидовал. Выпадает же такой номер

людям, какой выпал Васе и Лидухе. И любовь есть, и дружба, и время пожить, и детей воспитать, и женить их, и нянчить внуков, и спокойно, с достоинством рассчитаться за прошлое в окружении тех, с кем рядом прожил эту жизнь. Об этом и должно мечтать человеку, и завидовать этому не грех, потому что рожден человек для доброго труда и очень простой радости...

Он не обратил внимания на стрекот мотора, а когда очнулся, Вася уже заглушил движок, и лодка мягко ткнулась в берег.

— А мы глядим, кто это сидит? — весело крикнул Вася.— Лидуха вас первая узнала: глазастая она.

— Айда с нами, Иван Трофимыч,— предложила Лида.

— Да что вы! — Иван растерялся, встал, начал надевать пиджак.— Вы молодые, гуляйте, а я так...

— Шагайте в лодку, Иван Трофимыч,— сказал Вася, упираясь веслом, чтобы не сносило корму.— Покатаемся, рыбки половим: я удочки захватил.

— Рыбка-то есть,— улыбнулся Иван и поднял с песка пакет.— Сашку нес, да никого дома не застал.

Перебрались на острова. Ловили рыбу: просто так, для забавы. Собирали ягоды, искали грибы, но не нашли: стояла сушь, и хоть грибам по всем законам полагалось уже пойти, в этом году они запаздывали. Лида сварила уху, позвала обедать.

— Эх, выпить нечего! — вздохнул Вася.— Лидуха моя насчет этого кремень: иссохнешь, пока допросишься. Строга!..

— Это правильно,— тихо сказал Иван.— Вот что значит — жена. Ты, Василий, всегда слушай ее, держись за нее.

Ничего не сказал Иван особенного, но Вася и Лида услышали в этом что-то тревожное. Переглянулись, и Вася упрямо мотнул коротко стриженной головой.

— Скажу я, Лидуха.

— Не надо.

— Нет, скажу! — Вася бросил ложку, уперся взглядом в Ивана.— Надо честно, без обмана. Правду надо вам знать, Иван Трофимыч.

— Ой, зря!.. — вздохнула Лида.

— Обманывает она вас,— твердо сказал Вася.— Еленка обманывает. С этим. С Сергеем.

— Знаю.— Иван еще ниже опустил голову.

Вася растерянно замолчал. Иван хлебал уху, не поднимая глаз и не чувствуя вкуса. Ныла, не переставая, перебитая давним осколком нога.

От чая он отказался. Лег на траву, закрыл глаза. За костром переговаривались шепотом, осторожно звякая посудой: считали, что он спит. А он думал о том, о чем уже все знали.

Холодный ветерок налетел неожиданно, зашуршав в камышах. Иван сразу очнулся. Сел, обеспокоенно обшарил глазами небо: на севере тяжело сложилось сухое рыжее марево.

— Собирайтесь, — сказал он, вставая. — Сейчас шквал ударит.

Втроем побросали вещи в лодку, поспешно расселись, Иван с силой греб, отводя от берега, Вася возился с мотором. Ветер то снижал, то снова прорывался, крепчая раз от разу. По реке пятнами разбегалась рябь...

Первый удар «Волгарь» принял в лоб, как только вышли на середину. Тупо сунулся в волну, не смог вовремя вынырнуть, и вода хлынула через борт. Девчонки с визгом посыпались к рубке.

— Ходче давай! — крикнул рыжий капитан. — Шквал идет.

Сергей до предела отдал сектор газа. Старенький движок с натугой выжимал обороты. Ветер бил в лицо, гасил скорость, прижимал нос к волне. Вода каталась по палубе.

Плотовщики побросали карты. Вытягивая шеи, с беспокойством поглядывали вокруг, прикидывали, сколько осталось до Юрьевца. Степаныч торопливо увязывал на корме корзины, накрывал их клеенкой, а ветер рвал ее из рук, и она флагом развевалась за катером.

— Давай обороты, Сергей, — бормотал рыжий. — До бури бы проскочить.

В кубрике смолкли женские голоса, только испуганно скулили ребенок. Волны ходили вровень с иллюминаторами.

— Тыр-пыр... — хмурился инспектор Лешка. — Тяжело идем.

— Насажали, — сквозь зубы сказал Сергей. — Говорил же...

В кармане у него лежали скомканые рубли, и ругать было некого. Он не боялся, но трезво оценивал опасность: катер не держал волны даже при максимальных оборотах.

— Баллов пять будет, — сказал капитан. — Как думаешь?

Сергей промолчал. Инспектор выглянул в дверь.

— Эй, девки, вниз ступайте. Мокро тут.

— Да-а, — протянула Люся. — Туда зайдешь — назад не выберешься.

Сергей глянул на щиток и не поверил собственным глазам: стрелка масляного манометра мертво стояла на

нуле. Он тупо смотрел на нее, даже протер стекло пальцем: стрелка не шелохнулась. Рядом что-то бубнил капитан, Сергей не слушал: его вдруг бросило в жар. Он бессмысленно глянул на рыжего и рванул сектор газа на себя. Двигатель смолк.

— Ты что? — тихо спросил капитан. — Ты с ума сошел?

— Давление на нуле. — Сергей вытер пот. — Давай в мотор, Сашка.

Катер быстро терял ход. Волна швырнула его в сторону, развернула, положила на бок. Что-то с грохотом покатилося по палубе, в кубрике пронзительно закричали женщины.

— Держи к волне!.. — крикнул капитан, скатываясь по трапу в моторное отделение.

— Баб не пускай!.. — закричал Сергей, всем телом налегая на штурвал.

Женщины, толкая друг друга, с криком лезли по узкому трапу. Лешка спихивал их обратно, хрипло матерился, бил по рукам, рвал платья. А они, теснясь, все лезли и лезли, и от крика их Сергей не слышал голоса капитана из моторного отсека.

Катер заливало водой. Она хлестала в носовой трюм, переливалась в рубку, текла по трапу в кубрик. Ругался Степаныч: корзины смыло за борт, клубника моталась по волнам. Визжала Клавка, со страху взобравшись на крышу рубки.

Капитана швыряло из стороны в сторону в тесном и темном моторном отсеке. Дважды он налетал на раскаленный выхлопной коллектор, прожег новый пиджак, до крови рассадил руку. Вылез грязный, злой.

— Не нашел. Заводи!..

— Нельзя!.. — кричал Сергей. — Двигатель запорем!..

Катер тяжело болтался на волнах. Сергей с огромным напряжением удерживал нос к волне.

— Моряк, твою мать!.. — Капитан рванул Сергея от штурвала. — Пусти! Потопишь всех, сволочь!..

— Уйди!.. — Сергей бросил штурвал, с силой ударил капитана в лицо. — Вон из рубки! Вон! Убью, гад!..

— Заводи мотор!..

Неуправляемый катер сразу же развернуло, положило на бок. Волна ударила в распахнутую дверь рубки, окатила Сергея, рыжего, Лешку. Дико кричали женщины в тесном кубрике. Лешка схватил капитана, оторвал от Сергея.

— Уходи!.. — вытолкал из рубки, крикнул Сергею: — Ставь на волну! Носом на волну!..

И снова с остервенением, со злобой схватился с обезумевшими женщинами.



Шмыгая разбитым в кровь носом, Сергей кое-как выровнял тяжелый, залитый водой «Волгарь», огляделся.

Их снесло назад, к перекатам левого берега. По обе стороны торчали из пены шести, обозначающие мели. Волны катились через них, вздымали тучи песка, местами совсем обнажая дно.

Катер терял плавучесть. Неповоротливый и бессильный, он плохо слушался руля, ложился на волну. Пока еще Сергею удавалось ставить его на киль, но вот-вот должен был наступить момент, когда катер не успеет выпрямиться, его накроет, и тогда на поверхности останется только то, что само по себе способно плавать. Сергей дал горячее и включил стартер.

— Назад? — спросил Лешка. — Лучше не пробуй.

— На мель выброшу, — сказал Сергей. — Выброшу на мель, как-нибудь добредете до берега.

Он подождал волны, успел развернуть катер и на гребне ее пошел к берегу, дав двигателю максимальную нагрузку. Дно чиркнуло о песок, катер дернулся, и волна схлынула, оставив его на мели. Сергей заглушил мотор, махнул рукой Лешке:

— Выпускай.

Мокрые напуганные женщины повалили из кубрика. Кричали, плакали, метались по катеру, проклинали Сергея.

Катер болтался на волнах, то ложась на борт, то встряхиваясь, когда подходила волна. Люди цеплялись за железо, друг за друга: палуба качалась под ногами.

— Ну, миленок, погоди!.. — кричала разлохмаченная, в разорванном на груди платье Шура. — Я так не оставлю! Я все напишу куда следует!..

Но паники не было. Плотовщики, Лешка и опомнившийся рыжий капитан быстро навели порядок.

— На берег надо, — сказал Лешка. — Если ветер усилится — перевернет катер.

— Идите. — Сергей безуспешно раскуривал мокрую сигарету. — Тут мелко. Линем свяжитесь — добредете.

— А тебе к рыбам захотелось? — тихо спросил инспектор. — Уйдем, катер полегчает и — хана. Через три дня всплывешь — глядеть страшно будет.

— Вот только — как дойдете?.. — вслух размышлял Сергей, словно не слыша, что говорит Лешка. — Первому с багром надо...

— Ну, веди. Ты — длинный, волна не накроет...

Сергей, обвязавшись линем, первым прыгнул за борт. Волна швырнула к катеру, но он уперся багром, устоял. За ним попрыгали остальные, мужчины несли детей. Брили

по грудь, оступались, падали, хлебали мутную воду: только песок хрустел на зубах.

Вылезли на крутой глиняный откос. Лешка и рыжий капитан пытались развести костер: сырые спички, что Лешка принес в кепке, не разгорались, гасли одна за другой. Женщины в кустах отжимали мокрые платья, кутали ребяташек. Плотовщик достал чудом сохраненную сухую папиросу, отдал Сергею:

— Держи, парень. Не знаю, как ты один назад дойдешь.

Сергей понял, что возвращаться придется. Буркнул, пряча вздох:

— Доберусь.

Он отдал недокуренную папиросу, взял багор.

— До людей дойдете — шумните там. Долго не продержимся.

— Будет сделано, парень.

Сергей на заду сполз с обрыва, побежал по мели, держа багор наперевес. Он бежал от отчаяния, чувствуя, что вот-вот, еще минута — и остатки решимости окончательно покинут его. Волны били в лицо, дно уходило из-под ног. Он падал, отплевываясь, поднимался, снова шел и снова падал. В двух шагах от катера его сбило с ног огромным раскоряченным пнем, затянуло под него, поволокло по грунту. В ужасе он бился под цепкими корнями, выпустил багор, но вылез, встал и, почти теряя сознание, уцепился за леер залитого водой «Волгаря». Прижался грудью к ржавому борту, закрыл глаза. Волны били в спину, перекатывались через голову, ноги подбрасывало, тянуло под киль, но теперь он был спасен и отдыхал, копя силы, чтобы взобраться на палубу.

Он не расслышал голоса, но почувствовал руки, которые тянули его вверх, на катер. Подняв голову, увидел Еленку: мокрые патлы, расцарапанное в кровь лицо, раскрытый в крике рот. Он кое-как взобрался на танцующую палубу, не смог встать и пополз по скользкому железу. Еленка тащила его за пояс, падала, когда сбивала волна, и все говорила и говорила, и он опять не слышал ее. В рубке он поднялся на ноги, и они плотно задраили дверь.

— Сережа! — Плача, она целовала его мокрое лицо. — Я знала, что вернешься за мной, что не бросишь!..

— Ну, ладно, — сказал он и сел на рундук, усадив ее рядом. Катер швыряло, и они катались, как ваньки-встаньки. — Ты чего с нами-то не пошла?

— Так ведь кубрик залило. Постели мокрые, хлеб, крупа — все мокрое. Пока прибралась — вы уж за борт по-

прыгали. Я испугалась сперва, а потом поняла, что вернешься, что не бросишь меня тут.

— Да.— Теперь Сергею казалось, что так оно и было.— Я глянул там, а тебя нет. Ну, и... И катер оставлять нельзя, не положено, под суд пойти можно. Да не реви же ты, господи! Спасут.

— Я не от страха реву, Сереженька, я — от счастья. Ведь не верила, что любишь, совсем не верила, дура проклятая. А ты едва не утоп из-за меня!..

Катер снова кинуло на бок, Еленка слетела с рундука и осталась стоять на коленях перед ним.

— Где поцарапалась?

— Это? — Она коснулась щеки и засмеялась.— Это Шурка меня угостила. Помнишь, толстая эта, с нефтянки?

— Да...— сказал он.— Много воды в кубрике?

— Много. Сверху налилось и, по-моему, с машин течет: переборка старая, в щелях вся.

— Отливать надо.— Он отстранил ее, встал, держась за стену.— Давай-ка работать.

Долго отливали воду, но убывала она медленно: волны по-прежнему захлестывали катер. А потом пошел тяжелый густой дождь, и Сергей с остервенением швырнул ведра: отливать было бесполезно.

Рация не работала: то ли разболтало ее от качки, то ли залило аккумуляторы. Сергей попытался было наладить ее, но бросил, ничего не добившись. Сидели в сумрачном кубрике, забравшись с ногами на диван, кутались в сырые одеяла. Ветер не утихал, катер валяло с боку на бок, плескалась вода в кубрике, заливая диваны. Еленку мучило от болтанки, усталости и голода.

Грузный топлякоподъемник тоже било и раскачивало, клыки грейфера лязгали над палубой. Но суденышко было хорошо расчалено, якоря прочно держали грунт, и Вася не беспокоился. Пили чай в теплой, чистенькой комнатке, нахваливали мотор:

— На веслах ни за что бы до шквала не выгребли. Сила мотор, а, Иван Трофимыч?

— Мотор добрый,— соглашался Иван: его тревожило, догадается ли Сергей зачалить корму.— Как бы катерок мой о баржу не побило...

— Напрасно переживаете, Иван Трофимыч. Помощник у вас опытный, сообразит.

Досидели до вечера, когда пошел дождь и волнение чуть утихло. Иван попросил лодку: не терпелось глянуть

на катер. Вася с Лидой попытались его отговорить, но Иван был непреклонен.

— Съезжать пора, хозяева дорогие. Загостился. А лодку утречком доставлю, не беспокойтесь.

— Ладно, сам отвезу,— сказал Вася.— Достань-ка, Лидуха, плащи.

Лодку швыряло по волнам, но мотор выгребал легко, и Вася умело держал курс. Вода звонко хлестала в нос, брызги разлетались в воздухе: шли сквозь сплошную завесу. Плащи сразу намокли, коробом оседлав плечи. Вася радовался:

— Сила мотор, Трофимыч!..

Волны перекатывались через баржу, били в берег. «Волгарь» не было. Вася растерянно оглядывался:

— Куда же это Сергей подался?

Берег прятался в густой пелене дождя. Спросить было не у кого.

— Правь к «Быстрому»!..

«Быстрый» стоял в затишке за тяжелым корпусом плавучего крана. Подошли. Вася зачалил лодку за леер, Иван поднялся на палубу. Долго стучал в задраенную дверь рубки. Наконец она с лязгом приоткрылась — на пороге стоял сонный моторист.

— Иван Трофимыч?..— Он обалдело моргал, словно не веря глазам.— А «Волгарь» где?

— Не знаю,— сказал Иван.— У тебя хотел спросить...

— Это да! — удивился моторист.— Да он же в Юрьевец утром пошел. Я думал, вы повели... А тут люди болтают, что потоп в устье...

— Кто потоп?

— Да катер ваш. Может, врут.

— А ну, Петр, заводи «Быстрый». Где Антон Сергеич?

— Капитан на берегу, а завести не удастся, Иван Трофимыч. На ремонте стоим, головку с блока сняли, завтра перебирать...

Иван, не слушая, уже хромал по палубе. Слез в лодку, глянул ошалело:

— Несчастье, видать. Петр говорит, потоп, мол, катер. В устье потоп, на перекатах.

— Да что вы, Иван Трофимыч...

— Давай, Вася. Христом-богом прошу: давай туда сбегаем. На ремонте «Быстрый».

— Как же, Иван Трофимыч?.. Это ж часов шесть ходу. И бензину не хватит.

— Люди ведь там, Вася! А бензину мы в Козловке достанем, на шестом «Гансе». У них бочка целая, сам на прошлой неделе возил. Надо ведь, Вася!

Гнали на максимальных оборотах. Теперь ветер дул в лицо, сек дождем: невозможно было смотреть. Вася щурился, отворачивал голову, теряя из виду нос лодки. Иван курил папиросу за папиросой. По мокрой спине барабанил дождь.

Так шли они часа полтора. Уже показались сквозь сплошную завесу дождя первые избы Козловки, когда раздался вдруг мокрый треск и лодку рвануло куда-то вверх.. Взревел на мгновение выкинутый в воздух мотор, все стихло, и Иван очутился в воде. Вынырнул, ослепленный, оглушенный, не соображая, что произошло. Сапоги, мокрый плащ, одежда тянули вниз, волны накрывали с головой. Он увидел перед собой треугольную бревенчатую платформу бакена. Подплыл, загребая из последних сил, кое-как взобрался, вцепился в пляшущий на волнах бакен.

— Василий!..

Его рвало, бил кашель, выворачивало грудь. Передохнув, огляделся: ни лодки, ни весел, ни обломков. Только черный огромный топляк танцевал невдалеке на волнах, то показывая толстый комель, то вновь скрываясь под водой.

— Василий!.. Василий!..

Вроде мелькнула в мутной бешеной круговерти белая Васина голова. Вроде плыл он размашистыми саженками к берегу, но, как ни всматривался Иван, толком разобрать ничего было нельзя. Вода, вода, одна вода была кругом, и то ли Васина голова, то ли просто пена мелькает на поверхности — понять невозможно.

Вот и все. И не цепляйся ты больше за мокрый холодный бакен задубелыми руками. Даже если стерпишь, если удержишься до случайной лодки, как посмотришь в глаза Лидухе? Как глянешь в глаза людям, капитан неизвестно где потопленного катера? Почему ты еще живой, когда злая вода таскает по дну Еленку и Васю?

Но, видно, жила в нем сила посильнее этих мыслей. Трясся в ознобе, стонал. А держался крепко, изо всех сил держался.

Снял через час. Вася — в телогрейке с чужого плеча — с трудом разжал застывшие пальцы. Перетащили в лодку, силой открыли рот, влили спирту. Иван очухался, огляделся, спросил:

— Вася?.. Живой?..

— Живой, Трофимыч, живой!.. — смеялся Вася. — Не чаял вас на бакене найти. Кошку мужики захватили да багры. Там искать думали. Фельдшер вон по берегу бегаёт: откачивать вас собрался.

Двое мужиков из колхоза имени Первого мая, усмехаясь,

покачивали головами. Они и радовались, что спасли человека, и осуждали Ивана, что полез в бурю на утлой лодчонке, словно неопытный горожанин.

— Лодку-то утопили. Жалко, а?..

— Топляк проглядел. А жалко — чего жалеть-то теперь? Главное, вы живы, Иван Трофимыч, а лодку наживем. И мотор достанем: мужики говорят, тут метра три глубина, не боле.

— Про катер мой не слышал?

— На мель он сел, Трофимыч,— сказал один из мужиков.— Аккурат на перекате, что по левому берегу. Там они его, значит, и оставили, а сами до берега добрались и подались вроде в Ольховку.

— Все сошли?

— Слышал, все.

— Ой, туда мне надо, мужики,— забеспокоился Иван.

— Водки тебе надо,— улыбнулся второй.— Выпить водки и залечь на печи под тулупом. А туда мы сами сходим. Вот затишет чуток — и сходим...

Стихло только к утру. Колхозный катер вышел из Козловки с рассветом; Ивана не взяли, как он ни настаивал. Его еще бил озноб, он лежал в медпункте под двумя тулупами, и председатель колхоза ехать ему запретил.

«Волгарь» был залит водой. Еленка и Сергей с ночи дрожали в холодной рубке. Катер огруз, влез в песок, и спасателю сдернуть его не удалось. Надо было идти за подмогой, и капитан забрал Еленку с собой: Сергей наотрез отказался покинуть судно. Попросил только оставить курево.

«Волгарь» сдернули двумя катерами, да и то после того, как откачали воду. К полудню отбуксировали в затон, подвели к барже. Иван сам принял чалку, закрепил, молча полез в моторное отделение.

— Заклинило,— сказал Сергей. Он сидел наверху, на трапе, свесив ноги в моторный отсек.

Иван попробовал повернуть двигатель ломиком за маховик. Вис всей тяжестью, согнул ломик — двигатель не провернулся.

— Я же говорю: заклинило,— повторил Сергей.

— Под суд пойдешь,— негромко сказал Иван и полез наверх прямо на Сергея.

Сергей вжался в стенку, пропустил. Иван прошел на нос, с грохотом откинул люк. Из кубрика выглянула испуганная Еленка.

— Молчит?..

— Через час вернусь, — вдруг сказал Сергей и спрыгнул на берег как стоял, в мятых рабочих штанах, грязной рубахе.

Он почти бежал по берегу, и злоба душила его. Ему пригрозили, угроза была реальной, и теперь в дело вступали другие законы.

Ему повезло: Пахомов был на месте и — один. Сергей почти оттолкнул секретаршу, застрявшую в дверях. Ввалился грязный, задыхающийся. Пахомов строго сдвинул брови, указал на стул.

Рассказывать Сергей умел. Он ничего не скрывал: ни того, что пошел в рейс без разрешения, ни того, что загубил мотор, ни того, что первым спрыгнул за борт тонущего катера. Но про деньги не сказал ни слова, и все выходило так, словно действовал он если и не совсем по закону, то все же из добрых побуждений.

Пахомов слушал молча, по-прежнему строго насупив брови. Молчание его очень пугало Сергея: он стал увядать, вязнуть в рассказе, повторяться, но тут парторг неожиданно начал проявлять любопытство, перебивать вопросами, и Сергей, воспрянув, ловко и стройно закруглил покаяние, вызвавшись оплатить ремонт из собственного кармана.

— Зарплаты не хватит, — нахмурился Пахомов. — Пустое обещание.

— На книжке есть, — заверил Сергей. — Производство не должно страдать от моего легкомыслия.

— Правильно, — сказал Пахомов. — Это ты правильно рассудил, одобряю. Я понимаю, действовал ты активно. Сам в воду полез, людей на берег вывел. Все это в плюс тебе, но могут быть серьезные нарекания. Жалобы. А если жалоба в письменном виде — сам понимаешь, не откликнуться не имеем права. Вот и соображай.

— Спасибо, Павел Петрович, — с чувством сказал Сергей. — Вот поговорил с вами и вроде душу облегчил. Нет, вы не подумайте чего: за то, что напортачил, отвечу. По всей строгости, сознаю. А с души вы у меня груз все-таки сняли. Спасибо вам за это большое.

Он уже шел к дверям, когда Пахомов остановил его:

— А Бурлаков что думает?

— А что ему думать, Павел Петрович? — как можно проще спросил Сергей. — Он ведь не ходил с нами, он тут ни при чем.

— То есть как это ни при чем? Он капитан, он за все отвечает.

— Так-то оно так, но ведь формально...

— Ну ладно, поглядим. Иди действуй. Не задерживаю.

Сергей на цыпочках вышел из кабинета и тихо приотворил за собою дверь.

Он вернулся на катер и весь день вместе с Иваном прокрутился в моторном отделении. Вычерпали воду, досуха тряпками протерли днище. Двигатель не трогали: до прихода комиссии не велено было к нему касаться. Еленка шуровала в кубрике.

Работали молча. Раз только Еленка заикнулась насчет обеда, но Иван хмуро сказал:

— Не заработали.

К вечеру кончили. Иван хотел было заняться палубой, но Сергей решительно отказался:

— Дела у меня.

Иван не спрашивал, что за дела. Прошел на палубу, ковырялся там один: только грохот стоял.

Сергей спустился в кубрик. Еленка протирала пол, высоко подоткнув короткую юбку.

— Дела, Еленка. Действовать надо, а то навесят нам, что и в жизнь не разогнешься.

— Скоро вернешься?

— Постараюсь. А что?

— Ничего.— Она улыбнулась.— Скучать буду.

— Ну, поскучай.— Сергей переоделся, сунул в карман деньги и вышел.

Он не хотел расспрашивать Ивана, да и встречным опасался прямо ставить вопрос: юлил, балагурил, выпытывал и вызнал—таки нужный ему адрес.

В ответ на стук долго брехала собака. Потом слышались шаги, приглушенный голос спросил:

— Кто?

— С «Волгаря»! Сергей Прасолов. По делу.

Калитка приоткрылась, и в щели показалась массивная фигура Степаныча. За спиной яростно билась на цепи собака.

— Чего тебе?

— Поговорить.

— Не о чем нам говорить.

Он хотел захлопнуть калитку, но Сергей подставил ногу.

— Долг за мной, Степаныч. Клубнику ты по моей вине утопил. Совесть велит рассчитаться.

— Совесть?..— Степаныч захохотал.— Ну, проходи.

Прошли в дом. Толстая жена в упор смотрела на Сергея и только моргнула в ответ на его: «Добрый вечер, хозяйка».

— Ну, садись,— сказал Степаныч.— Значит, прищучило начальство?



— Начальству об этом знать не положено,— улыбнулся Сергей.— И если договоримся, то и беспокоить его не будем.

— Смотря как договоримся...

— По совести.— Степаныч был калач тертый, и Сергей держал ухо востро.— Во сколько убытки ставишь?

— Во сколько?..— Степаныч прикидывал, как бы не продешевить.— Ну, это как считать...

— Клубники две корзины,— вдруг быстро сказала жена.— Одна к одной ягодки, перебранные...

— Не мешай! — прикрикнул Степаныч.— Ступай вон на кухню да жрать мне приготовь... С работы я,— пояснил он, когда жена вышла.

— Значит, в самый цвет угадал,— сказал Сергей и выудил из кармана бутылку.

— Полагаешь, что договоримся? — усмехнулся Степаныч.

— Начальство тебе убытки не оплатит, это ты и сам понимаешь. А я — оплачу.

— За что?

— За что? — Сергей прикурил, раздумывая, стоит ли играть в открытую. Решил рискнуть: мужик был жадным.— За то, чтобы начальство не беспокоить.

— Полста.

— Ого!..

— А ты как думал? Клубника — раз. Костюм праздничный измарал — два. И мое беспокойство тоже не задаром.

— Любую половину.

— Четвертной, значит. Нет, парень, поищи дураков. Мы тоже понимаем, что ты ко мне прискакал...

Торговались долго, зло, как на рынке. Столковались на тридцати, клянясь друг другу забыть эту историю.

Стемнело, когда Степаныч вышел проводить гостя. Отогнал пса, отпер многочисленные засовы, сказал вдруг:

— А кто-то обещался мне борщ за шиворот вылить...

Захохотал тоненько, торжествующе. Огрел Сергея по спине жирной рукой.

— Погоди еще!..— Сергей тоже захохотал.— Погоди, может, еще и вылью!..

— Нет уж, не выльешь! — заливался Степаныч.— Все, продал ты свою выливалку за тридцать целкачей!

Утром пришла комиссия: представитель главного инженера, молодой мастер из ремонтных мастерских и капитан «Быстрого» Антон Сергеевич. Иван хотел поговорить с ним, но держался Антон Сергеевич официально:

— Поглядим. Лишнего не напишем.

Лишнее и не понадобилось. Согласно акту авария произошла по вине экипажа: сорвало штуцер масляного фильтра.

— Согласны, Иван Трофимыч? — спросил представитель главного инженера.

— Моя вина, — сказал Иван.

— Тогда подпишите.

Иван подписал. Комиссия удалилась, приказав готовить двигатель к монтажу. Двигатель готовить Иван не стал, а полез в кубрик за ключом. Вылез, сказал не глядя:

— Я — к старикам. Вернусь поздно.

— Вот мы и опять одни, — сказала Еленка. — До самой ночи одни.

— Поскучать тебе придется, Еленка, — вздохнул Сергей. — Дела у меня, понимаешь...

— Может, отложишь?

— Нельзя. Земля под нами колыхается.

Она молча смотрела, как он бреется, как надевает праздничный костюм, как старательно причесывается перед зеркалом, и в сердце ее возникла тревога. Подошла вдруг, обняла:

— Не уходи, Сережа.

— Не могу. — Он мягко высвободился. — Нельзя, Еленка. Надо, чтоб комар носа не подточил.

— Когда вернешься? — угасшим голосом спросила она.

— Вернусь?.. — Он задержался на трапе. — Не хочу обманывать: поздно. Ночью приду, не жди.

Сергей ушел, прогрохотав над головой ботинками. Еленка села к столу и тихо заплакала.

Дом пять, с палисадничком... Вот он, такой же, как все на этой улице, только наличники попроще. Те же тюлевые занавески, те же фикусы да столетники.

Сергей очень не хотел входить в этот дом. Это было во сто крат хуже, чем пить со Степанычем водку.

— Шура дома? — с наигранной небрежностью спросил он у тощей, пронзительно любопытной хозяйки, без стука войдя в дом.

— До-ома, — неторопливо протянула она, в упор разглядывая его. — Вон в ту дверь...

Он постучал и, не ожидая ответа, приоткрыл дверь.

— Можно?

Шура сидела на широкой, как телега, деревянной кро-

вати и ложкой хлебала кислое молоко из большой кастрюли. Увидев его, она словно окаменела. Он плотно прикрыл за собой дверь, блеснул зубами:

— Приятного аппетита!

— Ты зачем? — Она поискала, куда поставить кастрюлю, и поставила ее на пол у кровати. Ложка, звякнув, утонула в простокваше. — Ты чего тут?

— Соскучился, — с вызовом сказал он и сел на единственный стул у тумбочки, заставленной флаконами и баночками. — Не прогонишь?

Она молча смотрела на него, часто моргая короткими ресницами. В старательности, с которой она пыталась сообразить, как он здесь оказался, было что-то детское. Сергей не дал ей опомниться:

— Тоска меня заела, Шуренок. Такая тоска, что хоть криком кричи, честное слово. Думал я, думал и надумал к тебе прийти, прощения просить. Обидел я тебя, очень обидел, знаю. Черт возьми, как это получается? И не хочешь, а иной раз не справишься с настроением, обидишь хорошего человека, а потом локти кусаешь... Один я тут, Шурок, совсем один, чужой, понимаешь?

Он говорил приглушенно, мягко, жалостливо: ворковал. Шура слушала не слова, а голос, который звучал все тише, все печальнее, и сердце ее уже сладко и тревожно замирало в груди. Сергей взял ее руку, погладил; не вырвалась, только спросила деловито:

— Тебя хозяйка видела?

— Тощая такая? Как селедка?

— Тебе уйти надо, — озабоченно сказала она. — Я потом проведу, если хочешь.

— Боишься?

— Если бы ты на мне жениться собирался, мне бы наплевать на них было. А так, когда гуляем просто, нельзя. В день на всю улицу ославят.

Он вышел, демонстративно распрощавшись с хозяйкой. До вечера они гуляли по берегу, а когда стемнело, Шура провела его в комнату. Здесь он грубо обнял ее, а она только шептала:

— Тише. Стенка тонкая. Тише...

На катер возвращался с рассветом. Шаггал, задыхаясь от омерзения, тер лицо. На берегу разделся до пояса, долго мылся, скреб грудь песком. Одевшись, босиком прошел на катер. На носках спустился в кубрик, шагнул в свой угол..

...Утром он опять побежал к Пахомову. Долго ждал, пока можно будет потолковать с глазу на глаз. Курил в коридоре, прятал от знакомых лицо, думал.

Он отвел возможные удары. Два пассажира «Волгаря» имели основания посчитаться именно с ним, но он блокировал их действия. Конечно, не исключено, что напишет кто-нибудь еще, но та жалоба уже не может быть направлена лично против него, против Сергея Прасолова.

Он ни словом не обмолвился об этом с Пахомовым. Поговорили о заключении технической комиссии, о возмещении убытков. Пахомов не расспрашивал, держался настороженно, и Сергей снова грубовато порадовался:

— Посоветуешься с вами, Павел Петрович, и словно камень с сердца. Легче дышится. Действовать хочется, Павел Петрович, честное слово!..

— Ну, ну, ты не очень-то это... словами бросайся,— сердито сказал Пахомов, но улыбку сдержать не мог.

— Неужели вы во мне сомневаетесь? — как можно проникновеннее спросил Сергей.— Я знаю, чем грех замалить. Знаю и выполняю.

— Вот это — разговор! — с удовольствием сказал Пахомов и впервые за два свидания пожал Сергею руку.— Действуй, товарищ Прасолов.

И опять, как в тот раз, спросил об Иване, когда Сергей уже выходил из кабинета. Спросил просто, как бы между прочим, но Сергей уловил в его тоне оскорбленное самолюбие:

— А Бурлаков, конечно, занят по горло?

— Да не сказал бы, Павел Петрович,— рискнул Сергей.— Вчера, например, к шкиперу на баржу с обеда ушел.

— А посоветоваться — времени нет,— с неудовольствием сказал Пахомов.— Ну-ну...

И было в этом привычно служебном «ну-ну» что-то такое, что Сергей на миг пожалел о своих точно рассчитанных словах.

Никто не хотел заводить «дела», но оно завелось словно само собой. В пятницу назначили общее собрание.

— Насчет того, за так возил Прасолов или за денежку, нету у меня мнения,— говорил капитан «Быстрого» Антон Сергеевич.— Кто говорит — да, кто помалкивает, а кто наоборот: на общественных, мол, началах.

Зал клуба был набит до отказа. Вел собрание Пронин.

— Так что будем считать — за совесть вез Прасолов...

— Точно! — пробасил Степаныч.— Именно что за совесть!

Захотали:

— Степаныч у нас — первый спец насчет совести!

— Так и считаем,— продолжал Антон Сергеевич.— И все-таки по-разному Бурлаков и Прасолов провели то воскресенье, и вина у них разная. Прасолов оставался за капитана, он и виноват в первую голову. А Бурлаков не сумел правильно воспитать экипаж, вот как я полагаю. Что скажешь, Иван Трофимыч?

— Вину свою полностью признаю,— с места сказал Иван.— Обязуюсь прощение заслужить.

— К дате! — крикнули из зала.

— Что? — спросил директор.

— К дате! Ну, какая там на очереди?

— День кино!

— Давай, председатель, закругляй! Все ясно-понятно!

Сергей прошел к трибуне и долго молчал, облизывая пересохшие губы. В голове путалось, ощущение чего-то непоправимого мешало говорить. Он понимал, что надо ломать возникшее у собрания представление о его личной вине. Он все продумал, он твердо знал, что в самом начале должен удивить людей, а уж потом поворачивать их в нужную ему сторону. Он продумал все и все-таки боялся...

— Надо быть честным,— глухо, словно сквозь стиснутые зубы, сказал он.— Честным перед коллективом, перед своими товарищами. Тут одним признанием не обойдешься, тут нужно все как на ладони. В прятки играть с вами я не хочу и не буду.

Собрание насторожилось. Легкий говорок, летавший по залу, притих: слушали напряженно.

— Я виноват не столько в том, что вы знаете, сколько в том, что от вас скрыл! — вдруг выкрикнул Сергей.

Он прошел к президиуму и положил на стол горсть скомканных рублей.

— Что это? — удивился Пахомов.

— Я вез за деньги. Я использовал катер в целях личного обогащения. Мне стыдно, товарищи!..

Гул прошелестел по рядам, и собрание опять смолкло.

— Я ночей не спал. Я думал, кого мы обманываем, товарищи? Мы себя обманываем. Мы себе врем, товарищи!

Вновь пробежал гул, на этот раз недоуменный. Сергей поднял руку.

— Сейчас все расскажу. В начале работы моей на «Волгаре» пошли мы заправляться. И я, я лично сделал так, что получили мы одно масло. Сделал потому, что у «Вол-

гаря» перерасход по топливу свыше двух тонн. Было это, товарищ Бурлаков?

Иван привстал, провел рукой по лицу и снова сел. А Еленка, сидевшая в другом конце зала, поспешно закивала.

— Пойдем дальше. По ведомости на нашем катере числится четыре человека. Зарплата идет четверым, а работают трое. Один из матросов — фигура фиктивная, он только в ведомости расписывается, а работать никогда, ни часу еще не работал! Так ведь это же обман, товарищи!..

Гулом взорвался зал, и опять Сергей притушил этот гул, подняв руку. Теперь он держал собрание в своих руках, теперь от него зависело, куда и как повернуть.

— А теперь — самое главное. Купил известный вам шкипер Игнат Григорьевич телку, и понадобилось телке сено. И вот в следующее воскресенье взяли мы катер, пошли к Лукониной топи и выкосили там всю траву. Всю, под бритву! Погрузили, пошли назад, а нас колхозники перехватили. Но и тут нам удалось уйти и свалить это ворованное сено на барже у шкипера для прокорма его личной скотины! Нас судить надо, товарищи!

Последние слова утонули в шуме:

— Бурлакову слово! Пусть объяснит!..

— А с травой решать надо, товарищи! Это — не шутка!..

— Что же ты, Прасолов, раньше молчал? Думал, сойдет?

— Тише, не кончил он еще...

— Он еще скажет! Он еще отчудит!..

— Тихо, товарищи, тихо!..

С трудом успокоили зал. Сергей залпом выпил стакан воды, продолжал:

— Вот в чем я повинен. И хочу точку на этом поставить. Хватит, товарищи! Жить надо честно!..

Опять поднялся шум. Сергей не пошел на свое место, а сел в первом ряду, в уголке. Пронин перекричал гул:

— Слово предоставляется Бурлакову!..

Стихло в зале. Иван медленно поднялся, долго шел по проходу. Стал возле стола, растерянно оглядел зал.

— Все правильно.

И замолчал. И собрание молчало, ожидая, что он еще скажет. Потом Пронин спросил:

— Все, Иван Трофимыч?

Иван посмотрел на него невидящими глазами, тихо сказал:

— Подлец он. Неужели не видите?

В зале зашумели:

— Что он сказал?..

— Громче, Трофимыч!..

— Я говорю, что Прасолов подлец,— громко сказал Иван.— Никого не щадит: ни стариков одиноких, ни Пашу. Разве ж можно так? Разве можно за счет чужого несчастья?.. Да волк он!..

— Давайте без оскорблений,— сказал Антон Сергеевич.— Вину свою признаете?

Иван крепко сжал челюсти. Глянул через плечо.

— Нет.

— Как нет?.. Сам же только что сказал, что правильно...

— Все правильно, а вины моей нет,— упрямо повторил Иван.— Нет моей вины, не признаю.

И, шаркая, пошел на место. В зале молчали.

— Странно мне Бурлакова слышать! — вскочил вдруг Антон Сергеевич.— Знаю его давно, считал, что хорошо знаю, а выходит, не знаю совсем. Удивил ты меня, Иван Трофимыч. У тебя получается, что правду товарищам сказать — подлец, а сено украсть у колхоза — друг!

И сел на место. Сергей с облегчением расправил плечи и откинулся к спинке стула. А собрание по-прежнему помалкивало. Пронин оглядывал зал.

— Ну, товарищи, кто хочет высказаться?..

— Я хочу высказаться,— сказал Николай Николаевич.

Он не пошел к трибуне, а, выйдя к рампе, остановился против Сергея. В зале вдруг стало очень тихо, и в этой тишине Николай Николаевич негромко спросил:

— Почему вы уволились из Саратовского порта, Прасолов?

— Я уволился по собственному желанию.

— В середине навигации?

— Смешной вопрос! — крикнул Сергей.— Захотел и уволился!..

— Я все равно выясню это, Прасолов. Выясню! — Николай Николаевич повысил голос.— А вот к Бурлакову у меня вопросов нет. Я Бурлакова с детства знаю. И вы знаете!..

— Точно! — восторженно и звонко крикнул Вася и зааплодировал.

В зале зашумели, а к столу уже шел угрюмый бригадир плотовщиков Андрей Филиппыч. Стал рядом с трибуной, привычно расставив ноги, нахмурился.

— Трофимыча не оправдываю. Нет. Дров, понимаешь ли, много. Наломал, значит, без надобности. Солярка, значит, и матрос этот. Так. Опять же — сено. Вот главный вопрос! Моя скотина или колхозная — она все одно по несознательности жрать просит. А корма где?

— Не о кормах же у нас вопрос, Андрей Филиппыч,— сказал Пахомов.— Давай ближе к теме.

— К теме?..— Плотовщик вздохнул, потоптался.— К теме, что ж, все ясно. Не оправдываю. Нет. Только вопрос: для кого Трофимыч старался? Для себя?..

Зал неожиданно рассмеялся.

— То-то вот и есть. Осудим мы его, конечно. И правильно. А только так скажу: если мне, не дай бог, нужна какая припрет, так я не к тебе, парень, побегу, хоть ты тут рвал на грудях тельняшку. Я к Трофимычу побегу, понимаешь ли...

Последние слова потонули в аплодисментах. Сергей уже не поднимал глаз.

— Да жук он, Прасолов этот!..— кричали из зала.

— Ну, не скажи, похитрее: правду-матку резал — аж кровь хлестала!..

— Гнать его, сукиного сына, товарищи!..

— Врете! — вдруг выкрикнула Еленка, вскочив.— Врете вы все потому, что струсил! Вам правду в лицо сказали, а вы, тараканы несчастные, гнать за это, да? Друг за дружку стоите, друг дружку покрываете, а как чужой кто, так — вон, да? Вон?!

Она рванулась к выходу, не сдерживая слез. В президиуме поднялся директор.

— Это все — нервы,— негромко сказал он.— А вот — документы. Два письма: копии адресованы в обком и в газету «Водник». И вот что сказано в этих письмах. Первое: обман с горючим и приписка моточасов капитаном Бурлаковым. Второе: о несчастье с Федором Никифоровым. Говорится, что несчастье это произошло потому, что капитан Бурлаков не справился с катером из-за больной ноги. Поэтому автор письма требует привлечь Бурлакова к суду...

— Кем подписано? — крикнул Вася.— Кто подписал?

— Письма анонимные.

— А анонимные — так в галльон их!..

— Тихо! — крикнул Пахомов.— Тут не орать, тут думать надо, товарищи дорогие!..

После долгих споров обоим — и Бурлакову и Прасолову — записали по выговору, и Сергей при людях с трудом сдержал радость.

Собрание кончилось. Все повалили к дверям, шумно переговариваясь. Михалыч, Вася и Андрей Филиппыч задержались у выхода, поджидая Ивана, но он прошел мимо, остекленело глядя перед собой.

Следом спешил кадровик. Выскочил в густую темь, крикнул:



— Трофимыч!..

Иван не отозвался. Николай Николаевич догнал, тронул за плечо.

— Пройдемся, что ли? Духотища в зале-то.

Иван молча пошел за ним. Они вернулись за крайние порядки, вышли на песчаный берег. Мерно плескалась вода, на фарватере светились бакены. Тишина сонно висела над рекой.

— Брюхо болит, спасу нет,— сказал Николай Николаевич.— Будто до сих пор там тот штык поворачивают.

— Полежал бы,— глухо, без интонации сказал Иван.

— Полежал бы! — вдруг зло подхватил начальник.— Иисус Христос, миротворец чертов! По одной щеке съездили — другую подставить не терпится?

Иван сосредоточенно молчал.

— Ты где был, когда этот гриб поганый на твоём катере корешки пускал? О добре разглагольствовал? Ну-ка такого бы Сергея да нам бы под Великие Луки в сорок первом, а?

Иван вдруг глянул на него:

— Ну, знаешь, тогда...

— Шкурник он! И тогда и сейчас. Драться надо с такими, Иван. Драться! Чтоб других не заражали. Сподличал — отвечай.

— Людям добро нужно, Николаич. Ох, нужно!

— Добро добру рознь. Твое добро Сергеев этих плодит. Сообрази...— Он вдруг глянул в темноту, крикнул: — Ну идите уж, чего крадетесь!..

Подошли Вася, Михалыч и плотовщик. Михалыч завздыхал, засуетился, заглядывая Ивану в глаза, а Вася сказал:

— Айдайте к нам, Иван Трофимыч. Посидим, покалякаем, Лидуха самовар раскочегарит.

— Чего на воде-то болтаться? — забасил плотовщик.— Пошли ко мне. Телевизор поглядим.

— Самовары, телевизоры,— проворчал кадровик.— Ну, счастливо вам, мужики. А ты думай, Иван. Думай: я тебе правду сказал.

И пошел в темноту, потирая рукой разболевшуюся старую рану.

— Ну, все, Еленка, теперь — полный ход,— взволнованно говорил Сергей вечером в кубрике.— Завтра пойду к Федорову: пусть ставит на катер только нас с тобой. Кровь из носу, а должны вдвоем справиться. Должны!

— А Иван как же?

— А Иван пусть на берегу кантуется, с ним дело кон-

чено. Пусть слесарит или в складе кладовщиком. Тут закон, Еленка, один: не сумел удержаться — падай, покуда не зацепишься.

— Хороший он человек...— вздохнула Еленка.

— Хороший человек — это еще не профессия.

Он обнял ее. Еленка посмотрела прямо в глаза тревожным взглядом, сказала тихо:

— Не надо. Иван войдет...

— Да не придет он, не жди! Он небось опять к старикам подался. И вообще забудь о нем. Забудь все. Вдвоем мы теперь. Вдвоем, понятно?

Наутро Ивана вызвали в район. Он долго ходил по инстанциям, писал объяснительные, признавал, что Прасолов говорил правду, и тут же упорно отрицал свою вину. Его пытались убеждать, разъясняли, потом махнули рукой. Велели работать, замаливать грех: с этим Иван не спорил.

С попутной машиной вернулся домой и, как было приказано, пришел прямо к директору. Долго не принимали: он курил в коридоре. Наконец пригласили в кабинет.

— А, товарищ Бурлаков. Присаживайтесь.— Директор подал руку.— Ну, какие дела?

Иван коротко рассказал. Директор кивал не глядя. Потом спросил — вдруг, не дослушав:

— Как считаете, Прасолов справится с катером?

— Вообще-то...— Иван замолчал. Он понял вопрос, понял, что стояло за ним, понял все и сказал: — Справится, Юрий Иванович.

— А в плавсоставе служить вам больше нельзя.— Директор вздохнул и впервые глянул на Ивана.— Извините, нельзя.

— Юрий Иванович...— Иван встал, качнулся, уцепился за спинку стула.— Юрий Иванович, я никогда не просил... И выполнял всегда. Благодарности имею...

— Нельзя, товарищ Бурлаков,— с ноткой раздражения сказал директор.— Я тоже подчиняюсь законам. Вот так. Идите в отдел кадров, там что-нибудь подберут. Я дал указание. До свидания. Идите.

Иван шел в отдел кадров, ни с кем не здороваясь, глядя сквозь людей, а серую праздничную кепку нес в руке, забыв надеть при выходе из кабинета. Так он и вошел к начальнику.

— Здоров,— сказал Николай Николаевич.— Садись. Кури.

Он ни о чем не спрашивал. Иван курил медленно, долго

разглядывал огонек папиросы, стряхивая пепел в огнеупорную ладонь. Николай Николаевич терпеливо ждал.

— Уволили,— растерянно сказал Иван.

— Знаю,— подтвердил начальник.— Обижаться на это смысла нет: по состоянию здоровья тебя давно на берег списать надо.

— Берег...— Иван горько усмехнулся, прошел к окну, высыпал пепел.— Где он, мой берег, Николай Николаич?..

— Привыкнешь, Трофимыч. Ой, к чему человек привыкнуть может, это даже вообразить себе невозможно!..

— И к тому, что дома нет, тоже привыкнуть можно?

— Смотри что домом считать. Был катер домом, будет — мастерская. Или ты, может, куда еще хочешь?

— Все равно.

— Ну, коли все равно, так слушай меня. Пойдешь мастером по топливной аппаратуре. Работа чистая, тонкая. Вдумчивая работа, как раз для тебя. При мастерской каптерка имеется. Я с начальством договорился: будешь там жить. Поставишь коечку, столик...

— Хватит с меня исключений. Как все желаю. Как все.

— В общежитии сплошняком одна сезонная молодежь. Они, подлецы, по летнему времени в три утра спать ложатся. Там ты враз очоуришься, это я тебе точно говорю.

— Нет уж, Николаич, давай как все,— упрямылся Иван.

— Нет места в общежитии, все, точка! — вспылал начальник.— Ему как лучше хотят, а он свое. И какой ты обидчивый, Иван!..

— Обидчивый?..— Иван серьезно посмотрел на него, снова полез за папиросами.— Нет, Николай Николаич, на себя, на жизнь свою обижаться — это пустое. А больше мне не на кого обижаться. Да, не на кого. Все правильно. Пашу уволил?

— Уволил,— вздохнул Николай Николаевич.— Эх, признал бы ты свою вину на собрании!.. Признал бы вину, и все было бы как надо.

— Какую вину? — строго спросил Иван.— Разве ж можно людям в беде не помочь? Подлецом надо быть, чтоб не помочь.

— Эх, Иван! — Начальник стукнул кулаком о стол и выругался.— Говорил же я тебе, предупреждал. Ну, да что прожитое вспоминать...

Помолчали. Иван спросил не глядя:

— Со стариками-то как решили?

— Не решали еще. Колхозу сообщили: бригадира ихнего видел. Радует: сенцо-то задарма получил...

В цехе Ивану понравилось: каждая вещь знала место, чувствовался порядок. Да и народ в большинстве был пожилой, степенный: на регулировку топливных насосов мальчишек не поставишь. Встретили Ивана как старого знакомого. Начальник показал что к чему, познакомил с бригадой, определил к месту.

— А жить будешь здесь, Трофимыч.— Он открыл дверь в углу, пропустил вперед Ивана.— Здесь у нас тихо: в одну смену работаем.

Комнатка была маленькой, метров шесть. В углу стоял столик, табуретка и голая железная койка. Окно, пол, даже стены были тщательно вымыты, а подоконник и рамы окрашены заново: его ждали, о нем думали, и горячая волна благодарности ударила вдруг Ивану в голову, закружила, и он поспешно сел.

— Ну, спасибо тебе...

Но в комнатке никого уже не было: начальник ушел по своим делам...

Так вот, значит, какое оно, это последнее его жилье. Ему не было тягостно от этих мыслей. Самое главное — уют этот последний теперь был у него. А значит, были и люди, которым еще нужен он, Иван Бурлаков, значит, рано еще списывать его со счетов, значит, нужно и можно жить...

Он договорился с начальником, что переедет сегодня же, а завтра с утра заступит на смену. Теперь следовало пойти на катер за вещами, и — странное дело! — он уже не боялся этого.

На выходе он столкнулся с Михалычем. Оба обрадовались встрече, долго жали руки, улыбались друг другу.

— Ах, Иван Трофимыч, родимый ты мой, все знаю, все!..— частил Михалыч, держа Ивана за руку.— Аккурат вчера узнал, утром вчера. Прихожу на работу, а мне говорят: уделай каптерочку под жилье. Для Ивана Трофимыча, мол...

— Так это ты уделал, Михалыч?

— Да пустое это, пустое. Нюрку, старшенькую свою, вызвал: она у меня проворная. Ты на катер, что ли? Может, помочь?

— Какая там помощь, Михалыч. Пожитков — всего ничего.

— Ну, наживешь еще. А уж вечерком к нам пожалуй, Иван Трофимыч, не обидь. Ждем тебя. Харчишек жена сготовила, посидим, побеседуем. Уважь, Трофимыч.

Отказывать Иван не умел, согласился. Обрадованный Михалыч ушел, а Иван направился к причалам. Идти

пришлось долго, потому что встречные останавливали его на каждом шагу, расспрашивая, что было в районе и как он теперь устроился.

Еще издалека Иван увидел свой катер, и что-то дрогнуло в нем. Оживление, вызванное новым жильем и встречами, спало, печаль с новой силой овладела им, и шел он теперь медленно и ничего уже не видел вокруг, кроме своего катера. Катер стоял на старом месте, у затопленной баржи. Людей не было видно, но когда Иван подошел ближе, то разглядел сухую сутулую фигуру на носу. Он остановился, всматриваясь, и тут только заметил, что надписи «Волгарь» больше нет, а вместо нее стоит прежняя цифра «17». И художник — теперь Иван узнал его — закрашивает на ведрах буквы и пишет по трафарету ту же цифру «17»...

Михалыч зашел в конце смены. Сколотил Ивану полочку, помог устроиться, а потом они пошли к нему. Идти пришлось долго: Михалыч жил в соседней деревне, за лесом. По дороге Иван рассказал, как из-за него Вася утопил новый мотор и лодку.

— Господи, господи, боже мой!.. — ужасался Михалыч. — Да прах с ней, с лодкой, Трофимыч, прах с ней! Ведь утопнуть мог, очень даже просто мог утопнуть!..

Ужинали за одним огромным столом все девять человек. Дети, а из шести пятеро были девочками, вели себя чинно, но не затурканно: смеялись на своем конце, что-то делили. Пузатый наследник сидел на руках у матери, сонно таращил глаза.

— Во, наработали!.. — с гордостью говорил Михалыч, оглядывая стол. — Целая бригада, понимаешь, целая бригада!

— Правда, доярки одни, — улыбнулась жена, кругло, поволжски выговаривая «о». — Плотник у нас вот единственный.

Старшая дочка шустро двигалась вокруг, подавая еду. Девушка сияла таким запасом здоровья и силы, что Иван то и дело поглядывал на нее и улыбался.

— Выросла-то как Нюра-то, — пояснил он, поймав веселый взгляд хозяйки.

— Не говори! — засмеялся Михалыч. — Кофточки составлять не поспеваем.

— Ой, ну зачем?.. — вспыхнула Нюра, мигом вылетев на кухню.

— В детском саду работает, — сказала мать. — Специальность имеет, курсы кончила.

— Головастая, — подтвердил Михалыч. — Дочка, поди-ко!

— Зачем? — откликнулась из кухни Нюра.

— Поди, говорю!..

Нюра, смущенно улыбаясь, вышла к столу. Михалыч налил на донышко водки, протянул:

— Выпей, дочка, с нами. Как тебе есть полных восемнадцать, разрешаю.

— Не буду я. Не хочу.

— За гостя выпей. За Ивана Трофимыча. Ну-ко...

— Будьте здоровы, — снова вспыхнув, шепотом сказала Нюра, глотнула, замахала руками. — Ой, мамочки!..

Пока детей укладывали, Иван с Михалычем курили на крыльце. Сыпались с неба августовские звезды, таинственно шуршал лес, обступивший со всех сторон деревеньку. Мужчины неспешно говорили о делах, о шкипере, оставшемся на зиму без сена.

— Погоди, может, еще и добуду, — обещал Михалыч, — сделаем, может, чего, дай срок.

— Из-за меня все, вот ведь что получается, — сокрушался Иван. — Поверишь ли, идти к ним совестно. В глаза глядеть.

— Это ты зря, Трофимыч, зря. Ты тут совсем ни при чем, ни с какого боку... — Михалыч вдруг замолчал, нашел в темноте Иванов пиджак: вертел пуговицу. — Слушай, чего тебе скажу. Главное скажу: Нюрку мою видел?

— Видел. Хорошая девушка. А что?

— Ну, коли хорошая, то... — Михалыч порывисто вздохнул. — Может, породнимся, а, Иван Трофимыч?

— Как это? — растерялся Иван.

— Бери Нюрку, а, Трофимыч? Она здоровая, она детей тебе нарожает, полную избу детей. Уходит тебя, дом тебе делает...

— Да что ты, Михалыч, что ты, погоди. В отцы ведь я ей...

— Какие отцы, какие? И не думай об этом, Трофимыч, не думай! Ты еще — ого, орел еще! Детишки пойдут — только называть поспевай.

— Да погоди, Михалыч.

— Ну, чего годить-то? Девка — как яблочко, и мастерица, и по дому, и песни играет, не хуже Еленки...

Он вдруг замолчал, точно споткнувшись об это имя. Иван вздохнул, сказал тихо:

— Вот именно, Михалыч. Именно что так.

— Да говорят, она... — Михалыч опять запнулся.

— Знаю. Все знаю: сама мне сказала. А только нет

мне без нее жизни, Михалыч. Нету. Хоть и чужая она теперь, а все равно — тут она, со мной. Так что не гожусь я в женихи, друг ты мой. Не гожусь...

С ремонтом управились быстро: Сергей не вылезал из цеха, работал за двоих, исхудал, измотался, но «Семнадцатый» вступил в строй куда раньше намеченного срока.

— Ну, теперь повертимся! — радостно говорил Сергей. — Теперь, девочка, конец сонному царству!

Вертеться действительно прихотилось, но Сергей был отличным организатором. Каждый вечер он надолго уходил в диспетчерскую, обзванивал участки, всеми правдами и неправдами добивался удобных нарядов и загодя составлял график. До минимума сократил простои, беспощадно строил акты за малейшее опоздание, не стеснялся звонить и самому директору. Нажил врагов, но в первую же декаду вдвое перевыполнил план.

Случалось, что на руле стояла Еленка. Сергей настойчиво учил ее, втолковывал правила, знакомил с двигателем. Вначале Еленка боялась штурвала, от страха делалась бесполой, но Сергей был неумолим:

— Полегонечку, девочка, полегонечку!

Теперь он все чаще называл ее девочкой. Еленке не нравилось это новое обращение: в нем не было ни ласки, ни тепла, и внутренне она чувствовала, что это — просто привычка, что таких «девочек» у Сергея было хоть пруд пруди. Но не умела с ним спорить, боялась насмешек, со страхом вспоминала его сухие, жесткие глаза, что глянули на нее в то воскресенье, когда ездили на острова. Она хотела мира, тихой семейной радости. Ей казалось, что в этом и заключается счастье, и когда Лида в упор спросила, счастлива ли она, Еленка, не задумываясь, ответила:

— Очень!

— А жениться думает ли?

— Некогда сейчас, — отвернувшись, сказала Еленка. — Вдвоем ведь работаем. И комнаты пока не дают. Вот когда дадут...

— Он так сказал?

— Сказал, — соврала Еленка и покраснела.

Они встретились у магазина. Еленка поздоровалась, хотела шмыгнуть мимо, но Лидуха так некстати завела этот разговор.

— Нет, ты не думай, он хороший, — поспешно добавила Еленка, испугавшись, что Лида правильно истолкует ее смущение. — Только трудно ему сейчас.

Лида странно усмехнулась, промолчала, и Еленка, краснея и запинаясь, стала неуклюже переводить разговор: спросила, нашел ли Вася мотор.

— Нашел,— сказала Лида.— Глубоко только: три метра с половиной. Катер нужен: с лодки его не подыметь.

— Так сходим!..— Еленка очень обрадовалась.— Хоть завтра сходим туда на нашем...

Лида поблагодарила, но Еленка, загоревшись, обещала любую помощь, и Лидуха заулыбалась. Расстались почти как прежде, договорившись, что завтра после работы Сергей подгонит «Семнадцатый» к топлякоподъемнику.

— Никуда не пойдем! — резко перебил ее Сергей, когда она рассказала ему о встрече.

— Как же можно?..— растерялась Еленка.— Вася ведь к нам тогда шел, из-за нас ведь все. И обещала я: ждут...

— Подождут и перестанут,— отрезал Сергей.— Пусть оформляет через диспетчерскую: дадут наряд — пойду.

— Нет, завтра пойдем!..— крикнула Еленка.— Люди помочь просят, а ты — наряд, диспетчер!.. Пойдем, и все. Как прежде ходили, при Иване Тро...

Она вдруг осеклась, замолчала, опустила голову. Сергей молча курил за столом.

— Вот что, Еленка,— сказал он наконец, и Еленка опять увидела его жесткие, словно застекленные глаза.— Заруби на будущее: против меня ни полслова. Я здесь хозяин, я один решаю.

— А я, выходит, никто?

— А ты знай свое место! — крикнул он.— И цени его, пока я выводов не сделал!..

И опять Еленка не спала, тихо ворочалась, вздыхала. Думала, по дням перебирала всю небогатую жизнь с Сергеем, прикидывала, пыталась понять. Ничего не поняла, но то ли от усталости, то ли от жалости к себе решила, что погорячилась.

Теперь у Ивана была много свободного времени. Он привык работать от зари до зари, а здесь, на новой работе, освобождался в четыре, запирал за рабочими двери мастерской и тоскливо плелся в свою комнатку. Забот не было.

Эти длинные пустые вечера он проводил в гостях. Но к Михалычу часто ходить стеснялся, помня последний разговор и боясь его продолжения. Федор теперь с азартом чинил будильники, но лучше ему не становилось, и Иван с болью отмечал, как угасает на его глазах волжский богатырь, шутя поднимавший когда-то по восемь пудов.



Все чаще ловил он на себе тоскливые взгляды Паши, ежился под этими взглядами и после подолгу не мог уснуть в одинокой комнатке: стоять бы тогда Федору на полшага правее...

Неуютно было ему и у стариков. Нет, ни в чем они не винили его, и радушие их по-прежнему умиляло старинным хлебосольством, но тревога, поселившаяся на барже, не могла не касаться его, и опять он чувствовал себя виноватым. Шкипер ходил по начальству, просил позволить дожить жизнь так, как она сложилась, но ничего не добился.

— Разберемся.

— Такие, значит, дела, Трофимыч, — подытожил старик, когда они курили на барже. — И как они там разберутся и когда — не ведаю. А ведать бы должен, потому что ежели, скажем, решат, что съезжать нам, это одно, а ежели дожить тут позволяют, так ведь сено добывать нужно. Тут ведь на орла да решку не кинешь, тут заранее знать надо.

Скандалами, жалобами и беспощадными актами за малейший простой Сергей все-таки добился своего: катер работал теперь по строгому часовому графику. И снова на всех летучках все чаще и чаще поминали «Семнадцатый», но никто уже не называл его Ивановым. Разве что неисправимые консерваторы из старых капитанов, да и то как-то походя, словно стесняясь. Но и Сергеевым катером тоже никто не называл.

— Не любят нас, Сережа, — с горечью сказала Еленка. — Бабы меня совсем привечать перестали, а мужики усмеваются.

— Нам с ними не детей крестить, — отмахнулся Сергей. — Доплаваем навигацию, снимут выговор, сыграем свадьбу, а там поглядим. Может, и подадимся отсюда: в Сибири рек много...

Он говорил о Сибири, о тамошних заработках, а Еленка ничего не соображала. Она глядела на него во все глаза, и лицо его двоилось, расплывалось перед нею, потому что слезы мешали смотреть.

Вот так он впервые сказал о свадьбе. И именно потому, что сказал вскользь, среди других дел, Еленка поняла, что это серьезно. Она удержала себя, не кинулась на шею, а, спрятав слезы, стала обстоятельно обсуждать предполагаемую жизнь в Сибири.

Она научилась угадывать его желания и хватать на лету то, что он только собирался сказать. Сергей смело нагружал ее работой, научил водить катер, посылал в дис-

петчерскую за нарядами или в контору с рапортичками. Вначале она очень не любила эти поручения, стеснялась, но постепенно страх перед людьми прошел, она стала держаться свободно, и Сергей не шутя утверждал, что через год сделает из нее помощника капитана.

— Главное, людей не бойся,— поучал он.— Пусть лучше они тебя боятся.

Но хозяйство все равно оставалось на ней, и обычно, сдав рапортички, Еленка бежала в магазин. Она привыкла все делать на рысях, но в то утро, завернув за угол, сразу остановилась.

Прямо на нее, тяжело ступая, старый шкипер вел на веревке рыжую телочку с белой звездочкой на лбу. Он молча угрюмо смотрел перед собой, и Еленка попятилась, вжимаясь в стенку дома.

— Здравствуйте.

— Здорово.— Шкипер, не глянув, прошел мимо.

Но старуха остановилась. Долго жевала бледными тонкими губами, серьезно и строго смотрела на Еленку. Потом спросила:

— Чего же не заходишь-то?

— Да вот замоталась,— жалко бормотала Еленка, спиной чувствуя, что шкипер тоже остановился и тоже серьезно и строго смотрит на нее.— Вдвоем мы теперь на катере-то.

— Вышло нам решение,— словно не слыша ее, спокойно сказала Авдотья Кузьминична.— Приказано с баржи съехать и не жить там больше. А жилье наше порушат и сделают склад.

— А вы как же?

— Комнату дают. В новом доме.

— Вот такие, значит, Еленка, пироги,— сказал шкипер, закуривая.— Так что приходи на новоселье.

— А ее куда же? — растерянно спросила Еленка.

— Продавать ведем,— сказала старуха.— Да. Продавать. В комнате не поместишь.

— Зря, выходит, мы страдали на Лукониной топи,— вдруг улыбнулся шкипер.— И рад бы погоревать, да больно радостно тогда было. Больно радостно.

Он повернулся, тронул веревку, и рыжая телочка покорно двинулась за ним. Старуха пожевала губами, сказала безразлично:

— Заходи.

И пошла, не оглядываясь, а Еленка долго еще стояла у бревенчатой стены, смутно ощущая вину. Она невольно вспомнила об Иване, и реальная вина перед ним переплелась с этой виной, выросла, обрушилась на нее, разом

сметая все ее личные мелкие радости и удачи. Она опустилась на пыльную траву, закрыла лицо руками: очень хотелось поплакать, но слез не было.

Просидев так с час, Еленка встала и пошла на катер. Выплакаться не удалось, и все запеклось внутри и огрубело.

На катере был Пронин. Еленка еще издали заметила его, но даже не поправила волосы: сегодня ей было не до Володьки.

— Ну почему я? — раздраженно спрашивал Сергей. — Почему водометный не послать?

— Потому что он здесь плавал, а не на водометном, — сухо сказал Пронин. — И кончай этот недостойный торг, Прасолов. Значит, гирлянды, постамент... Здравствуйте, товарищ Лапушкина.

Еленка сухо кивнула, спустилась в кубрик. Тут вспомнила, что забыла зайти в магазин, но идти никуда не хотелось. Выскребла остатки, поставила обед. Катер уже куда-то шел, что-то цеплял, Сергей привычно с кем-то собачился, а она, машинально помешивая суп, все думала о стариках и Иване, и впервые за последнее время об Иване больше, чем о ком-либо другом.

— Заболела, что ли? — спросил Сергей за обедом.

— Знаешь, Сережа... — Она поколебалась, стоит ли говорить. — Знаешь, стариков-то с баржи выселили.

— Не выселили, а комнату в новом доме дали, — весело сказал он. — Комнату, понимаешь? Нам вот с тобой не дали, а им — дали.

— Да зачем им комната? — с тоской сказала Еленка. — Жизни они привычной лишились, вот ведь что.

— Ну, не преувеличивай! — Он отмахнулся. — Жизнь у нас одна: советская. А не кулацкая. Об этом не забывай.

— Господи, ну какая там кулацкая, какая?

— Ну, ладно, хватит! — резко прикрикнул он. — Слышал я их песни и знаю, что говорю. И правильно, что хозяйство их ликвидируют...

— Нет, не правильно! — вдруг крикнула Еленка и встала. — И не кричи на меня. Не кричи, понял?..

Долгожданные слезы хлынули из глаз, Еленка ничком упала на диван. Сергей закурил, сказал мягко:

— Ладно, не обижайся. Извини. Нервы, знаешь. Наряд на завтра хороший был, да сорвался, из графика нас вышибли. — Он потоптался, не зная, что еще сказать. — Я в контору схожу, а ты побудь: плотник должен прийти.

Плотник пришел к концу смены. Еленка услышала чужие шаги, насторожилась, но он окликнул:

— Хозяин!

Поднялась в рубку, увидела сквозь стекло Михалыча и задержалась: опять судьба сталкивала ее с той, прошедшей жизнью, о которой она часто думала, но о которой так хотела забыть.

— Здравствуйте,— сказала она, выходя на палубу.

— Здоров.— Он мельком глянул, размечая прямоугольник.— А хозяин где?

— В контору ушел.

— А-а.

Он не обращал на нее внимания, продолжая обмерять толстые брусья и доски. Обмерив, достал лучковую пилу, приспособился пилить, уперев брус в носовой люк.

— Что это вы строите?

Михалыч задержал пилу, странно, боком глянул на Еленку.

— Что строите, спрашиваю?

— Постамент,— сказал он, снова начиная пилить.— Гроб на него поставят.

— Гроб?.. Какой гроб? Зачем?

— Затем, что человек здесь работал. Здесь работал, здесь и последний путь должен...

Хватаясь руками за железную стену рубки, Еленка медленно сползала на палубу. Михалыч бросился, подхватил, с тревогой глядя на ее белое, как молоко, лицо.

— Ну, чего ты, чего, а?.. Ах ты, господи...

— Он?..

— Да не он, не он, господи! Думал, знаешь ты... Федор Никифоров помер вчера. Враз помер — как лежал, так и вытянулся... Ну, вставай, вставай, чего сомлела?

Еленка молча отстранила Михалыча, цепляясь за рубку, пошла к дверям. В дверях остановилась.

— А я подумала...

— Жив он покуда,— строго сказал Михалыч.

Утром Еленка надела синее шерстяное платье. Сергей ничего не сказал, но, позавтракав, тоже переделся и повязал галстук.

После завтрака они долго мыкались по своему печальному праздничному суденышку. Катер одиноко притулился у баржи: соседи с зарей ушли в рейсы. Еленка поминутно спрашивала:

— Не пора?

— К десяти велено.

Она бесцельно слонялась по катеру. Спускалась в кубрик, вновь поднималась на палубу. Сергей молча курил на моторном люке.

— Не пора?..— вздохнула Еленка.  
— Оркестра не слышно.  
— А будет оркестр-то?  
— Обещали.  
— Это хорошо, это по-человечески...— Еленка походила вдоль борта, удивилась.— А люди хоть бы что. Работают.  
— Да.— Сергей вздохнул.— А у нас — простой.  
— Как ты можешь так...  
— Только без слез,— поморщился Сергей.— Сама же заметила, что люди работают. А мы что, не люди?  
— Не знаю, кто мы,— помолчал, сказала Еленка.— Когда ты такое говоришь, то мне кажется: нет, не люди.  
Где-то вдаль пропела труба, грохнул барабан. Еленка замолчала, подавшись вперед, вслушиваясь. Сергей прошел в рубку, завел двигатель, высунулся:  
— Отдай чалку!..  
«Семнадцатый», мелко подрагивая, пошел к пассажирской пристани..

Скорбное шествие медленно приближалось. Играл оркестр, но звуки его то и дело перекрывались исступленными женскими криками.

Впереди два мальчика несли крышку. Крышка была тяжелой, Вовка положил ее на плечи и шел вслепую, нащупывая ногами дорогу. Он не заметил поворота к пристани, и Пронин руками направил его в нужную сторону. Сергей взял у мальчишек крышку и прислонил ее к рубке.

Четверо мужчин на полотенцах несли гроб. За гробом шли Паша и сестра покойного.

Музыка смолкла. Провожающие и оркестранты устраивались на катере, негромко переговариваясь.

— Где пионеры? Пионеры не приходили? — волновался Пронин.

— Отчаливать? — спросил Сергей.

— Погоди, Прасолов. Еще маленько погоди.

Естественный ход похорон нарушился. Люди переминались с ноги на ногу, шушукались, музыканты брякали трубами. Наконец крепкогрудая вожатая привела десяток ребятишек. Пронин оживился, деятельно объяснял, как стоять в почетном карауле, когда сменяться. Дети слушали плохо, со страхом поглядывали на белое лицо Федора.

— Детишек-то напрасно сюда,— сказал Иван.— Не годится им на мертвяков глядеть.

— Положено так,— с неудовольствием ответил Пронин.— Прасолов, отчаливай.

Сергей завел двигатель. Пронин побежал на корму, шепнул музыкантам. Тяжко ударили тарелки. Пронин вытащил платок, помахал.

Замерло движение на реке. А как только «Семнадцатый» отвалил от пристани, торжественно взревели пароходные гудки. И опять заголосила сестра, заплакали бабы, а гудки все ревели и ревели, провожая в последний путь помощника капитана Федора Никифорова.

Кладбище было на той стороне, и гудки ревели, пока катер не пересек реку. Сергей причалил к дощатой пристани, заглушил мотор, вышел из рубки. Крышку с ребятишками уже ссадили на берег, но никто больше не высаживался, потому что мужчины еще не переправили гроб. Возле него сменилась последняя четверка перепуганных детей, Пронин дал команду, и Сергей шагнул вперед, берясь за тот край полотенца, который прежде держал Иван.

— Не надо,— сказал Иван.— Оставь.

— Тяжело тебе: в гору.

— Ничего.— Иван перекинул через плечо полотенце.—

Взяли.

На кладбище гроб опустили рядом с могилой, провожающие столпились вокруг, перемешались, тесня друг друга, и Еленка оказалась в самой гуще. Пронин открыл митинг, говорил, по счастью, коротко и не по бумажке. Потом выступал еще кто-то — Еленка не слышала,— и вперед вышел Иван. Он долго мял в руках кепку, глядя в лицо Федора, а кругом стало вдруг так тихо, что Еленка испугалась. Она начала уже прорываться вперед, когда Иван сказал:

— Девять навигаций плывал я с Федором Семенычем. И льдом нас затирало, и на мель мы садились, и мерзли, и мокли, и тонули — все было. При мне у него и дети родились, и дом он поставил, и покалечился тоже при мне...

— Не при тебе, а из-за тебя!..— выкрикнул одинокий голос, и Еленка узнала Степаныча.

По толпе пробежал гул. Пронин и Вася метнулись к Степанычу, а Паша со стоном выдохнула:

— Не надо, не надо!.. Просила ведь вас, господи!..

— Верно,— тихо сказал Иван.— Только судить меня он один мог, а больше никто. Мы с ним душа в душу жили, душа в душу. И если было что не так, если виноват я, то он и решал и судил. Вот так. Никого больше меж нами не было и не надо. Прощай, Федор Семеныч, прощай, друг, и прости меня.

Он с трудом опустился на колени, коснулся губами белого лба, встал и, ни на кого не глядя, пошел прямо на

толпу. Люди раздались, пропуская его, и опять сомкнулись в одно целое. Пронин махнул рукой, оркестр заиграл марш. Заплакали, заголосили бабы, затолкались, пробираясь к гробу, а потом, перекрывая плач, резко и деловито застучал молоток. Еленка закрыла лицо руками, шагнула прочь от этого страшного последнего стука, уткнулась лбом в чей-то жесткий пиджак и замерла. Тяжелая рука осторожно обняла ее плечи и держала так, словно защищая, загоразивая от всех бед и напастей. Она приподняла голову: это был Иван.

На обратном пути шли быстро, без музыки и гудков. Оркестранты толпились на корме, курили, переговаривались. Два раза там вспыхнул было смех, но Иван прошел, устыдил: больше не смеялись.

Паша бродила по катеру, тихо приглашала помянуть Федора. Сергей отказался, но Еленку отпустил: сообразил, что вышло бы совсем неудобно.

В доме уже был накрыт стол: Лида оставалась за хозяйку. Первой, как положено, помянули Федора, выпили в торжественном молчании, а потом разошлись, заговорили. Еленка хотела было уйти, но в дверях столкнулась с Иваном.

— Ты куда это?

— На катер, Иван Трофимыч.

— Успеешь еще.

Он сразу прошел к столу: нес из погреба заливное. Еленка постояла, подумала и вернулась.

Он не глядел на нее, разговаривал коротко, но уйти она уже не могла: хотелось объяснить, как больно за стариков, за Федора, как перепугалась она вчера, когда пришел Михалыч. Ей вдруг показалось, что после этого объяснения все станет на свои места и жизнь опять потечет мирно, привычно и спокойно.

Но поговорить так и не успела, потому что в комнату вошел Сергей. Тихо поздоровался, потоптался у порога, окликнул:

— Еленка!

— К столу прошу, Сергей Палыч.— Паша уже тянула его за рукав.— К столу...

— Нет, нет, что вы, — отговаривался он.— Я ведь за Еленкой только: баржи со скотом на утро нарядили...

— Нет уж, уважьте, Сергей Палыч. В память мужа моего, Федора Семеновича...

— Ну разве что за добрую память.— Сергей нехотя прошел, взял стакан, сказал громко: — Земля чтоб пухом ему.

Выпил, хотел уйти, но тут гости вернулись к столу,

оттиснули в угол. С ним никто не заговаривал, и поначалу Сергей растерялся, выпил еще, а потом вылезать было уже неудобно. Слушал, что говорят, помалкивал, ел.

— Как движок после ремонта? Тянет?

Иван спросил вдруг, походя, вроде из вежливости, чтобы не молчал гость за общим столом. Сергей вздрогнул, поспешно проглотил кусок.

— Тянет. Нормально, в общем. Ну, в пятом цилиндре выработка большая, а так ничего. Конечно, масло жрет по-прежнему, даже больше. Но я на это специальные рапортички пишу и у главного механика заверяю. Чтоб потом собак не вешали...

Он замолчал, поняв, что оправдывается, как нашкодивший мальчишка. Заметил, что шум за столом утих, что все слушают сейчас только его. Слушают недобро и серьезно. Нахмурился, потянулся за бутылкой, но Вася перехватил эту бутылку и налил всем, а ему плеснул, что осталось.

— Да уж про рапортички мы слышаны,— усмехнулся бригадир плотовщиков.— Хорошо слышаны, понимаешь ли.

Два этих незначительных события — подчеркнутое невнимание Василия и насмешливое презрение плотовщика — сразу успокоили Сергея. Место виноватого, уничительного состояния заняла привычная агрессивная злоба. Сергей с облегчением закурил, не притрагиваясь больше к стакану.

— Работать надо,— резко сказал он.— Не вкалывать по старинке, как привыкли, а организовывать ее. Планировать. Газеты-то читаете или только селедку в них заворачиваете? НОТ, слышали? Научная организация труда. И здесь надо беспощадно. Без всяких там сватьев, братьев и добрых знакомых. Не умеешь, устарел, недопонимаешь — значит, отойди и не мешай.

— Работать, стало быть, не умеем? Не умеем, стало быть? — спросил Михалыч.

— Он нас учить приехал,— усмехнулся Вася.— По собственному желанию из города Саратова.

Иван молчал. Слушал спокойно, покуривал, не глядя на Сергея. А Сергей очень хотел, чтобы он заговорил. Чтобы высказался, заспорил, чтобы выложил обиды. Вот тогда бы он прижал его доводами, уничтожил, высмеял, заставил бы замолчать, но Иван только слушал.

И Еленка слушала. Сидела напротив, ловя каждое слово, пытаясь понять, разобраться. Сергей все время видел ее, чувствовал ее напряжение и поэтому тянул, всеми силами тянул Ивана на спор.

— Учиться никому не вредно,— еще резче продолжал



он.— Вы тут добренькие очень: свояк свояка видит издалека. А работа этого не любит. Работа злость любит.

Он повторялся, талдычил одно и то же, понимал это, злился, но новые аргументы упорно не лезли в голову. И замолчать уже было нельзя, потому что чересчур уж невозмутимым, чересчур спокойным и уверенным был Иван.

— Вы что, не видите, какой бой идет? По всей стране — сражение. За новое отношение к труду. Деловое отношение.— Он очень обрадовался, что нашел наконец нужное слово.— Деловое! И деловые люди сегодня все должны определять. А деловому человеку нежности всякие ни к чему. И пусть поначалу жестоко, пусть слабенькие там всякие, пусть страдают...

— А зачем? — негромко спросил Иван.

— Зачем? А затем, что вы как кандалы на ногах у нас. Висите, путаете, темпы снижаете...

— Чего — темпы? — все так же негромко, спокойно попытывался Иван.

— Чего? Построения коммунизма, вот чего!..

— Так ведь коммунизм — это не павильон на выставке,— сказал Иван.

От неожиданности Сергей не нашелся что сказать, да так и остался с открытым ртом.

— Правильно! — радостно крикнул Вася.— Точно вы ему врезали, Иван Трофимыч!

— Чтобы радостно всем,— зачастил Михалыч.— Чтоб справедливость, чтоб уважение было!

— И чтобы без таких, как ты! — вдруг с ненавистью выкрикнул Вася.— На порог таких не пустим!

— Да, парень, опять ты не в ту сторону тельняшку рванул,— с усмешкой сказал плотовщик.— Играешь по-крупному, к банку, понимаешь ли, рвешься, а сам как был, так и остался: весь мокрый и рупь в руке.

За столом дружно рассмеялись. Даже сидевший поодаль Степаныч пронзительно захихикал:

— Рупь в руке! Точно про него! Ну, точно! Он ведь, это, ко мне бегал, мужики, да! Просил, значит, чтоб я не жаловался. Рупь в руке!..

Отсмеялись. Иван сказал тихо:

— Ты прости нас, Паша. Забылись.

— Ничего. Он веселье любил...

Сергей, путаясь и злясь, пытался что-то сказать — его уже не слушали. Плотовщик встал, заглушил басом:

— Одно могу сказать тебе, парень: ступай-ка ты к Николай Николаевичу, пока, понимаешь ли, не поздно. И просись отсюда... по собственному желанию.

И стал прощаться с хозяйкой. Сергей крикнул Еленке: — Пошли!

Еленка молча затрясла головой, отвернулась. Сергей растерянно топтался у дверей.

— Ну, что ты? Ну, кому говорю?..

— А она — не хочет,— сказала Лида, загородив Еленку.— Не жена еще, не командуй.

— А ты на нее рапортчику напиши! — крикнул Вася.

Сергей вышел, остервенело хлопнув дверью.

— Ну вот и хорошо,— сказала Лида.— Может, чайку кому? Налить, Еленка?

Еленка вдруг вскочила, в упор, отчаянно глядя на Ивана. Губы ее прыгали, и слова не получались, и она, оттолкнув Лиду, выбежала из комнаты.

«Семнадцатый» медленно тащился по реке, волоча огромную баржу, набитую предназначенным на убой скотом. Испуганные животные ревели, толкались, наваливались на трещавшие перегородки. Лохматый мужик, матерно ругаясь, щелкал бичом.

— Ползем,— злился Сергей.— Ну, как на вчерашних похоронах, ей-богу...

Утром он сбегал в партком, потолковал с Пахомовым. Вернулся, сияя:

— Нас в Юрьевец посылают. За корреспондентом этим, из «Водника».

А баржа еле ползла. «Семнадцатый» выбивался из сил, но скорость не увеличивалась. И Сергей очень боялся, что не успеет и в Юрьевец пошлют другого.

— Ой, ползем!..

Еленка не слышала его. Из головы не выходил вчерашний день, деловитый стук молотка, осунувшееся лицо Ивана, разговор за столом и смех — презрительный, уничтожающий, победный. Еленка делала все, что должна была делать, но делала словно во сне, не слыша и не замечая ничего вокруг.

Приемный пункт «Заготскота» был почти напротив деревни, где вчера справляли поминки. Берег здесь круто уходил вверх, под ним притулилась дощатая пристань. Сергей долго подводил к ней баржу, стараясь как можно мягче коснуться ветхого сооружения. Лохматый шкипер и пожилая женщина-матрос канителились с чалкой, баржу занесло, потом с ходу сунуло в устои. Пристань закрипела, Сергей заорал:

— Эй, на барже! Гони скорее, некогда мне!

— А ты подсоби! — крикнул шкипер. — Вдвоем зачи-  
емся: косогорина-то какая.

Сергей подтянулся к барже, заглушил мотор.

— Идем, Еленка. Помочь надо, а то до обеда простои-  
м.

Коровы с трудом преодолевали крутой подъем. Падали на колени, съезжали, останавливались, но свист и крики погонщиков, пришедших из пункта, снова гнали их вперед.

— Быстрее! — кричал Сергей. — Останавливаться не давай.

— Пегую гони, пегую!..

— Но, зараза! Пошла!

В реве, мычанье, топоте гасли голоса. Пыль тяжело клубилась над медленно бредущими животными.

— Гони! Гони, не давай стоять!..

Молодняк, теснясь и толкаясь, шел сзади. Еленка и пожилая смывали с палубы грязь, лохматый ушел в контору. Сергей покричал, покомандовал и вернулся на баржу.

— Живей, бабоньки, время не ждет!..

Схватил ведро, черпал из-за борта, как заведенный. Еленка драила палубу шваброй.

Скот втягивался во двор приемного пункта. Остатки молодняка поднимались к вершине.

— Живей, бабоньки! Опаздываем.

Рыжая телочка с белой отметинкой на лбу, шедшая в конце стада, вдруг остановилась, счастливо избежала кнута погонщика и, повернувшись, галопом понеслась вниз, к барже.

— Держи!.. — крикнул погонщик. — Телку держи!..

Телка с ходу сшибла уже заложенный брус, вбежала на палубу. Пожилая бросилась наперерез, но телка миновала ее и доверчиво ткнулась теплыми губами в Еленку.

— Звездочка!.. — Еленка опустила швабру.

— Гони ее!.. — кричал погонщик. — Гони, ворота за-  
пираем!..

А телочка ласково лизала Еленкины руки, тыкалась в них, тяжело дыша.

— Гони!.. — крикнул Сергей. — Что ты там?

— Ох, Сережа... — вздохнула Еленка. — Это же их телка. Их, понимаешь?

— А что времени нет — это ты понимаешь?.. — гаркнул Сергей и, схватив телку, потащил к проему загородки. — Пошла!.. Ну?.. Пошла!..

Телка упиралась.

— Врешь!.. Пойдешь, сволочь!..

Он остервенело начал бить ее.

— Не смей!.. — вдруг дико закричала Еленка. — Не смей, зверь, не смей!..

Бросилась вперед, с силой толкнув Сергея в грудь. Сергей полетел к борту. Еленка кинулась следом, крича, била в лицо, рвала рубашку. От растерянности Сергей даже не загораживался.

— Ты что, Еленка?.. Ты что?..

Пожилая что-то говорила, пыталась схватить. Еленка не видела ее, не слышала, что она говорит: только била, била и била в ненавистное, сытое лицо. А когда наконец ее схватили за руки, вырвалась и, как стояла, бросилась через борт в воду.

Громко, навзрыд рыдая, она плыла на далекий противоположный берег. Вода вскоре успокоила ее, она перестала плавать, но по-прежнему, не оглядываясь, упорно плыла вперед...

— Явилась?

Было два часа ночи, но Сергей так и не ложился. Табачный дым слоями стоял в кубрике, консервная банка, заменявшая пепельницу, была полна окурков.

— Я уж думал в милицию...

Он увидел ее глаза и замолчал. Спрятал улыбочку, наигранную веселость, сказал заботливо:

— Ложись, девочка. Часа три еще поспать успеешь. Ложись.

Еленка молча прошла в свой угол. Сергей начал стелить постель, но тишина становилась уже невыносимой, и он сказал весело:

— Дали мне сегодня прикурить, правда?

Он вдруг замолчал: раскрыв на диване чемодан, Еленка спокойно, неторопливо укладывала вещи. Расправляла каждую складочку, оглаживала швы.

— Ты куда?

Она окинула его долгим взглядом, снова склонилась к чемодану. Он шагнул, хотел захлопнуть крышку, но она не позволила.

— Да ты что? — тихо спросил он.

Еленка молча продолжала укладываться. Заглядывала в шкафчики, вынимала вещи, уложила кружку.

— Ты что, вправду? Да отвечай же, когда спрашивают!..

— Не кричи.

— Да ты... ты... Дура ты! — Он бросился к ней, обнял. — Ишь чего удумала. Брось ты это, брось. Тяжело? Ну, уедем отсюда. Завтра уедем, слышишь? Подам заявление. Не могу без тебя, честно говорю.

Он целовал ее, а она стояла как каменная, опустив руки.

— Вот и распишемся завтра,— бормотал он.— Распишемся и сразу уедем...

Она спокойно отстранила его, и он сразу замолчал. Закурил, отвернулся. Еленка неторопливо закрыла чемодан, долгим, словно вдруг повзрослевшим взглядом окинула до последней царапинки знакомый кубрик и, взяв вещи, пошла к трапу. Сергей бросился было наперерез, но она так глянула, что он попятился.

Темная, по-осеннему неприветливая ночь стояла над рекой, когда Еленка вышла на палубу. Только светились фонари на плавучих кранах да вверх по реке уходила цепочка бакенов. Еленка вздохнула и, плотно прикрыв дверь рубки, пошла к сходням.

С грохотом распахнув железную дверь, Сергей выбежал на палубу. Огляделся, крикнул:

— Еленка!..

Всклипнули сходни, да плеснула вода за крутым бортом.



**А З О Р Д**  
**здесь**  
**Тихие**



## А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...

### 1

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах осталось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда хмурый старшина Васков писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов прилачился переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа да фамилии.

— Чепушиной занимаетесь! — гремел прибывший по последним рапортам майор. — Писанину развели. Не комендант, а писатель какой-то!

— Шлите непьющих, — упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил



свое, как пономарь.— Непьющих и это... Чтоб, значит, насчет женского пола.

— Евнухов, что ли?

— Начальству виднее,— осторожно говорил старшина.

— Ладно, Васков,— распаяясь от собственной строгости, сказал майор.— Будут тебе непьющие. И насчет женщин будет как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

— Так точно,— деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искусства зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за две недели не прибыло ни одного человека.

— Вопрос сложный,— пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне.— Два отделения — это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь...

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

— С командиром прибыли?

— Не похоже, Федот Евграфыч.

— Слава богу! — Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению.— Власть делить — это хуже нету.

— Погодите радоваться,— загадочно улыбнулась хозяйка.

— Радоваться после войны будем,— резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел на улицу.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

— Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта,— тусклым голосом отрапортовала старшая.— Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

— Та-ак,— совсем не по-уставному протянул старшина.— Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам стано-

виться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

— Из расположения без моего слова ни ногой,— объявил он, когда все было готово.

— Даже за ягодами? — робко спросила плотненькая: Васков давно уже приметил ее, как самую толковую помощницу.

— Ягод еще нет,— сказал он.— Клюква разве что.

— А щавель можно собирать? — поинтересовалась Кирьянова.— Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отощаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

— Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались деваками шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, будто попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, теперь не могло быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Но пуще всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

— Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч,— сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными.— Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответственно.

Федоту Евграфовичу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все эти слова есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то тряпочки. Подобные украшения старшина счел неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

— Демаскирует.

— А есть приказ,— не задумываясь, сказала она.

— Какой приказ?

— Соответствующий. В нем сказано, что военнотружущим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Командант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только связись — хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комарья народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре командант начал на каждом углу хрипеть и кхекать, словно и вправду был стариком,— вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще и восьмикратно поноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

— Вдовая она,— поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна.— Так что полностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.

Промолчал старшина: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно,— дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают — это все так. А внутри — беспорядок: «Люда, Вера, Катенька — в караул! Катя — разводящая».

Разве ж это команда? Развод караулов положено по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это порушить надо, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у той один ответ:

— А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

— Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полина Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

— Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.

— Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю — в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

— Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди себя соответственно.

— Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобратсья надо. Совершенно особо.

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали. Это ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже — медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они — не гляди, что рядовые, — наука. «Упреждение, квадрант, угол сноса...» Классов семь, а то и все девять: по разговору видно. От девяти четыре отнять — пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого...

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж двадцать одно выпадало, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех

стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь да плясать да винцо попивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне — за догадливость.

Вот за этот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему тот пакгауз блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал, печати и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...

Вздыхнул старшина.

## 2

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер: встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила его так, словно вечер тот только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким героем не был, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвовала ни в приветствиях, ни в самодеятельности и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей молже тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники

организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе беспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита несколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать брак, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него — к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять из всех видов оружия, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом, Аликом), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойной и рассудительной, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до подхода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар,— на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш, советский, огород...» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запикивали в теплушки, но настырная

жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу — направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «А»...

Теперь Рита могла считать себя довольной: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый дальний уголок памяти: у Риты была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий азростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съехался: корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

— Стреляй, Рита! Стреляй! — кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестья с падающей точки. Но когда немец перед самой землей рванул кольцо, выбросив парашют, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрезала черную фигурку, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

— Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исполнила с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее оказались сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто — зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости; болтали взахлеб о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

— Спать! — коротко бросала она, выслушав очередное признание. — Еще услышу о глупостях — настоишься на часах вдоволь.

— Зря, Ритуха, — лениво пеняла Кирьянова. — Пусть себе болтают: занято.

— Пусть влюбляются — слова не скажу. А так, по углам лизаться, — этого я не понимаю.

— Пример покажи, — усмехалась Кирьянова.

И Рита сразу замолчала. Она даже представить не могла, что такое когда-нибудь может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина — тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчёту досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили подносчицу — курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:

— Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

— У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, — объект, так сказать пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

— Один из штабных командиров — семейный, между прочим, — завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

— Давайте, — сказала Рита.

Наутро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые, круглые, как блюдца.

— Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день баннным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую как на чудо глядели:

— Женька, ты русалка!

— Женька, у тебя кожа прозрачная!

— Женька, с тебя только скульптуру лепить!

— Женька, ты же без лифчика ходить можешь!

— Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате...



— Несчастливая баба, — вздохнула Кирьянова. — Такую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче.

— Красивая, — осторожно поправила Рита. — Красивые редко счастливыми бывают.

— На себя намекаешь? — улыбнулась Кирьянова.

И Рита замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти — пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

— Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита — хоть и знала про полковника досконально — спросила:

— И у тебя тоже?

— А я одна теперь. Маму, сестру, братишку — всех из пулемета уложили.

— Обстрел был?

— Расстрел. Семьи комсостава захватили и — под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала: специально добивали...

— Послушай, Женя, а как же полковник? — шепотом спросила Рита. — Как же ты могла, Женя?

— А вот могла! — Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. — Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и — странное дело! — Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже песни пела с девочками, но сама собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то в перерыве под девичьи «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет — слушаешься.

— На сцену бы тебе, Женька! — вздыхала Кирьянова. — Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галя Четвертак. Худющая, остроногая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимна-

стерку подогнала — расцвела Галка Четвертак. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем: Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штывы. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, расспросила и сказала:

— Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующую утро вдруг переменялась: стала за отъезд агитировать. Почему, отчего — никто не понимал, но примолкли: значит, так надо, — Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на 171-й разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе, остановила первый же грузовик.

— Далеко собралась, красавица? — спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

— До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

— Подремли, деваха, часок.

А утром была на месте.

— Лида, Рая, — в наряд!

Никто не видел, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась только:

— Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, отгает.

И Васкову — ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита — меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшеничный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

— Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется — и сторишь.

— Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

— Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела ответить, одернуть — Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону.

— Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит — света невзвидишь. Пример был: двух подружек из второго отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа — с обеда до ужина — мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез: не то что за реку — со двора выходить зареклись.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные — от зари до зари — сумерки дышали густым настоем наливающихся трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина и возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И оттого, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распоряджаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята к исполнению.

### 3

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, цеплялся за

одежду, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены сарая, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик через ольшаник. Рита миновала первый поворот и — замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути.

Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тучком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом через кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала: никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в кусты, прислушалась.

Тишина.

Задыхаясь, ринулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

— Товарищ комендант! Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубаше с завязками. Хлопал сонными глазами.

— Что?

— Немцы в лесу!

— Так...— Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе разыгрывают.— Откуда известно?

— Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные.

— Погоди тут.

Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул

гимнастерку — второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубашке сидела на кровати, разинув рот.

— Что ты, Федот Евграфыч?

— Ничего. Вас не касается.

Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красивые, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.

— Команду — в ружье: боевая тревога! Кирьянову ко мне. Бегом!

Бросились в разные стороны: деваха — к пожарному сараю, а он — в будку железнодорожную. К телефону. Только бы связь была!..

— «Сосна!» «Сосна»!.. Ах ты, мать честная!.. Либо спят, либо опять поломка... «Сосна!» «Сосна»!..

— «Сосна» слушает.

— Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепе!

— Даю, не ори. Чепе у него...

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

— Ты, Васков? Что там у вас?

— Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...

— Кем обнаружены?

— Младшим сержантом Осяниной.

Кирьянова вошла. Без пилотки, между прочим. И кивнула, как на вечерке.

— Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать.

— Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим — тоже по головке не поглядят. Как они выглядят, немцы твои?

— Говорит, в маскнакидках, с автоматами. Разведка, мыслю я.

— Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.

— Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

— Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.

— Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там?

— Тут, товарищ...

— Дай ей трубку.

Кириянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да пять раз поддакнула. Положила трубку, дала отбой.

— Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.

— Ты мне ту давай, которая видела.

— Осянина пойдет старшей.

— Ну, так. Стройте людей.

— Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Войки! Чеси с такими лес, лови немцев с автоматами. А у них тут, между прочим, одни родимые образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года...

— Вольно...

— Женя, Галя, Лиза...

Сморщился старшина:

— Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли.

— Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

— Да, вот еще. Может, кто немецкий знает?

— Я знаю.

Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

— Что — я? Что такое — я? Докладывать надо!

— Боец Гурвич.

— Ох-хо-хо! Как по-ихнему — руки вверх?

— Хенде хох.

— Точно, — махнул рукой старшина. — Ну, давай, Гурвич.

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм, подзаправиться... Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все — сорок минут. Р-разойдись!.. Кириянова и Осянина — со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то смоталась, но постель так и не прибрала, две подушки рядышком, полюбовно... Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

— Значит, на этой дороге встретила?

— Вот тут.— Палец Осяниной слегка колупнул карту.— А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

— К шоссе?.. А чего это ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

— Просто по ночным делам,— не глядя, пояснила Кирьянова.

— Ночным!..— Васков разозлился: вот ведь врут! — Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

— Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана,— опять сказала Кирьянова.

— Нету здесь женщин! — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу.— Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и куда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.

— То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля.

— К шоссе, говоришь, пошли?

— По направлению...

— Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло, не к шоссе... Да вы хлебайте, хлебайте.

— Там кусты и туман,— сказала Осянина.— Мне казалось...

— Креститься надо, коли что кажется,— проворчал комендант.— Тючки, говоришь, у них?

— Да, и, вероятно, тяжелые: в правых руках несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул сигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.

— Мыслью, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

— До Кировской дороги неблизко,— сказала Кирьянова недоверчиво.

— Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

— Если так,— заволновалась Осянина,— надо же охране на железную дорогу сообщить.

— Кирьянова сообщит,— сказал Васков.— Мой доклад — в двенадцать тридцать ежедневно, позывной «Семнадцать». Ты ешь, ешь, Осянина, топать-то весь день придется.

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив особенно.

— Разуться всем!

Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как километра через три вояки эти ноги свои собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их младший сержант Осянина правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?

Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще столько же — винтовки чистить заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

— Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затайтесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть — одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать, не курить и не разговаривать. Если дорога попадетсЯ, как надо действовать?

— Знаем,— сказала рыжая.— Одна — справа, другая — слева.

— Скрытно,— уточнил старшина.— Порядок движения такой будет: впереди — головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах — основное ядро: я...— он оглядел свой отряд,— с переводчицей. В ста метрах за нами — последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры!..

— Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

— Я умею,— робко сказала Гурвич.— По-ослиному. И-а! И-а!

— Ослы здесь не водятся,— с неудовольствием заметил старшина.— Ладно, давайте крикать учиться. Как утки.

Показал, а они рассмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

— Так утица утят собирает,— пояснил он.— Ну-ка, попробуйте.



Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах — не поймешь, где шире: Васков еще в первый день на нее внимание обратил. И голос лихо подделывает, и вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней. Не то что пигалицы городские — Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

— Идем на Воль-озеро, глядите сюда.— Столпились у карты, дышали в затылок, в уши: смешно.— Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам — верст двадцать, к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам, обходным порядком да таясь, не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

— Понятно...

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять — вот это война...

— Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы — вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то — что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться! Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза — на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил.

— Послезавтра вернусь. Либо — крайний срок — в среду.

Заплакала. Эх, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта — как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел за околицу, оглядел свою «гвардию»: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Вздохнул:

— Готовы?

— Готовы,— сказала Рита.

— Заместителем на все время операции назначаю млад-

шего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два крика — внимание, вижу противника. Три крика — все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два крика, три крика. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

— Головной дозор, шагом марш!

Двинулись. Впереди — Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скаткой да сидором с харчами гнулаь, как тростинка. Последними шли Комелькова и Галя Четвертак.

#### 4

За бросок к Вось-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам аккуратно накануне финской. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряде, и миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно получалось дольше. Раньше, чем к вечеру, они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как на медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаточки, и посему сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило пока что так, как он и замыслил.

— Хорошо немчура побегает,— сказал он своей напарнице.— Здорово очень даже побегает — верст на сорок.

Переводчица на это ничего не ответила, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жа-

лостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

— Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

— Сиротствую?..— Она улыбнулась.— Пожалуй, знаете, сиротствую.

— Сама, что ль, не уверена?

— А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

— Резон.

— В Минске мои родители.— Она подергала тощим плечом, поправляя винтовочный ремень.— Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...

— Известия имеешь?

— Ну, что вы...

— Да...— Федот Евграфыч покосился: прикинул, не обидит ли.— Родители еврейской нации?

— Естественно.

— Естественно...— Комендант сердито поспеел.— Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

— Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать восемь накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоче. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать.

— А ну, боец Гурвич, крикни три раза!

— Зачем это?

— Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?

Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.

— Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась — и винтовка в руке:

— Что случилось?

— Коли б что случилось, так вас бы уж архангелы на том свете встречали,— выговорил ей комендант.— Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась — аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

— Устали?

— Еще чего!

Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.

— Вот и хорошо,— миролюбиво сказал Федот Евграфыч.— Что в пути заметили? По порядку: младший сержант Осянина.

— Вроде ничего...— Рита замялась.— Ветка на повороте сломана была.

— Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова?

— Ничего не заметила, все в порядке.

— С кустов роса сбита,— торопливо перебила вдруг Лиза Бричкина.— Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

— Вот глаз! — довольно отметил старшина.— Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге несколько следов. От немецких резиновых ботинок, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться.

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Потому Васков и нахмурился.

— Не реготать! И не разбегаться. Все!

Показал, куда вещмешки сложить, куда — скатки, куда винтовки поставить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых — со звоном! — слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.

— Сейчас внимательнее надо быть,— сказал комендант.— Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но — след в след. Тут слева-справа трясины — маму позвать не успеете. Каждый слегу возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгну пусть попробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурки.

— Ну, у кого силы много?

— А чего? — неуверенно спросила Лиза Бричкина.

— Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

— Зачем? — пискнула Гурвич с возмущением.

— А затем, что не спрашивают. Комелькова!

— Я.

— Взять мешок у красноармейца Четвертак.

— Давай, Четвертак, заодно и винтовочку...

— Разговорчики! Делать что велят: личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щebetать. А щebet военному человеку — штык в печенку. Это уж так точно...

— Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь...

— Можно вопрос?

Господи, твоя воля! Утерпеть не могут.

— Что вам, боец Комелькова?

— Что такое — слегой? Слегка, что ли?

Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глаза, как омуты.

— Что у вас в руках?

— Дубина какая-то.

— Вот она и есть слега. Ясно говорю?

— Теперь прояснилось. Даль.

— Какая еще даль?

— Словарь, товарищ старшина. Вроде разговорника.

— Евгения, перестань! — крикнула Осянина.

— Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я — головной. За мной — Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина — замыкающая. Вопросы?

— Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно: при ее росте и ведро — бочажок.

— Местами будет по... Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колено — только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.

Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, приноравливаясь к маленькой Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с

них глаз, лоя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.

— Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант крепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

— Не стоять! Не стоять, засосет!..

— Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают слегой в трясины: сапог, что ли, нащупывают?

— Нашли?

— Нет еще!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он вовремя заметил. Заорал так, что жилы на лбу вздулись:

— Куда?! Стоять!

— Я помочь...

— Стоять! Нет назад пути!

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине — смерть.

— Спокойно, спокойно только. До островка пустяк остался, там передохнем. Нашли сапог?

— Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина! И холодно!

— Идти надо! Тут зыбко, долго не простоем.

— А сапог как же?

— Да разве найдешь его теперь? Вперед! Вперед, за мной!.. — Повернулся, пошел не оглядываясь. — След в след! Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.

Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгну эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но обошлось.

У острова, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

— Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задышающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила: вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

— Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали товарищи бойцы. Только Лиза поддакнула:

— Умаялись...

— Ну, отдохайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы доберемся — и шабаш.

— Нам бы помыться,— сказала Рита.

— На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечное дело, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, погрела голый палец ладошками, спросила несмело:

— А мне как же без сапога?

— А мы тебе чуню сообразим,— улыбнулся Федот Евграфыч.— Только уж там, за болотом, не здесь. Потерпишь?

— Потерплю.

— Растрепа ты, Галка,— сердито сказала Комелькова.— Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь.

— Я загибалась, а он все равно слез.

— Холодно, девочки.

— Я мокрая до самых-самых...— Женька хитро посмотрела на старшину.— Вам по пояс будет.

— Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду...

Смеются. Значит, еще ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода — лед...

Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:

— А ну, разбирай следи, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться там будем, на том берегу.

И шарахнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был не приведи господь. Жижа — что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распахнешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет.

— Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

— Пиявки тут есть? — задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному, и ей было маленько полегче.

— Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

— Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его...— Подумал немного и добавил: — Старики бают, что

аккурат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его «гвардия». Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся, уже прямо-таки в затылок шли. К березе почти разом выбрались; дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более что земля все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели все разом, обрадовались и слегги побросали. Однако Федот Евграфыч слегги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить.

— Может, сгодятся кому.

А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел.

— Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок — сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.

— Ура!.. — заорала звонкая Комелькова. — Пляж, девочки!

Девушки закричали, завопили что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещмешки...

— Отставить! — гаркнул комендант. — Смирно!..

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.

— Песок!.. — Старшина сердито потыкал пальцем. — Песок это, понятно? А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки — все в одно место. На мытье и приборку даю полчаса. Я за устами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

— Есть, товарищ старшина.

— Ну, все. Через тридцать минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и — чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты рядом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье простирнул, отжал, сколь мог, и на кусты раскинул, чтоб хоть проветрило. Потом намылился, повздыхал, потопал по берегу, волю в себе скапливая, да и сиганул с



обрыва в омут. Вынырнул — вздохнуть не мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоился «гвардию» свою напугать: покрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл мыло — и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал.

А за кустами гомонили, как на побеседушках: все враз и каждая свое. Только смеялись дружно и много, да Четвертак радостно выкрикивала:

— Ой, Женечка! Ай, Женечка!

— Только вперед!.. — заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула вода.

«Ишь ты, купаются...» — уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего невозможно было разобрать, а потом Осянина резко крикнула:

— Евгения, на берег! Сейчас же!

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катушкой» по кремню, прикурил от затлевающего фитиля и начал неспешно, с наслаждением курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.

За полчаса, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

— Готовы, товарищи бойцы?

— Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтобы шугануть их, как Осянина опять прокричала:

— Идите! Можно!

Это старшему-то по званию «можно» кричат подчиненные! Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим отметил, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, румяном и улыбчивом.

— Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

— Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

— Молодец, Комелькова. Не замерзла?

— Так ведь все равно погреть некому.

— Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да и двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудил: запасной портянкой обмотал сверху два шерстяных носка (хозяйки его рукоделие и подарок) да из свежей бересты кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом.

— Ладно ли?

— Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

— Ну, в путь, товарищи бойцы, нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: требовалось, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались — раскраснелись только.

— А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдышаться — и снова:

— За мной! Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Воль-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все: и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры — все ушли на фронт.

— Тихо-то как,— шепотом сказала Евгения.— Как во сне.

— От левой косы Синюхина гряда начинается,— пояснил Федот Евграфыч.— С другой стороны эту гряду другое озеро поджигает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

— Безмолвия здесь хватает,— вздохнула Гурвич.

— Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы да камня с избу. Вот в них-то мы и должны позицию выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

## 5

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика — по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было,

неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался — и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, потом армия: тоже не детский сад. В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина старшина и есть: он всегда для бойцов старый. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было — в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был участником гражданской войны и лично пил чай с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысль насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходила. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное. Вроде как смущающее даже.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него так вот ловко все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и стал ходить степенно и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное — отличную позицию он выискал. Глубокую, с укывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам пришлось бы часа три гряди огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки и примера подчиненным сделал, потому что с двумя-то десантниками наверняка мог управиться и здесь, на основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, если не больше, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась, он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтобы костер был без дыма.

— Замечу дым, вылью все варево в тот же момент. Ясно говорю?

— Ясно,— упавшим голосом сказала Лиза.

— Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера он лично наломал сушняку, лично развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма видно не было, только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, такого глаза быть не могло.

Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрелов, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

— Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

— Я наворачиваю,— улынулась она.

— Вижу! Худющая, как весенний грач.

— У меня конституция такая.

— Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а — в теле. Есть на что поглядеть...

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчаса, и старшина приказал построиться.

— Слушай боевой приказ! — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что правильно поступает на счет этого приказа. — Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вось-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек приказано держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — Вось-озеро, сосед справа — Легонтово озеро... — Старшина помолчал, откашлялся, расстроено по-

думал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: — Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

— А почему это меня в запасные? — обиженно спросила Четвертак.

— Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

— Ты, Галка, наш резерв, — улыбнулась Осянина.

— Вопросов нет, все ясенько, — бодро сказала Комелькова.

— А ясенько, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры и углы обзора и еще раз предупредил, чтоб лежали как мыши.

— Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

— По-немецки? — съехидничала Гурвич.

— По-русски! — резко сказал старшина. — А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?

Все промолчали.

— Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому до крайности: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

— С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь!» не скамандую. А то не погляжу, что женский род... — Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой и добавил: — Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил бойцов парно, чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался. Биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и

слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом маманю попросить. И маманю увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя его над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то за ногу его тронул, и он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

— Немцы?

— Где?..— испуганно дернулась она.

— Фу, леший... Показалось.

Рита посмотрела на него, улыбнулась:

— Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

— Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз: под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила — спины не видно. Стала гребенку вести — и руки не хватает, перехватывать приходится. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

— Крашенные, поди? — спросил старшина и испугался, что съязвит она сейчас, и спросится вот это вот: простое.

— Свои. Растрепанная я?

— Это ничего.

— Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

— Ладно, ладно. Оправляйся.

Во леший, опять это слово выскочило! Потому ведь, что из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухотоманный...

Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.

— Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.

— Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

— А где ваша жена?

— Известно где — дома.

— А дети есть?

— Дети?..— вздохнул Федот Евграфыч.— Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

— Умер?

Отбросила назад волосы, глянула — прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то и не удержался Васков, вздохнул:

— Да, не уберегла маманя...

Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотрю.

— Как там у тебя, Осянина?

— Никого, товарищ старшина.

— Продолжать наблюдение!

И пошел от бойца к бойцу.

Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти:

Рожденные в года глухие  
Пути не помнят своего.  
Мы — дети страшных лет России —  
Забуть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!  
Безумья ль в вас, надежды ль весть?  
От дней войны, от дней свободы —  
Кровавый отсвет в лицах есть...

— Кому читаешь-то? — спросил он, подойдя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.

— Кому, спрашиваю, читаешь?

— Никому. Себе.

— А чего ж в голос?

— Так ведь стихи.

— А-а...— Васков не понял. Взял книжку — тонюсенькая, что наставление по гранатомету, — полистал.— Глаза портишь.

— Светло, товарищ старшина.

— Да я вообще... И вот что: ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.

— Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

— Вот. А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила им ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:

— Откуда будешь, Бричкина?

— С Брянщины, товарищ старшина.

— В колхозе работала?

— Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

— То-то крякаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

— Ничего не заметила?

— Пока тихо.

— Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

— Понимаю.

— Вот-вот...

Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка-то своя была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

— «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож», — с ходу, казенным голосом отбарабанил комендант, кашлянул и пояснил: — Это припевка в наших краях такая.

— А у нас...

— После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

— Честное слово? — заулыбалась Лиза.

— Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

— Ну, смотрите, товарищ старшина! Обещались!

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряду на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запропастилась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на вещмешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.



— Ты чего скукожилась, товарищ боец?

— Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли...

— Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..

Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

— Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного — обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке наиважнейший его энзе лежал — фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку.

— Так примешь или водой разбавить?

— А что это?

— Микстура. Ну, спирт, ну?

Замахала руками, отодвинулась:

— Ой, что вы, что вы...

— Приказываю принять! — Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой.— Пей. И воды сразу.

— Нет, что вы...

— Пей без разговору!

— Ну, что вы в самом деле! У меня мама — медицинский работник...

— Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давясь, со слезою пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. отошла. Слезы ладонью размазала, улыбнулась:

— Голова у меня... побегала!..

— Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл:

— Отдыхай, товарищ боец.

— А вы как же без шинели-то?

— Я здоровый, не бойсь. Выздоровей только к завтраму.

Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый — все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

— Может, зря сидим?

— Может, и зря, — вздохнул старшина. — Однако не думаю. Ежели ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли вообще какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уж бед натворить уйму: стрельнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты, вместо того чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.

— Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу.

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром, что в одной гимнастерке...

— Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

— А может, спят они сейчас, Федот Евграфыч?

— Спят?..

— Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина грядя — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...

— Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь... А? Так мыслю?

— Так, товарищ старшина.

— А коли так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?

Рита улыбнулась. И опять посмотрела, как бабы на ребятню смотрят.

— Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

— Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита, как по батюшке?

— Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

— Закурим, товарищ Рита?

— Я не курю.

— Да, насчет того, что и они — тоже люди, это я как-то

недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

— Я не хочу спать.

— Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось?

— Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч,— улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передумать до зари и — заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул:

— Что?

— Тише! Слышишь?

Рита сбросила шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уже оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.

— Птицы кричат...

— Сороки! — Федот Евграфыч тихо засмеялся.— Сороки-белобоки шебаршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе — гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.

Старшина залег на свое место — впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал патрон в винтовку. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.

Сороки кружили над кустами. Громко трещали, перещелкивались.

Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли. Гурвич к нему подобралась.

— Доброе утро, товарищ старшина.

— Здорово. Как там Четвертак этот?

— Спит. Будить не стали.

— Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высывайся.

— Не высунусь,— пообещала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряде, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие

переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования — уцелеть, — минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

— Ну, идите же, идите, идите... — беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение. Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким кошачьим шагом они двинулись к озеру...

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку.

— Три... пять... восемь... десять... — шепотом считала Гурвич. — Двенадцать... четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина. Шестнадцать...

Замерли кусты. С далеким криком отлетали сороки.

Шестнадцать диверсантов, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

## 6

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел смысл собственного существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Вось-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

— Шестнадцать, товарищ старшина, — почти беззвучно повторила Гурвич.

— Вижу, — сказал он, не оборачиваясь. — Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную

позицию отводила. Скритно чтоб, скритно!.. Стой, куда ты? Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно, годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию же секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не «дегтярь» — автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей... Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Васков в то росистое июньское утро...

— Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, донельзя растопыренные глаза, подмигнул:

— Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их, поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала и неуверенно улыбнулась.

— Дорогу назад хорошо помнишь?

— Ага, товарищ старшина.

— Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

— Там, где вы хворост рубили?

— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

— Да знаю я, товарищ...

— Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо трясина. Ориентир — береза. От березы — прямо на две сосны, что на острове.

— Ага.

— Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пенёк, с которого я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.

— Ага.

— Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

— Ага.

— Винтовку, вещмешок, скатку — все оставь. Налегке дуй.

— Значит, мне сейчас идти?

— Слегу перед болотом не забудь.

— Ага. Побежала я.

— Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уже близко — можно разглядеть лица, — а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно поступил, послав именно Лизу Бричкину.

Удостоверившись, что диверсанты не заметили связного, старшина поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и напрямик побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не слышно было топота.

— Товарищ старшина!..

Бросились, как воробы на коноплю, даже Четвертак из-под шинели вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл, и брови покомандирски сдвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, будто в бригадном стане:

— Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядком перед ним устроились, молча следили, как он сигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак.

— Ну, как ты?

— Ничего. — Улыбка у нее не получилась: губы не слушались. — Я спала хорошо.

— Стало быть, шестнадцать их.— Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал.— Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не оставишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись. Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, сигарку свою разглядывая.

— Бричкину я в расположение послал,— сказал он по-года.— На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать автоматов.

— Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.

— Нельзя их тут пропустить, через гряды,— сказал Федот Евграфыч,— надо с пути сбить. Закружить надо, вокруг Легонтова озера направить, в обход. А как? Просто боем — не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют и — все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало — сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сторяча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил. После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка,— мечта, а не бритва, но все-таки в двух местах он порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из вещмешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеклось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались — это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил? Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место — вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы...

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задержатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне данном — ровно пятеро. А потом?.. А потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться.

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил — Осяниной, Комельковой и Гурвич. Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

— Ежели через час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь... А что — готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Достал из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли.

— Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснить взялись, и — сообразил комендант. Сообразил: часть — какая б ни была — границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы — в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, навряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь — и все: засекут, сообщат куда требуется. Потому никогда ведь неизвестно, сколько душ лес валят, где они, какая у них связь...

— Ну, девчата, орлы вы у меня!

Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумливая. За речушкой прямо от воды шел лес — непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб.



В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девиный план.

В самом центре, чтоб немцы в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. Но из-за кустов все же не слишком высовываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни — все, что армейскую форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку смотрелись, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костры палить. А вот левый фланг на себя и Комелькову взял: тут другого прикрытия не было. Тем более что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если б фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить бы успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, подрубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

— Идут, товарищ старшина!..

— По местам, — приказал Федот Евграфыч. — По местам, девоньки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите, позвончее да почаще орите.

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак (подтянулась к тому времени) все еще на том берегу копошились. Гурвич голой ногой воду щупала, а Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ее прикручивали. Старшина подошел поспешно:

— Погоди, перенесу.

— Ну, что вы, товарищ...

— Погоди, сказал. Вода — лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк:

пуда три, не боле). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи.

— Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней — ведь не чурбак нес все-таки, — а сказал совсем другое:

— По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала — холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрал. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась.

— Ну и водичка — бр-р!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча. Командант крикнул сердито:

— Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

— Не из устава команда, Федот Евграфыч...

Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:

— Давай, девки, нажимай веселей!..

Издали Осянина тотчас же отозвалась:

— Эге-гей!.. Иван Иванович, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить невозможно было. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой повалить успели, уже и солнце над лесом встало и речку высветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

— Может, ушли? — шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя...

Это он подумал так. А сказал коротко:

— Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и — вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

— Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу:

без ранцев, налегке. Выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прошупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры, на шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... и поймут, что обнаружены.

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут тогда по нему из всех автоматов, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать...

Он оглянулся: стоя сзади него на коленях, Евгения зло стягивала гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.

— Стой...— зашипел старшина.— Приказываю...

— Рая, Вера, идите купаться!..— звонко выкрикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А гибкая Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высокоим, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит — и переломится Женька, всплеснет руками и...

Молчали кусты.

— Девчата, айда купаться!..— звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде.— Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.

— Эге-гей, иду!..— заорал он и снова ударил по стволу.— Идем сейчас, погоди!.. Ого-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не валивал — и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал. Выглянул осторожно.

Женька уже на берегу стояла — боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-под леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставив солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

— Ты где тут?..

Хотел весело крикнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой.

— Из района звонили: сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Поорал для той стороны, а что Комелькова ответила — не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему — шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он сел рядом и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настезь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

— Уходи отсюда, Комелькова, — изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего уже не мог слышать. Увести ее, вывести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра все

это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

— Добром не хочешь — народу тебя покажу! — заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку.— А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился достаточно.

— Одевайся. И хватит с огнем играть. Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся — а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топтать.

— Ну, все теперь,— говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельем.— Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

— Прибежит,— сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос.— Она быстрая.

— Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело,— сказал комендант и достал заветную фляжку.— Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделявать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное — позади...

## 7

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас

же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перекривал — отодвигал.

— Помрет у нас мать-то,— строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибиралась в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее село за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и осязаемым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом — свидания с подружками, потом — редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом...

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить стороной веселые компании, а потом и вовсе перестала появляться в клубе.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

— Пожить у нас хочет,— сказал он дочери.— А только где же у нас? У нас мать помирает.

- Сеновал найдется, наверно?
- Холодно еще, — несмело сказала Лиза.
- Тулуп дадите?

Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.

Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал ее в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил.

— Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?

— Чистить надо, — подтвердил гость. — Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон.

— Так, — сказал отец. — Так, понимаем. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегают да пишшит?

— Волк, например...

— Волк?.. — взъерошился отец. — Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

— А потому, что у него зубы, — улыбнулся охотник.

— А он что, виноват, что волком уродился? Виноват? Не-ет, мил человек, это мы его обвиновали. Сами обвиновали, а его не спросили. По совести это?

— Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть — понятия несовместимые.

— Несовместимые? Ну, а волк и заяц — совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков по всей России! Всех! Что будет?

— Как что будет? — улыбался охотник. — Дичи много будет.

— Мало!.. — рывкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. — Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Это можно, только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажируют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или из-за границы покупать для страху?

— А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? — вдруг тихо спросил гость.

— Чего меня кулачить? — вздохнул хозяин. — Прибытку

у меня — два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.

— Им?

— Ну, нам!..— Отец плеснул в стаканы, чокнулся.— Я не волк, мил человек, я — заяц.— Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился.

— Спать пойдю. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, беззубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боясь, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

— Неосторожный у вас отец.

— Он красный партизан,— торопливо сказала она.

— Это мы знаем,— улыбнулся гость и встал.— Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребе. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.

— Пойдите здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и — исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал курить на сеновале.

— Я знаю,— сказал он и затоптал окурочок.— Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его;



он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

— Что это вы ничего с охоты не приносите? — сказала она, набравшись храбрости.

— Не везет, — улыбнулся он.

— Исхудали только, — не глядя, продолжала она. — Разве ж это отдых?

— Это прекрасный отдых, Лиза, — вздохнул гость. — К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.

— Завтра?.. — упавшим голосом переспросила Лиза.

— Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

— Смешно, — печально согласилась она.

Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как убралась на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы. А потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

— Кто? — тихо спросил он.

— Я, — прошептала Лиза. — Может, постель поправить...

— Не надо, — сухо перебил он. — Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

— Что, скучно?

— Скучно, — еле слышно сказала она.

— Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и — в этом она себе не признавалась, — может быть, даже поцеловали. Но не могла же она признаться, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

— Иди спать, — сказал он. — Я устал, мне рано ехать.

И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой о лестницу и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Ле-

жала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

— А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своим уж год не видали. Целых три кило сахару!

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал смятый клочок бумаги.

— Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай, устрою в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего — даже привета.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый, отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд...

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

— Неправда это! Неправда!..

— Влюбилась! — торжествуя ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!

— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и

убежала в лес. Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

— Ну, чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.

«После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ — и споем...»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Все кругом было в буреломе, сухостоях и валежнике, и Лиза быстро подобрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине жерди, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было полное одиночество, мертвая загробная тишина, повисшая над бурным болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не исчезал, а с каждым шагом все больше и больше накапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывая слезы по толстым щекам, дрожа от холода, одиночества и омерзительного липучего страха.

Вскочила вдруг — и слезы уже не текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как двигаться дальше, и, не отдохнув, не успокоившись, не собравшись с духом и силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела отдышаться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная

земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки по дороге и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми ее поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым рывком приближался берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять начала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там поглядим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной...

Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед нею. Это было так неожиданно, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно шархнула в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повиснув где-то в холодной зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага до нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.

— Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрывшись в лесах, затаился и — как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел не только боевой, а еще и охотничий и отлично понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумал, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой облоге, когда не поймешь, кто за кем охотится: ты за медведем или медведь за тобой. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

— Держи за мной, Маргарита. Я стал — ты стала, я лег — ты легла. С немцем в хованки играть — почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли в заросли всматривался, ухом к земле прикинул, воздух нюхал — весь взведенный был, как граната. Всмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил — и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряду, выбрались на основную позицию, а потом — в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно и не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать так ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался, отступя от него, на взгорбке, и к нему вел корявый березняк да редкие хоровады приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшарил, послушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.

— Чуешь? — тихо спросил Васков и посмеялся будто про себя. — Подвела немца культура: кофею захотел.

— Почему так думаете?

— Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень — ту же некуда, присел.

— Подсчитать их придется, Маргарита, не отбилась ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется — немедленно, в ту же секунду, уходи. Забирай девчат и уходи, и топайте напрямиком на восток аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разьезда добежать. Все поняла?

— Нет,— сказала Рита.— А вы?

— Ты это, Осянина, брось,— строго заметил старшина.— Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж если обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита нахмуренно молчала.

— Что отвечать должна, Осянина?

— Ясен — должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда же он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она полежала еще немного, а потом отползла назад и села на камень, настороженно вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах.

— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец. Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улынулась:

— Почему же?

— Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.

— Мокро там очень, Федот Евграфыч.

— Мокро...— недовольно повторил старшина.— Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

— Значит, угадали вы?

— Я не ворожея, Осянина. Десяток человек пищу принимают — видал их. Двое в секрете справа: остальные, надо полагать, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно — сюда. И чтоб смеху — ни-ни!

— Я понимаю.

— Да, я там махорку сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.

— Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все близкие и дальние камения на животе излазал. Всмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру — ну, самое позднее, к рассвету! — подойдет подмога, он поставит ее на след и... и отведет девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слыхали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издали определил. Вроде и не шумели, не брякали ничем, не шептались, а — поди ж ты! — комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед них несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да рошицам, от соблазна кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула.

— Забыла, Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растрясил! Был бы мужской — чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать.

— Ну, ничего, ладно уж. Махорка имеется. Сидор-то мой не забыли, случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет тот был подарок, и на нем было вышито: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!»

И не успел он расстройству своего скрыть, как Гурвич назад бросилась.

— Я принесу! Я знаю, где он лежит!..

— Куда, боец Гурвич? Товарищ переводчик!..

Какое там: только сапоги затопали...

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но Сониная семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть.

На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневой наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги...

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги на два номера больше.



В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц — нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И наверно поэтому ее голос услышал один старшина.

— Вроде Гурвич крикнула?

Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть пошвыстывал ветер.

— Нет, — сказала Рита. — Показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно камня лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

— Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле попевала за ним. Правда, Федот Евграфыч належке шел, а она — с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу оказывается всегда уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось.

А старшина весь заостренный был, на тот крик заостренный. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слышал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уже никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил — рядом со следом.

Разлапистый след был. С рубчиками.

— Немцы?.. — жарко и беззвучно дохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и — задохнулась.

— Неаккуратно, — тихо сказал старшина и повторил: — Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, из-под проженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул за ремень, приподнял чуть, чтобы под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно растегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая — пониже — в сердце.

— Вот ты почему крикнула, — вздохнул старшина. — Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза, грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул — все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть — не удалось, только веки зря кровью измарал. Поднялся:

— Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

— Некогда трястись, Комелькова.

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

## 9

Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце... Нет, успела. И понять успела и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все выходило? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уже высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но не страх — ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал: догнать. Догнать, а там разберемся...

— Ты у меня не крикнешь. Нет, не крикнешь...

Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнил себя и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог: погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они спешат. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело пока и не кровоточило. словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад...

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

— Отдышись,— еле слышно сказал Федот Евграфыч.— Тут они где-то. Ближе где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, а сердце от этого никак не желало успокаиваться.

— Вот они,— шепнул старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие верхушки.

— Мимо пройдут,— не оглядываясь, продолжал Васков.— Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтобы на тебя они оглянулись. И обратно замри. Поняла ли?

— Поняла,— сказала Женька.

— Значит, как крикну. Не раньше.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк: наперерез.

Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело — на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб — как в воду...

Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до

поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березняке, в весенних, кружевных еще листьях. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов опасался, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож — только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крикнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади их прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено — тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть ни охнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.

Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще только поворачиваться начал. Но то ли у Васкова сил на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он все же, а только не достал этого фрица ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя — драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней да березок, но немец покуда помалкивал: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоился, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце

концов оседлал его, сдвинул ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу острым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец — даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

— Молодец, Комелькова... — в три приема сказал старшина. — Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и не смог. Только на того, первого, оглянулся: здоров был фриц, как бык здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже и не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

— Ну вот, Женя, — тихо сказал Васков. — На двоих, значит, меньше их стало.

Женька вдруг отбросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала. Маму, что ли...

Старшина поднялся. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, переступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой очерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал.

И нашел то, что искал: в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть перестав, — кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: «ДО-

РОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь ее перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.

— Уйдите...

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кистет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.

— Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

— Брось,— сказал он.— Попереживала и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, рожки запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними: прибыток невелик, а ей все легче. Меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровящую всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их — что конопушек у рыжей девчонки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

— Может, ополоснешься?

Помотала головой: нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вздыхнул старшина:

— наших сама найдешь или проводить?

— Найду.

— Ступай. И — к Соне приходите. Туда, значит... Может, боишься одна-то?

— Нет.

— С опаской все же иди. Понимать должна.

— Понимаю.

— Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки...

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него

ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре — не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла, в платишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонины и с горечью подумал, что даже написать некуда о геройской смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мокрых век кровь и накрыл тем же платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый — рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла: только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уж инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось держаться четвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они противника с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера — сутки топтать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло — в разные, правда, концы, — а барахлишко их осталось, и отряд уже обрестать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

— Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

— Ну, обряжайте, — сказал старшина.

Взял топор (эх, лопатки не захватили на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыркался — скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Нарубил веток, устелил дно, вернулся.

— Отличница была, — сказала Осянина. — Круглая отличница — и в школе и в университете.

— Да, — покивал старшина. — Стихи читала.

А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла Соня детишек нарожать, а те бы — внуков и пра-

внуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...

— Берите,— сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак — за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную им чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

— Стойте,— сказал он у ямы.— Кладите тут покуда.

Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел!), буркнул Осяниной, не глядя:

— За ноги ее поддержи.

— Зачем?

— Держи, раз велят! Да не здесь — за коленки!..

И сапог с ноги Сониной сдернул.

— Зачем?..— крикнула Осянина.— Не смейте!..

— А затем, что боец босой, вот зачем.

— Нет, нет, нет!..— затряслась Четвертак.

— Не в цапки же играем, девоньки,— вздохнул старшина.— О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.

Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак.

— Обувайся. И без переживаний давай, немцы ждать не будут.

Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девочки подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив, а Комелькова — веточку зеленую.

— На карте отметим,— сказал.— После войны — памятник ей.

Ориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

— Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?

Затряслась Четвертак:

— Нет!.. Нет!.. Нет, нет, нельзя так! Вредно! У меня мама — медицинский работник...

— Хватит врать! — крикнула вдруг Осянина.— Хватит! Нет у тебя мамы! И не было. Подкидывай ты, и нечего тут выдумывать!..

Заплакала Галя. Горько, обиженно — словно игрушку у ребенка сломали...



— Ну, зачем же так, зачем? — укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак. — Нам без злобы надо, а то остервенеем. Как немцы остервенеем.

Смолчала Осянина.

А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, на четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре: с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении...», осложненное тем, что в округе не имелось ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные шерлоки холмсы, и случай от разговора к разговору обрстал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на мальчика с пальчик, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами.

И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя притихла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкомат и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама — медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама...

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть себе находят убитых дозорных. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять куда надо и... ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но провозились: Соню хоронили, Четвертак уговаривали, а время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние — Бричкиной и Гурвич — в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

— Из автомата стреляла когда?

— Из нашего только.

— Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я. — Показал ей, как управляться, предупредил: — Длинно не стреляй, вверх задирает. Коротко жарь.

Тронулись, слава тебе... Он впереди шел, Четвертак с Комельковой — основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не навались. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом — остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов — кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилась.

Но семь шагов этих были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор — ему это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрятались, залегли или разбежались?

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной посеколо, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды требовались, но сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяли их, и — все тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат: Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать — скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить — силой затраченной, напряжением, опасностью, — на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-

то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав: винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: была в белый свет, как в копейку. Попала, не попала — это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинейка — всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались: неясность была. И, постреляв маленько, откатились. В леса, как потом выяснилось.

Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

— Все,— вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо утер — ладони в крови стали: посекло, видно, осколками.

— Задело вас? — шепотом спросила Осянина.

— Нет,— сказал старшина.— Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке стиснув. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было. Унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была, будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут полежать, а подойти не успел — Осянина с вопросом:

— Вы коммунист, товарищ старшина?

— Член партии большевиков...

— Просим быть председателем на комсомольском собрании.

Обалдел Васков.

— Собрании?..

Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова — в копоти пороховой, что цыган — глазищами сверкает.

— Трусость!

Вон оно что...

— Собрание — это хорошо,— свирепея, начал Федот Евграфыч.— Это замечательно: собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем. Так?..

Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.

— А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится? Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. На месте взрыва гранаты крови много: значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос — у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

— Полторы.

— Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видна. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

— Верно...

— Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осяниной — вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполняйте.

Молча поели. Федор Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидел ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому — аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уже вниз осело, край леса темнеть начал, и старшина забеспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумраком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно, И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла...

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро:

— В поиск со мной пойдет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача: следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите — затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем — отходить. Скрытно отходить через наши прежние позиции на восток. До первых людей: там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак этой в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день про-

веренный — редкий мужик этим похвастать может. Но командир — он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал до тонкостей, назубок знал и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

— Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что бы ни случилось, молчать. Молчать, товарищ боец, и про слезы забыть.

Слушая его, боец Четвертак кивала поспешно и испуганно...

## 11

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать, немощь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков над ними голову ломал. Врага понимать надо. Всякое его действие, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого переживает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из этого всего извлечь мог, пока было неясно.

Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал данные, как картонную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло — так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И — две дырочки на груди. Узкие, как лезвие.

Она не думала ни о Соне, ни о смерти — она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть все, вычеркнуть из памяти, хотела — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, не догадывался, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...

Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть приметный на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть волоча, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

— Жди,— шепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие, волосы стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем.

— Пристрелили,— определил старшина.— Свои же, в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон...

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот — самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего уж по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и — вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

«Такой, значит, закон? Учтем».

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.

Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее — и словно оборвалось в нем что-то: боится. По-дурному боится, изнутри, а это хорошо если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дrolюшке дорогой, и подмигнул.

— Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих,— стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить — это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть — не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

— Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился.

— Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он — не гляди, что пост большой занимает,— простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится...

— Ну, зачем же вы обманываете, зачем? — тихо сказала Галя.— Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он вовсе, а Островский. И не видит ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

— Ну, может, другой какой Корчагин?..

Совестно стало Васкову, даже в пот кинуло. А тут еще комар насаждает. Вечерний комар, особенный.

— Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что...

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула, под тяжелой ногой, а он обрадовался. Сроду Васков по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.

— В куст! — шепнул.— И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился и — вовремя. Глянул: опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы на изготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его — нет, и поэтому козырной



туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь было нельзя, никак невозможно, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставляют, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза.

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не забывал. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь ничего не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться следовало, дышать перестав, раствориться во мхах да в кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шархнуть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, немцы опять тот же путь прошупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали что к чему и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты напрямую шли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же тихо снял автомат с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их были бы подставлены охотничьему прищурю старшины.

С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

— Ма-а-а!..

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули и что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, а только за спиной его раздался треск и топот, и он сообразил, что правый дозорный бежит сюда, на выстрелы, и бежит через него.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только успел главное решить: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться требовалось, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж этих-то, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, от пуль уходя, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для такого маневра осталось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бегали. Поэтому он и злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились, не поняли, что один он здесь, если строго судить. Совсем один.

Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом

том молоке не то что человек — полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако это нырнуть — и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки туманов к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем неумоготу становилось. А потом опять выныривал: здрастье, фрицы, я живой...

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делали. А тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и смолк. Патроны кончились, перезаряжать нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке — безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали — только щепка летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало. Но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде бы не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться необходимо, рану перевязать, передохнуть; тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось: к болотам отходить, ног не жалея.

Все он вложил в этот бег без остатка. Сердце уже в глотке где-то булькало, когда он к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что шесть их оставалось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими сапогами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел — начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли...

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило вроде бы немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы отошли. Туман уплотнился

к рассвету, вниз осел, и от мокряди той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ту грязь не стал. Замотал поверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясаясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было: прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика: по их понятиям, болото непроходимым считалось, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не таилось, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то все не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался полностью, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны остались все шесть вырубленных им слег. Шесть — значит, боец Бричкина полезла в топь эту трижды клятую без опоры...

И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось. Даже надежд, что помощь придет...

## 12

И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

— Не дошла, значит, Бричкина.

Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеясь, что живы они. И еще думал о том, что всего оружия у него — один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека — лежать бы старшине Васкову носом в гнили, покуда не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что пер он грудью на берег, и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха сигарку, раздул «катюшу» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровнехонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать ему теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей сигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали...

Конечно, до своих надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен он был, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался что к чему и считал. И по счету этому выходило, что фрицев бегало за ним никак не более десятка: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало не на догадки, а на полную дюжину, потому что накануне в беготне да суете целиться старшине было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулось и Воль-озеро, и Синюхина гряда. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но ни-

кого — ни своих, ни чужих — заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в камнях этих отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя ему было собой рисковать, никак нельзя, потому что, при всей горечи и отчаянии, побежденным он себя не признавал даже в мыслях и война для него на этом кончиться не могла. И, наглядевшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет был прост, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночи уж белыми были, а соваться в неясность фрицам совсем даже не следовало. Следовало ждать до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потянул Федот Евграфыч от знакомых камней в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Васков понимал, что людей поблизости быть не должно, но рисковать сейчас было ему никак невозможно.

Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье своем собственном охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад глядя-ваясь. Вспуганный заяц был, и вспуганный людьми, которых встречал редко и потому любопытничал. И старшина, совсем как заяц уши наострив, стал туда же смотреть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью скользящей двинулся туда, откуда этот заяц выскочил.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где обросшее. Васков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю, замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит...» — сообразил старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую кустами дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынул наган и, до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидел примятую траву у крыльца, высохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.

Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же диверсанты дверь в заброшенном скиту выломали: значит, так им было нужно. Значит, убежище искали. Может, раненые у них имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то негромко звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тискал, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то он знал восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил: нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому остальные в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы ведь не по ягодки к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в перемычку меж озерами. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас находилось, за дверью скособоченной. Целых два, богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бес-

сонной ночи с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерком тянет, просто ждал, когда здоровый немец вылезет из избы.

И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою погибель: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от двери и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненный блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй — тот, раненый, — прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь? Просто так, в воздух: гулкую, тревожную, — и все. Вмиг притапают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь...

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно, но не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Почему? Чего ждал?

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли: он сейчас только о том думает, чтобы внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, взял автомат, сорвал с пояса сумку с запасными обоймами и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал, и — пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и тогда только отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если, конечно, не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае собст-



венного невозвращения, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что исполнили они тот приказ его слово в слово. Не верилось, не хотелось верить.

Он передохнул, послушал, не слышно ли где чего тревожного, и с осторожностью двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда еще все живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной...

Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже как бы и не в себе. И только на колени привстал, чтобы напиться, как шепот услышал:

— Федот Евграфыч...

И крик следом:

— Федот Евграфыч! Товарищ старшина!..

Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подобрав. Кинулся навстречу: тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют — грязного, потного, небритого...

— Ну что вы, девчата, что вы...

И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.

— Эх, девчоночки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

— Не хотелось, товарищ старшина.

— Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала.

В кустах у них мешки припрятаны были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать начал, Женька спросила:

— А Галка?

Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил, так и рассудив. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Ну, и табак, само собой. Но махорку он только на руке взвесил и отложил. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял свою кружку:

— Погибли наши товарищи смертью храбрых. Чет-

вертак — в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренку наших, а там и бой пора принимать. Последний, по всей видимости...

### 13

Бывает горе — что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает — света невзвидишь. А отвалит — и ничего вроде, и дышать можно, жить, действовать. Как и не было ничего.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться начали. Весь сидор свой потряхнул, по три раза каждую вещь перещупал — нету, пропали. Как не было.

Запал для второй гранаты да патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала — просто кусок железа. Немой кусок, как бульжник.

— Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивать. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

— Ничего, Федот, отобьемся!

Это Комелькова брякнула, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться — три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, когда с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.

— Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издали не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат побереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?

— Поняла, Федот...

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

— Федей звать, наверно, проще будет. Имечко у меня не круглое, конечно, да уж какое есть...

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали да проверили и поэтому появились у берега, когда

солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты угрозу эту почувствовали, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав каждой позицию и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтоб вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому как Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять лишь тогда, когда фрицы полезут в воду. А до этого и дышать через раз, чтобы птицы не замолкали.

Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в канал стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать тот момент, когда фрицам надоест в прятки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков выглянул из укрытия: на плесе немец из воды к берегу на карачках спешил, к своим спешил, назад, и пули вокруг него щелкали, но не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу (подвернул он ее, что ли?..) по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая его, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к девчатам кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделывать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал на спуск — напротив, в кустах, два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать

немцам ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут — и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для остротки, и снова замерло все, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз фрицы в этом месте так просто не полезут. Они где-то еще попытаются щелочку найти: скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат...

Не успел Васков всей диспозиции продумать: шаги за спиной помешали. Оглянулся: Комелькова напрямик сквозь кусты ломит.

— Пригнись!

— Скорее! Рита!..

Что с Ритой, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался.

Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упиравшись спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

— Чем? — только и спросил Васков.

— Граната...

Положил Риту на спину, за руки взял — не хотела принимать их, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все... Даже разглядеть было трудно, что там, потому что

смешалось все — и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень...

— Тряпок! — крикнул. — Белье давай!

Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое...

— Да не шелк! Льяное давай!..

— Нету...

— А, леший! — метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех...

— Немцы, — одними губами сказала Рита. — Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать, губами шевелила — не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшее, — зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив: сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложив сверху рубаху, стал бинтовать.

— Ничего, Рита, ничего. Он поверху прошел, кишки целые. Заживет.

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

— Иди. Туда иди... — с трудом сказала Рита. — Женька там...

Рядом прошла очередь. Не поверху — по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку...

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех: еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить отсюда, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом, и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить — не смог, и побежал в кусты, чувствуя, как с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое...

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого

она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинашка была — с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

— Ну, Женька, это уж чересчур. Куда готовишься?

— На вечер! — гордо объявила Женька, хотя и знала, что отец имел в виду совершенно иное.

Они хорошо друг друга понимали.

— На кабанов пойдешь со мной, дочка?

— Не пушу! — пугалась мать. — С ума сошел: девочку на охоту таскать.

— Пусть привыкает! — смеялся отец. — Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюбляясь.

— Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ евгенерал...»

— Врешь ты все, папка!

Счастливое было время, веселое, беззаботное, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя... Непонятно ведет: то тир да стрельбища, лошади да мотоцикл, а то танцуйки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

— Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

— Пусть болтают, мамочка!

— Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно так?

— Нужен мне Лужин! — Женька презрительно передергивала плечами и убегала.

А Лужин был интересен, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Боевого Красного Знамени, за финскую — «Звездочку». И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась...

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одине-

шенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался беззащитностью — прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо,— Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет...

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убежать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добились ее в упор, а потом долго смотрели на нее и после смерти гордое и прекрасное лицо...

## 14

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать ей придется долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет...

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед нею, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

— Женька погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

— Женя сразу... умерла?

— Сразу,— сказал он, и она почувствовала, что сказал он неправду.— Они ушли. За взрывчаткой, видно...— Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..

Он замолчал, стиснув зубы. Закачался, баюкая раненую руку.

— Болит?

— Здесь у меня болит.— Он ткнул в грудь.— Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так... Все же понятно, война.

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людешек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом...

— Не надо,— тихо сказала она.— Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом — канал.

— Да...— Васков тяжело вздохнул, помолчал.— Ты лежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся — и концы нам.— Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом.— Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

— Погоди.— Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо.— Помнишь, на немцев я у разезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликот зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

— Не тревожься, Рита. Понял я все.

— Спасибо тебе.— Она улыбнулась бесцветными губами.— Просьбу мою последнюю выполнишь?

— Нет,— сказал он.

— Бессмысленно, все равно ведь умру. Только намучаюсь.

— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.



— Поцелуй меня,— вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, неуклюже ткнулся губами в лоб.

— Колючий!..— еле слышно вздохнула она, закрывая глаза.— Иди. Завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно ползли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту еловыми лапами и быстро зашагал к речке. Навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие...

Он скорее почуствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймляли пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго всматривался в них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он схоронил плохо. И все время думал об этом, и жалел, и шептал пересохшими губами:

— Прости, Женечка. Прости...

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и хотел он сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил — только боль. Во всем теле...

Белые сумерки тихо плыли над нагретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой.

А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале ствола его нагана.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было...

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь ему, вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим срубом колодца и перекосившейся, въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там — враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина продолжал терпеливо ждать. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал — переливал тяжесть по капле, чтоб не хрустнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел — поплыл.

И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, когда успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу.

— Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал: в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот его скок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, фрица швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

— Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал.

Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли: мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро! А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся...

...Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четверех спин, и об одном только думал: успеть спуск автомата нажать, прежде чем сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец...

Но лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские...

### *Эпилог.*

«Привет, старик!

Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..

Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан: седой, коренастый, без руки, и с ним капитан-ракетчик.

Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домо-тканно — тятей. Что-то они тут стали разыскивать — я не вникал...

...Вчера не успел дописать, кончаю утром.

Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и — не решился.

А зори-то здесь тихие-тихие, только сегодня и разглядел...»

1969





**САМЫЙ**  
**ПОСЛЕДНИЙ**  
**ДЕНЬ ...**



## САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ...

### 1

— Значит, на пенсию решил, Семен Митрофанович? Не желаешь дождаться шинели цвета маренго?

— И в этой ничего. Привык...

Семен Митрофанович Ковалев стеснялся вести разговоры с молодыми сотрудниками. Они и смеялись не так, и курили не этак, и даже форма на них сидела куда уютнее, чем на нем, хотя он форму свою носил аккурат четверть века.

Приказ еще не был подписан, но все уже знали, что младший лейтенант Ковалев, выслужив и по годам и по здоровью полный государственный пенсион, подал рапорт и загодя отправил семью в деревню. Сделал он это по своей воле и вроде бы ни с того ни с сего, что удивило не только сослуживцев по отделению, но и тех в управлении, кто знал Семена Митрофановича. А знали его многие, и даже сам комиссар товарищ Белоконь здоровался с ним за руку и всегда называл только по имени-отчеству.

Семен Митрофанович аккуратно являлся на службу, дисциплинированно, точно ретивый первогодок, слушал инструктаж и делал, что приказывали. Учитывая возраст и ранения, его давно уже освободили от оперативной работы, а поручали дела тонкие — воспитательные или конфликтные. И Семен Митрофанович не обижался, потому что всякому делу положен свой возраст, и рыпаться тут несolidно. Кроме того, он умел улаживать ссоры, доводить до добрых слез свихнувшихся девиц и был невозмутим во всех случаях жизни.

Даже осложненные взаимным недоверием профилактические беседы с молодежью младший лейтенант Ковалев проводил лучше иных дипломированных специалистов. При всей невозмутимости он никогда не скрывал своих чувств и относился к аудитории не как к поколению в целом, а как к группе, состоящей из вполне конкретных личностей. В соответствии с этим он кого-то уважал, а кого-то любил, кого-то жалел, а кого-то откровенно ненавидел, но таких,



к которым он относился бы безразлично, не было, и молодое население микрорайона активно платило ему той же монетой.

— Политически товарищ Ковалев человек девственный, — сказал года два назад начальник отделения комиссара Белоконю — просто пришлось к случаю.

Начальник отделения любил выражаться книжно и иногда позволял себе щегольнуть этим. Однако в тот раз комиссар глянул так странно, что он сразу заторопился:

— Но девственность восполняется большим опытом, товарищ комиссар. Большим опытом и исключительным старанием...

Комиссар по-прежнему смотрел необыкновенно, и начальник сокрушенно примолк. Тогда Белоконю спросил благожелательно:

— На рыбалку не ездили в этом году?

И все книжные наслоения тут же вылетели из головы собеседника. И он воскликнул:

— Во какая!..

Да, в милиции знали про старую дружбу комиссара и Семена Митрофановича, хотя никто никогда не видел их вместе, и младший лейтенант безропотно тянул свою ляжку, не прячась за широкую спину начальника управления. Поначалу сам вызвался в оперативную группу: вязал бандитов, преследовал воров и за пять лет к четырем фронтовым ранениям приплюсовал еще четыре. Последнее было особенно тяжелым: пуля пробила легкое. В госпиталь часто навещался капитан Орлов — зам по оперработе. Приносил яблоки да баранки, а перед выпиской сказал:

— Отдохнуть требуется, Семен Митрофанович. Путевку мы обеспечили, а кроме путевки, положен тебе еще месяц. Так, может, тебе в Москву с Кавказа не возвращаться? Может, прямо к своим, в деревню?

— Да нет, вернуться придется, товарищ капитан, — как всегда, тихо и чуть виновато ответил Ковалев. — Своих-то у меня нет. И пункта рождения тоже нету.

— Как так нету?

— А через него аккурат фронт семь месяцев проходил, товарищ капитан. Так что там и труб не осталось. То есть совсем ничего: просто пустырь с бурьяном, вот ведь какой факт получается.

— А родные?

— В наличии не имеется.

Капитан Орлов был упрям и, промолчав в этот раз, в день отъезда подчиненного на курорт сунул, не глядя, адрес:

— К моим поедешь. Под Новгород.

Семен Митрофанович поехал: зачем же обижать хорошего человека? Местность ему понравилась. С войны здесь все задичало, и на семь сел приходилось полтора мужика. Ковалев охотно чинил старые ходики, менял рамы, перекрывал крыши, подпирал скособоченные избы, делал все, что просили, с удовольствием выпивал стаканчик, но от второго решительно отказывался, потому что очень боялся заночевать в лично отремонтированном хозяйстве. Сделав много доброго, он так никого и не осчастливил, что гордые новгородки объясняли исключительно последствиями ранения. В следующий отпуск Ковалев опять поехал под Новгород и вдруг довел до полного онемения все местное общество, взяв за себя немолодую солдатку с тремя соплевыми сиротами в придачу.

— Ты что, Ковалев, трехнулся? — деликатно спросил лихой капитан Орлов. — Да за тебя любая двадцатилетняя — толечко пальцем помани!..

— Двадцатилетняя — она и без меня не пропадет, товарищ капитан, а тут — детишки. Младшие-то конфет в обертках сроду не видали, вот ведь какой факт получается.

В каких обертках он сам показывал конфеты усыновленным детям, неизвестно, но вздыхать не вздыхал, и настроение у него вроде не портилось. С комнатой ему помогли, жена уборщицей в интернат пошла, а там — потихонечку да полегонечку — и дети подрастать стали. Теперь их, правда, пятеро уже было.

И вот неожиданно-негаданно младший лейтенант Ковалев решил оставить службу. Сдал рапорт положенным порядком и, пока двигался этот рапорт из кабинета в кабинет, продолжал служить старательно и усердно. И помалкивал. И начальство тоже помалкивало.

## 2

В тот день он явился на службу, как всегда, за четверть часа до положенного срока. Доложил дежурному, расписался в книге и, тоже как всегда, пристроился покурить с ребятами из ночной смены. Не просто покурить — разведать новости. И не новости вообще — этого добра он за четверть века в милиции наслушался, навидался и наглотался, — а того лишь, что его касалось. Его участка. Подшефного.

Это были четыре квартала — добрый кусок современных пятиэтажек, несколько чудом уцелевших деревяшек да два раскоряченных несуразных семиэтажных дворца, сооружен-

ных в эпоху архитектурных излишеств. Теперь излишества эти обветшали и уже сыпались на голову, из-за чего над вторыми этажами пришлось соорудить грубую рабочую сеть.

Казалось бы, все было в порядке, но Семен Митрофанович домов этих все-таки не любил. Понимал, что поступает не по справедливости, сердился на себя — и не любил. Сердцу не прикажешь, даже если сердце это бьется под милицейским мундиром.

Поэтому и выпрашивал о них всегда особо дотошно:

— Из девятого дома звонков не было? Насчет магнитофонов там, шумов всяких?

— Нет. Из твоих, Митрофаныч, только один Кукушкин набедокурил: напился, шумел.

— Кукушкин из третьего «Б»? Слесарь-водопроводчик?

— Он самый.

Младший лейтенант достал толстую записную книжку и только успел записать про Кукушкина, как дежурный крикнул:

— Митрофаныч! Начальник просит. Давай на третьей скорости!..

Начальник отделения зимой и летом ходил в темных заграничных очках, и Ковалев не любил с ним разговаривать. Да и как можно любить разговор, когда неизвестно, в какую сторону косится твой собеседник?

— Финиширует ваша служба, товарищ младший лейтенант,— сказал начальник после того, как они поздоровались и самую чуть потолковали о здоровье. И вздохнул: — Как говорится, финита ля...— Что следовало за этим «ля», начальник произнести не решился и переменял разговор: — Никаких нераскрытых или там незакрытых за вами не числится?

— Никак нет.

— Тогда могу доложить, что наступает у вас последний парад.— При этих словах начальник решил встать, и Ковалев в беспокойстве оглянулся, поскольку никак не мог понять, куда в данный момент смотрит его начальник. Но начальник, как видно, смотрел прямо на него.— Товарищ комиссар Белоконь просит вас, товарищ младший лейтенант, прибыть к нему в 10 часов ноль минут по известному вам рапорту...

Они еще маленько поговорили о разных вещах — для вежливости,— и начальник отпустил его, пожав на прощание руку и приказав выделить в распоряжение младшего лейтенанта служебную машину.

Все, казалось бы, уже оставалось за кормой, уже начало

отплывать, растворяясь в прошлом, но Ковалев не мог сесть вот так, запросто, в служебную «Волгу» и сказать шоферу: «В управление!» Не мог, потому что, несмотря на слова начальника о последнем параде, все еще продолжал служить, каждой клеточкой ощущая себя частицей огромного и очень ответственного аппарата. И поэтому от начальника он прямехонько потопал к дежурному, которому и доложил, что откомандирован в управление для беседы с товарищем комиссаром.

— На «Волге» обязательно хочешь ехать? — спросил дежурный.

— Нет, не обязательно, — сказал старшина. — Все равно.

— А все равно, так будь другом, отконвоируй задержанную. Ребята, понимаешь, все в отпуске: лето...

Задержанной оказалась худая, как воробьиха, девчонка лет двадцати с крохотными сережками-слезками в маленьких ушах. На грязном — в пятнах помады, потеках туши и грима — лице свежели яркие пятна синяков и злые, неукротимые глазищи. Короткое ситцевое платье было заляпано грязью, в двух местах разорвано: при движении сверкало загорелое тело и наивные розовые трусики.

— В парке нашли, — тихо сказал дежурный. — Били ее трое, а кто — молчит.

— Может, не знает?

— Знает! — отрезал дежурный. — Знает, кто бил и за что, раз на помощь не звала. Наши ведь случайно на них напоролись, и она же первая заорала: «Валера, беги!»

— Задержали кого?

— Нет. Кусты, темень, а тут эта чертовка визжит и кусается. Но обрати внимание: трое, и среди них Валера.

— Это насчет...

— Да, да, ограбление пенсионеров Веткиных. Помнишь, что тогда взяли? Ерунду всякую, мелочь, а бухарский ковер, которому цена пол-«Москвича», не тронули. Почему?

— Тяжело с ковром-то...

— Правильно, Ковалев. А это значит: транспорта у них не было. А женщина, которая той ночью встретила троих с чемоданами, показала, что одного из них другие называли Валерой.

— Ага!..

— Вот потому-то мы за эту девчонку и держимся, — сказал дежурный так, будто лично вел следствие. — Это она еще с ночи психованная, а успокоится — колоться начнет, что полешко...

В связи с таким поручением младший лейтенант Ковалев отбыл на свидание с комиссаром Белоконом в душном

кузове зарешеченного «газика». Влез он в него, когда задержанная уже сидела возле передней решетки, вцепившись в переплет худыми пальцами с обломанными ногтями. Она искоса, мельком глянула на него и отвернулась, быстро поправив изорванное платьице, чтоб не сверкали трусики. Как ни запрятано было это ее произвольное движение, Ковалев отметил его, а отметив, решил непременно доложить об этом следователю: девчонка, которая стесняется старого милиционера, совсем не такая уж распущенная и бывалая, какой изо всех сил старается казаться.

— Ну, с этой не заскучаешь! — подмигнул шофер, закрывая за ними дверцу согласно инструкции.

Как положено, младший лейтенант сел сзади, у выхода, где всегда трясло и швыряло. Поэтому он сразу, пока машина еще стояла, поторопился закурить и, прикуривая, опять заметил яростный карий глаз. Протянул пачку:

— Хочешь?

Она живо глянула и рассмеялась:

— «Прибойчиком» угощаете? Тронута, сдвинута, почти опрокинута!..

Ковалев несколько не обиделся: испуганный щенок и хозяина кусает. Спросил заинтересованно:

— Сигареток достать?

Машина еще стояла: шофер балагурил с ребятами, что расходились на посты и объекты. Младший лейтенант застучал, загрохал ногами. Шофер сразу же открыл, вытаращился:

— Ты чего?

Семен Митрофанович рубль протянул — мог бы, конечно, и мелочь, да не знал, почем нынче сигаретки для девчат.

— Сигареток купи пачку.

— Сигареток? — Шофер похлопал глазами. — Каких сигареток?

— «Советский Союз»! — крикнула из угла девчонка. — Я патриотка!..

Шофер обернулся на удивление быстро: видно, и его заинтересовала неукротимая пассажирка. Сунул сигареты и сдачу, шепнул:

— Сорок копеечек, между прочим...

Опять с лязгом закрыл дверь. Семен Митрофанович аккуратно спрятал мелочь в кошелек, протянул сигареты задержанной.

— Не по карману куришь.

— А почему же не курить, если угощают? — спросила девчонка, прикуривая. — Вон даже милиция... не удержалась.

«Газик» тронулся, и, пока шофер неторопливо выруливал

на магистральную улицу мимо бесконечных новостроек, младший лейтенант откровенно разглядывал девицу. Разглядывал растрепанные, много раз перекрашенные волосы, дешевенькое платьице, худые, исцарапанные руки, незащитные плечи, неожиданно элегантные туфельки последней моды. Разглядывал неторопливо, основательно — и думал.

Он умел разговаривать с молодежью не потому, что сообщал что-то новое, и не потому, что никогда не повторял общеизвестного. Умение его, которому поразились даже в управлении, держалось на том, что Ковалев каким-то чудом всегда угадывал, что за человек сидел перед ним. И начинал не беседу вообще, не лекцию, а конкретный и неповторимый разговор, который касался только их двоих. И поэтому сейчас, разглядывая эту худую, некормленную и неухоженную, болезненно напряженную девочку, он думал о том, что довело ее до этого, какая у нее может быть семья и почему девочка из семьи этой убежала.

— Отец-то давно вас бросил?

По тому, как дернулась девочка, он понял, что попал в точку. Ниточка была в его руках, но, чтобы не оборвать ее, следовало медленно, неторопливо распутать весь клубок. Главное было удивить, и это получилось.

— А у меня он полковник. Летчик-истребитель, — с вызовом сказала она. — Он за каждый полет больше получает, чем вы за три месяца.

— Возможно, — миролюбиво согласился Ковалев. — Только сволочь он, летчик твой, раз маме не дает ни копейки.

Девочка вдруг резко повернулась к нему, странно и зло ощерившись и сразу став болезненно некрасивой:

— Врете вы все! Думаете, не понимаю, откуда знаете, да? Вы милиция, вы уж всех допросили! Всех!..

Он молчал, дружелюбно и серьезно глядя на нее. Задержанная, выкричавшись, сразу смолкла и снова ухватилась за сигарету. Семен Митрофанович не торопился с разговором, оставляя продолжение за нею, потому что дорожил он пока не словами, а интонацией. И еще он знал твердо, что долго она не умолчит.

— Мама... — с непонятым ожесточением сказала вдруг девчонка. — Мама, мамочка...

И опять замолчала, яростно затягиваясь. И младший лейтенант промолчал.

— Думаете, легко девчонкам, которые без отцов? — не глядя, тихо спросила она. — Ну, может, у которых матери — мамы, тем еще ничего, а другим... — Она опять помолчала. — Знаете, сколько нам на производстве платят? Нам, у которых специальности никакой нет? Только-только на еду

да на дорогу и хватает. Но ведь и одеться модно тоже хочется. А у вас на всех один разговор...

— Нет,— сказал Семен Митрофанович.— Нет у нас такого разговора. Обманули тебя.

— А везете куда?

— В управление. Положено так.

Он глядел на ее туфельки: она все двигала ими, под лавку закидывала, прятала. Не случайно, ой, не случайно, а раз так, то должен в голове ее вертеться один вопрос. И он все время ждал этого вопроса. И дождался:

— Посадят меня?

— Нет,— как можно простодушнее сказал он.— Навряд ли. Туфли, может, и отберут...

Не удивилась, почему туфли отберут. Совсем не удивилась, только вздохнула:

— Что же мне, босиком по городу идти?

— Зачем же брала? Знала ведь, что ворованное...

— Не хотела я брать их. Как чувствовала...

— За это били?

— Нет...— Она вдруг странно поглядела на него, криво усмехнулась.— Влезли в душу и ворочаетесь? И вы такая же сволочь, как все...

И отвернулась. Младший лейтенант закурил новую папиросу и опять терпеливо стал ожидать вопросов. Обычно, правда, он сам вопросы задавал, разговор направляя, но сегодня любая его неточность могла вновь захлопнуть ее чуть приоткрывшееся сердечко, и поэтому Семен Митрофанович предпочитал не спешить.

— А что, пистолеты у вас настоящие или так, для форсу кобуры носите? — вдруг, не глядя, спросила она.

— Самые настоящие,— сказал Ковалев и для достоверности похлопал по пустой кобуре.— Мы без оружия ни на шаг.

— Почему? — Девочка оглянулась.

Ему очень хотелось, чтобы она заулыбалась, и, увидев в глазах ее слабые искорки, он обрадовался:

— Боимся! Страх у нас такой...

— Врете вы все! — Она все-таки улыбнулась и тут же, словно испугавшись, спрятала улыбку.

Машина остановилась, шофер знакомо посигналил, и младший лейтенант догадался, что прибыли и что сейчас после проверки въедут во внутренний двор управления. И впервые за всю службу пожалел, что знакомый путь оказался вдруг таким коротким.

В пустых и гулких коридорах управления девочка вздернула голову, вызываяще зацокала каблуками и стала еще больше похожа на воробыху. Ковалев, поглядывая на нее, все сдерживал улыбку: казалось, девчонка вот-вот суетливо и неунывающе зачирикает, заскачет и взлетит к потолку...

Возле кабинета следователя Хорольского младший лейтенант остановился. Усадил задержанную на стул у двери, погрозил пальцем, чтоб слушалась, одернул тужурку и только после этого постучал. Там что-то крикнули, Семен Митрофанович открыл дверь и спросил:

— Разрешите?

— Что еще?..— Следователь был молод и поэтому всегда хмур: ему казалось, что так он выглядит солиднее.

Ковалев вошел в кабинет, притворил за собою дверь, отрапортовал, с чем прибыл, и отдал пакет. Хорольский, не глядя на него, разорвал пакет: там лежал заводской пропуск и сопроводительная. Хмурясь, следователь долго читал сопроводительную, а младший лейтенант все так же дисциплинированно стоял у стола.

— Где арестованная?

— Задержанная,— тихо поправил Семен Митрофанович.— Она там, в коридорчике ждет. Я что хотел сказать, товарищ следователь, я хотел сказать, что надо бы ее отпустить. Она сверху только злая, и если к ней по-доброму, так она сама же придет потом и все расскажет, вот ведь какой факт получается. И еще: насчет работы. Может, с комсомолом связаться, чтоб над нею шефство...

— Давайте без советов, а? — недовольно сказал следователь.— Ваше дело — арестованную доставить и расписку получить. Ясно?

— Так точно. Только, похоже, запуталась девушка...

— Введите арестованную.

— Я хотел...

— Введите арестованную!..

Ковалев молча вышел, старательно пряча глаза от девочки. А та все ловила и ловила его взгляд, тиская в руках сигареты и спички. За дверью опять что-то прорычали, и Семен Митрофанович так и не успел ничего сказать. Просто приоткрыл дверь и махнул рукой, приглашая в кабинет.

И вошел следом. Следователь, не глядя, писал что-то за столом, и поэтому Ковалев, кашлянув, рискнул-таки на продолжение очень неприятного для себя разговора:



— Разрешите потом соображения доложить...

— Получите расписку, — не поднимая головы, сказал Хорольский.

Младший лейтенант протопал к столу, взял рваный конверт с подписью следователя, уголком глаза заметил суетящиеся по изодранному платью худые пальцы с обломанными ногтями, сказал негромко:

— Вы все-таки разрешите...

— У меня все, — с явным раздражением прокричал следователь. — Можете идти.

Выйдя из кабинета и тихо притворив за собою дверь, Семен Митрофанович был вынужден сразу же присесть на тот самый стул, где только что сидела девочка. Сердце его вдруг сжало, точно в горячих тисках, а в глазах поплыли неторопливые и веселые цветные шары.

«Молодой еще, — расстроено подумал он. — Ах, молодой, ах, горячий: напугает девчонку, озлобит...»

А сердце щемило, и воздух никак не хотел пролезать в легкие, как ни пытался Ковалев вздохнуть. Но он все время думал об этой девочке, и тревожился, и поэтому отсиживаться не стал, а боковым коридором вышел к парадной лестнице. Тут он маленько пришел в себя и стал неторопливо подниматься на второй этаж, здороваясь почти с каждым встречным, потому что народу здесь было не в пример больше, чем в тех закоулках, которыми он вел девчонку к следователю. Поднявшись по лестнице, он прошел небольшой коридор, застланный толстой дорожкой, и приоткрыл тяжелые резные двери:

— Можно, Вера Николаевна?

— Семен Митрофанович? Здравствуйте, дорогой!..

В комнате этой, едва ли не единственной в управлении, никто никогда не курил — даже сам комиссар Белоконь. Не потому, что здесь хранились бочки с порохом, коробки с кинопленкой или лежали дышащие на ладан сердечники, а потому, что здесь работала Вера Николаевна.

— Сергей Петрович ждет вас.

— Один там?

— У него полковник Орлов. Да вы проходите, Семен...

— Нет, нет, Вера Николаевна. — Ковалев упрямо затряс головой. — Нет. Зачем же? Я обожду.

Когда-то он служил под началом лихого, безрассудно смелого капитана Орлова. Но время шло, и за двадцать лет капитан вырос до полковника, а он — до младшего лейтенанта. Каждому — своя песня: он на это не сетовал. Но входить, когда старшие работают, не мог. Позволить себе не мог.

— Вы к окошку садитесь,— вдруг тихо сказала Вера Николаевна и поставила стул у раскрытого окна.— Что, Семен Митрофанович, сердце?

— Не могу сказать,— он пересел к окну и виновато улыбнулся.— Раньше как-то не чувствовал такого факта.

Вера Николаевна порылась в сумочке и достала белую лепешку.

— Положите под язык.

— А что это?

— Конфетка мятная. Ну?

— Спасибо,— сказал Ковалев, сунув валидол в рот и причмокивая.— Холодит.

Из-за бесшумной двери вышел Орлов с кожаной папкой в руке. Он мельком глянул на коренастого младшего лейтенанта в тужурке из грубого сукна и вдруг заулыбался, отчего его сосредоточенное лицо сразу стало домашним.

— Митрофаныч!..— Орлов шагнул к поспешно вставшему Ковалеву, руками надавил на погоны.— Сиди, сиди. Хорошо, что я тебя встретил...

Вера Николаевна, привычно поправив прическу, прошла в кабинет. Орлов присел перед Ковалевым на подоконник, сказал таинственно:

— Хочешь со мной работать?

— Да я же рапорт, товарищ полковник...

— Знаю. Знаю, потому и предлагаю: с Сергеем Петровичем согласовано.

— Ну, какой из меня теперь оперативник? — усмехнулся Семен Митрофанович.— Года уж...

— А я не оперативником, я воспитателем хочу тебя назначить. На курсах оперработников.

Ковалев улыбнулся, покачал седой, коротко стриженной головой.

— Добрый вы человек, товарищ полковник. Спасибо вам, конечно, большое, только образование-то у меня — семь классов до войны.

— Да ведь не в преподаватели, а в воспитатели,— несокрушимо улыбался Орлов.— Должность я такую хочу прошибить: воспитатель. Чтоб не только самбо да боксу учить, а слову доброму. Слово — оно ведь посильнее любого приемчика, верно?

Ковалев ответить не успел, так как из кабинета вышла Вера Николаевна и негромко сказала:

— Вас просят, Семен Митрофанович.

Комиссар Белоконь собирал шариковые ручки. Он скупал их в магазинах, получал бандеролями, привозил из командировок и канючил у знакомых. Коллекция занимала дома

два шкафа, но поскольку подросшие внуки стали проявлять к ней чисто практический интерес, Сергей Петрович наиболее ценные образцы держал в служебном кабинете. Весь огромный комиссарский стол был завален этими ручками — пластмассовыми и металлическими, круглыми и гранеными, многостержневыми, цветными, с секретами, с фривольными фотографиями, с особой мастикой. Но гордостью коллекция была очень простая и очень элегантная ручка, привезенная Белоконом из Парижа; когда комиссар был в хорошем настроении, он подписывал бумаги именно этой ручкой. Полковник Орлов серьезно уверял, что ее подарил комиссару Белоконому сам комиссар Мегрэ: молодежь верила, немея от восхищения.

— Здравия желаю, товарищ комиссар,— сказал Ковалев. И добавил:— Прибыл по вашему приказанию.

А комиссар играл знаменитой ручкой, глядел на него и улыбался. Но Семен Митрофанович улыбаться в ответ не стал, а, наоборот, нахмурился.

— Что-то ты, брат, грозен сегодня,— сказал Сергей Петрович.— Уж больно ты грозен, как я погляжу! Ну, улыбнись, Семен Митрофанович!..

— Разрешите доложить, товарищ комиссар,— с неприступной серьезностью продолжал младший лейтенант.— Может плохо произойти, если не доложить.

— Ну, давай,— с неудовольствием вздохнул Белоконь.

Ковалев доложил. Комиссар выслушал, нажал клавишу селектора:

— Следователя Хорольского срочно ко мне. С делом...— Он вопросительно посмотрел на Ковалева.

— Об ограблении супругов Веткиных.

— ...об ограблении супругов Веткиных.— Комиссар отпустил клавишу.— Садись, Семен Митрофанович. Закуривай.

— Нет, разрешите выйти, товарищ комиссар. Вы его при мне посчитать будете, а это — нарушение...

— Садись!..— нахмурился Белоконь.— Мне про этого Хорольского не ты первый докладываешь. Спесив да ретив, а толку пока — нуль.

Семен Митрофанович покорно вздохнул, но постарался устроиться в наиболее темном углу кабинета. Докладывая начальнику, он ни единым словом не обмолвился о грубости следователя, и все же ему было очень неприятно. Как тут ни крути, а выходило, что клепал он на сослуживца, используя личную симпатию высокого начальства, а это было совсем не по-мужски. И если бы не девочка та, не воробыха, не взгляд ее, которым проводила она его, никогда бы Ковалев и полсло-

вечка при начальстве не уронил. А тут не мог. Права не имел воробьюху эту забыть, крест на ней поставить. И не таких судьба общипывала до самого последнего перышка, и не помочь человеку при этом было просто невозможно. И плевать ему в конце концов, что про него станет следователь по всем коридорам возить: он девочку сейчас защищал, а это поважнее закоулочных кривотолков...

Но все ж таки сел он так, чтобы Хорольский, в кабинет войдя, его не заметил. Вот, может, потому-то следователь быстро все комиссару доложил, пока тот дело листал, ловко доложил и даже улыбнулся:

— Там у меня, товарищ комиссар, зацепочка сидит. Важная зацепочка: если нажать как следует — вся поколется. И кто ее бил, скажет, и за что, и где вещички, что у Веткиных взяли, тоже, возможно, скажет.

— А чем же зацепочка эта зацеплена? — спросил Белоконь.

Знал Семен Митрофанович начальника, давно знал, а удивился: до того миролюбиво, спокойно прозвучал вопрос. И сам комиссар, внимательно читающий каждую строчку тощего «дела», тоже выглядел сейчас таким добродушным грибком-пенсионером. Хорольский сразу приободрился, потыкал в страницы пальцем:

— Валера — обратите внимание, здесь. И Валера — здесь тоже.

— Поразительно! — сказал начальник. — Пока я читаю, позвоните, пожалуйста, в справочную и попросите девушек подсчитать, сколько в нашем городе Валер.

— Валер?..

— Да, да. Зацепочек...

Комиссар снова ссутулился над листами, старательно разбирая строчки.

Хорольский, осторожно прокашлявшись, набрал-таки справочную. Его долго футболили там, в справочной, от стола к столу, он тихо оправдывался, настаивал, умолял, но в тоне его уже не было ни презрительного невнимания, ни иронической покровительственности.

«Во учит! — с уважением подумал о комиссаре Ковалев. — Мозги вправляет — будь здоров!..»

А комиссар Белоконь невозмутимо изучал «дело». И, поглядывая на него, Хорольский страдал и мучился:

— Ну почему же невозможно? Ну я прошу вас. Лично прошу... По каким признакам? Ну хоть от 16 до 26 лет пока... Ну хоть приблизительно...

Начальник закрыл папку и забарабанил по ней пальцами. Потом снял очки, долго тер усталые глаза.

— Ну, как там зацепочка?

— Сейчас.— Хорольский напряженно слушал, что ему бубнят с другого конца провода.— В общих чертах, конечно... Сколько?..— И тихо положил трубку.

— Так сколько же «в общих чертах»?

— Что-то там... за двадцать тысяч...

— Прекрасно,— сказал комиссар.— Вот и займитесь: как раз к пенсии и закончите. Если вас с работы не попрут.

— Товарищ комиссар, я полагаю бы...

— Полагать буду я.— В голосе Белоконя прозвучало такое стылое железо, что младший лейтенант на всякий случай съезжился.— А вы со всей прытью, присущей вам, вернетесь в свой кабинет и от имени милиции принесете девушке извинения. Затем лично проводите ее до выхода из управления, еще раз попросите прощения и улыбнетесь, как заслуженный артист. Понятно?

Хорольский угнетенно кивнул.

— Исполнив это, пройдете к начальнику следственной части и доложите ему, что я приказал не допускать вас до самостоятельной работы вплоть до моего особого распоряжения.

— Товарищ комиссар...

— Может быть, это научит вас ценить советы старших, Хорольский. Идите.

— Есть...— трагическим шепотом сказал Хорольский.

Тут он повернулся и глаз в глаз столкнулся с младшим лейтенантом. Замер, а потом, усмехнувшись, вскинул голову и так и вышел, заставив Ковалева сокрушенно вздохнуть.

— Чего пыхтишь? — недовольно спросил Белоконь.— Сделал доброе дело и стесняешься?

— Наклепал, получается.

— Наклепал?.. А я-то думал, ты слабого защитил и тем самым исполнил свой служебный долг. Эх, Семен Митрофанович, товарищ младший лейтенант, не тем твоя дурь мучается. Двадцать лет прошло, как мы с тобой в милиции служим, дети уж внуков мне надарили, а ты у меня дома так ни разу и не был. Не посетил. А почему? А у тебя на все один ответ: «Не положено». Сделаешь доброе дело и больше всего на свете боишься, что тебе за него спасибо скажут. Так, Семен Митрофанович?

Ковалев не ответил. Он пересел поближе к комиссарскому столу, заставленному ручками, и о чем-то старательно думал. Комиссар улыбнулся ему и достал из папки приказ.

— Уходит в бессрочный отпуск младший лейтенант Ковалев Семен Митрофанович. Очередной «дядя Яша» — бабь-

ем руганный, шпаной битый, бандитами стрелянный — покидает пост. Проводы тебе надо бы устроить, а, товарищ младший лейтенант? Торжественные проводы с пионерами в красных галстуках...

— Я вот чего думаю, товарищ комиссар,— перебил Семен Митрофанович вдохновенную речь начальника.— Я думаю, что по справедливости за оскорбление женщины надо бы вдвое, а?.. Или нет, не вдвое даже — впятеро. Обругал женщину плохими словами — три года. Ударил — пять, а то и все десять строгого режима. Потому что, товарищ комиссар, девушку обидеть просто, это как игрушку сломать. А как ей потом, сломанной-то, детишек собственных воспитывать? Как в глаза им глядеть, когда об ее собственную гордость сволота грязная ноги вытерла? Согнуть легко, а распрямиться как? Как ей распрямиться потом, если согнули? Нет, товарищ комиссар, не одинаковые мы с женщинами, и поэтому кодекс надо менять. Надо про охрану женщин, а особо девушек и гордости ихней, отдельные статьи ввести. И поначалу, пока не привыкли, построже! И потом...— Семен Митрофанович вздохнул.— О скидке, может, подумать?

— Какой скидке?

— Ну, чтоб девушкам, которые на производстве хорошо работают, было бы облегчение. Скажем, раз в год сапожки на меху по казенной цене. Или там пальтишко какое. Ведь не обеднеем же мы от этого, ведь богатая же у нас страна, и можем мы красоту свою одевать достойно жизни...

Комиссар улыбался уже от уха до уха, и Ковалев, наткнувшись вдруг на эту улыбку, замолчал и застеснялся.

— Ликург,— сказал Белоконь.— Тебя бы в Верховный Совет.

— А все равно так будет. Не может быть, чтобы так не было.

— Наверно, будет,— вздохнул комиссар.— Кто ее знает, что завтра-то будет. А вот сегодня... Сегодня мне приказ о твоей отставке подписывать, Семен Митрофанович. Если, конечно, ты не передумал за это время.

— Нет, не передумал, товарищ комиссар. Семью уж в деревню отправил, уж сыновья ждут там. И внученька.

— Стало быть, подписывать?

— Подписывайте.

— А ко мне домой зайдешь?

— Зайду,— серьезно пообещал Ковалев.— Как только служить перестану, так и зайду. Как только прикажете.

— Завтра,— сказал комиссар.— Даю тебе денек на закругление всех дел, а с ноля часов ты, Семен Митро-

фанович, человек вольный. И поэтому жду я тебя у себя дома завтра к девятнадцати часам. Выпьем?

— Выпьем.

— Молодость вспомним?

— Вспомним, товарищ комиссар.

— И бой на Соловьевой переправе в августе сорок первого тоже вспомним... Хотя про это рассказывать мы не будем. Про это, Семен Митрофанович, у меня в доме все знают. Наизусть.— Комиссар взял знаменитую ручку, осмотрел ее, прицелился и еще раз спросил: — Так подписывать?

— Подписывайте, товарищ комиссар.

— Рука свинцом наливаются, Сеня, веришь? — вздохнул комиссар.— Словно моя собственная половинка на пенсию уходит...

И размашисто расписался...

#### 4

Назад Семен Митрофанович возвращался городским транспортом: сперва трамваем, а потом пять остановок автобусом. Транспорт этот ходил плохо, а очередей граждане не соблюдали и кидались все скопом. Этого младший лейтенант не любил, но особо на людей не сердился: сердиться надо было на транспорт. Но за передней дверцей следил ретиво: подсаживал бабок да мамаш, помогал инвалидам и решительно гнал тех, кто поздоровее. И сам правом своим — правом входа с передней площадки — никогда не пользовался. Силенка еще имелась, а за бока не боялся: с народом потолкаться никому не обидно. Наоборот даже: приглядеть можно было, чтоб не выразался никто, чтоб женщин не обижали, чтоб какой-нибудь патлатый на инвалидном месте не развалился. За этим он всегда особо смотрел.

Вот так час с лишком потолкавшись в трамвае да автобусе, он и прибыл в собственное отделение. Доложил, как положено, что приказ завтрашним днем оформлен, и получил эти последние сутки службы своей в личное распоряжение для закругления дел.

— Акт прощания завтра организуем,— сказал начальник.— Прощание, Семен Митрофанович,— итог службы вашей. Венец, можно сказать...

Насчет венца Ковалев не очень понял, поскольку речь для него шла все-таки об уходе на пенсию, а не о свадьбе. Но начальник был человек образованный и, значит, знал, что говорил.

В курилке, а от начальства он сразу в курилку подался, никого не было: то ли ребята на задания разошлись, то ли на обед. Но Семену Митрофановичу это даже понравилось: он неспешно закурил и достал распухшую от записей, вкладок и справочек записную книжку.

Многое в этой книжке хранилось: жизнь его четырех кварталов. Не та жизнь, которую каждый напоказ выставляет, не витринная — нутряная. Жизнь дворов и подъездов, лестничных клеток и общих коридоров, осенних вечеров и весенних ночей. Нет, не ошибки людей фиксировал младший лейтенант в своей книжечке, не оговорки их, не досадные оплошности — он доброе в них искал. В самом отпетом пропойце, в каждой свихнувшейся потаскушке он искал тот кремешок, из которого можно было бы вышибить искру. И если находил, радовался безмерно и уважал тогда этого человека. А уважая, не жалел: вышибал искру...

Книжечку эту с бесценным ее содержимым он намеревался Степешко передать. Степану Даниловичу Степешко, старшему лейтенанту, который принимал от Семена Митрофановича его разностильные кварталы. Данилыч был солиден, нетороплив, хотя и молод: только-только за тридцать перевалило. Вот эти три обстоятельства да еще старательно скрываемая Степешко доброта и решили выбор младшего лейтенанта Ковалева. Долго он к Данилычу присматривался, а раскусив, пошел к начальнику и попросил разрешения передать участок в степешковские руки: «Серьезный человек».

Потом он неторопливо водил Степана Даниловича из квартиры в квартиру: знакомил. Знал, с кем пошутить можно, а на кого бровью шевельнуть, где чайку попить, а где и отказать:

— Права не имеем. На посту находимся, извините, конечно...

Месяц ходили, пока Степешко со всеми не перезнакомился. Хорошо он знакомился, уважительно, себя не теряя. Но Ковалеву особо то понравилось, что Данилыч свою тетрадку завел. Что он там в ней писал, неизвестно, но раз писал, значит, примечал, значит, положил глаз на эти кварталчики, значит, не сиротами они останутся после ухода Ковалева. А это очень важно, когда после тебя не пустое место остается, не бабьи ахи да воспоминания, а дело, тобою начатое. Очень это важно для совести и спокойствия души.

Об одном жалел Ковалев: нельзя было сегодня кварталы те Степану Данилычу передать. В госпитале лежал Данилыч: неделю назад компанию пьяную просил разойтись



подобру-поздорову. Тихо просил, спокойно, а очнулся в госпитале: бутылкой сзади ударили. Так просто ударили — и все. Для смеха.

Но госпиталь Семен Митрофанович на завтра планировал. Навестить товарища, доложить, что в кварталах слышно, и книжечку передать. Для изучения. А уж потом, после этого последнего служебного дела, затянуться в мундир потуже и первый раз в жизни прийти в гости к товарищу комиссару Белоконому. Впервые за тридцать лет дружбы...

А сегодня следовало последний обход по кварталам сделать. Выборочно, конечно: с кем — попрощаться, кого — предостеречь, кому — погрозить маленько. Грозить тоже приходится, чего уж. На то у милиции и права, и власть, и авторитет, и сила. И пока младший лейтенант Ковалев не стал просто гражданином Ковалевым, он этот авторитет, власть эту и силу в своем лице повсеместно представлял. Всегда помнил об этом и гордился.

И сейчас, сидя в курилке, он книжку свою в который уж раз перечитывал, припоминал и выводы делал. И помечал, к кому когда зайти следует и в какой последовательности...

«17 февраля. У дома № 16 группа: Самсонов Олег, Нестеренко Владимир, Кульков Виталий и двое неизвестных наносили оскорбление словом гражданке Тане Фролкиной и бросались в нее снежками.

Проверить: почему Таня смолчала».

«18 февраля. Мать говорит: Таня два раза не ночевала дома, три раза приезжала на такси и — выпивши. Кто-то купил ей сумочку и платок. Потому тогда и смолчала: значит, стыд».

«23 февраля. Проведена беседа с гр. Таней. В праздник Советской Армии напомнил ей о покойном отце, героически умершем от фронтовых ран. Заплакала хорошими слезами...»

Нет, к Тане можно было не ходить: Таня вышла замуж, Таня счастлива, Таня девочку родила. А где человек счастлив, там милиции делать нечего...

«Кульков Виталий выпивает после работы, а в субботу так напивается непременно. Мать влияния не имеет, а бывший отец проживает в гор. Борисове.

7 марта. Имел беседу о гр. Кулькове Виталие в райвоенкомате. Отнеслись со вниманием...»

В армии гражданин Кульков Виталий. И матери пишет регулярно.

«Гр. Кукушкин, водопроводчик. Пьет и в нетрезвом виде бьет жену. Жена, несмотря, что женщина крупная, от побоев первого родила мертвенького, а второй — мальчик с нервами и детей дичится: видно, стесняется за отца...»

Вот Кукушкиных проведать придется: опять вчера шу-

мел. Придется потолковать по душам, прощупать, вышибить искру: Степешко легче работать будет...

И так — листик за листиком — продумал он весь свой талмудик. Каждую запись прочитал как бы наново и за каждой такой записью увидел вполне конкретное лицо со своим взглядом и норовом, со своим говорком и со своими родимыми пятнышками...

Но до обхода этого прощального Семен Митрофанович все же плотно пообедал. Человек он был дальновидный и понимал, что одним чайком сегодня может не обойтись. Ну, а по сытому состоянию и от чарки легче отказываться, и опять же не так она, чарка эта, воздействует, если отказаться все же не удастся. Исходя из этого младший лейтенант купил в гастрономе две пачки пельменей и пошел домой.

Квартира у него была двухкомнатная — тесновато, конечно, для семерых-то, что и говорить, — но зато с большой кухней. В кухне на казенном, списанном по дряхлости диване спала старшая дочка, Полюшка — та, что внученьку ему подарила нежданно-негаданно. Тихая девочка была, войной пришибленная — оттого, может, и не задалась у нее пока жизнь. Но Семен Митрофанович в справедливость свято верил, а потому твердо был убежден, что такое доброе да простое сердечко, как у его Полюшки, отогреется еще и счастьем и радостью.

Парни — Колька, Владлен да Юрик — в маленькой комнате жили. Старший — Владлен — уж в армии отслужил, жениться собирался, да все откладывал. А Юрка учился еще. И Юлька училась — младшая самая: она с ними в большой комнате спала. За шкафом.

Юлька да Юрка — его были. Кровные. И хоть никогда, ни единым взглядом не сделал он различия между детьми — своими там или не своими, — а с кровных невольно строже взыскивал. Придирчивей и в смысле дисциплины и в смысле отметок. Но не потому, что его они были, плоть от плоти его, а потому, что не в лихолетье росли, не бурьяном на заброшенной пашне, а в семье, в городе. Сыты были, обуты, одеты — как с таких не спросить?..

В квартире многое их собственными руками было сделано. И не полки да антресоли — это его ребята еще мальчонками освоили и сделали сами всем соседям, — а серьезная мебель: шкафы, тумбочки, скамейки и обеденный стол. Огромный стол, на всех семь человек с простором, со столешницей из строганой липовой доски, которую ножом поскоблишь и — как новая. Настоящий стол: такому ни клеенок, ни покрывашек не требуется — он сам за себя говорит.

И потому столом этим Семен Митрофанович чуточку гордился.

Сейчас на столе ворохом лежали подарки: жене и Полюшке — на платье, Владлену — костюм, Кольке-шалопая — приемник карманный, школьникам Юрке да Юльке — мелочишка всякая. Это все сюрпризом его было, это все он тайком покупал, из собственных карманных денег двугривенные откладывая. Давно он это задумал, сюрприз-то этот, и рапорт только тогда подал, когда кое-что скопил.

Зато теперь дедом-морозом в деревню ехал. И заранее представлял, как они все радоваться будут, как удивляться, как женский состав к зеркалу кинется. И даже как жена его ночью допрашивать начнет, где он столько денег раздобыл, и как заплачет потом — тоже представлял. И улыбался, в сотый раз подарки эти перебирая. Особенно, когда куклу в руки брал: хорошую куклу — ростом с внученьку.

Семен Митрофанович плотно пообедал двумя пачками пельменей, напился чаю с калорийной булкой, со вкусом, неторопливо покурил на Полюшкином диване. В дрему его слегка клонило, но он сладко этак поборолся с ней и вышел победителем. Позевал, потянулся и встал: пора было в кварталы идти. В прощальный, а потому и чуток торжественный обход.

Он даже побрился перед этим походом: так, для порядка, поскольку с утра еще ничего не выросло. Побрился, смахнул с сапог невидимую пыль, почистил щеткой тужурку. Все это делал он неторопливо и улыбался. Себе самому улыбался, удивляясь, до чего же, оказывается, важен был для него этот последний обход, это прощание с людьми, с которыми всегда держался только официально. По-доброму, конечно, по-человечески, но в рамках. Как положено.

Начать следовало с самого трудного: он всегда так поступал, всю жизнь. А трудными для него были семиэтажки — те, с которых до сих пор сыпались архитектурные излишества. Не налаживался с их жильцами у него контакт, хоть и старался Семен Митрофанович его наладить. С одним, правда, все было в порядке, с сорок пятой квартирой, и поэтому сегодня младший лейтенант оставлял ее, так сказать, на закуску.

Понятно, он не всех подряд обходил: некоторых тревожить вообще не стоило, иных просто избегал, а другим только «до свидания» сказать собирался через дверную щель. Но были и такие, не посетить которых он по долгу службы просто не имел права...

В семнадцатой долго не открывали: Ковалев знал, почему, и только усмехался. И звонок давил настойчиво и требовательно: не в гости шел — навещал вполне официально, как представитель власти. Наконец зашаркали там, по коридору.

— Кто?

— Младший лейтенант милиции Ковалев. Откройте, гражданин Бызин.

— А зачем?

— Не тяните: все равно ведь войду.

Зазвякали за дверью: Семен Митрофанович здесь всякий звяк изучил досконально и потому с уверенностью мог заявить, что звякают дверной цепочкой. Потом щеколда брякнула, замок повернулся, и дверь открылась ровнехонько на длину предусмотрительно накинутаой цепочки. В щели показалось круглое лицо: частями, поскольку целиком не вмещалось, и посверкивало на младшего лейтенанта то правым, то левым глазом.

— Нагляделись?

— А к чему это посещение, позвольте спросить? Я не заявлял, не шумел, как некоторые, не скандалил...

— А времечко-то идет, гражданин Бызин. Да. Идет. А мы — стоим. Но я терпеливый, вы-то знаете.

Гражданин Бызин подумал, посверкал на Ковалева то левым, то правым глазом (точно прицеливался), прикрыл на секунду дверь и звякнул цепочкой.

— Терять из-за вас драгоценные свои минуты я не намерен, — сказал он, пропуская младшего лейтенанта в квартиру. — Я воспоминаю пишу о товарищах, о жизни.

Ковалев ничего на это не ответил. Снял фуражку, повесил на крючок, пригладил перед зеркалом седой ежик (сквозь него уж и лысинка просвечивала). А гражданин Бызин, ворча, накидывал тем временем на дверь бесчисленные засовы и крючки. Потом они молча прошли в комнату и сели за стол друг против друга. Бызин хмурился и прятал глаза, а Семен Митрофанович улыбался.

— Ну? — не выдержал наконец хозяин: он все время то потирал, то замысловато сцепливал пальцы. — Так в чем дело?

— А где же ваша машинка?

— Какая машинка?..

— Пишущая. Вот марки, правда, не знаю. Пока.

— Нет у меня никакой...

— Есть. — Младший лейтенант спрятал улыбку и вздох-

нул.— Есть, есть, гражданин Бызин. Та самая, на которой вы недостойные свои анонимки печатаете.

— Какие анонимки? — Хозяин вскочил, метнулся к дверям, вернулся.— Это еще доказать, доказать надо!..

Ковалев неторопливо достал записную книжку и извлек из нее две вчетверо сложенные бумажки. Развернул одну:

— Заявление. От гражданина Бызина Геннадия Васильевича, проживающего там-то. И подпись. Ваша подпись: вы тут насчет внеочередного ремонта хлопчете.

— Ну и что из того? Имею право!

— А вот другой документ.— Семен Митрофанович развернул вторую бумажку.— Письмо в милицию насчет гражданки Ларионовой Ольги Юрьевны. И шпионка она, и фарцовщица, и развратница, и ночи напролет проводит в гостинице «Интурист».

— Правильно! — закричал Бызин, тыкая в младшего лейтенанта двумя указательными пальцами одновременно.— Сам, лично сам видел, как она в ресторане с американцами кривлялась, и штаны на ней в обтяжечку вместо юбки! Я показания могу, я свидетелем...

— Ответчиком, гражданин Бызин Геннадий Васильевич. Ответчиком придется, вот ведь какой факт получается. Письмо-то это вы писали, хоть и без подписи оно. Писали и на машинке отстукали. Думали, шито-крыто все будет?

Гражданин Бызин сорвался вдруг с места и дважды обежал кругом стола.

— Докажите! Нет, вы докажите сперва!

— Так ведь доказано уже все,— спокойно сказал Ковалев.— Все доказано, и не надо вам бегать. Для здоровья это вашего опасно.

Хозяин хотел возразить, но захлопнул рот и, сев напротив, снова стал хрустеть пальцами.

— Была Ольга Ларионова в ресторане, гражданин Бызин. И в гостинице «Интурист» тоже была. И даже с иностранцами встречалась: практику она там проходит, на переводчика учится, и вы этот факт знаете прекрасно. Так зачем же дегтем-то мазать, а?

Хозяин молчал. Открывал рот, набирал полную грудь воздуха, но звуки из горла не выходили. Младший лейтенант вежливо обождал и, не дождавшись, добавил огорченно:

— И таких анонимочек на разных граждан и по разным поводам написано вами восемнадцать штук. И все, извините, липа.

— Что?

— Липа, говорю. Неправда, значит. Или, сказать точнее, клевета.

Семен Митрофанович обстоятельно собрал все бумажки, вложил их в записную книжку, а книжку спрятал в карман. Хозяин по-прежнему отрешенно глядел на торшер возле журнального столика со стопкой старых газет. Ковалев поднялся и, заложив руки за спину, неспешно прошелся по комнате.

— Пыльно живете, гражданин Бызин. Да оно и понятно: в двухкомнатной квартире площадью сорок два квадратных...

— Я заслужил! — вдруг закричал хозяин. — Я честно, себя не щадя, куда велели! Я сорок лет, я...

Он замолчал так же внезапно, как и начал. Ковалев подождал, не добавит ли он еще чего, но Бызин не добавил.

— Я ваших заслуг не отрицаю, — тихо сказал Семен Митрофанович. — Я ведь не о том, Геннадий Васильевич. Я ведь о том, что один вы в этих метрах остались, вот ведь какой факт получается. Дочь у мужа живет, жена — у дочери, а сын ваш с Ольгой Юрьевной Ларионовой в другом конце города комнату снимают. Он по ночам уголь на станции грузит, чтоб за комнату эту платить.

— Сожительствоуют! — Геннадий Васильевич весь подался вперед. — Сожительствоуют, а милиция потворствует?

— И здесь перебор, — строго сказал Ковалев. — Свадьба-то была. Была, гражданин папа, вот ведь какой факт получается. — Геннадий Васильевич молчал. — И откуда в вас злоба-то эта, Геннадий Васильевич? Почему вы никак понять не можете, что молодые по-другому жить хотят, не так, как мы с вами прожили? Веселее, звонче, радостнее. И — я, конечно, извиняюсь — честнее.

Хозяин упорно молчал, уставившись в одну точку. Глаза его были напряженными, будто он что-то ловил, а это «что-то» все время ускользало от него, и он снова ловил.

— Вот тут адресок ихний, — сказал младший лейтенант и положил на стол записку. — Сходите к Ольге Юрьевне, когда сын на работе будет. Она хорошая, умная женщина, она все понимает...

— Что? Что она понимает?! — вдруг странным тоненьким криком перебил хозяин. — Тут сын родной, сын, сын ничего не понимает, сын собственный!.. Разве ж я о себе когда думал? Я ведь и думать-то о себе не умею. Не умею о себе думать и горжусь! Я о государстве нашем, о государстве день и ночь! Всю жизнь за благо его, всю жизнь до часа. Известно это кому? Почему же сын не уважает? Почему? Разве я сам себя когда до чего допускал? Я же

только указаниям следовал, делал, как приказывали! А меня за преданность мою... Меня, меня, который, который...

Он скорчился, спрятал лицо в ладонях, повел плечами, сдерживая слезы, и не сдержал: всхлипнул. Семен Митрофанович горестно вздохнул, покачал головой:

— Где у вас капельки?

— Не надо... капелек,— шепотом сказал Бызин, ладонью растирая слезы.— Плохая молодежь, плохая. Развращенная. И отцов не чтит, заслуг их не уважает. Уголь грузит? Дурак! Пусть грузит, пусть!.. Небось, когда прижмет, прибежит. Прибежит ко мне, прибежит!..

— Нет,— сказал младший лейтенант.— Не прибежит. Не обманывайтесь.

— Да?..

— Да. Так что свыкнитесь с этим и не завидуйте другим.

— Это я-то? Я?.. Завидую?..— Бызин с изумлением глядел на Ковалева.

И замолчал. И изумление на его лице словно окаменело, словно вдруг внутрь обернулось, в самого себя.

— Не завидуйте, Геннадий Васильевич,— тихо повторил младший лейтенант.— А сейчас попрощаться с вами решите. Здоровья вам пожелать и спокойствия души. Очень это важно на старости лет — спокойствие души. Очень.

Прошел в коридор, долго надевал фуражку, топтался: слушал, как там хозяин. А тот все что-то не появлялся. Потом вышел, глянул на Ковалева, как на фонарный столб, и молча стал отпирать затворы. И так же молча на место все крючки накинул, когда Семен Митрофанович вышел на лестничную клетку.

Давно уже замер звук последней задвинутой щеколды, давно прошаркали по коридору шаги, а Ковалев все еще стоял перед наглухо заложеной дверью — последней цитаделью, куда отступил этот так ничего и не понявший в жизни старик. Стоял, вздыхал и расстроено думал, что не так он провел свой последний разговор, как следовало. Ох, не так!..

## 6

С этим неприятным осадком он спустился вниз, пересек двор и поднялся на пятый этаж последнего подъезда. Поднимался он не торопясь, с одной, правда, остановкой, потому что строители этих семиэтажных ампиров забыли предусмотреть в подъездах лифты. Однако Семена

Митрофановича раньше это как-то не очень заботило, и только сегодня пришлось-таки вспомнить, что на пенсию он уходит не по собственному капризу. Поэтому у нужной ему квартиры он задержался дольше обычного, чтобы отдышаться и разговаривать голосом, положению его соответствующим. И пока он одиноко пыхтел на пустой лестничной площадке, вздыхая и сокрушаясь; что по таким пустякам время теряет, вдруг показалось ему, что за дверью, перед которой он стоял, ясно и весело прозвучал девичий голос. Слов Семен Митрофанович не разобрал, но голос... голос узнал сразу: насчет этого слух у него был в полном порядке. Воробьихи той голос-то был, девчонки, с которой он вместе ехал сегодня в служебном «газике».

А вот того, ради кого младший лейтенант сейчас перед дверью пыхтел, того совсем не Валерием звали, а Анатолием. И никаких Валер в друзьях его вроде никогда не числилось, как Ковалев ни пытался припомнить...

Но это так, на всякий случай в нем промелькнуло. Просто для уточнения, да и голос при всем его милицейском слухе мог вполне свободно другой птахе принадлежать и совсем, может, не воробьихе даже, а голубке или лебедушке. И младший лейтенант, усмехнувшись про себя этому соображению, нажал кнопку звонка.

Он только прикоснулся к ней — так ему показалось, — а дверь вдруг словно сама собой распахнулась, и на пороге оказался хозяин: в белой рубашке, хоть, правда, и без галстука.

— Ну, ты — молоток, старик! С космической ско...

Все это он выпалил бодро и радостно, но, увидев, кто стоит перед ним, осекся, сглотнул полслова и — онемел. Но Семен Митрофанович не глядел на него: он через плечо его смотрел в глубь коридора и слово был готов дать самое твердое, что мелькнула там, в глубине, легкая фигурка. Мелькнула, как видение, точно ветром снесенное, и все-таки Ковалев засек и худенькие плечи, и совсем по-особому вздернутую голову воробьихи...

— Простите, — растерянно бормотал Анатолий. — Спутал. Друг обещал заглянуть. Думал, он...

Пока шло это необязательное лихорадочное объяснение, Семен Митрофанович оглядывался. Видение, в котором он точно узнал свою недавнюю подопечную, уже скрылось где-то в недрах огромной квартиры, но у самого порога остались небрежно сброшенные модные туфельки: лак на одном был чуть поцарапан. Все это младший лейтенант успел разглядеть, пока Анатолий многословно и непривычно вежливо объяснял свою ошибку. И разглядеть успел и даже



про себя усмехнулся, вспомнив, откуда царапина на туфле: девчонка в «газике» ноги под сиденье записывала, пряча от него обновку...

— Вежливый ты сегодня, Анатолий.

— Я вообще вежливый.— Парень неопределенно пожал плечами, выдавил улыбку, как пасту из тюбика, и впервые рискнул поднять на Ковалева глаза.— Меня вежливости еще мама с папашей...

— А сейчас где они?

— На даче...— Анатолий как-то странно усмехнулся.— А зачем вы спрашиваете? Вы же и так все знаете.

А глаза были блудливы, как мышцы: то ли боялся, что младший лейтенант родителям про девчонку расскажет, то ли еще чего-то боялся, посерьезнее. И в квартиру не пускал, явно не пускал, стоя на пороге. И еще — спешил. Спешил куда-то, слова без оглядки роняя. Пустые слова: не для разговору — для болтовни.

Обо всем этом младший лейтенант думал как-то сразу, в целом, не отделяя причин от следствий да и не ища их сейчас. Он по опыту знал, что хуже нету, как причины да следствия с ходу устанавливать, и поэтому, все замечая, выводы делать опасался. Выводы завтра сделать можно будет, в госпитале, вдвоем с Данилычем.

— Жалуются на тебя, Анатолий.

— Что?.. Кто?

— Так и будешь меня в коридоре держать?

— А... Извините.— Анатолий отступил в сторону, предупредительно распахнул ближайшую дверь.— Прошу.

И это было не совсем обычно, потому что — Семен Митрофанович все эти квартиры, весь строй их и быт давно наизусть знал, потому что прежде его всегда в большой комнате принимали, в столовой. А это была папашина комната: сюда самому Анатолию и то был вход заказан.

А сегодня — и дверь нараспашку, и это Ковалев тоже запомнить постарался.

Комната была маленькой: дворцы эти лишь снаружи роскошно выглядели, а внутри только лестничные клетки соответствовали внешнему виду. А комнаты в каждой квартире были на редкость неудобными, и эта, хозяйская, была более схожа с кладовкой, чем с жильем человеческим: свету в ней было мало, дверь — велика, да и барахлишка здесь скопилось тоже предостаточно. И барахлишко-то странное было, очень странное: громоздкое, старое, неудобное, широкозадое какое-то.

— Присаживайтесь,— сказал Анатолий.— Можете заку- рить.

«Советский Союз»,— подумал Ковалев.— Сорок копеек пачечка...»

И сказал:

— А закурить-то у тебя найдется?

Парень хлопнул по карману, метнулся к дверям:

— Сейчас!

Услужлив он сегодня был, ох, услужлив! И вежливостью от него несло, как одеколоном из парикмахерской...

— Вот, пожалуйста.

«БТ». Младший лейтенант даже обрадовался, что другие оказались сигареты. Почему обрадовался, и сам понять не мог, но обрадовался.

И закурил, хоть от сигареток этих в горле у него першило.

— Жалуются на тебя соседи, что нарушаешь ты постановление горсовета.

— Какое постановление?

— Насчет шумов. Магнитофон у тебя больно зычный, Анатолий. На весь квартал хватает.

— Так ведь музыка. Искусство, товарищ младший лейтенант.

Осваивается понемногу, раз об искусстве заговорил. Значит, страх проходит. Перед чем же страх-то был? Что его напугало?

— Искусством, согласно постановлению горсовета, заниматься можно до двадцати трех часов. А потом — конец всякому искусству. Ясно?

— Усвоил.

— Если бы ты песни красивые играл, тогда бы и нареканий не было. А у тебя будто режут кого. Орут какие-то нетрезвые на иностранных языках. И орут громко.

— Вы попутно и эстетике обучаете?

— Попутно.— Ковалев поднял палец.— Именно что попутно, Анатолий. Это ты умно сказал.

И замолчал. Пыхтел себе сигареткой, разглядывал громоздкие комоды и ждал. Видел, как Анатолия вдруг в краску кинуло, как закурил он...

— А что вам, собственно, нужно? Неужели ради магнитофона этого?..

Не выдержал. Брякнул с нервов и замолчал. Проболтаться боится, что ли?

— Попутно,— повторил Семен Митрофанович.— Магнитофон — это попутно. Веткиных знаешь?

— Не знаю я никаких Веткиных!..

Громко слишком выкрикнул. Слишком громко.

— Среди прочих вещей, что взяли у них, туфли лаковые

числились. Иностранного производства туфли: дочка их за границей купила и у родителей на хранение оставила. —

— Ну и что из того? — грубо перебил Анатолий. — Мне-то что до этих туфель заграничного производства?

— А то, что они у тебя в передней стоят, эти туфли.

Это он спокойно сказал, размеренно. Сказал и ждал, что будет. Вскочит Анатолий, закричит, покраснеет — что?.. Что-то должно было произойти, потому что туфли эти он видел собственными глазами и сейчас по первой реакции парня должен был понять, знает ли сам Анатолий, что туфельки эти — ворованные?..

И промахнулся. Позорно, как первогодок несмышленный, опечатку допустил. Крупнейшую опечатку!..

Не вскочил Анатолий. Не закричал, не покраснел — спросил. Спокойно спросил, улыбаясь:

— Какие туфли, товарищ младший лейтенант?

Все понял Семен Митрофанович. По глазам, по чуть прорвавшемуся торжеству, по спокойствию. И поэтому снял этот вопрос с повестки как неоправданный:

— Шучу я, Анатолий. Шучу!

Встал, пошел к двери — Анатолий и здесь поспел предупредительно распахнуть ее. Вышел в коридор, стрельнул по полу глазами: все правильно. Тю-тю туфельки те вместе с ножками! С приветом, как говорится!..

— Вместо меня теперь будет Степан Данилыч Степешко, — официально сказал Ковалев. — Ты уж не беспокой его нарушениями, ладно? Как-нибудь до двадцати трех укладывайся в рамки.

— Уложусь.

— Ну, счастливо тебе, Анатолий. — Шагнул к дверям, обернулся вдруг. — А ведь туфельки-то были. Были, Толя, вот ведь какой факт получается. Так что учти. Если умный.

И вышел. Нарочно быстро вышел, чтоб парень наедине с его последними словами остался. Очень это сейчас было важно: оставить его наедине с этими словами.

А сам во второй дом направился: из семиэтажек — второй. И пока шел, улыбался: перехитрила его, старого волка, молодежь эта магнитофонная. Провела да вывела без стука, без шороха, пока он над собственными планами потел. Ну, и правильно сделала: не держишь ногу — выходи из строя. Еще одно доказательство, что в самый цвет он рапорт подал. В самый раз, в яблочко.

Нет, не верил он, что Анатолий в квартирной краже замешан. Ну, задирист парень, ну, нагрубить может, ну, старших не почитает, ну, с девчонками там, с винцом замечен — так ведь от этого до уголовщины никакая ни-

точка не ведет. Совсем это разные вещи, и под один параграф ставить их не следует: ошибочно это. Да и по характеру Анатолий не из тех, что в капезе, как в собственную квартиру, приходят. Он ведь не милиции боится, он запачкаться боится и, значит, именем своим дорожит. А это тормоз надежный.

Однако воробыха была у него? Вроде была. Туфли на полу в прихожей лежали? Лежали. Без всяких «вроде»: точно лежали. И ждал Анатолий кого-то, с нетерпением ждал. Кого, спрашивается?

## 7

Вопросы эти в книжку он заносить не стал, а решил при встрече ознакомить с ними Данилыча. Не просто ознакомить: обсудить. Насчет профилактики и девчонки этой. Воробыхи...

— Не заперто! Входите!

Он и не заметил, как к Агнесе Павловне постучал.

Вошел, снял фуражку, крикнул в гулкую квартиру:

— Добрый день, Агнеса Павловна! Это из милиции к вам. Семен Митрофанович.

— Ну, что там еще? Погодите, оденусь!

Усмехнулся Ковалев: то не заперто, то погодите. Странный народ, женщины одинокие!

Агнеса Павловна в тридцать овдовела, красивая бабенка была, тугая, ядреная, и все соразмерно, ничего не скажешь. Завидная вдовушка: и квартира, и дача, и машина, и в самом соку. Однако тогда она не спешила. Тогда она так считала, что лучше быть вдовой профессора, чем женой аспиранта. И жила, не задумываясь, точно раскручивала много лет назад взведенную пружину. Без оглядки жила, словно на бегу. Ну, а теперь... теперь добежала. Теперь ей самая пора была к месту причаливать, на якорь становиться, а якоря-то этого в наличии и не имелось. О якоря своевременно заботиться следует, и умные люди его загодя подбирают...

— Входите!

Дух в большой комнате стоял, точно в милицейской курилке под утро. И окурки везде понатыканы: в пепельницах, в тарелках, в цветах. И рюмки невымытые на столе и бутылки пустые: хороший кавардак здесь вчера устраивался, на всю катушку...

Младший лейтенант первым делом окна настежь распахнул, чтоб выдуло весь этот кабацкий дух к чертовой

матери. Тут Агнесса Павловна вошла — в пестром халате, зеленая то ли с пересыпу, то ли с перекуру. Сказала безразлично:

— А, это вы...

Плюхнулась в кресло, схватила сигарету. Семен Митрофанович ждал у окна, пока она в соображение войдет. Ждал, глядел на измятое, безжизненное лицо этой еще совсем нестарой женщины, на дрожащие пальцы и жалел ее. Раздраженно жалел, душой чертовой про себя ругая.

— Хотите кофе, Семен Митрофанович? Я вам по-особому сварю: меня композитор один научил.

— Это потом, спасибо. Тихо вы вчера гуляли.

— При закрытых окнах.— Она усмехнулась.— Цените, Семен Митрофанович.

— Ценю,— серьезно сказал он.

Не отшутился: правду сказал. Он уважал ее, беспутную, добрую и очень одинокую. И она его уважала: вся гульба здесь втихую шла, за тяжелыми шторами, чтобы ему, младшему лейтенанту Ковалеву, поменьше было беспокойства.

— С прошедшими именинами вас.

Она покивала. Потом вдруг улыбнулась, даже глаза чуть ожили.

— Учтите: мне — тридцать девять, и ни на один день больше!

Сорок три ей вчера исполнилось, но точность здесь была ни к чему. А вздохнул Семен Митрофанович по другому поводу:

— Себя бы пожалели.

Всерьез сказал, и не во исполнение параграфа — от души. Сроду бы он никогда себе не признался, что... Ну, да что уж там: он милиционер, а она — кофе с композиторами... Да и потом, усмехнулся Ковалев, ему завтра на пенсию, а ей вчера — тридцать девять, и ни на один день больше. И вздохнул:

— Пожалели бы вы себя, Агнесса Павловна!

— А!..— Она беспечно махнула рукой, сигарета немного привела ее в чувство.— Так как же насчет кофе?

— Кофе?..— Он прошел, сел напротив.— Это потом. Сами выпьете. Я ведь просто так зашел. Попрошаться зашел, точнее сказать.

— Попрошаться? Уезжаете куда?

— Уезжаю, Агнесса Павловна. Совсем уезжаю, потому как с ноля часов выхожу на пенсию.

— На пенсию?..— Она встала, глядя на него и вслепую тыкая сигарету в пепельницу.— Семен Митрофанович, дорогой, вы шутите так, да?

— Нет, не шучу. Сдаю участок новому товарищу старшему лейтенанту Степешко Степану Даниловичу. Мы с ним заходили к вам, да вы аккурат на даче были...

Она вдруг бросилась к столу, зазвенела бутылками:

— Черт!..

— Что вы там, Агнесса Павловна?

— Погодите!..

Зло сказала, с сердцем и вышла так стремительно, что полы халата крыльями взлетели в воздух. И вернулась быстро: Ковалев даже подивиться не успел, куда это ее унесло. Притащила початую бутылку коньяку и две чайные чашки: остальная посуда, видать, вся грязная была.

— Не все вчера вылакали.

Плеснула в чашки.

— Не надо,— сказал он.— Я при исполнении, а у вас печень больная. И ночь вы не спали и курили много...

Он замолчал, потому что увидел вдруг, что из глаз ее медленно, одна за другой текут слезы. И она их не вытирает, а только моргает часто.

— Семен Митрофанович! — Она глубоко вздохнула.— Семен Митрофанович, дорогой мой, вы же один-единственный во всем свете ко мне по-человечески относились... Нет, нет, вы не говорите ничего, вы помолчите, я говорить буду. Вы меня от всех этих баб, от всех этих Бызиных, от склок, сплетен, дрязг вот уж сколько лет грудью своей прикрываете. Если бы не вы, сожрали бы они меня. Сожрали бы, Семен Митрофанович, сожрали!.. Вот почему...— Она помолчала, улыбнулась.— Реветь хочется, понимаете? Но это так, это пройдет...— Агнесса Павловна вдруг совсем по-девичьи шмыгнула носом.— Живу я беспутно, глупо, пошло живу — это я все понимаю. За это и наказана: ни семьи, ни детей, ни внуков — пустота впереди. И вы, вы один поняли, что мне... мне... Ну, скажите, что мне, Семен Митрофанович. Скажите на прощание.

— Страшно вам, Агнесса Павловна,— тихо сказал Ковалев.— А особо по ночам страшно, и потому вы ночей одиноких боитесь и себя губите, гостей со всего города созывая...

— А теперь и вы уходите,— перебила она.— Так будьте хоть вы счастливы, дорогой мой человек! Будьте счастливы среди детей и внуков: уж кто-кто, а вы заслужили это.

Она залпом выпила коньяк,хватила чашкой об пол: только осколки брызнули.

— На счастье!.. А сейчас уходите. Уходите, Семен Митрофанович, а то я так реветь начну, что не обрадуетесь!

— Хорошо.— Он аккуратно поставил чашку, пошел к

дверям.— Я вас Данилычу передал, Агнесса Павловна, так что не волнуйтесь. Данилыч — человек очень серьезный...

— Не надо меня никому передавать. Не надо: я ведь не деревянная.

— Тогда...— Он потоптался, обдумывая, следует ли ей говорить то, что только сейчас пришло ему в голову.

— И говорить ничего не надо,— сказала она.— Не надо, пожалуйста, не надо: этак и до пошлостей можно договориться.

— Я к вам завтра зайду, Агнесса Павловна. Завтра в десять утра.

И вышел. И пока шел в следующую квартиру, все думал о том, что пришло ему вдруг в голову и о чем он завтра собирался беседовать с Агнессой Павловной.

А пришло ему в голову уговорить Агнессу Павловну бросить эту забубенную жизнь. Оставить город, продать дачу, а вместо нее купить дом в том селе, в котором он сам намеревался жить. Там бы она уж никак не была бы одинока, там бы вокруг нее живо бы завертелись и бабенки и ребятишки, потому что в сельской местности на культурных людей голод стоит великий, а Агнесса Павловна когда-то кончила музыкальное училище и играла на пианино. Да и кроме пианино, кроме бесед да лекций, многим она могла привлечь детвору, потому что детвора — она доброту аж за восемь верст чует и платит за нее червонной любовью. А в доброте Агнессы Павловны Семен Митрофанович не сомневался: он доброту в человеке тоже за восемь верст чуял...

Основная трудность в том была, что надо было как-то завтра к этому вопросу подойти. Тут ведь не в словах дело заключалось — слова у нас одни на всех выданы,— тут основное, как эти слова сказать. Как не обидеть, не задеть, как согреть ими человека. Согреть — он об этом всегда думал, потому что мерзнет душа человеческая при центральном отоплении, мерзнет, льдинкой покрывается, и всегда надо стараться так сделать, так сказать, чтоб от льдинки той только роса осталась. Роса — это ничего, это хорошо даже. Роса — она освежает...

Шел старый милиционер по крутым лестницам, потел в грубой тужурке, отдувался на площадках и думал. Думал, как ему завтра росу эту в душе прокуренной пробудить...

И только перед знакомой дверью думы эти временно в сторонку отложил. Поправил фуражку, тужурку одернул, проверил, на месте ли галстук: словно не к жильцу шел, а к самому комиссару товарищу Белоконову, который ждал Семена Митрофановича завтра ровно в девятнадцать часов. Но уж очень уважал Семен Митрофанович этого жильца, очень уж разговаривать ему с ним приятно было, и поэтому младший лейтенант Ковалев к встрече всегда готовился строго.

А зауважал он его поначалу от удивления. Давно это было: он тогда только-только с домами этими знакомился и в эту квартиру позвонил по долгу службы. Времени было аккуратно половина пятого, но хозяева чай пили, и ему пришлось приглашение к столу принять: чай — не водка, инструкция не препятствует. Хозяин и тогда был не молод (сейчас-то совсем уж облез и побелел!). Далеко не молод, а улыбался, как молодой, — глазами. Младший лейтенант представился как положено...

— Митрофанович? — Молодо глаза улыбались, озорно. — Воронежский, значит?

— Точно, — растерянно подтвердил Ковалев. — Как угадали?

— Это теперь гадать приходится, откуда родом, скажем, Руслан Спартакович: то ли из русской былины, то ли из футбольной команды. А в старые времена в обычае было называться по местным святым: Митрофан — значит, воронежский, Абрам — из Смоленска, Прокоп — из Великого Устюга. И имен в обиходе было куда больше, и толк в них был совершенно особый: не внешний, а внутренний, привязанный к своему месту, к своему роду-племени, к своей истории — не соседской...

С удивления началась их дружба. Семен Митрофанович терялся среди книг, которыми были заняты все стены до потолка. Терялся, слова путал, мямлил чего-то, но хозяин был прост, радушен, и вскоре Ковалев освоился. А освоившись, полюбил это место: старые книги, старую мебель, кабинетную тишину, уют. Но главное, что полюбил, — беседы хозяина. Разговоры он умел разговаривать, вот в чем дело было...

Так было и сейчас.

— Почему люди зло совершают, Артем Иванович? Зло ведь труднее совершить, чем добро, а совершают. И ведь голода нет, одеты все, обуты...



— А по-вашему, Семен Митрофанович, как: человек — добр или зол? Человек вообще?

— Вообще добрый он, Артем Иванович. Он ведь и рождается добрым: дети — они ведь все добрые, они ведь, что такое зло, и не понимают. Просто не понимают — и все.

— А добро?

— А добро понимают. Ведь ребенок, если с ним похорошему, он все свое отдаст. И поможет всегда, сколько сил имеет, без расчета. И слезы-то его первые — от зла. Он не понимает его, зло-то, потому и расстраивается. Нет, не от боли он плачет, Артем Иванович, он от обиды плачет. От обиды, что зло в мире водится, во ведь какой факт получается.

Артем Иванович — маленький, седенький, в золоченых очках — утонул в кресле по самые плечи. Поблескивал острым глазом, обдумывал каждое слово. И угощал чаем с вафлями. Вафли какие-то особенные были: дочка из Москвы присылала.

— Да, мир добр, человек зол — так в старину считали. А рождаются все одинаковыми, и ребенок Гитлер ничем не отличался от любого другого ребенка. А потом стал отличаться. Почему? Очевидно, есть во зле какая-то притягательная сила.

— Нет такой силы, — застенчиво сказал Семен Митрофанович. — Добро — это сила, а зло... Зло, я извиняюсь, конечно, вы человек ученый, зло, Артем Иванович, бес- сильно. Потому бессильно, что души за ним нету. А без души какая же сила?

— Справедливо, Семен Митрофанович, совершенно справедливо. Только припомните, пожалуйста, кого-нибудь доброго из истории.

— Да я ведь насчет истории-то...

— А я, историк по профессии, никого не могу припомнить. Маккиавелли — помню, Игнатия Лойолу — помню, Святополка Окаянного — тоже помню. Даже о Петре Великом думая, я в первую очередь казнь стрельцов вспоминаю. И знаете, почему? Совсем не потому, что зло все- сильно, а потому лишь, что зло есть отклонение от нормы. Зло есть горбатость духа человеческого, уродство его, а уродства, ненормальности, естественно, запоминаются прочнее, чем нечто обыденное. А норма-то для человечества суть добро, и будет время — будет, Семен Митрофанович, будет! — когда норма эта восторжествует окончательно, повсеместно и на веки веков!..

Артем Иванович давно уже о чем-то другом рассказывал — об истории чая, что ли, — а Семен Митрофанович,

хмурясь, старательно обдумывал его слова. И чем больше думал над ними, тем все больше не соглашался и страдал.

— Я извиняюсь, конечно, очень, — опустив голову, тихо сказал он. — Вы человек ученый, вы книг вон шесть стенок прочли, а только очень я с вами, Артем Иванович, не согласен. Не обижаетесь?

— Помилуйте, Семен Митрофанович...

Семен Митрофанович осторожно откашлялся. Ему очень хотелось закурить, но хозяин был некурящим.

— Насчет того, что добро — нормальное дело, это я не спорю. Это все — правда чистая, тут я под любым вашим словом по два раза подпишусь. Только, как бы сказать... Причину-то вы не вскрыли, Артем Иванович. Говорите, у злого душа горбатая. Верно, горбатая, а отчего? По какой причине?.. Кто душу-то его с печки уронил? Нет ответа. А душа — она ни с того ни с сего горбатой стать не может. Тут причину надо иметь, вот ведь какой факт получается.

— И что же, Семен Митрофанович, нашли вы эту причину?

— Думается мне, нашел. — Младший лейтенант еще раз кашлянул, вздохнул поглубже. — Злой — он что такое? Он брать все любит. Он под себя все подминает, о себе лишь заботится, а на остальных ему, я извиняюсь, наплевать. А добрый — он как раз наоборот, Артем Иванович. Он потому и добрый, что о себе не думает, что о соседе страдает, что готов рубаху с себя последнюю снять. Давать и брать — вот что значит добро и зло. И пока давать да брать не сроднятся друг с дружкой, пока не уравниются, до тех пор и зло с добром рядышком шагать будут. Рядышком по жизни.

— Значит, вы считаете, что всеобщая экономическая уравниловка способна ликвидировать эту извечную проблему?

— Нет, не считаю я так, Артем Иванович. Конечно, экономика — это могучий, как говорится, фактор, только не в ней одной дело. Экономика — это возможности: ну, купить там что, так я понимаю. А кроме купить, у человека еще желаний-то ой-ой! Он и славы хочет, и почета, и удобства жизни, и прав со всеми равных. Он брать все это хочет, а он давать должен, вот в чем вся штука-то. Сейчас какой самый главный глагол вредно действует? Брать. А должен какой по всему смыслу жизни нашей? А должен — давать. И пока каждый человек сам это не прочувствует, пока сам не поймет, что давать обязан, до тех пор мы зло не выкорчем. Не искореним, как говорится, Артем Иванович.

— Ну, а рецепт какой пропишем человечеству, Семен Митрофанович? Всеобщее самоусовершенствование, что ли?

— Воспитание, — серьезно сказал младший лейтенант и опять вздохнул. — Плохо у нас этот вопрос заострен, Артем Иванович. Перепутали мы где-то воспитание с учением и до сих пор никак в этом не разберемся. Что должна школа делать? Учить. А семья? А семья — воспитывать. Так почему же арифметике там, письму — этому специалист учит, а воспитание граждан — государственное дело, правда ведь? — мамаше оно поручено. А мамаша от работы, от толчеи магазинной, от корыта, от кухни очумелая вся как есть. Ей не то что воспитанием, ей самой себе лоб утереть некогда, вот ведь какой факт получается... — Семен Митрофанович похмурился, поспеел.

Все, что Ковалев сейчас Артему Ивановичу излагал, не вдруг родилось, не враз надумалось. Нет, Семен Митрофанович любил над жизнью поразмыслить, поворочать ее и так и этак, покантовать с грани на грань. И не просто поразмыслить, не повздыхать над трудностями, а свое предложить. Свое, взвешенное, обсосанное, ночами продуманное решение. Потому что не гостем он себя чувствовал в государстве своем, не винтиком, а хозяином. Хозяином с полной мерой ответственности. И потому решения эти он тоже в книжечку заносил: под особый параграф. И насчет этого параграфа тоже надлежало завтра с комиссаром Белоконем потолковать...

Итак, с семиэтажками, с дворцами этими покончено было раз и навсегда. С кем надо, поговорено, кому надо, указано, а кому просто: прощай, мол, гражданин хороший, дай тебе бог никогда с милицией не встречаться. Трудный это был отрезок, и шел в семиэтажки Ковалев всегда без удовольствия, всегда с напряжением и потому уставал. А когда на работе без удовольствия устаешь, разве ж это работа? Это не работа, это — наказание господне. Каторга.

В этом смысле для младшего лейтенанта роднее всего пятиэтажки были. Жил там народ и попроще, и помоложе, и повеселее. Здесь если уж не любил кто кого, так об этом без всяких анонимок весь квартал знал. Если гулял кто, так и окна настезь. Если спорил, ноль-два звонили. А то и ноль-три случалось...

Но скандалов не было. В целом. Мирным путем конфликты разрешались, а разрешившись, гасли, и вчерашние противники на следующее утро мирно калякали в автобусе по пути на работу. И вот за эту простоту, за отходчивость и беззлобность и любил Ковалев свои пятиэтажки.

Правда, он их напоследок оставлял, на сладкое. А пока, выйдя из семиэтажек, крюк сделал и навесил три оставшихся в его перестроенном районе деревянных домишка. Прежде здесь село было, потом село это само собой в дачный поселок переросло, а в послевоенное строительство влилось в черту города и пошло под бульдозер. Почти все пошло: три дома всего уцелело. Два потому, что в тупике оказались и на место их никто не зарился, а один — под голубой крышей, веселый такой, один Семен Митрофанович сам сохранил. Лично. И крышу в прошлом году сам перекрасил голубой краской. Еле-еле краску такую достал. Нестандартную.

Собственно, понятия «сам», «лично», равным образом, как и «мое», Семен Митрофанович употреблял редко даже в потайных своих мыслях. Стеснялся он этих слов, если за ними не стояло что-либо предосудительное: вина или проступок. Вот тогда младший лейтенант Ковалев громче всех кричал «сам» и «лично», а в прочих случаях предпочитал число множественное. Но домик под веселой голубой крышей как раз и явился причиной столкновения числа множественного с числом единственным, и тут уж младший лейтенант без слова «лично» так и не смог обойтись.

В те времена домик — черный, скособоченный, под ржавой крышей — торчал среди новеньких пятиэтажек, как гнилой зуб среди стальных коронок. С каждым месяцем все ближе и ближе подбирались к нему строители и в конце концов зажали с трех сторон. Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил его на веселом костре, кто-то случайно сгрузил возле входной двери бетонные плиты, а домик стоял упрямо и несокрушимо, и хозяева его по-прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было.

Впрочем, хозяев не было. Была хозяйка. Одна: Мария Тихоновна Лукошина, по-местному баба Яга.

До той поры Семен Митрофанович как-то мало с ней встречался. В конфликты ее с соседями не ввязывался, жалоб на нее со стороны соседей не принимал (зачем жалобы, когда вот-вот люди по разным улицам разъедутся?), в гости не заходил: не приглашали. Дважды, правда, пытался: первый раз аккуратно тогда, когда дома эти принимал, — но оба раза встречали его у дверей два сухих старушечьих глаза, и было в глазах этих что-то такое жесткое, такое неласковое, что младший лейтенант дальше порога и не заглядывал. И по взглядам этим, по угольям горящим

под седыми бровями убежден был, что бабой Ягой старуху эту, одинокую и мрачную, назвали совсем не напрасно.

Второй раз он к ней официально ходил, как представитель, поскольку от строителей поступила жалоба, что старуха уезжать не хочет, домишко ломать не дает и вообще всячески мешает прогрессу на данной улице. Но и в тот день Семена Митрофановича пустили не дальше порога, и разговор поэтому получился на сквозняке.

— Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна?

— Дайте помереть спокойно.

— Но ведь вам предлагается отдельная однокомнатная квартира в новом доме со всеми удобствами. Вы, Мария Тихоновна, подумайте только: вам, одинокому человеку, наше государство дает целую квартиру! Да тут...

— Дайте помереть спокойно.

— Выселим, гражданка Лукошина. Силой ведь придется...

— Дайте помереть спокойно...

До сих пор он того разговора простить себе не мог.

Вот на следующий день утром все и случилось. Получил бульдозерист наряд, подогнал машину к дому, постучал вежливо:

— Эй, хозяйева, вытряхайтесь! Полчаса на сборы — и вонзаюсь я в вашу трухлявую жизнь!..

Не отвечали в доме. Стучал, кричал — молчание. Побежал за бригадиром, тот прораба притащил, прораб — штукатуров и маляров из соседнего дома, что уже был сдан под отделку. Тоже стучали, тоже кричали — молчал дом. Молчал, пока прораб не приказал двери выломать. Только взялись за них — радостно, надо сказать, взялись, потому что не каждый день малярам такое развлечение, — только взялись: распахнулись эти двери, как в сказке. И баба Яга на пороге. Молча крик весь выслушала и вроде не поняла: смотрела спокойно, за вещи не хваталась и даже не плакала.

— Ломать вас буду, бабуся, — сказал бульдозерист.

Поглядела на него угольями своими.

— Не бабуся я, — сказала. — Не бабуся, не мамаша, не теща: просто старая женщина. Очень старая женщина...

— Ломай! — закричал прораб. — Ломай к чертовой бабушке на мою ответственность! И так полдня потеряли!

— Как же можно так! — зашумели девчонки-маляры. — Права не имеете ломать! Перевезти сперва человека надо!.. Давайте, бабушка, мы вам поможем...

— Не надо, — сказала баба Яга. — Ничего не надо.

И ушла в дом. И пропала. Прораб, плюнув, к себе

пошел, маляры на обеденный перерыв, а бригадир сказал бульдозеристу:

— Встряхни домишко — она враз выскочит.

Тут старуха сама вышла. Вышла, как давеча: в домашнем халате, только портреты в руках. В рамках портреты, четыре штуки.

— Ломайте.

— А вещи? — закричал бульдозерист. — Да она чокнутая, бабка эта! Где ваши вещи?

— Какие вещи? Глупости вы говорите. Ломайте и все. Ломайте. Только я погляжу.

Села на плиты и портреты рядом сложила. Мастер подошел, пошутить хотел:

— Иконы, что ли, спасаешь, бабка?

— Иконы, — сказала. — Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий, святой Николай и святой Олег. Живыми сгорели под деревней Константиновкой двадцать девятого июля сорок третьего года.

— Сыновья? — только и спросил бригадир.

— Сыновья, — ответила. — Экипаж машины боевой.

Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. И сказал тихо:

— В дом идите, бабушка. Пожалуйста.

А сам — в отделение, где все, как было, и рассказал. Вот тогда-то и включился Семен Митрофанович на последнем, так сказать, этапе. Восемь раз в Архитектурное управление наведывался; просил, умолял, доказывал. Школу нашел, где танкисты эти учились, музей там организовал. С частью списался, с деревней Константиновкой: и из части и из деревни в назначенный день делегации приехали. Матери альбом от части преподнесли и модель «тридцать-четверки», а от деревни четыре урны с землей. С могилы земля, где все четверо ее сыновей, все ее внуки и все правнуки лежали.

А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли. И забор новый поставили. Это все просто было, это сами строители сделали. А вот, чтобы домишко, где четверка эта по полу ползала, в план новый впихнуть, вот тут Семену Митрофановичу побегать пришлось. Вприпрыжку побегать, по этажам и кабинетам.

Но добился. Площадь чуть передвинули, сквер предусмотрели, и домишко тот в этот сквер как раз и вписался. И как только утвердили бумагу, так Семен Митрофанович и шагнул впервые за порог...

А теперь-то друзьями они с Марией Тихоновной были. И не только они: дом пионерами с утра до вечера

кишел — тут музей братьев-героев организовали, и шуму в доме столько появилось, что Семен Митрофанович даже запасался. Но Мария Тихоновна улыбалась, и уголья на лице ее давно уже теплыми стали: грели, а не жгли...

А голубой краской крыша у домика в сорок первом году была покрашена. Еле-еле младший лейтенант отыскал этот колер...

Но пока шагал он от дворцов к деревяшкам, думал совсем не о Марии Тихоновне, а об Артеме Ивановиче. Думал с уважением, сколько лет сидит среди книг в душной, плохо спланированной квартире тихий, незаметный работа-ученый, давным-давно позабывший о том, что у людей есть законные выходные и отпуска. И еще с неудовольствием думал, что у папаши Анатолия, к примеру, дача есть, а вот у Артема Ивановича ничего нету, и что это очень несправедливо. И тут ему пришло вдруг в голову, что несправедливость эту устранить легче легкого: в деревне той, куда он через сутки уезжать собирался, домишко купить труда не составляло. И даже, думал он, даже и покупать-то не надо, а надо только потолковать с руководством колхоза, какой умный и полезный для деревни человек Артем Иванович, и колхоз — Ковалев в этом ни секундошки не сомневался — немедленно выделит ему дом и, возможное дело, даже будет отпускать молоко и картошку. И, обдумав это, Семен Митрофанович сразу повеселел и решил завтра же еще раз навестить Артема Ивановича и во что бы то ни стало уговорить его переселиться к ним в деревню хотя бы на три-четыре месяца в году.

И тут Ковалев во весь рот заулыбался, представив и Агнессу Павловну и Артема Ивановича в деревне: вот это была бы компания на старости лет, вот это была бы жизнь. Думал он об этом вроде бы и всерьез, с удовольствием даже думал, а сам улыбался, еще и потому, что все это было только мечтой. А мечтать Семен Митрофанович любил, но всегда посмеивался над собой за такую особенность.

Однако на подходе к домику с голубой крышей он улыбочку с лица смахнул: хоть Мария Тихоновна, как оказалось, никакой бабой Ягой не являлась, все равно через порог этот он с улыбкой перешагивать не решался. Права не имел, если разобраться.

Вторично Ковалев за этот вечер чай пил: на сей раз настоящий — из самовара. Не мог он Марии Тихоновне в этом отказать и мужественно хлебал из стакана кипятков, сидя за тихим вдовьим столом на кухне.

— Конфеты берите, Семен Митрофанович. Пионеры вчера гостинец принесли.

— Спасибо, Мария Тихоновна. Вкусные конфеты.

— Володя шоколадные очень любил. И Коля. А Олежка с Юрой равнодушны к ним были. Я даже удивлялась, до чего равнодушны...

И это тоже в обязанность входило: слушать душеньку эту осиротелую. В сотый раз одно и то же слушать и вместе с нею переживать. Мелочь, пустяк, а старушке почти праздник: с кем же еще она о сынах-то своих поговорит, как не со старым человеком?..

— Дружные, просто в удивление дружные мальчишки были. Ну, конечно, ссорились иногда, не без того. Но ссоры их никогда дальше порога не шли, и никто про это на улице и не знал...

Насчет этих воспоминаний Семен Митрофанович специально Степешко предупреждал. И водил его сюда трижды: для тренировки. Но Данилыч был человеком серьезным и сам понимал, где, как и кого слушать требуется.

— Они в первый же день решили, что будут в одном танке воевать. В первый же день, в воскресенье то. А сложно было: Володя уж действительную отслужил, а Колюше и семнадцати не было. И ни за что их вместе брать не хотели, и все — и райвоенком и горвоенком — все только ругались. Вот тогда Олежка — он всегда все придумывал и в школе только на отлично учился — тогда Олежка и предложил написать письмо в Москву. Самому Сталину...

Все знал Семен Митрофанович. Все документы, все письма их наизусть выучил, но поддакивал, когда надо, и вздыхал, когда положено.

Что после человека на земле остается? Память? Нет, память — это надстройка, это штука непрочная. А фундамент у нее — дело, которым человек всю жизнь занимался. А если человек этот ничего сделать не смог? Если он, как этот Колька, в неполных девятнадцать свечкой в танке сгорел, тогда что?.. А разве в бою свечкой сгореть — это не дело? Это не просто дело — это сумма всех дел, итог жизни, то, что прописью писать положено. И — удивляться, откуда ж у людей характер берется, что его и на такое хватает...

— А вот скажите мне, Мария Тихоновна, по правде скажите: пошли бы ваши ребята добровольно, если бы знали, что погибнут?

Спросил — и сам испугался: глупый вопрос получился. А ведь он совсем о другом узнать хотел: он узнать хотел, чем те, сороковые, отличались от этих, семидесятых.

— А вы сомневаетесь в этом, Семен Митрофанович?

Опять у нее глаза угольями вспыхнули. И нос словно заострился: баба Яга проглянула.



— Я-то не сомневаюсь. Я понять хочу, Мария Тихоновна. И в смысле морали и в смысле общем... Девочек ваши ребята не били случаем? Не обижали? Как вы думаете, может человек, который на женщину руку поднял, героем стать? Я считаю твердо: нет, не может. Герой — он и в мирной жизни герой, как, вон, Гагарин наш, вот о чем я думаю, Мария Тихоновна.

— Мальчики хорошие были. Очень хорошие. Это я вам не как мать говорю. Это я истину говорю.

— Вот-вот! — очень обрадовался Семен Митрофанович: он все никак не мог сформулировать свою мысль. — И я об этом же самом, Мария Тихоновна, об этом же самом! А у молодежи, знаете, часто неверное представление: раз, мол, драчун, раз хулиган, значит, ничего он не боится и обязательно будет героем. А тут все как раз наоборот. Чем хуже человек в смысле дисциплины, тем скорее всего не выдержит. Не выдержит настоящего боя, потому что настоящий бой выдерживают настоящие люди.

— Да,— сказала Мария Тихоновна.— Люди они были настоящие...

— И потому у меня к вам огромная просьба, Мария Тихоновна. Вы теперь часто с молодежью встречаетесь,— подчеркните эту мысль! Рассказывайте им, какими настоящими парнями были ваши сыновья. Как они слабых защищали, как девушек берегли, как старшим всегда почет оказывали...

— Знаете, что я немцам забыть не могу, Семен Митрофанович? — вдруг ни с того ни с сего сказала она.— Сыновей, думаете? Нет, сыновей я им забыла. Я им внуков своих забыть не могу. Внучаток...

А он о воспитании заладил... А у человека этого вместо сердца одна рана незаживающая. И говорить он может только о боли своей, и ни о чем другом.

Вот так и скисло у него настроение на пути от семиэтажек к пятиэтажкам. И никто в том виноват не был, только он сам. Сам, лично, потому как ближайшую задачу посчитал самой главной для всех, для всего населения.

Расстроился Ковалев. Так расстроился, что остановился посреди улицы и закурил. И курил, пока не окликнули:

— Эй, начальник, прикурить позволишь?

Оглянулся: верзила под два метра. Глазки заспанные, кепочка набок, перегаром разит. И лицо незнакомое: не из его домов лицо, это точно... Семен Митрофанович нарочно спички помедленнее доставал, чтоб всмотреться. Верзила прикурил, сказал с зевком:

— Стоишь, начальник?

— Стою.

— Ничего у тебя работенка. Не пыльная.

И пошел себе вразвалочку. Усмехнулся младший лейтенант:

— Не пыльная...

Он на такие встречи только поначалу обижался, а потом понял, что обижаться-то и не следует. Ведь как раз у таких вот, заспанных, он и проторчал двадцать пять лет, как бельмо на глазу: честный гражданин милицию не замечает. А раз так, не обижаться надо: гордиться.

И, как ни странно, встреча эта уравнивала перекося в душе его. Тот перекося, что возник после неуклюжего разговора с Марией Тихоновной. Решил Ковалев еще раз зайти к ней, завтра, как от Агнессы Павловны и Артема Ивановича выйдет. Зайти, повиниться за бестактность сегодняшнюю, прощения попросить и попрощаться. А решив так, повеселел Семен Митрофанович и к любимым своим пятиэтажкам зашагал в лучшем виде.

## 10

Был вечер, люди давно уже вернулись с работы, пообедали и теперь вылезли из всех подъездов во дворы подышать свежим воздухом. И в этом тоже была особенность пятиэтажек; лезли люди из них во двор при малейшей возможности. Стремились друг к другу, к общению, к разговорам, легко заводили знакомства, и поэтому во всех этих пятиэтажках не было ни тайн, ни секретов. Никто по норам своим не прятался, то ли потому, что жители привыкли к коммунальным квартирам, то ли потому, что, толкаясь по утрам в транспорте, работая на заводах, они уже органически не могли жить изолированно, жить только своими интересами. И Семен Митрофанович тоже не мог жить изолированно, тоже не мог жить только для себя и ради себя. И поэтому чувствовал он себя здесь, как дома, и его принимали, как своего, без всяких скидок на род занятий.

— Здорово, Семен Митрофаныч! Ну, как служба идет?

— Да ведь, считай, прошла уже, Кирилл Николаевич, закругляюсь я. Дела сдаю старшему лейтенанту Степешко... Я вроде знакомил тебя с ним?

— Знакомил, Семен Митрофаныч, знакомил. Закуришь моих?

Семен Митрофанович присел на скамейку рядом с суровым мужчиной со шрамом на лице, в белой рубашке, домашних брюках и в тапочках. Они закурили, и к ним

со всех сторон потянулись отцы семейств. Рассаживались вокруг, кто где уместился, закуривали, шутили, вспоминали свое, смеялись. И младший лейтенант Ковалев, вдруг размякнув, расстегнул тужурку и снял давивший расплывшую шею форменный галстук.

— ...А она в ответ: «Знаю,— говорит,— я вас, командировочных: улетишь-уедешь, а мне это ни к чему...»

— Хо-хо!.. Ну, Петрович дает!

— Не Петрович — девки дают прикурить!

— Так ты ни с чем и отчалил?

— Это тебе, брат, не в городе. Это Заволжье, там девки до сей поры кержаками пуганные.

— Вот где жену-то искать, Серега! Мотай на ус.

— А зачем мне пуганая? Мне непуганые больше нравятся.

— Глупый ты, Серега, парень...

— Ладно, отцы: вы свое, мы свое. Так, Семен Митрофанович?

— Смотря, в чем свое, Сережа.

— Да он все больше насчет девок, Митрофаныч!

— Я всерьез, отцы: мне жениться пора.

— Гуляешь с кем?

— Я-то?.. Да была тут одна, с фабрики.— Парень смахнул улыбку, прикурил.— Хорошая девчонка, ладная. А потом с Толиком крутанула.

— С каким таким Толиком?

— Да с семизэтажек, Митрофаныч.

— А ты и спасибо сказал? — спросил суровый мужчина.— Увели девку, а он... Дал бы ему пару раз без третьих глаз!

— А мне это, Кирилл Николаевич, ни к чему. Силой любить не заставишь...

Вокруг гомонили о чем-то, а Семен Митрофанович вдруг выключился из общего хора, вдруг опять вспомнил воробьюху в служебном «газике», синяки на ее лице. И еще Анатолия вспомнил, Толика этого: его трусоватую растерянность, его наглинку и — туфельки в коридоре, которые потом ушли как бы сами собой.

Нет, не мог Серега про эту самую воробьюху здесь толковать: слишком уж просто все тогда выходило. Хотя по-прежнему неясность оставалась, за что девчонку эту били и кто же такой все-таки этот самый Валера?

— Ты, Сережа, Валеру случаем не знаешь?

— Какого Валеру, Семен Митрофанович?

— Ну, того, что с Анатолием дружит?

— Н-нет, Семен Митрофанович, вроде у Толика никакого Валеры в корешах не водится... Не знаю, может, сейчас появился. А что?

— Да так, на всякий случай.

— Напарник у меня Валера. Валерка Гольцов...

— Да нет, Сергей, нет...

Зря он, конечно, про Валеру этого спросил, ни фамилии, ни примет, ни адреса его не зная. Стареть, видно, ты начал, Семен Митрофанович, что вопросы такие ставишь. Стареть...

Но Серегину девчонку, которую отбил Анатолий из семиэтажки, Ковалев все-таки постарался запомнить. Запомнить и сообщить об этом завтра старшему лейтенанту Данилычу.

— Уходишь, стало быть, Семен Митрофанович? Покидаешь нас, грешных?

— Ухожу, мужики,— вздохнул Ковалев, не выдержал.— Всякой службе свой срок положен.

— Неужто же мы вот так, всухую Митрофаныча отпустим, ребята? Не чужой же он нам.

— Верно говоришь, Гриша. Тут у меня где-то два рубля жена проглядела.

— Да у меня рублевка.

— Держи трояк, Серега: тебе все одно бежать, как младшему.

— Сбегаю.

— Вот еще держи. Пятерка с нас троих.

— И с меня взнос. Закусочки прихвати, Серега.

— А у меня дома еще грибки сохранились...

— Гляди, супруга засечет, больше не выпустит.

— Это Митрофаныча-то провожать не выпустит? Да ты что? Или она не человек у меня?

— Стойте, что это вы? Не надо ничего, не надо...

— Ты, Митрофаныч, помалкивай. Ты гость сегодня.

— Товарищи, я же на службе. Я же официально прошу вас, граждане...

— А мы тебе сегодня не подчинимся...

— Вот, Сергей, еще взнос: с нашего подъезда.

— Не допру я столько, отцы...

— Пацанов для подхвата захвати — учить тебя...

— Давай, Серега, не задерживай, а то мужской отдел закроют!

— Граждане жители, я же официально предупреждаю, что не могу. Не имею права.— Семен Митрофанович решительно напялил галстук и застегнул на все пуговицы ту-журку.— Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей...

— Погоди, Митрофаныч,— перебил строгий Кирилл Николаевич.— В семиэтажках был?

— Ну, был.

— Бабу Ягу навещал?

— Ну, навещал.

— Так. Кого у нас по плану охватить должен?

— Ну, это известно! — улыбнулся Гриша, шустрый, улыбочивый мужчина без возраста. — Кукушкина повоспитывать надо, верно, Семен Митрофанович?

— К Кукушкиным зайти требуется, — подтвердил Ковалев.

— Ну, так зайти, — сказал Кирилл Николаевич. — Исполни служебный долг, пока мы тут гоношиться будем. Иди, иди, чего время зря теряешь? Все равно ведь всухую не выпустим.

Все сейчас смотрели на него, улыбались, и по этим улыбкам Семен Митрофанович понял, что всухую отсюда он действительно не уйдет. Придется выпить, хоть самую малость, а придется. Чокнуться с этими развеселыми, шумными мужиками, пожелать им счастья в трудовой и личной жизни и распрощаться. Да, отступать тут было некуда, и младший лейтенант Ковалев сказал:

— Ладно, уговорили. Пойду пока к Кукушкину...

— А Кукушкина дома нет! — крикнул какой-то малец с велосипедом.

— А ты найди! — строго сказал Кирилл Николаевич. — Найди и скажи, что его немедленно требует на квартиру Семен Митрофанович. Живо давай!

И мальчишка сразу же куда-то исчез.

Хороша была Вера Кукушкина: статная, чернобровая. Она стояла в дверном проеме, как в раме, и Семен Митрофанович, улыбаясь, любовался ею. Любовался и жалел: глаза у нее потерянные были. Красивые серые глазищи и — потерянные. И еще синяк на шее. Возле уха.

— Здравствуй, Вера Кукушкина. В дом-топустишь?

— Семен Митрофанович, зачем вы?

— Надо, надо, нечего! Ну, чего на пороге-то стоим?

— Так нет его. Опять с дружками пьет, видно.

— А он мне и не нужен. Мне ты нужна, Вера.

— Я?.. — улыбнулась все-таки чернобровая. — Зачем же я-то?

— Узнаешь. — Семен Митрофанович отстранил ее, вытер ноги, повесил у входа фуражку. — Ну, хозяин в комнатах встречает, хозяйка кухней хвастает. Так куда же пойдём, Вера?

— Нечем мне хвастать, Семен Митрофанович.

И все же в кухню провела. Сели там на табуретки — друг против друга. Уставился Ковалев в ее налитое, без

намек на морщиночку лицо, опять заулыбался. А она отвернулась.

— Смеетесь все?

— Зеркало тебе показать?

— Зачем мне зеркало?

— Нет, все-таки где оно у тебя? — Младший лейтенант встал, и хозяйка хотела было следом подняться, но он удержался. — Сам принеси. В комнате?

— В комнате. А зачем, Семен Митрофанович?

Семен Митрофанович, не отвечая более, прошел в комнату: бедная комнатка была, пропитая. Кровать детская, диван продавленный, стол, стулья да шкафчик с полкой. На полке стояло зеркало, но Семен Митрофанович вдруг потерял к нему интерес, потому что в углу играл худенький мальчонка лет пяти: складывал что-то из чурок и кубиков. Увидев младшего лейтенанта, он неуверенно заулыбался, захлопал большими, как у матери, ресницами.

— Привет, Вова! — сказал Ковалев и с трудом присел на корточки возле ребенка. — Дом строишь?

— Дом... — шепотом согласился Вова, хотя строил совсем не дом, а Кремль.

«Запуган... — подумал Семен Митрофанович. — Ай, запуган парнишка, запуган!..»

И вдруг остро пожалел, что за делами, за хлопотами сегодняшнего самого последнего дня напрочь позабыл об этом запуганном, тихом ребенке и не принес ему ни вафли, ни конфетки.

— Дом, — повторил. — А с кем же ты жить там будешь?

— С мамой, — тихо ответил мальчик.

В забитости его было что-то болезненное, почти ненормальное. И Семен Митрофанович сразу вспомнил своих сорванцов: шумных, горластых, веселых...

— А с папой?

Вова молчал, еще ниже опустив голову.

— С папой будешь в этом доме жить?

— И с папой... — послушно ответил ребенок, но ответил еле слышно и без интонаций.

— Да, — вздохнул Семен Митрофанович, тяжело поднимаясь. — Ты побольше дом строй, Вова. Попросторнее...

Он еще раз тоскливо оглядел полупропитую эту комнату, в которой из каждой прорехи выглядывала самая неприкрытая бедность, снял с полки зеркало и, озлобившись вдруг, большими шагами вышел на кухню.

Вера Кукушкина сидела между кухонным столиком и газовой плитой — на обычном хозяйском месте, но он сразу почувствовал, что место это не ее и что у нее здесь вообще

нет своего места. Она улыбнулась Семену Митрофановичу той же тихой, испуганной улыбкой, какой только что ему улыбался ее сынишка, но Семен Митрофанович еще ту же сдвинул сердитые брови, не давая в своем сердце простору для жалости.

— Поглядишь,— сказал он, держа перед нею зеркало, как икону, на животе.— Хорошенько поглядишь, гражданка Кукушкина.

— А чего? — робко удивилась Вера.— Зачем это?

— Хороша? Нет, ты глядишь, глядишь! Ну как, хороша?

— Н-не знаю...

— А вот я знаю. Я точно знаю: хороша. Очень даже. И глаза у тебя, и брови, и губы, и зубы — ну все, как надо, все на своем месте и все в лучшем виде.— Младший лейтенант вдруг почему-то опять вспомнил воробьюху и расстроился еще больше.— Ты в таком соку, в таком, я бы сказал, ядреном теле состоишь, что мужики за тобой, если захочешь, табунами ходить будут. Будут не для глупостей каких, а потому, что мать в тебе видят. Мать человеческую!.. Ты же здоровая женщина, Вера, ты же рожать должна! Ты же таких парнишек, таких девчонок жизни подарить можешь, что хоть в витрину их ставь!.. А что имеем, Вера? Что мы имеем-то на текущий момент?

— А-а!..— вдруг закричала она, тут же испуганно зажав себе рот. Слезы бежали по тугим щекам, путаясь в золотистом пушке.— Не надо... Не надо, пожалуйста, не надо!.. Ну, зачем вы опять, зачем же?..

— Поплачь маленько,— вздохнул Семен Митрофанович.

Отложил зеркало, закурил, присел напротив. Вера уже привычно вытирала слезы, но полные губы ее еще дрожали и кривились.

— Мы с Вовочкой через день в ванной ночуем,— тихо сказала она.— Как он пьяный придет, так мы в ванную. Запремся там на задвижку и сидим в темноте, потому что он свет нарочно гасит. Я сыночку сказки рассказываю веселые или пою, чтоб не пугался он в темноте-то... У меня там кожушок висит и одеялку я прячу. Постелю кожушок в ванну, ляжем мы с сынком, укроемся и — до утра.

Ковалев только крякнул. Выразительно крякнул, потому что ругнуться ему хотелось от всей души. Вера посмотрела, улыбнулась понимающе.

— А что делать, Семен Митрофанович? Развестись, скажете? Так я готова. Я хоть сейчас готова, если бы одна я была. А с сынком куда же мне? Родителей у меня нету, угла нету и специальности тоже нету. Развести-то разведут,

в этом сомнение меня не тревожит, люди жалостливые, а жить где буду? Угла-то ведь никто не даст, значит, опять с ним? Уж не как жена законная, а как неизвестно кто, да? Ну и что изменится? Пить, думаете, перестанет? Нет, не перестанет. Бить меня, думаете, перестанет? Тоже не...

— Ну тогда-то мы его за избиение женщины...— начал было младший лейтенант.

— А сейчас он кого бьет, лошадь, что ли? Нет, Семен Митрофанович, мне не разводиться с ним надо. Мне надо...

— Слушай, Вера,— таинственно зашептал вдруг Ковалев и даже подсел поближе для убедительности.— Слушай, Вера, я вот что тебе скажу. Ты здоровая, ты богатырь прямо, а он, Кукушкин твой? Он же, по силе ежели судить, в половину тебя будет, никак не больше. Да еще и в пьяную-то половину... Так ты, знаешь, что? Ты дай ему как следует, кулаком дай! Кулаком прямо по роже его, по роже пьяной!..

Вера смотрела серьезными круглыми глазами, и Семен Митрофанович вдруг запнулся. Покашлял, похмурился, вновь в папиросу вцепился.

— Нехорошо,— тихо сказала она и осуждающе покачала головой.— Ай, как плохо вы советуете, Семен Митрофанович! Как это так: дай кулаком по роже? Это бить, значит, так выходит? Человека бить, да?.. Ай, ай, ай, ну как можно-то, а?

— А что? — хмуро спросил Семен Митрофанович.— Он же тебя бьет?

— Так он дурной,— с непреклонной уверенностью сказала она.— Он очень дурной, а вы мне такой же стать предлагаете? Да разве ж можно такое советовать, Семен Митрофанович?

— Ну, учи меня, учи,— проворчал смущенно Ковалев.— Будто ты милиция, а я неизвестно кто...

— Так это же вы от добра сказали, разве я не знаю? — Вера улыбнулась ему, словно маленькому, ласково и покровительственно.— Вы нас с Вовочкой жалеете очень, и мы это знаем прекрасно даже. Только не советуйте нам такое, ладно? Мы ведь с сыночкой человеками хотим остаться...

Семен Митрофанович вскочил, сделал круг и снова сел верхом на табурет.

— Ах, Верунька, Верунька!..— вздохнул он.— Правда твоя, во всем твоя правда, и крыть мне нечем. Конечно, сгоряча я про драку-то, сгоряча. Это нельзя делать, это и закон запрещает, и вообще скотство это! Нет, тут другое надо, и ты прости меня, старого, что посоветовал...

— Да что вы, Семен Митрофанович...



— В деревню я завтра еду, — не слушая ее, продолжал младший лейтенант. — Там уже все семейство мое, там дом у нас имеется, хозяйство какое-нито заведем, может, даже кабанчика купим. А поезд завтра без пяти двенадцать ночи или, официально сказать, в двадцать три пятьдесят пять. И поедем мы все втроем: я, ты и Вовка, вот какой факт получается...

— Нет... — неуверенно улыбаясь, она затрясла головой. — Нет, что вы, что вы...

— Завтра без пяти двенадцать, — твердо повторил он. — Собирайся.

— Семен Митрофанович... Семен Митрофанович, миленький, что вы говорите-то, что?

Она опять заплакала, но не горько, как тогда, а радостно и словно бы с облегчением. И поэтому Ковалев улыбнулся и строго сказал:

— Не реви. У нас в семье реветь не положено.

— Семен Митрофанович, миленький, зачем же вам обуза-то эта, зачем? Ведь не отдаримся мы вам ничем за добро ваше, ничем же не отдаримся, потому что за такое и отдариться-то невозможно, хоть две жизни проживи!.. А Вовочке, Вовочке-то моему воздух деревенский нужен, ой, как еще нужен: мне врач говорила!.. Нет, нет, это же не то я говорю, не то!.. Господи, я здоровая, я все по дому делать буду! Я полы мыть буду, стирать буду, воду носить...

Слезы мешались у нее со смехом, а Семен Митрофанович очень боялся такой смеси и хмурился еще больше.

— Перестань, — сказал он строго. — И не выдумывай: в колхоз работать пойдешь. Или учиться, пока мы с женой еще в силе, еще за внучатами углядеть можем.

— Учиться? — Она счастливо рассмеялась, и круглые слезы запрыгали, заиграли на тугих щеках. — А что? Я пять классов кончила, у меня даже пятерки были. Да нет!.. — Она опять засмеялась. — Я работать буду. Я очень теляток люблю. Я... Подождите!..

Она вдруг легко, по-девичьи сорвалась с места, кинулась в комнату. Семен Митрофанович улыбнулся ей вслед, покачал головой: немного, ой немного человеку для радости надо. Совсем немного, а мы подчас и этого ему не даем: либо жалеем, либо забываем...

Сияющая Вера ворвалась на кухню, крепко зажав в руке что-то, аккуратно завернутое в белую тряпочку. Она положила на стол этот пакетик, поглядывая на Ковалева и загадочно улыбаясь, развязала узелки на тряпочке и с торжеством распахнула вдруг эту тряпочку перед его носом.

— Вот!

Это были деньги: десятки, старательно уложенные одна к одной. Младший лейтенант зачем-то потрогал их пальцем, спросил вдруг строго:

— Откуда?

— Заработала, — лукаво сказала она. — Не подумайте дурного чего: я тайком от Кукушкина в уборщицы нанялась. Давно уж — два года скоро. Я, как поняла, что мне не жить с ним, так и решила: деньги скоплю. Скоплю сотен пять, а тогда уж и уйду от него. Угол сниму с сыночком или завербуюсь куда: деньги всегда пригодятся, правда?

— Правда, — сказал он. — Ты забери их, Вера. На книжку положи: на них и оденешься и обуешься.

Отодвинул ей деньги, но она встретила на полпути его руку и вновь передвинула эту тоненькую пачечку к нему. И так они некоторое время потолкались: Вера смеялась, закидывая голову, а он смотрел на синяк на ее шее и не смеялся, а только повторял:

— Ты спрячь, спрячь...

— Нет уж, Семен Митрофанович, нет уж.

— Вера... Что это еще?

Она вдруг перестала смеяться.

— Вы нас всерьез брать с собой хотите или так, от жалости просто сказали? Всерьез, сама знаю, а раз так, то деньги вы возьмите. Нет, нет, Семен Митрофанович, родненький, теперь мы с сынком ваши полностью, и все у нас общее должно быть. Берите, Семен Митрофанович, берите, а то не поверю, что завтра увезете нас из ада этого крошечного в рай земной. Ну, берите же, берите, здесь уже много, здесь четыреста двадцать...

Но Ковалев все еще не решался брать эти плаканные-переплаканые деньги, заработанные горбом на заплеванных лестницах. Он словно видел сейчас, как трет она ступеньку за ступенькой, и потому хмурился, думал, как бы уговорить ее положить все на книжку, но Вера смотрела на него такими счастливыми глазами, что не поворачивался у него язык выкладывать соображения с деловым прицелом.

— Барахлишка много не бери, чего возиться-то? Не в тряпках счастье, а все, что надобно, мы и там купим.

— Да у меня и нет-то ничего: все Кукушкин пропил!

Это она беспечно сказала, весело, словно уже и не жила в этом пьяном угаре, словно уже шагнула в другую жизнь — с зеленой травой, птицами по утрам и глупыми добрыми телятами...

— Ну, добро. — Ковалев положил тряпочку с деньгами во внутренний карман тужурки, подумал, что о них следует доложить комиссару, и сказал: — Завтра я еще

по магазинам похожу: давай решим, что прикупить надо.

— А ничего не надо! — сказала она. — Там уж, как приедем, тогда и решим.

— Совсем-совсем ничего?

— Нам не надо. Вы общее покупайте, для всех: знаете ведь, что в деревне-то требуется. А нам... Знаете, чего? Вы Вовочке пистолетик купите, ладно? А то Кукушкин вчера пистолетик его каблуком раздавил, так сынок уж так в ванной плакал, так плакал...

— С пистонами пистолетик-то?

— Нет, простой. Из пластмассы: они дешевенькие.

— Из пластмассы? — Ковалев улыбнулся. — Я своим огольцам сам пистолеты делал. Из дерева. Такие пистолеты, что прямо от настоящих и не отличишь, ей-богу!

— Да Вовка еще маленький, что понимает?

— Сделаем и ему пистолет. Настоящий пистолет, как положено. — Семен Митрофанович встал. — Завтра я в девятнадцать часов у товарища комиссара Белокопя быть должен, вот какой факт получается. А от него — прямо к тебе. Готовься.

## 11

Так и не дождался Семен Митрофанович Кукушкина. Да и не нужен ему был Кукушкин этот, если разобратся: о нем и Данилыч знал, и все их отделение, и в смысле профилактики здесь все было в порядке. А в смысле жизни он Семена Митрофановича больше не интересовал, так как Семен Митрофанович уводил от него этих людей.

Но, по счастью, лестница длинной была, а козлом скакать Ковалев давно отучился. По счастью потому, что еще на спуске он успел все заново обдумать и решить, что не поговорить с Кукушкиным права не имеет. Нет, не о вливании тут уже шла речь, а о том, что — хотел этого Семен Митрофанович или не хотел — объективно получалось, что именно он уводил от Кукушкина жену и ребенка. Хоть и не для себя уводил, а все-таки мужской закон требовал тут играть в открытую, и не повидаться с водопроводчиком — пьяным или трезвым, не важно — было уже невозможно.

Поэтому, спустившись во двор, он поворотил налево, к котельной. За домами уже слышались шутки, смех и веселые мужские голоса: там, среди детских песочниц и качелей, опустевших ввечеру, собирали для него, младшего лейтенанта милиции Ковалева, прощальный товарищеский ужин. Но Семен Митрофанович на это сейчас не отвлекался,

а раздумывал, где бы ему найти Кукушкина, и надеялся, что в котельной.

Однако Кукушкина в котельной не оказалось. Дежурный слесарь — немолодой уже, домовитый, как мышь, которого во всех квартирах запросто звали Сашей, — пояснил:

— Увели его, Семен Митрофанович. Руки, значит, за спину — и как положено.

— Куда увели?

— На профилактику, — хохотнул Саша. — Сильно надоел он жильцам, Семен Митрофанович, если правду сказать. Деньгу цыганит, шабашничает, а дело свое исполняет плохо, и краны текут во всех квартирах.

— Кто же увел-то?

— А этот, из второго корпуса. Ну, у которого сыновья...

Дело было серьезным, и поэтому младший лейтенант рванул из котельной, как молодой оперативник. Забежал за дом, мельком глянул, что врытый в землю стол для пинг-понга, по которому ребята с утра до вечера шариком щелкали, женщины накрывают белыми скатертями. Но этого Семен Митрофанович как-то не осознал, потому что профилактика была в полном разгаре.

Хмурый и трезвый Кукушкин стоял в центре мужского круга, заложив за спину корявые руки. Росту он был небольшого, но кряжист, широк в кости и на кулак увесист. Перед ним за детским столиком сидел Кирилл Николаевич.

— Сегодня у нас очень торжественный вечер, Кукушкин, — говорил он. — На вечере этом присутствовать ты будешь как полноправный жилец, а вот пить мы тебе не дадим. Ни грамма.

— Очень надо, — сквозь зубы сказал Кукушкин.

— Не надо, — подтвердил Кирилл Николаевич. — Пить не надо, а вот торжественное обещание Семену Митрофановичу тебе дать придется. При всех!

— Какое еще обещание?

— Торжественное обещание, что ты никогда пальцем жену не тронешь...

— Ну, пальцем-то пусть трогает! — засмеялся Петрович.

— Он понимает, что тут к чему, — улыбнулся Кирилл Николаевич. — Он у нас не дурак, Кукушкин-то. И соображает, что ежели сегодня выкинет фортель какой, так завтра с ним разговаривать буду не я, а сыны мои — Витька да Володька.

Сыновья Кирилла Николаевича — близнецы-богатыри — вместе учились в заводском техникуме, вместе занимались тяжелой атлетикой, вместе ходили на танцы. Были они

парнями скромными и незлобивыми, но не стеснялись и поддаться, и кто-кто, а Кукушкин про это знал хорошо.

— Понял,— хмуро сказал он.— Сделано, считай.

— Вот это разговор! — улыбнулся Гриша.— Эй, пацаны, за Митрофанычем сбегайте.

— Здесь я,— сказал Ковалев.— Добрый вечер, граждане.

— Здесь он! — почему-то в восторге прокричал Гриша.— Мы его, понимаешь, всем миром искать собрались, а он здесь!

И все сразу засмеялись, заговорили, точно слова Гриши или присутствие младшего лейтенанта было событием чрезвычайно занятым. Семен Митрофанович понимал, что происходит это от радостного волнения, вызванного и наспех организованной складчиной, и им, младшим лейтенантом Ковалевым, и возникшим вдруг чувством необычайной общности всех людей во дворе.

— А жены нам мужской-то выпивон забраковали! — громко рассказывал чернявый мужчина, который собирался сбегать за грибками.— Мы, говорят, тоже Митрофаныча проводить желаем!

— А мы тут, понимаешь, с товарищем Кукушкиным немного поговорили,— несколько смущаясь, признался Кирилл Николаевич.— Кукушкин — парень артельный и самостоятельный, и слово у него — сталь, Митрофаныч.

— К столу просим, к столу! — певуче прокричала рослая и скандальная жена услужливого Гриши.

— Ну, уж закусить разве что...— сказал Ковалев, садясь к столу.

Удивительные это были проводы! И наспех накрытый стол для пинг-понга, и детские качели рядом с ним, и одинаковые силуэты домов по обе стороны, и кресло, которое Гриша притащил из квартиры специально для него, для Семена Митрофановича. Удивительным здесь было все, но самыми удивительными здесь были люди.

Все знал про них младший лейтенант Ковалев. Знал, что рослая супруга поколачивает безответного Гришу; что Петрович крутит с продавщицей из соседнего магазина; что суровый Кирилл Николаевич скуповат и постоянно ворчит на сыновей за каждую копейку; что вот этот как-то ни с того ни с сего ударил вон того, а тот где-то обманул вот этого и что все они знают то, что он все знает. Но сегодня это стало вдруг каким-то мелким, второстепенным, отошло на задний план, заслонилось добрыми, мягкими, приветливыми лицами.

— Расстаемся мы сегодня с нашим Семеном Митрофановичем,— говорил, держа в руке стакан, Кирилл Никола-

евич.— Почему же мы так с ним расстаемся? Что он нам — сват, брат, сосед хороший? Отчего же происходит это? Да от того, что душа в нем есть, в Митрофанушке нашем. Есть душа, товарищи неверующие!..

Тут все разом засмеялись, загомонили, закричали. Кирилл Николаевич выждал, когда стало тихо, и продолжал:

— Вот за эту твою душу и относимся мы к тебе с полным нашим уважением, Семен Митрофанович. И дай я тебя, фронтовичок дорогой, по-нашему поцелую, по-гвардейски!

— За нас! От всего нашего имени! — кричал Гриша.

— Женщинам поручите, — советовал Петрович. — Товарищи женщины, окажите внимание Семену Митрофановичу!

Да, много было шуток, много речей, много веселья. Мужчины тарелочку его наполнять не забывали, хоть и не ел он почти ничего: не хотелось. Папиросами угощали: каждый требовал, чтоб он непременно из его пачки закурил, и Семен Митрофанович старался никого не обидеть и только повторял:

— Спасибо. Спасибо, граждане. Спасибо.

А на другом конце вскоре и песни завели. Потом Серега на балкон радиолу вытащил, и как рванула она на всю мощь, так младший лейтенант вмиг за часы ухватился, но в режим, горсоветом установленный для искусства, пока еще укладывались.

И тут Семен Митрофанович решил вдруг с Петровичем поговорить насчет жены и продавщицы из соседнего магазина: по-хорошему поговорить, по-дружески. Только встал, чтоб подойти, за плечо тронули. Оглянулся: Кукушкин. Уставил на него трезвый, но совсем неласковый взгляд. Хотел Семен Митрофанович пошутить насчет профилактики, но во взгляд этот уперся и вовремя сообразил, что шутить не стоит. Спросил только:

— Дома был?

— Разговаривал. — Кукушкин перекинул папиросу в другой угол рта, плюнул, не разжимая губ. — Что ты ей там напорол, лейтенант?

— Это ж насчет чего? — Семен Митрофанович нарочно прикинулся непонимающим.

— Вот и я хочу знать, насчет чего, — раздраженно сказал Кукушкин. — Ходит по квартире и поет, как... — Он не нашел сравнения и опять плюнул. — Спросил, чего распелась. А она улыбается.

— Значит, настроение у нее доброе.

— Доброе? — Кукушкин сверкнул вишневым глазом. — Что же ты ей наговорил, если она такая веселая вдруг стала?

— А тебе веселые не нравятся?

Семен Митрофанович нарочно необязательные слова бормотал. Специально бормотал, потому что все время думал, стоит говорить водопроводчику правду или не стоит. Думал и никак пока не мог этого понять...

— Не любишь, что ли, веселых-то?

— Я для веселья, лейтенант, в цирк хожу. Клоунов смотреть.

— Дело, Кукушкин. Это — дело.

— Я ведь все равно все узнаю. Только не хочу к верному способу прибегать. Пока.

И так он сказал это «пока», что Ковалеву опять стало боязно за Веру и мальчишку: нет, нельзя было правду ему говорить, зверю этому. Никак нельзя!

— Ничего я ей не говорил, Кукушкин.— Семен Митрофанович, вздохнув, опустил глаза: он вообще не терпел вранья, а при исполнении служебных обязанностей в особенности. Но от правды сегодня могли пострадать безвинные, и он врал во спасение.— Тебя ждал, ну и калякал о чем-то...

— В деревню приглашал?

Знает, значит... Еще раз вздохнул Ковалев.

— Приглашал.

Круглые злые вишни на миг уперлись в его лицо, на миг сверкнули и спрятались. Кукушкин медленно провел ладонью по лбу, словно припоминая что-то, достал папиросы, протянул, не глядя:

— Закури моих, лейтенант.

— К своим привык...

Единственный это был человек, которому отказал на проводах Семен Митрофанович. Резко отказал, как отрезал:

— К своим привык.

— Ну, дело твое,— тихо сказал Кукушкин, прикуривая от собственного окурка.

Он курил медленно, опустив голову, рассматривая огонек папиросы. А вокруг гомонили, смеялись, плясали и пели, и играла радиола у Сереги на балконе. А Семен Митрофанович, отрезав Кукушкину все пути к дружескому общению, нисколько об этом не жалел.

— До чего же просто вы все решаете,— вдруг тихо, словно нехотя сказал Кукушкин.— Пьет да бьет — значит, надо воспитывать. Значит, кого-то жалеть надо, спасти надо, уводить надо. А на меня наплевать и растереть, да? Меня можно за стол не посадить, мне можно рюмки не поставить, а можно и в котельной избить без третьих глаз, как гвардеец тот говорит.

— Избить?

— Ладно, что было, то прошло: я не из жалостливых.

— А что же все-таки было?

— Знакомство,— криво усмехнулся водопроводчик.— Гвардейские сыны из меня непочтение к их папаше выколачивали. Тяжелые у них кулачки...

— Так что же ты сразу...

— Ладно, лейтенант, не пыли. Сказано: не из жалостливых я. Сам не жалею и сам не жалею. Только с одного боку вы все глядите.

Ковалев подумал, что о самоуправстве Кирилла Николаевича надо непременно рассказать Степешко. Рассказать и обдумать меры. Поэтому спросил рассеянно:

— А что за вторым боком, с которого не глядим?

— Я,— сказал Кукушкин.

И замолчал. И Семен Митрофанович молчал, удивленный этим очень простым ответом. И так молчали они долго.

— Ты, Кукушкин...

— Кукушкин!..— раздраженно передразнил водопроводчик.— Меня Алешкой зовут, а кто про это знает? Даже Верка и та — Кукушкин да Кукушкин.

Потоптался младший лейтенант.

— Дай закурить, Куку...— и запнулся.

Кукушкин рассмеялся невесело, достал пачку.

— Ты извини,— тихо сказал Семен Митрофанович.— Привычка, знаешь...

Вон как разговор обернулся. Вроде и не жаловался Кукушкин и овечью шкуру на свою волчью шерсть не напяливал, а — поди ж ты! — высек искру из самого Семена Митрофановича.

— Завтра поговорим, Алексей,— сказал младший лейтенант.— Трезвым будь: разговор серьезный намечается. А состоится он ровно в половине одиннадцатого вечера: я к вам перед отъездом зайду.

— Добро,— сказал Кукушкин, но добра в тоне его не было.

— И гляди у меня, парень...

— Трезвым я не бью,— тихо сказал Кукушкин.— Трезвым я прощения прошу. А прощения мне никто не дает, и потому трезвым я бываю редко... Ты забудь все это, лейтенант. Я Верку не трону, слово даю, но и ты все, что наговорил тебе сегодня, тоже забудь. Забудь, очень прошу!..

Повернулся, не дожидаясь ответа, пошел куда-то из освещенного круга. Не домой — в обратную сторону...



И Ковалев заторопился. Заторопился потому, что было уже одиннадцать, а он еще обещал сделать сегодня пистолет для Вовки Кукушкина. И музыку тоже пора было кончать, потому что вступало в силу постановление горсовета. Ну, с этим особо не спорили, и Серега быстренько уволок радиолу в дом, а вот отпускать Семена Митрофановича ни за что никто не хотел, и он еле-еле отбил. Обошел всех, со всеми за руку попрощался, поблагодарил от всего сердца. Пошел было, да вскоре его Серега нагнал:

— Я провожу вас, Семен Митрофанович. Можно?

— В наряд, значит, назначили тебя? — усмехнулся Ковалев. — В наряд по охране моей персоны?

— Да ну, что вы, Семен Митрофанович... — Парень врал неумело, смущался. — Просто поговорить хотел...

— Поговорить? Ну, давай поговорим.

Они уже далеко отошли от домов: шум, который сопровождал их (это жильцы разбирали по квартирам свои стулья, скатерки, рюмочки), здесь, на пустынных, слабо освещенных улицах, почти не слышался. Поскольку парень все еще молчал, соображая насчет разговора, Семен Митрофанович спросил:

— Кукушкина опасаетесь, что ли?

— Он чокнутый, — сказал Серега. — Ему что в голову ударит, то он и сделает.

— Не боишься его?

— Нет. — Парень ответил очень просто, и младший лейтенант сразу поверил, что он действительно не боится никого.

— И долго же ты меня конвоировать собираешься?

— Да я не конвоировать! — Серега улыбнулся. — Человек, может, просто поговорить с вами хочет, пройтись, а вы — конвоировать да конвоировать...

Семен Митрофанович усмехнулся и сказал в точности, как за пятьдесят шагов до этого:

— Поговорить? Ну, давай поговорим.

— Значит, на пенсию уходите, Семен Митрофанович? — Парень явно не знал, о чем ему говорить, но честно старался подладиться под грузно шагавшего рядом младшего лейтенанта. — Работать где устроитесь или так, на законном отдыхе?

Семен Митрофанович усмехнулся:

— Рано тебе, Серега, пенсией-то интересоваться. Ты мне лучше про ту девчонку расскажи, которую Толик у тебя отбил.

— Отбил?.. Нет, этого не было.

— Ты извини, конечно, что я так, понимаешь, прямо. Но я не из любопытства: мне знать про нее все нужно.

— Нет, «отбил» тут не подходит,— вздохнул Сергей.— Тут посложнее, Семен Митрофанович...— Он помолчал, почмокал сигаретой.— Черт, сигареты сырые... Мать у нее закладывает здорово, ну, пьет, значит: видать, отец из-за этого их и бросил, хотя Алка — ее Алкой зовут (Семен Митрофанович кивнул) — и в глаза его никогда не видала. Ну, сначала она у тетки жила: там все нормально было, там она десятилетку хорошо закончила и даже в институт поступила.

— В институт?

— Ну да. В этот... иностранных языков на немецкое отделение: она там с Толиком-то и познакомилась. А проучилась всего два месяца, и тетка ее умерла. А Алка у матери прописана была, и пришлось ей к пьянчуге этой возвращаться. Ну, тут уж не до учебы, сами понимаете: мать каждый день пьяная, каждый день водит кого-то, каждый день у нее шум, гам, скандалы, а то и драки когда. Алке бы из дома уйти, а она не смогла тогда и институт бросила. Год с мамочкой этой прожила: и поили ее там, и шоколадом кормили, и одевали, и продавали — все, наверно, было в год-то этот. Она, Семен Митрофанович, рассказывать об этом не любила, она вообще скрытная очень: это я все по кусочкам из нее вытянул, по намекам разным.

— А с уголовниками мать не связана, не знаешь?

— Все может быть при жизни такой,— вздохнул Серега.— Там и пьяницы были и спекулянты — про это Алка сама рассказывала. Ну, а где такая компания, там и блатные, возможно, появлялись, не без того. Только это все прошло уже, Семен Митрофанович, это все теперь — древняя история, потому что через год жизни такой сбежала Алка. Летом где-то в Сочи прокантовалась...

— С кем?

— Говорит, с братом каким-то,— нехотя сказал Сергей: ему было неприятно вспоминать об этом.— Да это и неважно. Важно, что через год она к нам на производство пришла, потому что у нас общежитие и городским дают. Ну, поработала сперва ученицей, потом...

— Погоди, погоди,— остановил Семен Митрофанович.— А тот, что на Кавказ ее возил, брат-то этот, тот больше не появлялся?

— Не знаю,— с явной неохотой сказал Серега.— В то время мы с ней гуляли, и никого вроде у нее не было.

— А с матерью она связь поддерживала?

— Бывала. И я два раза был: один раз до того уключался, что на бровях домой уполз, ей-богу!

— Мамаша напоила!

— Нет, там у мамыши постоялец какой-то жил. Толстый такой...

— Ну, а девчонка что, воробьяха-то?

— Какая воробьяха?

— Ну, эта... Алка твоя.

— А-а... А почему воробьяха?

— Ну, оговорился, про другую вспомнил. Вы что с ней-то, поссорились, что ли?

— Да как сказать...— Серега снова прикурил, почмокал и снова с отвращением швырнул сигарету.— Сырая, черт... Смесь у нее в голове странная, у Алки-то, Семен Митрофанович. По характеру-то она девчонка добрая: зла не помнит, денег не жалеет, не бережет их, как некоторые, и уж очень подарки делать любит. Пустяк, мелочь всякую — галстук там, запонку или еще ерунду какую, а подарит. Просто так, чтоб порадоваться только. Про некоторых, знаете, говорят: рубашку, мол, с себя последнюю снимет — так она такая, честное слово, такая. Она все отдаст и глазом не моргнет. И безалаберная какая-то в то же время: о завтрашнем дне не думает, получку в два дня спустит, а потом мороженое ест. Раз цветов на десятку купила. Я говорю: куда тебе охапка-то целая? А она: хочется, говорит, и все... Это характер у нее такой, а мамаша да и тетка, наверно, тоже воспитание к ней приложили. Всю жизнь ей одно жужжали: деньги, деньги, деньги. Мол, деньги — это сила, это — счастье, это — самое главное, и пока ты молода, пока в цвету — добывай. И вот все она только на деньги и мерила: «Волга», конечно, лучше, чем «Запорожец», это понятно, но она и людей так же делила — по мощности. Профессор лучше, чем студент, инженер лучше, чем шофер, а артист какой-нибудь знаменитый, тот вообще лучше всех на свете, потому что у него рубли с колесо размером. Вот какая у нее психология сложилась, Семен Митрофанович, понимаете?

— Понимаю,— вздохнул Семен Митрофанович.— Дурная это, брат, психология.

— Вот и я ей то же самое говорил, и из-за этого мы с ней постоянно ругались. День мирно разговариваем, а к вечеру обязательно переругаемся: ее почему-то все больше вечером насчет шикарной жизни схватывало. Ну, а тут Толик и объявился, и она отчалила. Хочу, говорит, пожить в свое удовольствие, пока молода.— Он помолчал.— А все-таки я уверен, что с Толиком у нее ничего не было.

— Уверен?..— рассеянно переспросил Семен Митрофанович, думая о своем.— Это хорошо, что уверен ты...

— Я как-то вечером с тренировки ехал...

— С какой тренировки?

— Боксом занимаюсь,— улыбнулся Серега.— Думаете, почему Кукушкин меня не трогает? Да потому, что у меня разряд.

— Это хорошо,— рассеянно поддакнул Ковалев.— Спорт — это полезно...

— Да...

Они помолчали, потому что Семен Митрофанович вдруг перебил Серегину мысль, и Серега отвлекся. Но младший лейтенант опять направил интересующий его разговор:

— Ну, ехал ты, значит...

— Да, с тренировки ехал автобусом номер восемь. Вечером дело было, народу мало. Гляжу: Алка с каким-то типом у выхода стоит. Я — к ней: здорово, говорю, Алка, что-то давно не видались. А мы с ней в разных цехах-то работаем. Да... Сказал, значит, а этот тип — молодой мужик, а уже рыхлый, с лысинкой и перстень с печаткой на пальце,— тип, значит, этот на меня вдруг: «А ну, отлипни, пижон». Ну, меня, понятное дело, на горло не возьмешь, я таких сырых на первом раунде уложу. А Алка испугалась вдруг чего-то, сильно испугалась, побелела: «Валера, говорит...»

— Валера?

— Валера... Точно, Валера,— подтвердил Серега.— Только он к Толику никакого отношения не имеет.

— А к Алке?

— К Алке?..— Серега помолчал, вздохнул.— Знаете, я до сих пор взгляд ее помню: за него она испугалась. А чего испугалась-то, знает ведь, что я первым никого не трогаю...

Он умолк, вздохнул, помотал головой. Некоторое время они шли молча, потому что Семен Митрофанович повторял про себя рассказ Сереги и старался поточнее его запомнить, чтобы пересказать завтра Данилычу. Здесь покопаться надо было, и следователь Хорольский не так уж был сегодня неправ. Есть у него чутье, у Хорольского этого, ничего не скажешь, но методы... Комиссар Белоконь сказал однажды на собрании актива, что справедливее упустить десять виновных, чем задержать одного безвинного, и младший лейтенант Ковалев всем сердцем воспринял это.

— И чего она тогда испугалась за пижона этого? — размышлял Серега.— А ведь испугалась, я точно помню...

— Может, не тебя она испугалась, а милиции?

— Какой милиции?

— Ну, если бы скандал начался, драка, допустим, то могли же милицию позвать? Могли. Могли, Серега, могли, вот Алка за него и испугалась. А что это все значит? Это значит,— Семен Митрофанович еще раз подумал, вздохнул,— значит это, что Валера этот недопеченный...

— Сырой,— поправил Серега.

— Ну, сырой,— согласился Ковалев.— Значит, сырой этот Валера нашего брата почему-то опасается.

— Опасается?

— Только ты, Сергей, о нашем разговоре пока помолчи. Я к тебе старшего лейтенанта Степешко пришлю, как только он из госпиталя выпишется. Ему все доложишь в точности. Как мне.

— Понятно.

— Ну, а сейчас ступай. Спасибо тебе за провожание и особо за разговор.

Семен Митрофанович пожал парню руку и свернул в переулок. Не к себе: он в противоположной стороне жил. К знакомому столяру, у которого всегда делал пистолеты для своих сорванцов.

Однако дома столяра не оказалось. Дверь открыла жена — яростная костистая старуха, с которой у Семена Митрофановича дружба так и не сложилась за все четверть века знакомства. Стрельнула сухими глазницами:

— Семен Митрофанович, ты? В половине двенадцатого людей беспокоишь...

— Что, опять молиться помешал? — пошутил Ковалев.

Не приняла она шутки. Рассердилась даже:

— Ты моего бога не трогай. Я твоего не трогаю, и ты моего не касайся.

— Да молись ты хоть двадцать пять часов в сутки, Катерина Прокофьевна, слова не скажу. Я к супругу твоему, к Леонтию Саввичу.

— В преисподней ищи. В бездне самой...

И дверь захлопнула, не попрощавшись: одно слово — сектантка...

Семен Митрофанович спустился в преисподнюю, в подвал то есть. Там у Леонтия столярная мастерская была оборудована: он при домоуправлении столяром состоял, ну, и заказы принимал на разные поделки. Когда-то, еще до войны, руки его славились на весь город, а в войну, хоть и пощадила она руки эти, что-то надломилось в нем, и никаких тонких заказов бывший краснодеревщик уже не брал. А тут еще — одна за одной — обе дочери его померли. Вот тогда-то жена его в бога ударилась, а он попивать

стал. Ну, а с пьяных рук что за работа? И дела Леонтия Саввича пошли совсем набекрень.

— Пропил ты свой талант, Леонтий,— вздохнул Семен Митрофанович, когда достучался-таки до спящего на верстаке в подвале столяра.— А талант в тебе природой был заложен, и ты беречь его должен был, как совесть к старости.

— Талант! — презрительно фыркнул Леонтий Саввич. Он сидел на верстаке в шерстяных носках, так как в подвале было сыровато.— А что же это такое — талант? Ты знаешь?

— Знаю,— сказал Ковалев.— Вот у тебя в руках талант был: ты умел такое с деревом сотворить, что дерево то в темноте светилось. А у иного талант — в голове: он, брат, законы всякие открывает или изобретает полезные машины. А бывает талант и в ногах: скажем, наш знаменитый футболист Игорь Нетто.

Худой, заросший, всклокоченный со сна столяр сидел перед ним на верстаке и качал головой.

— В руках, в ногах, где еще? — сердито спросил он.— Глупый ты, Семен, ровно дитя. Разве талант в руках или там, в ногах живет? Там секреты живут, понял? Секреты того дела, которому человек обучен. Скажем, у рабочего секреты — в руках, у инженера — в голове, у танцора, к примеру, — в ногах. А талант, Сеня, он в сердце живет.

— Ох, чего-то ты плетешь, Леня! — вздохнул младший лейтенант.— Мистика это называется, насчет сердца-то, и наука это отрицает. Наука прямо говорит, что сердце есть такой мускул, который кровь по всему организму гоняет. Вроде насоса.

— Насос! — закричал столяр.— Там любовь у человека, там горе, там ненависть, все человеческое там, а ты — насос!.. Глупый ты парень, Семен, раз такую околесицу городишь. Скажи, когда у тебя несчастье, что у тебя болит — голова? Сердце у тебя болит, сердце! А радость если какая, если, скажем, День Победы, что тогда в тебе ликует? Может, живот твой жратве радуется? Нет, сердце твое поет, Семен, сердце!

— Ладно, не будем спорить. Время позднее, а мне надо пистолет для парнишки сделать: обещал...

Столяр отыскал подходящую доску, и Семен Митрофанович, сняв тужурку и галстук, с радостью ухватился за инструмент. Пилил, вырубал, и Леонтий Саввич молча смотрел на него.

— Вот у тебя талант как раз там, где надо,— вдруг сказал он.— В сердце у тебя талант, Сеня.

— Опять ты, Леня, за свое...

— Поздно одну штуку понял,— вздохнул столяр.— А штука эта простая: для чего человек на свете живет? Чтоб есть, пить да с женой спать?

— Всякий человек живет для своего дела.

— Для дела? Нет, Сеня, дело — это само собой. Дело и лошадь может сделать или, скажем, машина. А человек — он для чего тогда?

— Ну и для чего же? — Семен Митрофанович был увлечен работой и слушал вполуха.

— Для добра,— убежденно сказал Леонтий Саввич.— Обязательно каждый человек должен хоть в одной душе добро посеять. Хоть в одной-единственной, и если бог все-таки есть, то это ему зачтется. Это, а не машины какие, не табуретки там и не космосы.

— Вот ты уж и до бога договорился.

— Это, Сеня, супруга моя с ним договорилась, а не я. Я с нею, с супругой то есть, сражаюсь ежедневно по этому вопросу, но, боюсь я, ничьей дело закончится. А мы с тобой, Сеня, фронт прошли и очень даже точно знаем, что бога нет. Но ведь кто-то должен же добро творимое на весах взвешивать, а?

— А зачем его взвешивать? Для отчетности, что ли?

— Для очищения совести, Сеня.

— Ну, совесть сама все взвесит. Точно взвесит, как в аптеке.

— Это у тебя, потому что у тебя талант есть. А у простых людей, которые добро, может, раз в жизни-то делают? Совесть у них грубая, нетренированная совесть-то, и ничего взвесить не может. И это мне обидно, потому что хочу я перед смертью точно знать, сколько я добра посеял и сколько зла расплодил. И поглядеть, какая чашка переважит.

— А ты не считай добро-то, Леня, не регистрируй его, так-то оно честнее выйдет. И помрешь ты тогда спокойно, и совесть тебя не потревожит ни разу.

К этому времени Семен Митрофанович уже отделал пистолет и теперь, расстегнув кобуру, вытаскивал из нее тряпки. Вытащив все, сунул в нее пистолет, и пистолет пришелся к кобуре тик в тик.

— Точная какая работа! — с удовольствием сказал Семен Митрофанович, застегивая клапан кобуры с деревянным пистолетом.— Утречком я его черной эмалью покрашу, а к вечеру он высохнет, и отнесу я его Вовке.

— Значит, не регистрировать? — спросил Леонтий Саввич.— Трудная задача, Сеня. Человек слаб, и ему свою

собственную душеньку очень даже хочется по шерстке погладить. Очень даже...

Семен Митрофанович неторопливо убрал на место инструмент, подмел в мастерской. Потом посмотрел на Леонтия Саввича, как на больного, и вздохнул:

— А ты ведь о себе думаешь, добро делая. А если о себе, так какое же это добро? Это уже и не добро, это так, для утехи совести. Вот поэтому-то она, совесть-то твоя, и терзает тебя, что не от души ты добр, а от ума. А по мне так добро от ума хуже зла от души. Хуже, ей-богу, хуже! Подлее: вот как вопрос обстоит.

Столяр сидел на верстаке, угрюмо нахохлившись. Ковалев надел тужурку, повязал галстук, похлопал по кобуре, улыбнулся:

— Вроде опять я с оружием!..

— Обидел ты меня, Семен,— тихо сказал Леонтий Саввич.— Зачем же обижать-то на прощание?

— Я тебе правду сказал. А что обидела тебя правда, то не моя вина, а твоя беда. Перестань ты о себе-то думать, Леонтий Саввич, перестань! Ты о других страдай, о других думай, вот и переважит в тебе заветная чашечка...

— Обрато «равняйся» командуешь? — криво усмехнулся Леонтий Саввич.— Все кругом только и делают, что «равняйся» кричат. И по телевизору, и по радио, и по газетам...

— Равняйся? — переспросил Семен Митрофанович.— Именно, что равняйся. Именно, что так, Леонтий Саввич, и кричать мы вам эту команду будем, покуда вы смысла ее не поймете.

— Кто это такие — мы?

— Мы, коммунисты, значит. Равняйся — это что такое? Равняйся — это значит грудь четвертого человека видеть. Не свою, персональную, не соседа даже, а четвертого! Как бьется она, вольно ли дышит, не мешает ли ей что... А ты скольких видишь, Леонтий? Себя ты одного видишь, на пуп свой собственный всю жизнь глядишь и примериваешься, как бы под старость с совестью сторговаться. А добром не торгуют, Леонтий Саввич, это не редиска.

Неспокойным он из того подвала вышел, очень беспокойным. Вышел в темный, глухой переулок, закурил (в столярной не покуришь, понятное дело), прошел к автобусной остановке. По ночному времени транспорт вообще ходил из рук вон плохо, но Семен Митрофанович пешком до дому своего идти не захотел, потому что сильно притомился за день. Здорово набегался в этот свой самый последний денек.



Он стоял на остановке автобуса, курил и думал, и думы его были не сердитыми, а горькими. Он не злился на Леонтия Саввича, а искренне расстраивался, что вырос в его душе этакий ядовитый грибок и что вырвать его столяр, видать, не сможет до самой смерти своей. И это огорчало младшего лейтенанта Ковалева, потому что он видел за спиной Леонтия Саввича бесконечную вереницу последователей.

Семен Митрофанович был свято убежден, что добром торговать нельзя, что это едва ли не самое подлое, что может сотворить душа человеческая, и при этом отчетливо понимал, что добром этим торгуют направо и налево. Что продают его за почет и звания, за карьеру и удобства, за спокойную совесть и безмятежную славу. Продают тем, что творят это добро не для того, кто нуждается в нем, а для себя, и потому творят гласно, трубно и многолюдно. Творят, заранее прикидывая, какой отзвук вызовет оно в верхах и в низах и какие блага получит за это дарующий.

И еще Семен Митрофанович думал о том, что люди могут и должны быть счастливыми. Они станут счастливыми тогда, когда поймут, что добро не товар и что торговать им так же невозможно и противоестественно, как спекулировать лекарством. И убежден был, что это полностью будет достигнуто при коммунизме.

Показался автобус, и еще издали Ковалев заметил, что народу в автобусе том было достаточно, и вспомнил, что сейчас аккурат конец второй смены. Автобус шел по восьмому маршруту и Семену Митрофановичу был не по пути: до дому пришлось бы через парк идти, а это крюк немалый. Поэтому младший лейтенант отступил, чтобы не мешать людям, а потом, когда машина уже трогалась, вспрыгнул на заднюю подножку и прошел в салон.

Он не знал, почему так сделал. То есть знал, конечно, но не успел обдумать: просто глянул рассеянно на автобус и за стеклом в освещенном салоне увидел вдруг худенькую девчужку с сережками-слезками в маленьких ушах. Он даже не понял, воробыха это его или нет, а вспомнил только, что Серега говорил про встречу в восьмом автобусе, и тут же вскочил на подножку.

Он в заднюю дверь вскочил — он всегда только через нее в городской транспорт входил, — а воробыха (если это, конечно, была она, в чем Семен Митрофанович совсем не был уверен), воробыха впереди стояла, у выхода, и Ковалев начал осторожно протискиваться вперед. Рейс действительно

был рабочим, народу скопилось много, и все молчали, как это всегда бывает в автобусах, которые развозят людей, отработавших смену.

Сзади еще кто-то прорывался, давил младшего лейтенанта в спину, наступал на пятки, дважды почему-то в поясницу его толкнул и вроде ощупал кобуру под тужуркой. Ковалев хотел было обернуться, но тут на повороте автобус накренился, и тот, что тискался позади Семена Митрофановича, поспешно уцепился за поручень сиденья. Младший лейтенант тоже качнулся, тоже уцепился за поручень и увидел сырую руку: в толстый безымянный палец намертво впялся перстень с печаткой. Семен Митрофанович вскинул глаза: за спиной стоял рослый, рано расплывшийся мужчина лет тридцати. Черные брови его срослись на переносице, тонкие губы сжаты плотно, будто струбцинкой стянуты: щель одна. Глаза... Вот глаз Ковалев не разглядел. Бежали эти глаза из стороны в сторону, не давались.

— Валера?..

Семен Митрофанович спросил тихо: не для посторонних. И по тому, как дрогнули брови, понял, что не ошибся. Понял, что в точку попал, хотя услышал в ответ другое:

— Вы ко мне, товарищ младший лейтенант? Ошибаетесь тогда...

— Так вот ты какой, Валера,— тихо повторил Ковалев, не спуская глаз с его лица.— Это что, Алка впереди?

— Какой Валера? Какая Алка?.. Путаете вы что-то, товарищ младший лейтенант.

— Путаю?

— Вы проходите? Или...

Автобус тормозил. Семен Митрофанович прошел вперед — теперь между ним и той, со знакомыми сережками-слезками, еще двое было, не протолкнешься, а она не оглядывалась.

— Выходи...

Ясно сказали, отчетливо, как приказ. Сережки сверкнули на миг, повернулись, и младший лейтенант Ковалев в упор увидел свою утреннюю подопечную, воробиху свою.

— Выходи...

Кто это говорил?.. Семен Митрофанович быстро обернулся, но тот, с перстнем, в окно смотрел, отвернувшись. А воробиха — или Алка, он и этого-то в точности не знал, — воробиха всё еще в глаза ему глядела, и Ковалев вдруг понял, что глядит она на него с ужасом, и головой качает, и вроде шепчет беззвучно:

— Нет, нет...

Автобус вздохнул, двери разъехались. Девчонка эта еще

раз отчаянно глянула на Семена Митрофановича и прыгнула прямо в темноту. В какое-то мгновение хотел он за нею шагнуть, но оглянулся: рыхлый по-прежнему равнодушно смотрел в окно, и оставлять его Ковалеву не хотелось. Тем более им пока было явно по пути.

— Выходите? — спросил Семен Митрофанович на всякий случай.

— Пока нет.

Автобус немного опустел: он теперь на каждой остановке терял людей, исчезающих в темноте, а новых пассажиров не было. Места свободные появились, и рыхлый этот — все-таки Валера он или не Валера? — сел на сиденье, а Семен Митрофанович на всякий случай продолжал стоять, чтобы опять нос к носу столкнуться, если этот, с перстнем, вздумает вдруг выходить.

И еще одна остановочка подкатила, предпоследняя. Автобус почти опустел: сзади двое каких-то парней сидело, впереди несколько пассажиров да на отдельном сиденье — этот, с перстеньком. Выходить он, видно, не собирался, ехал до конца, и поэтому Семен Митрофанович подсел к нему.

— Не возражаете?

Рыхлый молча подвинулся.

— По пути, значит, нам, Валера?

— Ошибаетесь, товарищ младший лейтенант. — Теперь он и говорил спокойно, и улыбался спокойно, и смотрел на Семена Митрофановича тоже спокойно. — Игорем меня зовут. Игорь Васильевич Колесников: паспорт могу показать.

— Покажите.

Чуть дрогнули брови. И голос сразу высох.

— Дома. С собой не вожу.

— Тогда придется пройти.

— Куда же?

— В отделение.

Промолчал рыхлый. Усмехнулся криво и промолчал. Почему?

— И без шума, — негромко добавил Ковалев. — Я официально прошу вас пройти со мной в отделение.

— Пожалуйста, пожалуйста! Разве я возражаю?

Вежливо вполне, даже с перебором. И спокойно. Вот это спокойствие, по правде сказать, сильно смущало Семена Митрофановича. И поэтому он добавил:

— После установления личности вас доставят домой на машине. Не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь. Пожалуйста.

И снова улыбнулся. И даже не поинтересовался, на каком основании его в милицию доставляют и зачем, собственно. Либо действительно младший лейтенант неприятную ошибку допускал в самый последний день службы своей, либо этот рыхлый по дороге попросту удрать рассчитывал от старого милиционера. Тем более, что дорога через парк пролежала, тот самый парк, где сутки назад кто-то и за что-то бил воробыху. И она тогда крикнула: «Валера, беги!..» Кого же она выручала? Неужели вот этого, рыхлого, начинающего лысеть самодовольного пижона с перстнем на толстом пальце?..

Захрипел репродуктор в салоне.

— Конечная...

Автобус развернулся, со вздохом распахнул обе двери. Семен Митрофанович сошел первым, подождал рыхлого. Вслед за ними вышли последние пассажиры и те два парня, что сидели сзади. Пассажиры быстро свернули в улицы, а Ковалев и тот, что назвался Игорем Васильевичем Колесниковым, пошли в парк: темный, без единого фонаря, шумящий уже по-ночному — загадочно и тревожно. У входа висели последние лампочки, и, пройдя их, Семен Митрофанович оглянулся: парни, что ехали на заднем сиденье, шли следом за ними.

«Вот это хорошо, — подумал Семен Митрофанович. — Видать, заводские ребята, свои: в случае чего помогут...»

Но помогать пока не требовалось: рыхлый шел спокойно, по сторонам не глазел и убежать не собирался. Когда углубились в лес, в прохладную темень тропинок, спросил благожелательно:

— Что это вы припозднились сегодня, товарищ младший лейтенант? С дежурства, что ли?

— С дежурства, — сказал Семен Митрофанович, решив, что так лучше: пусть этот Игорь, или как его там, думает, что он при оружии. И добавил для убедительности: — Отрапортуя, сдам оружие, а там, глядишь, и с вами разберутся. Вы где проживаете-то?

Блеснули в темноте зубы.

— Представьте себе, нигде. Ночую пока в семиэтажках: там у одного доброго человека старики на даче околачиваются. Впрочем, вы же все знаете: мы с вами сегодня чуть-чуть разминулись, буквально на минуточку.

— У Анатолия?

— Совершенно точно! — рассмеялся рыхлый.

Самоуверенно рассмеялся, почти с торжеством. Почему вдруг? Какая причина? Может, на темноту надеялся, на собственную силу, на парк этот пустынный, где и днем-то

от милиции удрать — раз плюнуть? Семен Митрофанович осторожно оглянулся: две фигуры смутно виднелись позади, и он опять успокоился.

— Откуда же вы Анатолия знаете?

Опять рассмеялся спутник его. И не ответил.

— Чего это вы развеселились вдруг?

— Смешно, товарищ младший лейтенант. Подумал я, сколько еще у нас неиспользованных возможностей, чтобы вас за нос водить, и мне сразу стало смешно.

— У кого это — у вас?

— Я умных людей имею в виду, товарищ младший лейтенант.

— Это ж каких таких — умных?

Семен Митрофанович подобрался весь, нехорошее что-то почуяв. Ой, не зря рыхлый этот разоткровенничался, не зря!.. Только что же он, чудак, пареньков тех не видит, что ли? И Ковалев на всякий случай шаг сбавил, чтобы парни те подтянулись поближе.

— Сутки назад как раз в этих кустах пришлось проучить одну глупую девчонку, — сказал вдруг его спутник. — И знаете, за что? За то, что она отказывалась участвовать в операции «Пистолет», которую разработал один умный человек. А сегодня эта операция разыгрывается, как по нотам... — Он остановился. — Не хотите ли закурить? Я патриот, курю только советские...

— Идем, гражданин, идем, — сказал Семен Митрофанович, невольно отступив на шаг, чтобы быть поближе к тем парням, что шли за его спиной. — В милиции доскажешь...

— Пришли уже, — сказал рыхлый и чиркнул спичкой. — Пришли, лейтенант...

Удар обрушился на Семена Митрофановича сзади. Он не почувствовал его, а услышал и с какой-то странной горечью успел подумать о тех парнях, что напрасно они ударили его, ах, напрасно: он ведь еще не на пенсии, он еще на службе, и им за это... Но он успел только пожалеть их, а что им будет за это, додумать так и не успел. И еще он успел почувствовать чужие, грубые руки, которые почему-то лихорадочно рвали из его кобуры игрушечный пистолет...

Комиссар Белоконь приходил на работу в восемь сорок пять. А ровно в девять часов Вера Николаевна пригласила к нему первых посетителей.

В тот день посетитель был приятный: начальник АХО доложил, что для городской милиции пришло первых пятьдесят комплектов обмундирования нового образца, и принес список наиболее достойных кандидатов. Сергей Петрович, нацепив очки, придирчиво изучал этот список, отмечая французской ручкой фамилии тех, кто вне всякого сомнения должен был одним из первых получить новую шинель загадочного цвета маренго.

— А капитану Голованову не дадим, — улыбаясь, говорил он. — Капитан Голованов в театр не ходит: зачем ему шинель цвета маренго?

Полковник Орлов вошел в кабинет без стука. Вошел, остановился, точно собираясь с духом, а за ним молча шли начальники отделов. И стало вдруг очень тихо, и в этой тишине отчетливо было слышно, как всхлипывает в приемной Вера Николаевна.

— Час назад в парке нашли Митрофанюча, — тихо сказал Орлов.

— Что?

— Убит.

Кажется, комиссар крикнул. Крикнул, с маху хватил обоими кулаками по полированной столешнице, и шариковые ручки посыпались на пол. Слезы текли по морщинистым, старательно выбритым щекам, и комиссар не замечал их. Он сидел, выпрямившись, бросив на стол огромные рабочие кулачищи, строго глядя перед собой. Начальники отделов молча смотрели на него, и только бледный полковник Орлов повторял:

— Найду, товарищ комиссар. Под землей найду. Лично найду.

Белоконь рукою вытер лицо, недоуменно посмотрел на мокрую ладонь, сказал тихо:

— Ищи.

И Орлов тотчас же вышел. А начальник АХО робко потянул из-под комиссарского локтя список претендентов на новые шинели.

— Что? — спросил Белоконь.

— Ничего, ничего, — поспешно сказал начальник АХО. — Это список, это не обязательно. Это потом...

— Список?.. Подождите.

Комиссар тяжело нагнулся, поднял с пола знаменитую парижскую ручку и вписал ею в список младшего лейтенанта милиции Ковалева Семена Митрофановича.

А народ со всего управления все шел и шел и, стесняясь комиссара, оседал в приемной. Вера Николаевна плакала в углу и каждому, кто входил, говорила:

— Курите. Курите, пожалуйста...

И почему-то все закуривали, даже некурящие. И впервые за много лет густые облака табачного дыма плавали в этой комнате.

— Может, с целью ограбления? — тихо расспрашивал кто-то. — Может, просто грабеж?

— Да какой там грабеж! — вздохнул рослый оперативник. — В порядке его кошелек, в кармане лежит. Там все его богатство: семьдесят восемь копеек. Пистолетик деревянный рядом валяется: видно, детям игрушку сделал. И еще — тряпочка какая-то...

В приемную вошел Хорольский. Он был как-то странно оживлен, и поэтому все отвернулись.

— Где полковник Орлов? — спросил он в дверях.

— Работает, — сухо сказал оперативник. — Просил не беспокоить.

Не удержался Хорольский. Даже в это утро не удержался: улыбнулся торжествующе.

— Ну, меня-то он примет, — сказал. — Там ко мне девочка пришла. Вчерашняя девочка. С показаниями. Вот адреса.

И положил на стол бумажку...



встречный  
БОЦ





# ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ

## 1

Рассвет в горах наступал медленно. Длинные тени ползли по долинам, нехотя отрываясь от земли, туман плотно окутывал кусты, а поверх стлался синий пороховой дым, почти не тающий в холодном воздухе.

Генерал смотрел в стереотрубу до рези в глазах. В искусственном, многократно отраженном и преломленном мире оптики все казалось плоскостным, неестественным, а радужная пленка, занимавшая восточную часть зоны обзора, раздражала ярмарочными красками.

— Не вижу! — сердито сказал он. — Выбрали энпе, нечего сказать! Где танки Колымасова?

— Левее моста, товарищ генерал, — негромко пояснил маленький капитан-разведчик, оборудовавший для комкора этот наблюдательный пункт.

Генерал оторвался от окуляров, поправил сбитую на затылок фуражку.

— Выдвинуть вперед, — сказал он. — Так, чтобы я моторы слышал. Струсили под занавес, разведчики? — Он насмешливо посмотрел на капитана покрасневшими от бессонницы глазами и легко прыгнул на бруствер. — Связь, не отставать!..

Генерал шагал туда, где глухо гремел бой, прикрытый тугими клубами сизо-серой смеси дыма и тумана. Он шел в рост, не пригибаясь от случайных снарядов, сунув руки в карманы ватника и поеживаясь. За ним неслышно скользили адъютант и два автоматчика.

Было прохладно, и стволы автоматов покрылись мельчайшими капельками росы. Солнце никак не могло перевалить через горы, в низине было еще по-ночному сумрачно, и только высоко в редких прогалинах тумана угадывалось светящее небо.

— Три семнадцать, — сказал генерал, взглянув на часы. — Поздно здесь светает.

Генерала обогнали сначала разведчики во главе с ка-

питаном, а потом и связисты, тащившие катушки и дублирующую рацию.

— Чтоб связь работала! — крикнул вдогонку генерал.

— Так точно, товарищ генерал! — автоматически отозвался лейтенант-связист и побежал, временами пригибаясь и удобнее укладывая провод.

Разведчиков было шестеро — в ватниках, подпоясанных ремнями, с автоматами за плечом, ножами и гранатами на поясе. Шестеро молчаливых, привыкших общаться скорее знаками, чем словами, прошедших войну солдат. Они одинаково бесшумно, чуть пригнувшись, шли след в след за капитаном, и по профессионально легкой, неторопливой и расчетливой походке их можно было принять за пехоти́нцев, если бы не традиционные черные шлемы, которые в танковых войсках носили все, даже тыловики, ремонтники и связисты.

— Не вышло, — усмехнулся рыжеватый молодой разведчик, когда они обогнали генерала. — Разве его обманешь?

— А бой-то, по всему виду, последний, — вздохнул рослый сержант, тащивший стереотрубу. — Ковырнет какая-нибудь дура случайная — обидно...

Они говорили не о себе. Они говорили о генерале — командире их танкового корпуса. Он разгадал наивную хитрость, с помощью которой они надеялись обезопасить его в эти последние часы войны. Сказать, что они любили его, как любят солдаты смелых и удачливых командиров, значило бы сказать мало и обычно, потому что они не просто любили — они гордились им, как гордятся братья самым талантливым и счастливым в семье. Гордились перед солдатами других корпусов, перед знакомыми и неизвестными офицерами и генералами, гордились перед семьями, и военная цензура подчас вставала в тупик, натываясь в солдатских письмах на восторженные фразы о *нашем*. Его называли так в разговорах: «наш сказал», «наш приказал», «наш велел». Называли все — и солдаты и офицеры, — и никто не знал, когда зародилось это теплое, почти семейное отношение к командиру корпуса. А «наш» был несколько не мягче, не добрее, не сердечнее любого командира. Скорее наоборот: он был суровее многих, не терпел противоречий, а в бою проявлял порой граничащую с жестокостью непреклонность. Он никогда не сбивался на солдатские шуточки, бытовавшие в разговорах многих генералов, был замкнут, и мало кто в корпусе мог похвастаться, что видел улыбку на его лице.

Он был храбр, но удачлив, резок, но демократичен, суров, но справедлив. Все эти качества встречались у мно-

гих военачальников, но «наш» генерал имел еще одну и, вероятно, решающую особенность: в августе этого года ему исполнилось тридцать лет...

— Мелешко, ты с него глаз не спускай,— сказал маленький капитан, устанавливая стереотрубу на чердаке разбитой водонапорной башни — единственного уцелевшего строения некогда обширного фольварка.

Сержант, тащивший стереотрубу, молча кивнул. Приказ этот означал, что отныне ему в обязанность вменяется прикрыть генерала телом, если в этом возникнет необходимость, но разведчик только заботливо обтер рукавом ватника автоматный ствол и ушел встречать подопечного.

Генерал шагал быстро, но неторопливо: часто останавливался, наблюдал за боем, в который втягивались подходы части, рассылал связных по участкам. Он знал, что наблюдательный пункт надо не только найти, но и оборудовать, и заранее давал своим людям на это время, чтобы они не нервничали, видя торчащего над душой командира.

Связисты быстро готовили связь. Временами лейтенант включался в провод, проверяя, не перебило ли его осколком, говорил несколько зашифрованных слов и снова смыкал цепь, следуя за своими телефонистами.

— Товарищ генерал!.. — вдруг непривычно громко крикнул он, стоя на одном колене и протягивая трубку. — Товарищ генерал, вас!

Генерал с удивлением посмотрел на его сияющее, счастливое и одновременно растерянное лицо и взял трубку:

— Ну?.. Так...

Лицо его на мгновение дрогнуло, но он тотчас же придал ему прежнее замкнутое выражение и только щелчком сбил на затылок фуражку. Молоденький лейтенант с мокрым то ли от росы, то ли от слез лицом, восторженно улыбаясь, смотрел на него, словно ожидая увидеть что-то очень необыкновенное, и генерал, поймав этот взгляд, чуть сдвинул брови и положил руку на плечо лейтенанту.

— Понятно,— сухо и деловито говорил он в трубку. — Бой развивается нормально. Прошу пока не сообщать. Да. Нас это не касается.

Он отдал лейтенанту трубку, серьезно и чуть печально посмотрел в его счастливые глаза и тихо сказал:

— Молчать, лейтенант. Молчать до самого конца. И связистам своим закажи. Понял меня?

— Понял,— кивнул лейтенант. Губы его вдруг дрогнули, и он шепотом добавил: — Поздравляю вас.

— И тебя тоже,— сказал генерал и пошел.

К тому времени, когда солнце, с трудом разогнав туман,

прорвалось наконец в низины, бой затих. Немцы прекратили попытки с хода прорваться к перевалам и то ли перегруппировывались, то ли чего-то ждали, изредка вслепую осыпая минами перепаханые танками склоны. Наши молчали.

К наблюдательному пункту подтянулся штаб, появились люди. Все были в странно возбужденном состоянии, словно в воздухе носилось что-то невысказанное, но уже известное каждому, о чем почему-то до времени принято было молчать. И все с удовольствием и почти весело играли в эту молчанку, но слаженный механизм гигантской военной машины вдруг где-то нарушился, и хотя люди привычно делали привычное дело, все сегодня выглядело не так: не так ходили, не так отдавали команды, не так ждали, курили, разговаривали.

В низине под наблюдательным пунктом расположился узел связи: три огромные автомашины, опутанные проводами и антеннами. Девушки-радистки сновали вокруг этих машин, и солдаты, рывшие укрытия по гребню, часто прерывали работу и долго, опершись о лопаты, смотрели вниз, на девушек, и во взглядах их было что-то новое, уже мирное.

Возле водонапорной башни мыкался младший лейтенант. Он с курсантской торопливостью тянулся перед каждым офицером и все пытался доложить, что прибыл «для прохождения дальнейшей службы», но командирам было не до него, и он, вздохнув, отходил в сторону. Он очень хотел повоевать и тоже понимал, что этот бой — последний, и радовался, и ужасался, что не успеет отличиться, и боялся погибнуть за полчаса до конца войны. Это двойственное чувство жило в нем постоянно: решившись, он обретал вдруг настойчивость и подсказывал к кому-нибудь из начальства, собираясь потребовать немедленного назначения, но тут же скисал, мямлил что-то невразумительное и сразу же отходил, втайне радуясь, что его никуда не послали.

В пять на «виллисе» приехал полковник Сергей Иванович Ларцев — замполит командира корпуса. Он был грузен, добродушен и, с солдатской точки зрения, весьма стар, и поэтому командир корпуса во всех случаях обращался к нему только по имени и отчеству, позволяя себе откровенно нарушать устав. Увидев замполита, он тут же спустился к подножию башни.

— Немцы отклонили ультиматум, — негромко сказал полковник. — В одном месте обстреляли парламентаров.

— Ну и черт с ними, — резко отозвался генерал. — Управлять остаться в живых не собираюсь. Передайте Ко-

лымасову: в пять сорок атака. И пока не возьмет мост, пусть на глаза не показывается.

— Людей жалко,— вздохнул Сергей Иванович.

— Может, пропустим фрицев к американцам?

Полковник промолчал. Генерал покосился на него, сказал мягко:

— Мне, Сергей Иванович, тоже людей жалко. И не только этих,— он кивнул на разведчиков, сидевших на корточках у стены,— но и тех, кого та сволочь лет через двадцать в бой пошлет. Вот так. Готовьте атаку. И...— он твердо посмотрел в добрые, в стариковских морщинках глаза,— помните: для нас она еще не кончилась...

— Товарищ генерал!.. Товарищ генерал!

Ликующий женский крик заглушил грохот выстрелов, вой мин, далекий рев танков — он заглушил все, саму войну.

— Товарищ генерал!

Снизу, от узла связи, изо всех сил бежала девушка в гимнастерке, перетянутой ремнем, в узкой защитной юбке, в тяжелых кирзовых сапогах, смешно и трогательно хлюпающих на стройных ногах. Берета на ней не было, и черные волосы металась вокруг головы. Она, задыхаясь, лезла по крутому откосу, счастливая, восторженная, светлая. Торопясь обрадовать людей, она забыла обо всем на свете и, всегда обычно осторожная и скромная, сейчас совсем по-детски подпернула узкую юбку, бесстыдно сверкая голубой каймой стандартных армейских штанишек.

— Товарищ генерал!..

Он понял, что означает этот звонкий, ликующий крик. Понял и бросился к ней, оглушительно заорав:

— Молчать!..

От грозного окрика девушка споткнулась, упала, не отрывая глаз от подбежавшего генерала.

— Товарищ...

— Молчать!..— второй раз рывкнул он и, запыхавшись от бега, остановился над нею.

Сзади него тут же выросла фигура разведчика. Девушка снизу вверх посмотрела на них, все еще продолжая улыбаться.

— Мир...

— Нет,— твердо сказал он и опустил рядом с нею на колено.— Нет мира, ефрейтор. Бой идет. После боя мир будет. Поняла?

— Поняла.— Она послушно покивала, улыбаясь. Слезы текли по ее щекам, и она совсем не по-ефрейторски шмыгала носом.— Мир, товарищ генерал. Война кончилась.

Генерал глядел на ее счастливое, зареванное лицо, и острая боль на мгновение сжала сердце. Он опустил голову, наткнулся глазами на круглое, перепачканное землей колено и сразу же поднялся.

— Встать,— негромко скомандовал он, и девушка, поспешно одернув юбку, тотчас же вскочила и опустила руки по швам.— Вытрите слезы.

Она машинально пошарила по поясу, по обшлагам гимнастерки и, виновато улыбнувшись, стала вытирать лицо ладонями. Генерал достал платок, стесняясь, сунул ей в руку.

— Идите к себе и не выходите. И всем скажите, чтобы носа не смели показывать. И никому ни слова. Идите.

— Есть,— шепотом сказала она и пошла вниз, зажав в руке скомканный генеральский платок.

Многие видели эту встречу, слышали крик, но никто не знал, о чем говорил генерал с радисткой. Знал только рослый разведчик Мелешко, которому капитан приказал охранять генерала, но он молчал, понимая, что в бою не следует делиться такой новостью.

— Хороши ножки,— заметил рыжеватый разведчик и вздохнул.— На такие бы ножки да классные тувельки.

— Нашему Феде Гонтарю абы ножки,— усмехнулся другой разведчик.— А вот чего она бежала...

— Нет, точно: классная девка,— опять начал Федор.— Главное — дичок. Полгода воюет, а никто в корпусе и похвастать не может, что в руках подержал.

— Один, кажется, пробовал,— скупой улыбнулся капитан.— Пробовал, а потом неделю рожу у санинструктора чинил.

Разведчики засмеялись.

— Я еще не пробовал,— сказал Федор.— Это так, разведка боем.

Грохот заглушил его слова: немцы начали энергичный и бессистемный обстрел. Солдаты попрятались в наспех открытые щели. Прятались они с шутками, уже не испытывая ни страха, ни даже привычного нервного напряжения.

— Пугает фриц напоследок.

— Боекомплект расходует, чтоб драпать легче было!

— Ну, паразит, я тебе эту мину попомню!..

— Сейчас полезут,— сказал генерал и, не обращая внимания на мины, пошел к водонапорной башне.

Мелешко шагал след в след, почти наступая на пятки. Генерал рассердился:

— Что ходишь как тень? Влепит в спину на прощание...

— У вас свой приказ, а у меня — свой,— ворчливо отозвался разведчик.

По шаткой лестнице они поднялись наверх. Башня гудела от разрывов. Генерал приник к стереотрубе, произнес, не оглядываясь:

— Петя, на прямой — в третью бригаду. Скажи, чтоб перестроились уступом справа. И чтоб Голубничий не зарывался!

— Есть, — сказал молодой и очень молчаливый адъютант.

Он захохотал сапогами по лестнице. Навстречу, пыхтя, поднимался полковник Ларцев:

— Куда, орел?

— В третью.

— Передай, что персональное дело Вовченко слушать сегодня не будем в связи с... — Он спохватился, посмотрел на адъютанта. — В общем, переносится.

— Понятно! — сбегая вниз, крикнул Петя. — В связи с тем самым!..

Полковник, отдуваясь, взобрался наверх. Налет кончился, и сразу стал слышен далекий гул танковых моторов.

— Пошли, — сказал генерал. — К перевалу рвутся, черти. Передай Филину, чтоб обороняться и не думал. Пусть наступает левым крылом по лощине.

— Есть, — ответил лейтенант-связист, лично обслуживающий генеральскую рацию. — «Герань», я — «Ландыш», я — «Ландыш»...

— Надоел мне этот цветочный флирт, — вздохнул полковник. — В жизни столько цветов не видел, сколько за войну наслышался. И откуда у связистов такая склонность?

— Ботаники все, — проворчал генерал, не отрываясь от окуляров трубы. — Нахально лезут немцы, очень нахально. Скажите Колымасову, чтоб начинал атаку на мост.

— А не рано? — осторожно спросил полковник.

— Чего тянуть? И так последними остались.

Лейтенант вновь припал к своей рации, вызывая далекого Колымасова:

— «Лютик», «Лютик», я — «Ландыш»...

Слева — совсем рядом — ударили выстрелы. Капитан бросился к пролomu, выглянул: стреляли в лесу, метрах в трехстах от башни.

— Что там еще? — недовольно спросил генерал.

— В лесу-то? — не оглядываясь, переспросил капитан. — В лесу минометчики наши стоят.

— Может, немцы просочились? — предположил Ларцев.

— Пошлите кого-нибудь узнать, — нетерпеливо сказал генерал: Колымасов уже начал атаку, и все внимание генерала занимал теперь мост.



Капитан молча спустился вниз. У входа в башню стоял младший лейтенант: его опять обуял страх, что он не успеет выстрелить в этой войне.

— Товарищ капитан, разрешите...

— Возьмите отделение и проверьте, что за стрельба в лесу.

— Есть! — радостно крикнул лейтенантик и, путаясь в шинели, побежал к щелям, на бегу вытаскивая из кобуры тяжелый «ТТ». — Отделение, за мной!..

Он бежал через поле, спотыкаясь и шарахаясь от случайных снарядов. Солдаты вразброд бежали следом, и в беге их было что-то усталое и равнодушное: так спешат на скучную, осточертевшую, но, увы, необходимую работу.

А стрельба в лесу продолжалась. Тренированное ухо уловило бы в этой стрельбе целую гамму звуков: гулкие винтовочные выстрелы, злую автоматную очередь, сухой и короткий треск пистолетов. Но для мальчика-командира все выстрелы звучали одинаково и говорили только об опасности, и снова — в который раз! — страх погибнуть в последние мгновения войны зашевелился в нем, и, чтобы заглушить его, мальчик вдруг тоненько и одиноко закричал:

— Ура!

Солдаты бежали молча, грузно топая сапогами по сырой земле, а младший лейтенант, размахивая пистолетом, одиноко кричал, пока его не нагнал усатый пожилой сержант.

— Зря вы кричите, товарищ лейтенант, — добродушно сказал он. — Во-первых, фрицы все равно ничего не слышат, а во-вторых, дыхание сорвете.

Вспотев от стыда, младший лейтенант сразу замолчал и опустил затекшую руку с пистолетом. Сердце его билось часто и неровно, но он задохнулся не от крика, а от волнения, потому что был значительно моложе и тренированнее своих солдат — в большинстве пожилых, как это всегда бывало в комендантских взводах.

Они успели пробежать две трети расстояния до леса, когда оттуда густо высыпали люди.

— Ложись! — приказал младший лейтенант, падая на землю.

— Да свои это! Свои! — закричал пожилой сержант.

И опять младшему лейтенанту стало очень стыдно и досадно: его солдаты полукругом стояли над ним, и он встал, пряча глаза и с излишней старательностью отряхивая измазанную шинель.

Солдаты действительно были своими. Они бежали по полю, размахивая оружием, и что-то неразборчиво и недружно кричали. Кто-то стрелял в воздух, кто-то вдруг

пустил в небо красную ракету, а вслед за ней — белую, и, когда ракеты эти с шипением поднялись вверх и вспыхнули там, пожилой сержант зачем-то снял пилотку и тихо сказал: — Вот оно, товарищи. Вот оно... Кончилась, значит, война...

## 2

— Застрял Колымасов! — гневно сказал генерал. — Сергей, машину!..

Один из автоматчиков, постоянно сопровождавших генерала, кубарем скатился с лестницы.

— Вон в чем дело! — громко сказал Ларцев, наблюдавший за встречей возле леса. — Узнали, обормоты. Ракеты пускают. Разнесут теперь по всему корпусу...

— Предупредить! — крикнул генерал. — Командира — под суд! Под вашу ответственность, Сергей Иванович. — Он оторвался от стереотрубы, поправил фуражку. — Я — к Колымасову.

У башни уже стоял «виллис». Автоматчик сидел сзади. Рядом с ним молча расположился угрюмый Мелешко.

— К Колымасову, — сказал генерал, садясь впереди. — Быстро, Сергей!

Два «виллиса» почти одновременно отъехали от башни: один направлялся через поле к радостной солдатской группе, до сих пор самозабвенно пускавшей в небо ракету за ракетой; второй спускался вниз, туда, где гулко рвались снаряды.

Пойма реки была густо расчерчена танковыми следами. Жирная весенняя земля, кое-где уже покрытая свежей травой, глухо вздрагивала от частых разрывов. «Виллис» швыряло из стороны в сторону, но водитель не снижал скорости: генерал любил бешеную езду. Пригнувшись к рулю, шофер остервенело крутил его, шестым чувством угадывая безопасное направление. Комья земли стучали о кузов, уже дважды пробитый осколками, но маленькая юркая машина каким-то чудом еще была цела, еще вертелась среди разрывов, рыская из стороны в сторону.

Впереди уже виднелись танки. Они рассыпались за обратным скатом небольшого пригорка, и вражеские снаряды либо летели через них, либо рвались на гребне. Это была мертвая зона, недосягаемая для немецкой артиллерии, и танки умело использовали ее.

Чуть в стороне стояла одинокая «тридцатьчетверка». Она не дошла до спасительной черты и теперь — черная,

еще дымящаяся — уже не представляла собой ничего, кроме обгоревшей, искореженной груды металла. Сорванная взрывом башня лежала метрах в двадцати от машины, лежала на боку, обнажив ослепительно сверкающий круг отшлифованного погона. Возле нее сидели двое: командир в разорванном комбинезоне, с черным от копоти, сильно обожженным лицом, и второй — без сознания, с забинтованной, как кукла, головой. Генерал на ходу прыгнул с «виллиса», взгляделся:

— Ты, Брянский?

— Фаустники...— Командир с трудом разлепил обожженные губы, и по подбородку сразу потекла кровь.— Фаустники у моста. Трех сожгли...

По остановившимся глазам и слишком мерному, громкому голосу генерал понял, что командир не слышит ни его, ни грохочущих рядом разрывов.

— Отвезешь их, Сергей,— сказал генерал.— Ларцеву передашь, чтобы прислал разведбатальон. Дай молоток.

Он взял молоток и пошел вперед, не пригибаясь, а лишь чуть ссутулив спину и сбив на затылок тяжелую генеральскую фуражку. Разведчик шел за ним, стараясь прикрыть от разрывов, а шофер и автоматчик укладывали в машину раненых танкистов.

Вокруг стояли вой и грохот. Комья земли стучали по генеральским сапогам. Волной сорвало фуражку, он наклонился за ней, и в это время разведчик вдруг резким толчком бросил его на землю и упал рядом, закрывая телом. Над головами с визгом пронеслись осколки.

— Цел? — спросил генерал, поднимаясь.

— Цел,— сказал Мелешко.— Флягу пробило. Жалко.

Он отцепил от пояса флягу. Из рваной дыры с бульканьем вытекала вода.

— Ты на генералов не очень-то бросайся,— ворчливо сказал генерал. Что за манера — генерала в задницу толкать.

— Вышло так,— без улыбки ответил разведчик.

Они еще раз упали от близко разорвавшегося снаряда, перебежали открытое место, упали снова и вскоре вступили за ту черту, ближе которой снаряды уже не рвались и где приходилось опасаться только осколков или случайных мин.

— Проскочили,— улыбнулся генерал.— Закурим, разведчик?

Он достал помятую пачку «Казбека», с трудом отыскал две целые папиросы. Остальные были поломаны, и он бросил пачку, но хозяйственный разведчик подобрал ее.

— Заклеить можно.

Генерал безошибочно определил танк командира, подошел. Люки были задраены, но сквозь толстую шершавую броню чуть доносилась музыка. Генерал удивленно слушал, а потом наотмашь застучал молотком. Тотчас же откинулся люк, из танка вырвалась мелодия веселого праздничного марша, а потом высунулся молодой офицер. Он был без шлема, с перемазанным пороховой копотью лицом.

— Товарищ генерал? — скорее радостно, чем удивленно, крикнул он и махнул рукой: музыка смолкла.

— Почему стоишь? Почему не атакуешь?

— Мир! Ребята Москву поймали! Мир, товарищ генерал! Приказ Верховного Главнокомандующего...

— Отставить! — Генерал яростно стукнул по броне молотком, и танк загудел гулко и тревожно. — Есть мой приказ! Мой, понятно?..

— Понятно, — тихо сказал офицер. — Виноват...

— Вперед! Подавить огневые точки. Атаковать и взять мост.

— Фаустники.

— Вас прикроет разведбат. — Генерал в упор заглянул в погрустневшие глаза офицера, добавил негромко: — Последний бой, Колымасов. Часок еще, а?..

И, словно застеснявшись, повернулся и зашагал к соседнему танку, размахивая молотком...

Больше он не командовал, не кричал, не сердился. Он ходил по изрытому полю, стройный, в ловко сидевшем куцем солдатском ватнике, в щегольских хромовых сапогах, перемазанных жирной землей, стучал молотком по броне и каждому черному, замурзанному танкисту негромко говорил одни и те же слова:

— Последний бой, ребята. Прошу. Очень прошу.

Он просил. Он — горластый и энергичный, резкий, дерзко настойчивый — просил своих офицеров продолжать этот последний, трижды проклятый бой и сам удивлялся мягкости собственного тона. Нет, он понимал, что просить совсем не обязательно, что танкисты беспрекословно пойдут в атаку и по приказу, и по жесту, и даже если он просто выматерит их тремя хлесткими словами. Понимал, но почему-то не мог заставить себя закричать, заругаться, просто рассердиться, как еще совсем недавно сердился на наблюдательном пункте. Здесь, в непосредственной близости от врага, для которого тоже кончилась война, но который почему-то не желал этого признавать, он вдруг почувствовал, что в нем нет сил приказать своим ребятам идти на смерть в день, который вся земля, все страны и народы уже объявили днем величайшего счастья.

Командиры машин — кто молча, кто озорно, а кто и грустно — кивали, захлопывали люки. Ревели моторы, и танки, срывая дерн, ползли по откосу к гребню. Высунув из-за него башни, они открывали огонь, и пороховой дым, смешиваясь с голубыми облаками газойля, медленно сползал в низину.

Вскоре подошел разведбат во главе с молчаливым маленьким капитаном. Выслушав задачу, в которой тоже звучали непривычные просительные нотки, капитан тихо сказал «Есть», распределил людей по машинам и сам вскочил на танк Колымасова. Танки вздрогнули и, заваливаясь на корму, один за другим стали исчезать за крутым гребнем холма. Генерал снял фуражку и вытер рукавом лоб.

— Закурите.— Разведчик протянул ловко заклеенную папиросу.

Генерал прикурил, сделал несколько затяжек и бросил окурки:

— Пошли, разведчик.

Они поднялись на холм и легли на скате, глядя на поле боя.

Танки шли, рассыпавшись веером и стреляя на ходу. Местность была сильно пересеченной, и механики, боясь заглушить моторы, жали на максимальных оборотах. Густые клубы выхлопов шлейфами тянулись за машинами, и фигуры разведчиков прятались в дыму.

— Молодец Колымасов,— сказал генерал.— Все учел: даже что воздух в низине сырой.

За изрезанной складками и оврагами низиной виднелся каменный мост. Перед ним в глубоких окопах и развалинах казарм охраны засели немцы. Судя по частоте огневых вспышек, система обороны моста была мощной, заранее продуманной, и генерал остро пожалел, что поторопился и завязал бой, не подтянув артиллерию.

— Огоньку бы сюда,— вздохнул он.

— Поздно,— сказал Мелешко.

Маленькие фигурки уже прыгали с танков и, пригнувшись, перебегали впереди машин, прочесывая кусты и лощинки густым автоматным огнем: там, очевидно, прятались немецкие фаустники. Два танка на левом фланге уже горели: черный дым сплошной полосой тянулся по ветру; два других, забравшись в воронки, вели яростный огонь, но с места не двигались.

— Да, поздно,— вздохнул генерал.— Черт!..

Он вскочил и побежал вперед, и разведчик, неодобрительно покачав головой, пошел следом.

Позднее генерал часто спрашивал себя: зачем он это

сделал? Почему, вдруг забыв, что он — командир корпуса, что в его руках мощнейшие средства уничтожения, которые только ждут сигнала, чтобы обрушиться на врага (его сигнала!), — он полез в бой на узком участке, словно был еще тем молодым выпускником бронетанковой академии, которым закончил еще финскую, — неопытным и горячим комбатом? Да, его беспокоили и затяжка боя, и нерешительность танкистов, и удивительная в конце войны стойкость немецкой обороны. И все-таки не это было главным.

Уже двенадцать часов, половину суток, был мир. Мир! Двенадцать часов вся Европа пела и плакала, танцевала, целовалась, ликовала и пьянствовала, потому что большей радости, большего торжества и облегчения не знало человечество за всю свою неласковую историю. А здесь, на этом узком, безлюдном горном перевале, повинаясь его приказу, еще умирали люди, и в этот страшный и до ужаса несправедливый час он хотел быть рядом со своими ребятами, он хотел разделить с ними опасность, он просто не имел права уйти на НП и считать оттуда, сколько еще факалов зажгут немецкие истребители из его «тридцатьчетверок».

Они прошли совсем немного, когда немцы накрыли их густым минометным огнем. Это были не случайные мины, а систематический и беспощадный огонь по площади: видно, немцы, опасаясь подхода свежих пехотных частей, отсекали их от слепых и беззащитных перед фаустниками танков.

Генерал и разведчик упали рядом, потом перебежали в мелкую канаву, и разведчик толкнул в нее генерала, а сам навалился сверху и лежал не шевелясь, и, только когда наконец налет кончился, генерал понял, что разведчик мертв.

Он встал и долго смотрел на окровавленный, иссеченный осколками ватник солдата, на его совсем недавно подстриженный затылок, все время машинально смахивая со своего лица кровь, стекающую с рассеченного лба. Потом глянул вперед: там еще слышались выстрелы, рев танков, но опытное ухо уже ловило какой-то перелом. Он всмотрелся и понял: Колымасов ворвался на мост.

### 3

Через час, когда все было кончено и он — уже без ватника, с чистой повязкой на голове — сидел на пункте связи, адъютант доложил, что немецкий генерал хочет сказать несколько слов. Он молча поднялся, но ответить не успел, потому что Ларцев, посмотрев на него, буркнул:

— Пусть войдет.— А когда адъютант вышел, добавил тихо: — Война кончилась, между прочим. Четырнадцать часов назад.

Вошел немецкий генерал — еще нестарый, сутулый, длиннорукий человек со смертельно усталым, безжизненным лицом. Рука его была на перевязи, и поздоровался он молчаливым кивком. Не ожидая вопросов, начал говорить: сухо, почти без интонаций. Невозмутимый переводчик еле успевал переводить.

— Он — не нацист, он — кадровый офицер. Вермахт. Он никогда не был поклонником Гитлера. Он понимает, что это обстоятельство никоим образом не может облегчить его участь, и готов ехать в Сибирь. У него одна проблема, которую он рискует изложить, зная о благородстве русского командования. В этот радостный для всех день окончания великой войны он просит сообщить его семье, которая проживает в Кёльне...

— Вот почему он так на запад рвался! — негромко сказал полковник.

— Он надеется, что советское командование не откажет ему.

— Есть в немецком языке слово «подлец»? — вдруг звонко перебил генерал.— Есть?

— Так точно, товарищ генерал,— несколько смешался переводчик.

— Ну так скажите ему от моего имени, что он — подлец. Подлец и убийца.

Переводчик громко и ясно, стараясь передать интонацию генерала, перевел фразу. Немец медленно поднял голову, его землистое лицо порозовело.

— Увести! — коротко бросил генерал и отвернулся.

Немец сказал что-то еще, но переводчик не стал переводить, и пленный, ссутулившись больше прежнего, медленно вышел, шаркая усталыми ногами...

#### 4

Вечером, когда подтянулись тылы, а расторопные старшины натащили вина и водки, корпус праздновал Победу. Разноголосые песни неслись по всему расположению, и, хотя генерал категорически запретил стрельбу, кое-где вдруг раздавались очереди, и тихое небо распарывали стремительные всполохи трассирующих пуль. На выстрелы немедленно устремлялся трезвый, а потому особенно беспощадный патруль, виновника тут же обезоруживали и на-

правляли в глухой подвал под развалинами усадьбы. Впрочем, это никого не огорчало.

Младший лейтенант сам напросился в патруль. Все равно знакомых у него в корпусе не было, а перспектива бесцельно шататься среди празднующих людей была куда горше суровых обязанностей начальника патрульной команды. И младший лейтенант исполнял эти обязанности ревностно и строго. А дел было много, потому что праздновали все, кроме дежурного батальона, медсанбата да похоронной команды, в последний раз исполняющей свою невеселую работу. Командир ее — прихрамывающий пожилой старшина — укоризненно посматривал на ликующих танкистов и вздыхал:

— Тризна...

Разведчики праздновали вместе с бригадой Колымасова не только потому, что давно дружили с нею и с ее всегда вежливым командиром, но и потому, что последний бой им пришлось вести вместе и общей была не только радость; но и печаль. Здесь не было шума и веселья: празднество было сдержанным, тосты — скупыми, а песни — печальными. И танкисты и разведчики никак не могли забыть своих Юрок, Володек, Васек и Игорьков, сторевших, убитых или искалеченных уже после войны, что представлялось особенно нелепым и несправедливым.

Группа офицеров расположилась прямо на земле, раскинув пару огромных танковых брезентов. Бутылки с водкой и спиртом, бочонок местного вина и американские консервы вперемежку с трофейными галетами стояли в центре, а офицеры — в большинстве своем еще молодые, потому что и сам род войск был еще молодым, — либо лежали, либо сидели по краям, скинув сапоги. Не было шуток, не было обычного балагурства, хотя выпито было достаточно, да и праздновали не что-нибудь, а День Победы.

— Гришку по-глупому сожгли, — негромко говорил низенький крепыш капитан, сидевший рядом с задумчивым Колымасовым. — Я крикнул ему, что слева в кустах шевеление какое-то: может, фаустник, а он то ли не понял, то ли...

— А бывает так, что по-умному жгут? — спросил белоголовый молодой лейтенант и сам же ответил: — Жгут всегда по-глупому, всегда нескладно как-то, вот, что я вам скажу.

— Гришка знал, что мир подписан, — не слушая, продолжал капитан. — Знал — вот ведь что обидно!.. Дерни он тогда чуть правее.

— Правее, левее — один черт, — сказал Колымасов и на-



лил себе водки.— Ну, не Гришку бы сожгли, а тебя или меня, но ведь непременно бы сожгли: ППП.

— Что — ППП? — спросил лейтенант.— Пушка, что ли, какая?

— ППП — процент предполагаемых потерь. Ты еще с механиком в шахматы играешь, а ППП уже подсчитан.

— Процент...— вздохнул капитан.— Давай, Колымасов, за них и выпьем, будь этот процент трижды неладен.

Они выпили, а лейтенант сказал весело:

— А я знал, что меня сегодня не тронет. Верите, товарищи майор? Точно знал!

— Верю,— сказал Колымасов.— Лет до тридцати человек всегда в это верит, потому-то в разведку только молодых и отбирают. А с тридцати человек не только верить — думать начинает. Стихийно диалектику познавать... Скажи, Юра, чтоб ребята фары включили: не видно ни черта.

Лейтенант поспешно поставил кружку и босиком, как сидел, побежал к танкам. Вспыхнули два луча, перекрестие упало на брезент.

— Храбро живете,— негромко сказал кто-то по ту сторону лучей.— А ну как налет?

В освещенный круг вступил маленький капитан-разведчик. Правая рука его была на перевязи.

— Садитесь, капитан,— вежливо сказал Колымасов.— Место разведке, ребята.

Танкисты подвинулись. Капитан и сопровождавший его рыжеватый Федор Гонтарь сели на брезент. Колымасов налил им водки.

— Отпустили, значит, вас ради такого дня?

— Сбежал,— улыбнулся капитан.— Спасибо, Федор помог. Ну, танкисты, за победу. И за то, что живыми остались.

Все молча, торжественно выпили. Капитан поставил кружку, полез за пазуху неизменного ватника и вытащил помятый журнал.

— Разведчики мои в немецкой машине нашли.— Он протянул журнал Колымасову.— Кажется, по вашей части.

— «Вопросы археологии?» — удивился Колымасов.

Странно улыбаясь, он смотрел на журнал, разглаживал помятую обложку, любовно, по буквам вчитывался в каждое слово. Руки его чуть вздрагивали, а глаза стали добрыми и печальными.

— А где же мои разведчики? — негромко, чтобы не мешать Колымасову, спросил маленький капитан.

— Там, за танками,— пояснил лейтенант.— Мы их к себе приглашали, да они, видно, застеснялись...

— Девочек у вас нет, потому и застеснялись,— развязно

сказал Гонтарь, выковыривая финским ножом консервированную колбасу.— Что это вы, танкисты, насчет слабого пола не сообразили? В монахи записались, что ли?

— Слабый пол во вторую бригаду подался,— сказал капитан-танкист.— Там старший лейтенант Огурцов под гитару хорошо поет, аккордеонист имеется. А у нас теперь тихо. От нашей музыки один баян остался, а баянист вместе с экипажем на тот свет перекочевал.

— Женька-то, оказывается, уже кандидатом стал! — удивленно воскликнул Колымасов, просматривая журнал.— Кандидат исторических наук Евгений Фадеев. На одном курсе учились, и — на тебе! — уже кандидат.

— Ничего, Колымасов, ваше от вас не уйдет,— сказал маленький капитан.— Как вернетесь в гражданку да звякнете орденами, так вам не то что кандидата — академика сразу дадут!

— Звякнешь... — вздохнул Колымасов.— Наши ордена для археологии лет этак через пятьсот в цене будут, не раньше.— Он полистал журнал.— А пометочки на полях — немецкие! Видно, тоже археолог в руках держал...

Гонтарь доел консервы, спрятал нож и неслышно поднялся с брезента.

— Куда, Федор? — спросил капитан, не оглядываясь.

— Да так.— Федор деланно зевнул.— Ребят навещу. Вы тут будете?

— Пока тут.

— Я скоро вернусь,— сказал Федор и исчез в темноте.

Он обогнул танки и обошел стороной разведчиков и танкистов, точно так же сидевших на брезенте вокруг пайковой закуски и праздничной выпивки. Он сразу пошел на шумные выкрики и звуки аккордеона: там слышались женские голоса.

Женщин в корпусе было немного: санитарки, связистки, переводчицы. Всех звали по именам, и только непосредственные начальники по долгу службы именовали их торжественно и бесцветно: «товарищ лейтенант» или, по крайности, «товарищ такая-то». Для всех прочих они были просто Людами, Анями, Шурочками, и относились к ним со сложной смесью дружеской непринужденности, мужского достоинства и — чуточку — легкомысленного волокитства. Всем давно были известны имена счастливиц, имевших право на нечто большее, чем дружеский поцелуй, но, уповая на переменчивое воинское счастье, за женщинами всегда ухаживали. И только про одну — про ефрейтора Раечку с корпусной радиостанции — не знали ничего даже самые квалифицированные корпусные кумушки: или она действитель-

но не крутила быстротечных фронтовых романов, или была невероятно хитра.

Вот ее-то и искал наглый, ловкий, смелый до безрассудства сержант Гонтарь. Искал у костров и в бледных лучах фар, заглядывал в машины, чудом уцелевшие постройки, окопы, не поленился даже подняться на водонапорную башню, но Раечки нигде не было.

— Кого ищешь, разведка? — окликнули танкисты. — Шагай к нам, спиртиком угостим!..

Федор не отозвался. Чем дольше он искал, тем все больше разгоралось в нем поначалу смутное желание увидеть черненькую девчонку-радистку — «недотрогу», «дичка», «монашку», как звали ее в корпусе. Он знал ее ближе других: как-то, пользуясь безнаказанностью бывалого и удачливого разведчика, он полез к ней, но отпор был таким яростным, таким злым, молчаливым и убедительным, что Федор отступился от дикой девчонки, унося на лице следы активной обороны. Именно об этом случае напомнил сегодня капитан, и уже тогда Федор решил, что должен смыть это позорное пятно с репутации первого в корпусе сердцеда.

«Валается с кем-нибудь, — зло думал он. — Не может быть, чтобы не обломали: война. Не может этого быть...»

Теперь он искал ее в других местах: в гуще кустов, в темноте. Бесшумно, как в поиске, скользил по опушке, и ни одна ветка не хрустнула под его ногой.

— Не надо, — ясно сказал во тьме женский голос. — Ну, прошу тебя. Прощу, Костя...

— Лови мгновение... — хрипло сказал мужчина. — Ну, душой не будь...

Федор шагнул на голос, остановился: где-то совсем рядом были люди. Он слышал мужское дыхание, тихий, короткий и счастливый смешок женщины. Вглядевшись, различил силуэты, достал фонарь — и вдруг осветил их ярким узким лучом.

Девушка в форме сидела на офицерской накидке, прислонившись спиной к дереву. Короткая юбка соскочила с подтянутых к груди колен, в луче ослепительно белели полные ноги. Девушка испуганно заморгала и прикрыла лицо рукой, а лейтенант с фатовскими усиками закричал:

— Гаси свет! Чего фары вылупил?..

Это был командир минометчиков, получивший прощение в связи с Днем Победы. Узнав его и девчонку, Гонтарь сразу погасил фонарь.

В штабе шестой раз пили за Победу и седьмой— за Верховного Главнокомандующего. Корпусное начальство отмечало великое событие тоже на свежем воздухе. Саперы соорудили несколько длинных столов и скамеек, которые прикрыли брезентом, а техники развесили над столами гирлянды танковых переносок.

Генерал пил мало, ссылаясь на головную боль. Но по тому, как он сидел, говорил, ел и улыбался, замполит, а тем более адъютант поняли, что генерал невесел по какой-то более весомой причине.

— Гляжу я на вас, молодежь, а думы у меня странные, — негромко говорил Ларцев. — Вам бы учиться, цветы бы девушкам дарить, о поцелуях мечтать, а вы в крови да в порохе который уж год. В крови да в порохе...

— Не мы одни! — весело отозвался комбриг Голубничий.

— Правильно, не вы одни. Две юности Родина наша этой войне отдала: ту, что начинала ее в сорок первом, и — вас, что закончила. Будь я скульптор, я бы памятник такой поставил. Двум юностям: сорок первого и сорок пятого. Самый большой памятник в самом центре Москвы...

Генерал не слушал, о чем говорил Ларцев. Перед ним сидели его ребята, его опора, его сила и гордость. Он знал каждого куда глубже и основательнее, чем отец знает своих сыновей. Толстенький, всегда сонный Филин не любит риска, медленно и неохотно принимает решения, но упрям, цепок и исполнительен. Он незаменим в обороне, хорошо держит фланги, но его нельзя первым бросать в атаку: затаит, будет оглядываться на тылы, на соседей, потеряет темп. Он хорош для развития успеха, когда противник еще не сломлен, но уже оглушен: вот тогда Филин развернется и методически добьет очаги сопротивления. И вот здесь-то его опять надо сдержать и вовремя заменить Голубничим: тот горяч без оглядки, любит стремительную атаку, преследование, бой в глубине. Но и первым его не бросишь: чересчур увлекается ближайшей задачей, забывает о соседях, зарывается, и тогда умный противник фланговой атакой легко может сбить его, а то и вообще отрезать от своих, что однажды и случилось...

— Разрешите, товарищ генерал? Прошу извинить за опоздание.

Колымасов. В грязных сапогах, мятой гимнастерке: поздравить зашел. Вот и пиши в характеристике, что он не-

достаточно дисциплинирован, что у него неуставные отношения с подчиненными, что, в сущности, он археолог, глубоко штатский человек. А у Колымасова никогда вчерашний бой не похож на сегодняшней, он плохо знает уставы, но легко схватывает и точно оценивает обстановку. Он никогда не растеряется во встречном бою, он незаменим для первого удара, когда еще неизвестно, какие карты выкинет на стол противник. А на формированиях у него всегда ЧП, потому что строевик он никудышный...

Он поймал себя на мысли, что как-то странно, однобоко судит о своих друзьях. Судит так, словно на рассвете предстоит бой. А бои кончились. Кончились надолго, очень надолго. Он был военным и прекрасно понимал, что после такой войны перерыв неизбежен: слишком много жизней, сил и средств унесла она с собой.

Ну бог с ней, с войной, она кончилась. Кончилась на тех высотах, где лежат его танкисты и разведчики маленького капитана Рыжикова. Не думал он, никогда не думал, что последний бой будет уже после войны.

А все-таки хорошо, что именно Колымасов шел в головной походной заставе. Если бы Филин — немцы наверняка провались бы через перевал: он топтался бы, постреливал, послал бы на фланги разведку и, конечно, упустил бы время. А Голубничий ринулся бы во фронтальную атаку, с упоением громил бы заслон, затеял бы преследование, забыв обо всем на свете, и тот худой вермахтовский генерал только бы посмеивался в машине, удирая на запад. А археолог сразу нащупал главное. Нащупал, оседлал и запер немцев в лощине. Нет, уж если еще предстоит бой, он найдет Колымасова в любом университете, стащит с любой кафедры: бои выигрывают характеры, а не анкетные данные.

Странно: высоко ценя Колымасова как командира, он совершенно не знал его как человека. Они никогда не говорили на внеслужебные темы, никогда не сталкивались, кажется, даже не выпили ни разу за все время совместных боев. Генерал попытался вспомнить, как зовут Колымасова, и не вспомнил. Вспомнил о другом.

— Адрес, откуда разведчик, записал? — вдруг отрывисто спросил он у адъютанта.

— Мелешко? Записал, товарищ генерал. Он с Донбасса, шахтер.

Полковник положил ему руку на плечо:

— Не казись, Алексей Николаевич. Ну, случилось.

— Самоходки.— Генерал круто повернулся к нему.— Почему я не подтянул самоходки, а? Почему? Все поскорее захотелось, как-нибудь, только поскорее.

Он вдруг встал, вылез из-за стола. Адъютант рванулся было следом, но генерал остановил его:

— Сиди. Я в медсанбат.

## 6

Прочесав местность вокруг расположения и спугнув при этом еще одну парочку, Федор опять вышел к мрачной полуразрушенной башне. Здесь он пережил минный налет, отсюда пошел в последний бой, по этому откосу, подобрав юбку, бежала черноволосая радистка... Он посмотрел в низину, где должны были стоять машины радиостанции, и увидел их. В маленьком окошке чуть светила полоска: видно, плохо прилегал светомаскировочная штора.

Он беззвучно подкрался к машине, тронул дверь, понял, что она заперта, и постучал. Постучал громко, как стучит человек, пришедший по делу.

— Кто там? — спросили из-за двери, и он узнал ее голос.

— Генерал зовет, — как можно проще сказал он. — Все собрались, а тебя нет.

— Генерал? — удивленно спросила девушка. — Какой генерал?

— Ну, наш, конечно. Других не держим.

— Я сейчас! Сейчас!..

В другое время он обратил бы внимание на ее радостно зазвеневший голос, но тогда ему было не до этого.

— Живее, — сказал он. — И так хороша.

Она открыла дверь, и в тот миг, пока еще горел свет, он успел увидеть ее сияющее лицо. Потом она захлопнула дверь, и свет погас.

— Куда идти?

— Там, за башней, — сказал Федор. — Иди вперед.

Она быстро, не оглядываясь, стала подниматься к башне.

— И что это он обо мне вспомнил?

По голосу Федор понял, что радистка улыбается, и рассердился:

— Значит, приглянулась. Данные показала вовремя.

Она промолчала. Федор шел сзади. Он ни о чем не думал и только чутко вслушивался в звонкую ночь, пытаясь определить, нет ли поблизости людей. Один раз, правда, мелькнула мысль, что это — преступление, но он тут же отогнал ее: «Постесняется жаловаться. А если и пожалуется — простят. Победа — добрые все...»

Наверху, у башни, она остановилась. Оглянулась удивленно:

— Дальше?

Он молча бросился на нее. Бросился сзади, со спины, уверенным приемом швырнув навзничь. Навалился, левой рукой зажав рот, правой рвал вверх узкую юбку.

Она лежала, не шевелясь, потеряв от неожиданности способность сопротивляться. Он, собственно, и рассчитывал на это, но девушка пришла в себя скорее, чем он предполагал, и рванулась с такой силой, что отбросила его в сторону. Федор кинулся снова, но она ловко оттолкнула его ногами, а когда он вскочил, сказала громко и ясно:

— Стрелять буду!

Он не поверил, шагнул, и сейчас же перед глазами ослепительно вспыхнуло пламя, пуля взвизгнула совсем рядом. Федор инстинктивно отпрянул, и девушка выстрелила еще — уже в воздух. Он остановился, тяжело дыша:

— Ненормальная...

— Уходи,— громко сказала она.— Застрелю!

Луч света упал на землю, осветив радистку. Она сидела, подобрав ноги и вытянув вперед руку с пистолетом; перепачканная землей юбка была взбита выше колен.

— Встать! — звонко крикнул командир патрульной команды, младший лейтенант.— Сдать оружие!..

## 7

Медсанбат уже свергивал работу: тяжелых отправили в госпиталь, легких обработали и разместили, и поэтому генерал не стал задерживаться там. Мягко, но решительно отклонив приглашение врачей отметить «последний рабочий день», как сказал начальник медслужбы, он пошел по расположению, стараясь не смущать людей внезапным появлением.

И все-таки он мешал им. Наиболее разбитные или подвыпившие многословно и истово клялись ему в преданности; скромные и трезвые замолкали при его появлении и невольно тянулись, несмотря на его протесты. Поэтому генерал вскоре стал избегать освещенных и многолюдных мест и медленно бродил в одиночестве.

— А меня-то за что? — вдруг возмущенно сказал в темноте мужской голос.— Она стреляла, ее и берите. А меня-то за что?

— Не разговаривать! — Второй голос был начальственно звонок и юн.— Там разберутся.

— Ну, ради праздничка, младший лейтенант...

Люди шли прямо на него, и генерал посторонился.

— Кто здесь?

Вспыхнул фонарь, и тут же младший лейтенант испуганно и радостно заорал:

— Смирно! Товарищ генерал...

— Вольно, вольно,— поспешно сказал генерал, с удивлением глядя на девушку, стоящую между двух автоматчиков.— В чем дело?

— Задержаны за стрельбу в расположении части.

— Отпустите. Если никого не ранили, то отпустите.

— Есть! — громко сказал младший лейтенант (он так и не погасил фонарь, висевший на груди).— Получите документы.

Разведчик схватил книжку и тут же нырнул в темноту. А девушка сердито смотрела на младшего лейтенанта.

— Верните оружие.

— Младшему командному составу иметь трофейные браунинги не положено.

— Это подарок,— резко сказала девушка.— Товарищ генерал, подтвердите, что это подарок.

Генерал удивленно взял у младшего лейтенанта пистолет, повертел его.

— Восьмого марта этого года вы лично подарили мне, товарищ генерал, этот пистолет. Помните, когда немецкие автоматчики вышли на узел связи и мы два часа отстреливались.

— Да, да,— сказал генерал, так и не вспомнив этого случая.— Только не стреляйте зря.

— Я не зря,— тихо сказала она, пряча пистолет в карманчик юбки.

— Разрешите следовать дальше? — опять гаркнул горластый младший лейтенант.

— Пожалуйста.

— За мной, шагом марш!..

Фонарь погас, солдатские шаги глохли в темноте. Генерал стоял на прежнем месте, чувствуя, что девушка тоже стоит тут же. Надо было что-то сказать ей, может быть, поздравить с Победой или выругать за стрельбу, но он ничего не стал говорить. Просто постоял и пошел, стараясь по-прежнему держаться от людей подальше.

Он никак не мог понять, почему ищет одиночества. Он не привык к нему да и не любил, будучи человеком деятельным и общительным. С первого дня войны он утратил одиночество, потому что потерял семью и остался один на свете, совсем один, даже без дальних родственников. Дваж-



ды ему предлагали отпуск, но он отказывался и снова шел к людям, искал их, искал связанную с ними деятельность, которая настолько заполняла жизнь, что в сутках с трудом выкраивались считанные часы на сон. И вот сегодня ему вдруг захотелось уйти ото всех, забыться, остаться наедине с собой. Не думать, нет, просто сидеть где-нибудь в тиши, расслабить нервы, курить и глядеть в небо...

Он остановился, прислушался: ночь была полна звуков, но звуки были далеко: где-то еще горели костры, светили фары, где-то еще никак не могли угомониться люди, отвоевавшие войну. А здесь было тихо, и поэтому он сел на землю и закурил, по привычке пряча папиросу в кулак.

Тихий, однообразный, с детства знакомый скрип послышался совсем рядом. Фыркнула лошадь, ленивый, прокуренный голос сказал:

— Но, милая! Шагай...

Мимо генерала медленно проплыли расплывчатый силуэт подвод, мерно мотающая головой лошадь, фигура возчика. От всего этого веяло миром, крестьянской привычной неторопливостью.

— Ты, Маркелов? — спросили из темноты.

— Я, Степан Иванович, — буднично ответил возчик. — Последних везу: одни фрицы остались.

— Немцев завтра уберем, отдыхай. Спиртику я раздобыл: у Егорыча спросишь.

— Спасибо тебе, Иванович. Но, сонная!..

Фырканье лошади и скрип замирали вдали. Мимо генерала шел кто-то приземистый, почти квадратный, припадая на правую ногу. Всмотрелся в генерала, шагнул:

— Нет ли огонька, солдат?

Генерал вынул зажигалку.

— А махорочки дашь?

По голосу он узнал в неизвестном Степана Ивановича.

— А чего ж не дать? — добродушно сказал Степан Иванович и сел рядом. — Закуривай. Махорочка добрая, моршанская. Я в нее доннику для запаха сыплю: чуешь, как пахнет-то? Из дому шлют донник.

Генерал оторвал газетную полоску, насыпал махорки, свернул толстую, рыхлую папироску. Щелкнул зажигалкой, и оба закурили, с удовольствием затянувшись сладковатым сизым дымком.

— Все празднуют, а вы работаете? — спросил генерал.

— Работаем, — подтвердил Степан Иванович. — Такая уж наша работа. Завершающая.

Они помолчали. Степан Иванович, вздохнув, добавил:

— Дай бог, чтоб последней она была. Хватит уж зарывать. Рожать надо.

Только сейчас генерал понял, что рядом сидит начальник похоронной команды. Понял и нерешительно, с трудом спросил:

— Много сегодня... работы?

— Много. Если, конечно, с чем сравнивать, но для последнего дня, прямо скажу, многовато.

Генерал молчал. Курил, опустив голову, внимательно разглядывая огонек сигарки.

— Целые большей частью,— вдруг добавил Степан Иванович.— Целые — значит, на пулеметы шли, под пули. Пулеметы, понимать надо, у немцев еще действовали, не подавили их, значит. Обидно.

— Да,— с трудом сказал генерал.— Надо бы самоходки.

Они долго сидели молча. Потом Степан Иванович поднялся, втоптал в землю окурок:

— К мужикам пойду. Попразднуем. Может, с нами?

— Нет,— сказал генерал.— Спасибо.

— Ну, счастливо тогда.— Степан Иванович шагнул в темноту, остановился.— Ты, товарищ генерал, не обижайся. Я тебе правду сказал: горячий ты больно мужик.

Шаги старшины заглохли в темноте, а генерал все еще сидел, опустив голову. Сигарка тлела в руке, но он не замечал ее, пока огонь не обжег пальцев. Тогда он бросил окурок и резко поднялся. Показалось, что какая-то фигура мелькнула рядом, и он окликнул:

— Кто там?

Но никто не отозвался. Генерал поправил фуражку и быстро зашагал туда, откуда ехала подвода,— в низину, по которой днем с таким мастерством провез его на «виллисе» Сергей.

Тогда сзади сидел Мелешко с автоматом на шее. Их сильно швыряло в мелком кузове, и однажды Мелешко больно ударил его диском автомата по затылку. Тогда генерал не обратил на это внимания, а теперь только и думал о разведчике, вспоминая каждую мелочь...

«Ну, как же, как же я самоходки не вызвал?! — почти с отчаянием подумал он.— Всего-то на три часа дела...»

По этой дороге сегодня провезли Мелешко назад — на высоты, что позади расположения. Генерал сам приказал вырыть там могилы, сам отрядил батальон для торжественных похорон. Сам...

Черная глыба развороченного взрывом танка четко выделялась на сером фоне неба. Генерал остановился: в темноте тускло виднелась обкатанная дорожка башенного по-

гона. Здесь сидел обгоревший лейтенант Брянский, обняв потерявшего сознание заряжающего. Заряжающий так и не пришел в себя и завтра ляжет на высотах, а Брянский уже отправлен в тыл. Жить будет, слышать — никогда, как сказал начальник медслужбы; в корпусе все знали Брянского: он писал стихи для «Боевого листка».

Отсюда они с Мелешко уже шли вдвоем. Здесь их накрыло минами, и разведчик толкнул его и сам упал сверху, прикрывая от осколков. Здесь они закурили. Здесь стоял танк Колымасова...

И снова какая-то тень мелькнула сзади. Генерал остановился, прислушался, на всякий случай дослал в ствол патрон и окликнул:

— Кто?

И опять никто не отозвался. Может, ему показалось, может, бродил по полю чудом уцелевший немец, может, адъютант крался сзади, проявляя бдительность. Но кругом было тихо, и генерал опять сунул пистолет в кобуру и пошел вперед.

Он поднялся на гребень холма, за которым прятались танки и откуда он наблюдал за боем. Вот здесь они лежали: кажется, на мягкой земле еще сохранились лунки от локтей. Здесь они лежали, а там, в низине, Колымасов и разведбат штурмовали неподавленные огневые точки...

«Многовато для последнего дня,— сказал Степан Иванович, и генерал опять услышал эти слова.— И целые все. Целые».

Как же, как он не подтянул самоходки?!

Именно здесь он понял, что поступил опрометчиво, но было уже поздно: Колымасов рвался на мост, приглушив в приемниках ликующий голос Москвы. Понял, и это страшное открытие заставило его побежать туда, где гремел бой, где гибли его солдаты. Где-то здесь их накрыло вторым минометным шквалом, где-то здесь они упали, а потом перебежали вперед, и там молчаливый разведчик принял в широкую спину все причитающиеся генералу осколки. Где-то здесь...

Он ходил по полю и никак не мог найти этого места. Хотел найти, очень хотел, но не нашел: все было изрыто воронками.

Не найдя места, где погиб Мелешко, генерал пошел вперед, к мосту. Утром он не был там потому, что идти было уже бессмысленно, и еще потому, что смерть разведчика глубоко поразила его. А тут как раз подскочил адъютант и увез его в медсанбат на перевязку. А пока его перевязывали, бой кончился.

Теперь он шел по предполью, которое проверила и изучила когда-то немецкая охрана моста и которое так умело использовали немцы во встречном бою. Здесь был пристрелян каждый кустик, каждая выемка, каждый квадратный метр. Здесь его танки не просто шли на сближение: они метались, то круто сворачивая в стороны, то замедляя скорость, то скатываясь в ложбинки. Танки вели себя как солдаты, попавшие под обстрел, и поле перед мостом было вдоль и поперек исчерчено их тяжелыми следами. Следы стекали в складки, пересекались, забегали на склоны, но всегда далеко оставляли в стороне кусты, потому что именно оттуда могло вдруг полыхнуть желтое пламя фаустпатрона.

Но и кусты не оставались целыми. Голые, с поломанными сучьями, они насквозь были прошиты автоматными очередями танковых десантов. В одном месте среди них ничком лежал убитый немец. Руки его еще обнимали черную трубу, в которой торчал фаустпатрон; он так и не выстрелил, этот немец, и какой-то экипаж поил, наверно, разведчиков сегодня вечером. И поодаль валялся немец и еще трое возле развороченной взрывом пушки, и генерал вдруг радостно подумал, что наших совсем не видно, но тут же вспомнил, что их уже увезли, а немцев просто оставили до утра.

Да, их вывезли. Всех: черный, обгорелый танк памятником высился над раздавленной пушкой. Генерал посмотрел на белевший в темноте номер, ощутил стойкий, еще не выветрившийся запах горелого металла, пороха, мяса и снял фуражку.

Дальше он нес ее в руке. Медленно бродил по полю, подходя к каждому танку — молчаливому, черному, печальному. Негромко прочитывал номер, вспоминал за этим номером чаще всего безымянные молодые лица и шел дальше, перешагивая через трупы, спотыкаясь о разбросанное оружие.

Так он вышел на передний край и остановился. Кругом в полуразрушенных блиндажах и окопах лежали трупы, валялось оружие, рассыпанные боеприпасы, и казалось, что сама земля еще вздрагивает от гула, грохота и рева танковых моторов. Звуки эти вдруг с такой силой обрушились на него, что он поспешно сел, вздрагивающими пальцами доставая папиросу.

Да, это был крепкий орешек, это предмостное укрепление. Охрана построила его загодя, продумав систему огня, создав узлы противотанковой обороны, отсечные позиции, кинжальные пулеметы. Неподавленные пулеметы, на ко-

торые грудью шли его разведчики. Он легко представил себе, как капитан, показывая пример, первым спрыгнул с брони, как бежал вперед, уже не ложась, навстречу шквальному огню. Как, приседая после выстрела, часто и резко били танки, как горели они, нарываясь на фаустников, как из люков выбрасывались живые факелы и катались вот по этой сухой, черной, пережженной, как порох, земле...

Ну, почему, почему он не вызвал самоходки?!

Кажется, он застонал. Застонал в голос, потому что из мрака вдруг выросла маленькая фигурка, и девичий голос робко спросил:

— Что с вами?

— Кто? — Он инстинктивно схватился за пистолет.

— Это я, я, ефрейтор Брускова, — поспешно сказала черненькая радистка.

Она стояла перед ним как положено — руки по швам. Стояла внизу, у подножия чудом уцелевшего бруствера, на котором он сидел, и головы их поэтому были почти на одном уровне.

— Садись, ефрейтор, — сказал генерал и отвернулся, поспешно смахивая ненужную слезу.

Она присела, снизу вверх глядя на него. Он не удивился, он даже не подумал, почему вдруг ночью на поле боя оказалась эта тоненькая робкая девчонка. Молча достал папиросу, молча закурил, скрывая глубокий и горький вздох.

— Не надо, — тихо сказала она, и он почувствовал ее руку возле своей, рядом. — Пожалуйста, не надо. И неправда все это, совсем неправда! Он напрасно, старик этот, он со злости наговорил вам. Может, он вообще злой...

— Злой?.. — Он слышал и не слышал, что она говорит, потому что сейчас все слова словно просеивались сквозь его мысли, не застревая. — Самоходки. Понимаешь, самоходки надо было подтянуть. Главное, Филлин держался. Не только держался — в атаку двумя батальонами перешел и сковал бы немцев, не дал бы им развернуться, понимаешь? А я бы тем временем... Э, да что говорить! Я же одного Колымасова с разведчиками сюда бросил. Одного!

Он говорил и говорил — горячо, четко, последовательно. Он рассказывал ей о бое, которого не было, но который мог бы быть, если бы он не погорячился. Рассказывал точно, с цифрами, с полным расчетом времени, с направлением главных и отвлекающих ударов, с возможными действиями противника и с теми контрмерами, которые он применил бы, отвечая на эти действия. Она слушала, широко раскрыв глаза, ничего не понимая, но живо и заинтересованно кивая на каждое его «понимаешь?»:

— Да. Да. Да.

Он вел весь бой до конца. Весь, расписанный по минутам. Он подавил огневые точки и блокировал фаустников мощным минометным огнем. Он оттянул немецкие резервы на Филина, послал Голубничего в глубокий обход и только тогда бросил Колымасова на мост. Он овладел мостом легко, одним решительным ударом. Он рассчитал время: лишних три часа боя. Он прикинул потери; они, по его расчетам, были в десять раз меньше, чем на самом деле.

Ну, почему, почему он не подтянул самоходки?

Ему было все равно, кому он рассказывает. Ему надо было выговориться, освободиться от сосущего, тревожащего чувства тоски и неуспокоенности, найти привычное душевное равновесие. Ему казалось, что стоит только рассказать кому-нибудь, как он мог провести этот бой, и он сразу обретет желанный покой. Но он выговорился, а тоскливая тревога так и не проходила, и, поняв, что она не пройдет никогда, он замолчал, замкнулся, насупился, закуривая новую папиросу.

— Не надо,— опять тихо сказала девушка, и он почувствовал, как ее рука осторожно коснулась его руки.— Не надо, пожалуйста, не надо, прошу вас.

— Что не надо? — с горечью спросил он.— Немецкого командующего убийцей назвал, а что с волка взять? Что с волка взять, когда сам...

— Молчи! — Она крепко сжала и даже чуть дернула его руку.— Не смей так говорить, даже думать так не смей, слышишь? Ты разгромил их, последних, самых последних, слышишь? И войны больше нет, совсем нет, нигде нет! Тихо кругом, совсем тихо, вот послушай, как тихо кругом...

Она тоже говорила горячо и непоследовательно и не понимала, что говорит. Она знала только, что наконец-то сидит рядом с тем, с чьим именем засыпала и просыпалась вот уже почти год, о ком не смела думать, а только мечтала, кто заговаривал с нею всего два считанных раза и кого она давно уже любила своей первой и единственной любовью. Она не очень понимала, но чувствовала, что ему трудно, и сердце ее нестерпимо и радостно болело за него. Она поняла, что ему плохо, еще тогда, когда на него наткнулся патруль. Поняла сразу, увидев его лицо в луче фонаря, и тогда же пошла за ним, хотя очень боялась мертвецов, темноты и одиночества. Пошла, потому что не могла не пойти, пошла, не рассуждая, а повинувшись чему-то более могущественному, что давно уже копилось в ней, пошла так же легко и просто, как пошла бы за него на позор, на муки, на смерть.

— Не смей ничего говорить, не смей! — словно в бреду повторяла ефрейтор Брускова, уже не слыша и не контролируя собственных слов. — Сядь вот здесь, рядом со мной, сядь и молчи. Все прошло, кончилось все, совершенно кончилось, навсегда. Новая жизнь начинается, совсем-совсем новая, мирная, другая! Вот проснемся утром, и все-все будет другим, незнакомым, добрым. И прекрасным. И мы другими должны стать, совсем другими, слышишь?

Он слушал не слова ее, а голос. Слова были маленькими и незначительными, но голос — негромкий, внутренне звенящий, напряженный, — голос этот проникал в него помимо сознания, гасил тоску, обволакивал печальной нежностью, заглушал грохот потревоженной памяти. Они уже сидели рядом, и девушка двумя руками держала его узкую сильную кисть и говорила, говорила, пока он мягко не освободил эту руку. Тогда она сразу замолчала, замолчала на полуслове, точно опомнившись или вдруг проснувшись. Он закурил, посмотрел на нее:

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Девчонка.

Он сказал ласково, но она уже пришла в себя и поэтому восприняла это как окончательный приговор. Сжалась в комочек, опустив голову. Он курил, задумавшись, и она долго смотрела на него, а потом встала и медленно пошла в темноту.

— Куда ты?

— Домой, — неуверенно ответила она и остановилась.

— Вместе пойдем. Докурю только.

Девушка нерешительно вернулась. Постояла, присела в стороне — грустная, словно увядающая. Ковыряла пальцем холодную землю, а генерал молча курил, старательно не глядя на нее.

Луна перевалила через горы, блекло осветив низину. Дрожащие, неуверенные тени нехотя поползли по земле, а провалы окопов стали еще чернее, сливаясь в единую ломаную линию, и только в одном — совсем рядом с ними — торчала скрюченная рука убитого.

Девушка вдруг рывком подняла голову, в упор посмотрела на генерала.

— Я люблю вас, — отчетливо сказала она. — Люблю. Вот. Все.

Он промолчал. Она закрыла лицо ладонями, заплакала злыми, горькими слезами, вздрагивая и шмыгая носом. Он молча достал третью папиросу. Девушка резко встала, пошарила за обшлагом, вынула платок:

— Ваш.

Платок был выстиран, выглажен, сложен треугольничком: каждая складка пропиталась теплом ее тела. Генерал собирался взять его, но неожиданно для себя поймал ее руку, потянул:

— Сядь.

Девушка медленно опустилась на землю. Медленно повернула голову и вдруг, точно сломавшись, рухнула ему на грудь. Он растерянно гладил ее волосы, а она плакала в голос и никак не хотела оторвать лицо от жесткого форменного кителя.

— Ну, что это ты? Что ты?..

Громко всхлипывая, она продолжала изо всех сил цепляться за него. Она не стремилась быть красивой, не пыталась соблазнять, не кокетничала, не прикидывалась потерявшей от страсти голову. Она думала только о том, что он сейчас встанет и уйдет и все будет кончено, кончено бесповоротно и навсегда...







неопалимая  
КУПЦА



## НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Детей у нее не было.

Были три ранения (два легких и одно тяжелое), были контузия и два инсульта. Были три ордена — Отечественной войны I степени и два Красной Звезды. Были медали — две «За отвагу» и одна «За боевые заслуги». Были всяческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в двухкомнатной квартире, хорошие, прямо как родные, соседи и бездомная студентка Тонечка.

А вот детей у Антонины Федоровны Иваньшиной никогда не было. Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, и она счастлива была без меры и только боялась признаться ему, любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили, только зря хитрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее единственную, и все надежды разом. Отрыдалась тогда Антонина и пошла к врачу.

— Вырезайте.

— Лейтенант Иваньшина, подумайте...

— Мне воевать надо, а не рожать. Я этому больше обучена.

— Антонина, пойми, это же очень опасно для будущего. Ты женщина, у тебя есть долг.

— Рожать — это не долг, это физиология. Долг — умирать, когда не хочется.

Да оно бы, может, и это обошлось, если бы не то болото в апреле. Сутки пролежала в нем: не подстрелили, не оглушили даже, а через три дня — боли, температура, госпиталь. Воспаления, осложнения да вещмешок лекарств.

— Не все еще потеряно, Иваньшина. Лечение, режим, санатории. Надо бороться с недугом.

— Поживем — увидим, товарищ полковник медицинской службы. А пока будем воевать.

А через полгода — контузия. Сухим закаменелым комом — точно в поясницу, в позвонок, и будто переломили ее тогда: до сей поры боль та помнится. Три часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как.

— Вперед, мужики, вперед, родимые. Нам высотку приказано взять, и я ее возьму. Что, славяне, смотреть будете, как баба под пули ползет?

Это всегда действовало, и все об этом знали. Комбат как-то отказался ее роту старшему лейтенанту из пополнения передать, и командир полка поддержал его:

— Лучше Иваньшиной командира роты у меня в полку нет.

Но все кончается, даже война, а миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности, и все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе сорок пятого командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Иваньшина прибыла в распоряжение военкома родного города. Через город тоже прошла война, почти все в нем сгорело или было взорвано, родные и знакомые исчезли бесследно и навсегда, и старший лейтенант Тонечка жила в подвале, где размещался горвоенкомат. Получила по вещевому довольствию два одеяла, постельный комплект и подушку. Утром прятала в шкафу с несекретной перепиской, вечером расстилала на военкомовском (самом большом) столе — и до утра на одном боку. Даже сны не снились: отсыпалась Иваньшина за всю бессонную войну.

— Антонина, чего учиться не идешь, чего вола крутишь?

Военком был грузен, сед и сипат, с простреленными еще на гражданской легкими («Это у вас они — легкие, — шутил, бывало, — а у меня... как свинцовый сурик»). На фронт его не пустили, и поэтому он хмуρο опекал фронтовиков вообще и Антонину в частности.

— Демобилизуют не сегодня, так завтра, и куда ты тогда?

— Строить, товарищ майор. Гады всю страну пожгли да порушили. А учиться пусть тот, кто настоящего дела боится.

Вздыхал военком, спорить сил не было. Убили его силу: старшего сына — в сорок втором на Дону, младшего — в сорок пятом на Одере. А в Антонине еще фронтовой завод не кончился. Еще рвалась куда-то, еще в бриджах ходила, еще пистолет на ночь под подушку клала. И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда:

— Кто? Стреляю!

— Свои. Не пальни с перепугу.

Щелкнули выключателем: у порога стоял лейтенант-связист с тощим солдатским вещмешком. С плащ-палатки на каменный пол весело капала вода.

— Крючок на дверях послабее твоего храпа, старший лейтенант.

Антонина сидела на застланном одеялом столе. На ночь она снимала сапоги да китель, привычно носила офицерские нижние рубахи и сразу сообразила, что лейтенант принял ее за парня.

— Лейтенант Валентин Вельяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоку упасть негде, на улице — дождь, так что разреши с тобой переночевать.

Сказав это, Валентин снял плащ-палатку, повесил ее у входа, положил на соседний стол вещмешок, поставил в ряд стулья.

— У тебя шинель найдется, старшой?

— В шкафу, — помедлив, недовольно сказала она и обиженно добавила вдруг: — Только я не храплю.

— Я иносказательно. — Лейтенант достал шинель, хотел постелить на стулья, но как-то странно взвесил на руке, ошалело глянул на Антонину и спросил неуверенно: — Ты... то есть вы...

— Свет погаси! — резко перебила Иваньшина и упала лицом в подушку, чтобы заглушить хохот.

Так они познакомились. Лейтенанту Вельяминову было абсолютно все равно, где служить, поскольку и у него никого из родни не осталось, но выбрал он именно этот город, потому что отсюда родом был его фронтовой друг, обидно погибший на закате войны.

— Проживал по Вокзальной улице, двадцать семь.

— Иваньшина покажет, — сказал военком. — А жить будешь в офицерском резерве, нечего нам крючки ломать.

По дороге на Вокзальную улицу возникло затрудненное молчание. Им еще непросто было вдвоем, и Валентин начал длинно рассказывать о матери — преподавателе литературы и об отце — директоре подмосковной школы, ушедшем в ополчение вместе со своими десятиклассниками.

— А ты не пошел, — уточнила Иваньшина.

— Не взяли. Я двадцать шестого года, и меня отправили в эвакуацию, а мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется.

— В сорок первом не возвращались.

— Да, вы правильно говорите.

— Вы? — Антонина усмехнулась. — А ночью братишку изображал. И имя у тебя какое-то...

— Какое?

— Девичье, вот какое. Валя, Валечка. У нас в полку была одна такая Валечка. Начштаба с собой таскал, пока я члену Военного совета не доложила.

Никакой Валечки в полку не существовало, начштаба никого с собой не таскал, и ничего командир роты Антонина Иваньшина члену Военного совета не докладывала, поскольку и видела-то его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо-спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться.

— Да, да, чего глаза вылупил? Доложила в письменной форме, как положено, рапортом. И Валечку эту — фьюить! — коленом под зад!

— Как? Как же вы могли? — Вельяминов даже остановился. — А если они любили? Если это была любовь? Вообще лезть в чужую жизнь...

— А пусть нас не пачкает! — Антонина очень боялась рассмеяться и поэтому орала чушь, но орала зло и неожиданно. — Мы не за тем на фронт шли, а из-за таких, как эта, твоя...

— Моя? — тихо удивился он. — Ну почему же моя? Где логика?

Они стояли посреди грязного пустыря, заваленного осколками кирпича, битым стеклом и ржавым железом. Антонина еще сверлила лейтенанта хитрыми глазами, но молчала, сообразив, что хватила через край.

— Терпеть не могу интеллигентов, — вдруг объявила она, решив кусать его с другой стороны.

— За что? — Он глядел на нее без всякого гнева, а Иваньшиной позарез необходимо было, чтобы лейтенант рассердился, вышел из себя, может быть, даже выругался. — За то, что они вас учат, лечат, развлекают?

— А не надо, не надо меня ни учить, ни лечить. Не надо, я сама как-нибудь. Уж как-нибудь.

— Что сама? Что сама? Что сама, что как-нибудь? Дура ты, оказывается.

И пошел, спотыкаясь, прямо в развалины. Антонина, кусая от смеха губы, обождала, пока он выдохнется на скользких кирпичках, крикнула:

— Эй, лейтенант! Валентин! Ты не в ту сторону пошел. Ты ко мне сперва вернись.

Он постоял, всей спиной демонстрируя огромное разочарование. Потом вернулся, сказал с горечью:

— И откуда ты такая взялась, интересно? Реликт эпохи военного коммунизма.

— Тебе Вокзальную? Ну так мы на ней стоим. Красивый пейзаж? А ты говоришь — учить, лечить да развлекать.

Так они встретились, и так они подружились. Вместе работали, но оба считали, что видят друг друга только по вечерам, когда кончалась служба, когда оставались одни и можно было вести неторопливые беседы, которые неизменно заканчивались спорами и ссорами. Стояла глухая припозднившаяся осень, в подвале было сыро, и Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согреть надо его; голодала, но варила картофельную баланду тоже только для него. Она обростала бытом и заботами естественно и с удовольствием, но была убеждена, что главное — это их разговоры.

— Знаешь, чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры. И не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее.

— Почему это? Сколько на фронте концертов было, артисты приезжали, а ты говоришь.

— Концерт — знак культуры, а я говорю об атмосфере, в которой живет современный человек и без которой он превращается в животное. Культура поведения, культура знаний, быта, общения, то есть культура каждого дня — вот чего лишает нас война.

— Да что мы, на войне некультурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся.

— Я же не о том, Тоня.

— Ладно, помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая. Ворчливо кормила лейтенанта Вельяминова, подкладывая лучше да повкуснее. Ей нравилось его кормить, поить чаем, даже ворчать на него нравилось.

— Если все учеными станут, что будет-то?

— Не знаю, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, вежливые, воспитанные. Вот почему нам учиться необходимо, Тоня. И самим учиться, и других учить. И ты времени не теряй и иди в институт, пока не все еще перезабыла. Я в тебя верю.

Военком приглядывался молча, но внимательно. А приметив, что вместо бриджей появилась юбка, сказал с глазу на глаз:

— Комната тебе нужна, Иванышина.

— Зачем...

Начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела. А майор вздохнул, потрепал ее по коротко стриженной голове и прекратил этот разговор. И ей было радостно, что многое он угадал, и стыдно, что не хватило у нее офицерской выдержки не покраснеть при этом.



Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все. К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать, восстановить, и бывший командир роты старший лейтенант Иваньшина с учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы вскоре получила комнату. И с орденом в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вельяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать: обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось: ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил...

— Милый ты мой старший лейтенант Тонечка, я невесту свою отыскал. Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня. Ждет, Тонечка!..

И еще раз все в ней оборвалось. На этот раз с болью, от которой орать хотелось. Но удержалась, ордер спрятала, руку пожала, даже улыбку кое-как изобразила:

— Вот и хорошо. Поезжай. Обязательно. Я ведь тоже. Попрощаться зашла. Уезжаю. К мужу. Да. Муж у меня.

И вышла. Неделю из собственной, военкомом для ее счастья выхлопотанной комнаты не выходила. Въезжали соседи, праздновали новоселье, к ней стучали, а она молча лежала на шинели, брошенной в углу. Семь дней лежала, ничего не ела, только пила, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердой, как камень, смерзшейся глины.

Вышла, когда зарубцевалось и это ранение, когда выработала, продумала, внушила себе железное правило: любви для нее нет и никогда не будет. Все, точка на этом вопросе. А вскоре и ей пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов Советской Армии.

— Что думаешь делать, Антонина Федоровна, чем заняться?

— Учиться хочу. На заочном или вечернем.

— Трудно.

— Не труднее, чем воевать.— Антонина говорила тускло, незаинтересованно, но упрямо.— Справимся.

— Не скажи,— вздохнул секретарь горкома, которому она пришла представляться после демобилизации.— В пединститут согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать...

— В школу пойду, уже договорилась. Старшей пионервожатой, а заодно и военруком.

— Военруком,— усмехнулся секретарь.— Какой тебе военрук, Иваньшина? Кончилась война, так ее и разэтак.

— Нет,— сказала.— Знаете, когда она кончится? Когда

последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот тогда она кончится, наша Великая Отечественная.

Учение давалось с большим трудом, и не поначалу, а вообще всю жизнь знания доставались ей с бою, ценой огромных усилий и огромной усидчивости, и Антонина всегда помнила о чрезвычайно высокой цене собственных знаний. И в этом заключалось великое ее счастье, потому что и в мирной жизни старший лейтенант Иваньшина продолжала, стиснув зубы, упорно карабкаться наверх, а не весело и легкомысленно скользить с уже захваченных высот. Это подкрепляло характер, а не ослабляло его, прибавляло уверенности если не в своих способностях, то в своих силах, которые куда важнее способностей, потому что никогда не подводят. Проверено, и точка.

— Тонь, пошли вечером на танцы?

— Нет, Юра, нельзя мне. Недопоняла я одного момента, подзубрить требуется.

— Это для курсовой, что ли? Так я тебе все в пять минут разъясню!

— Мне, Юра, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание.

Два раза в институте парни делали предложения, и дважды она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же переводила разговор, твердила, что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить, а на самом-то деле совсем о другом думала. О лейтенанте Вельяминове и его ликующем, вновь обретенном счастье. И еще о болотце в апреле и о сухом ударе в позвоночник. Об этом она никогда теперь не забывала и добровольно ставила крест на собственной судьбе.

Однако природе не закажешь, да Антонина и заказывать ничего не собиралась. Тело помнило мужскую ласку, и коли требовало ее, то с полным правом. Благо была у нее своя комната в двухкомнатной квартире — небывалое счастье по тем временам! И еще она всегда помнила об избранной профессии и встречалась только с теми, кто никак не мог похвастаться в учительской. Этот принцип Тоня соблюдала жестко и неукоснительно, и поэтому и в институте и в школе ее считали недотрогой, сухарем и чуть ли не старой девой. Впрочем, сухарем ее считали даже те, кому она отдавала всю жажду усталого тела, потому что Антонина, соблюдая отданный себе же приказ «любви нет», более всего боялась еще раз влюбиться и нарочно командовала:

— Говорить шепотом, соседи за стеной. За громкий смех выгоняю без промедления, ясно?

Подобного руководства не выносят никакие мужики, ну а те, которые сами командовали, те, которые чудом дожили до Победы, померев до нее и за нее бесчисленное число раз, те выдерживали от силы две-три ночки, благо женщин, готовых восторженно подчиняться, было сотни на одного уцелевшего. Нельзя сказать, чтобы Тоню радовали эти внезапные исчезновения, но, утаив горечь на дне души, она и в этих обстоятельствах выискивала рациональное зерно.

— Ушел, ну и черт с ним. Этак еще и вправду влюблюсь.

Но это все — между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять: институт. А учение давалось немислимым напряжением, но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, недосыпая и недоедая. И непременно пересдавая все тройки: это запрещалось правилами, но, нахватав в первой сессии этих самых троек, Иваньшина решительно пошла к ректору.

— Отчисляйте к чертовой матери. Неспособна.

— С чего взяли? У вас все сдано.

— На тройки? Так они мне эти тройки из жалости ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все тройки *обратно* пересдавать.

— Это нарушение.

— А когда бабы ротами командовали — это как, не нарушение? Ну и нечего мне законами в нос тыкать.

Разрешили. Самолюбивая до болезненности, Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой, но иногда приходилось: историю древнего мира, к примеру, три раза пересдавала, пока четверку не заработала. Она уж ее, историю эту, почти наизусть выучила, а вот с датами никак не справлялась: не могла сообразить, каким образом дата рождения всяких там Периклов, Ганнибалов, Спартаков да Александров Македонских в абсолютном цифровом выражении больше, чем дата смерти.

— Ну это же все — до нашей эры, понимаешь? Потому и считают наоборот.

— Какой же может быть оборот во времени?

— Условность такая, Антонина. От новой эры — плюс, до новой — минус. Ну, от рождения Христа.

— Ты мне башку не морочь, он же легендарный.

За разъяснениями она обращалась только к мужчинам, хотя в педвузе их было очень мало. Не потому, что презирала девчонок — она не презирала, а жалела их, — а потому, что чувствовала себя неизмеримо старше. Старше

даже тех, кто годами обогнал ее, будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось «наоборот», как до нашей эры.

Девочки ее побаивались. В подругах никто не числился, но наиболее бессовестные беззастенчиво пользовались ее добротой и ставшим уже смешным, но упорным нежеланием считать — деньги ли, продукты или лимитные книжки, которые ей выдавал военкомат вплоть до денежной реформы, когда отменили карточки, пайки, лимитные книжки, а деньги меняли один к десяти. Она делилась последним, а то и просто отдавала это последнее по первой же просьбе или без просьбы, вдруг.

— Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи.

— Что ты, что ты! А сама как же?

— А мне к чему? Все равно в сапогах.

«Контуженая!» — хихикали пройдошистые, не понимая, что старший лейтенант Иваньшина беззаветно щедра не вследствие контузии, а потому, что фронт научил ее ценить только абсолютные ценности на всю оставшуюся жизнь.

— Пальтишко купи, простудишься. Держи сотню, больше нет.

— Ой, Тонь, я же отдать не смогу.

— А ты не отдавай. Ты пальтишко купи.

Очень уважали ее в институте. Любили, правда, куда меньше за резкость и колючесть, но уважали, а старый историк на празднике 7 Ноября сказал, расчувствовавшись:

— Неопалимая вы наша купина, товарищ Иваньшина. Настоящая советская неопалимая купина!

Тоня сначала хотела рассердиться на религиозное сравнение и посадить профессора на место, но ей успели вовремя растолковать, что неопалимая купина — это просто-напросто такой куст, который в огне не горит. И Тоня кивнула коротко и решительно: «Точно, мол, мы в огне не горим и в воде не тонем». И осаживать профессора воздержалась.

А прозвище «Неопалимая купина» на некоторое время в пединституте за нею закрепилось. Не столько потому, что первым назвал ее так старый сентиментальный профессор, а потому, что в «Комсомольской правде» вскоре появилась большая статья под таким названием. О ней статья, об Антонине Иваньшиной, командире стрелковой роты заштатного стрелкового полка еще более заштатной стрелковой дивизии. Статью привязали к Международному женскому дню 8 Марта. Тоне это не понравилось, под горячую руку она собиралась написать резкое письмо в

редакцию насчет граф, параграфов и рубрик, соотнесенных со всякого рода датами, но не успела, поскольку сама получила послание.

«Дорогой мой старший лейтенант Тонечка!

Мы с женой прочитали в газете статью о тебе: ты и вправду Неопалимая Купина Великой Отечественной войны. Как живешь, где трудишься, вспоминаешь ли о лейтенанте Валентине Вельяминове...»

Два дня Антонина на занятия не ходила: перечитывала каждую строчку, всплакнула даже. Ответ собиралась писать, да тут вдруг вызвали повесткой в горвоенкомат. Явилась, как приказано.

— Возможно, путаница? У меня инвалидность.

— Товарищи офицеры!

Замерли присутствовавшие в кабинете офицеры. А сам военком — боевой полковник (новый, Тоня его не знала) строевым подошел. Громко, как на параде:

— По поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик...

Словом, награда нашла героя: за последний бой — тот, в котором сухим комом в позвоночник, — старшего лейтенанта Иваньшину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели: в госпиталь комроты угодила. А там и война кончилась.

— Разрешите по-фронтовому орден отметить, товарищ полковник?

— А как же! Непременно по-фронтовому.

После работы собрались. Нашли котелок — натуральный, солдатский. Бросила в него Антонина новенькую «Звездочку», вылила поллитра. И полковнику протянула первому. Как положено было на фронте.

— За тебя, — сказал военком, двумя руками держа котелок. — Дай бог, как говорится, не последний тебе орден в жизни.

Сделал добрый глоток, передал по кругу. И каждый из офицеров говорил ей хорошие слова и торжественно, будто причащаясь, принимал к котелку, на дне которого серебряно позвякивал боевой орден.

Полковник понравился Антонине. И говорил толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым и видным, и даже на нее клюнул с ходу. Клюнул, что называется, с первого глотка; Тоне было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников.

Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в пять утра, Тоня неподалеку от общежития

встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком пальтишке и, видно, отчаялась вконец. Естественно, Иваньшина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, а с аспирантом, который давно за нею ухлестывал. Ничего был мужик, воевавший, комбат образца сорок четвертого. Тоня года два держала его на расстоянии, поскольку свято блюла принцип «только не со своими», а на балу расчувствовалась и — решилась. А тут девчонка.

— Чего сидишь, чего реवेशь? Да не бойся, Иваньшина я, Тоня, меня все в институте знают.

— Хо-хозяйка вы-выгнала. Я ей за п-полгода вп-перед заплатила, а она взяла да в-выгнала.

— Вот сука! Где живет? Сейчас я ей пару ласковых...

— А мне куда же? — продолжала свое девчонка. — Я приезжая, папа на фронте погиб, а мама...

— Кончай рев. Ну, кому сказала? Как тебя? Зина? — Обернулась к аспиранту: — А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки, вокзал тронулся. Ко мне все волокиты: закусим, согреемся, а там разберемся. Так-то, Зинка-корзинка. Держись за меня, скользко.

Выпили они тогда чайник под кастрюлю картошечки, согрелись; аспирант ушел несолоно хлебавши, а Зиночка-корзиночка осталась.

Странно, Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом. Будто перепрыгнула на ходу из одного грузовика в другой, идущий совсем в иное «хозяйство».

А все потому, что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспять начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать, могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине; она ворчала, сердилась, командовала, кормила завтраками и ужинами, огорчалась и радовалась, плакала и смеялась, с каждым днем все больше привязываясь к своей несмышленной квартирантке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой-первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Иваньшиной уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний.

— Почему поздно домой заявила? Парня завела? Покажешь.

Господи, да какие же они смешные, какие доверчивые и глупенькие эти несчастные девчонки, которым так хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья! Ну

как можно отправлять их без присмотра на учение в город, где столько соблазнов, столько парней и мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести. Нет, пропадет без нее Зиночка, это же ясно. Ни за понюх пропадет!

— Позже одиннадцати домой приходите запрещаю. Категорически, Зинаида, ясен приказ?

Вот так за домашними хлопотами и подошли госэкзамены, а там и выпускной вечер, и бывший командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Федоровна Иваншина стала дипломированным преподавателем истории в средней школе № 22, что по улице Фрунзе. Историчкой, выражаясь школьным языком. Тоня проходила в той школе практику и стажировку, теперь добросовестно готовилась к своим урокам и сумела навести порядок в классе, но дети ее не любили. Нет, они никак не выражали своей нелюбви, были ровны и в меру послушны, но Тоня... виноват, теперь уж Антонина Федоровна, постоянно ощущала нелюбовь... Но не расстраивалась: у нее было кого любить и о ком заботиться, а дети... Что же, главное — дисциплина. Дисциплина, послушание, успеваемость. Она обладала достаточным запасом воли, властности и командного опыта, чтобы требовать и добиваться, и она требовала и добивалась, а дети ее не любили.

— Антонина Федоровна, извините меня, бога ради, но обязана сказать. Обязана. Не любят вас дети. Да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах, вы уж простите меня, пожалуйста.

— А на черта мне их любовь, Мария Ивановна? Не жениться пришла, а преподавать историю.

— И еще — воспитывать. А вы так... гм, странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна. А воспитание без любви...

— Я мужиков воспитывала. Сто двадцать душ за три месяца формирования. В полном порядке были и без всякой любви, не беспокойтесь.

— Так то мужики... — застенчиво вздыхала старая учительница.

Завуч Мария Ивановна была представительницей воспитательного направления, предусматривающего непрременную взаимную любовь между учителем и учениками и основанное на этой любви беспредельное доверие. Но послевоенные дети, в лучшем случае имеющие отца-инвалида, а чаще давно уж потерявшие отцов, были в большинстве плаксивыми, взнервленными, неуравновешенными — обожженными войной, короче говоря. Естественно, никто не мог

предполагать, к каким последствиям может привести массовая безотцовщина эта, но Иваньшина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться по-суровее. Нелегко давалось ей это, а особенно дружная нелюбовь детей, немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны.

— Тонечка, я выхожу замуж!

— Как так — замуж? Тебе еще год учиться.

— Тоня, он чудный, чудный! Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает, и мы решили...

Села историчка Антонина Федоровна на стул возле дверей, выронив переполненные авоськи.

— Как же так? Я не понимаю. Как же так, а? Тебе еще целый год учиться...

— Так ведь люблю я его. Люблю, Тонечка!

Обняла, расцеловала, прижалась — родная, глупенькая, доверчивая. И заплакали обе: одна — от счастья, другая...

— Может, обождешь? Может, доучишься сперва?

— Ах, Тонечка, да ведь в Саратов его распределили. А у него там тетка с квартирой, и она нас к себе зовет, и там я институт окончу.

— Ах ты, Зинка моя, Зиночка, Зиночка-корзиночка...

— Тонечка, это же чудесно, это же замечательно, и я такая вся счастливая-счастливая!..

Никогда ничего не теряла Антонина Иваньшина с таким тоскливым безнадежным отчаянием — даже лейтенанта Вельяминова. А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной, ибо там, за горем, стоял его виновник, нелепость случайности, рок («ведь почему-то именно его, а не...») и, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду. Кроме того, боевые потери переживались сообща, горе роднило, а не разъединяло, плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой, самой ужасной, самой нелепой трагедии.

Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и оказались они сугубо личными. Личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иваньшиной: она впервые испытала их затяжную боль.

— Ах ты, Зинка-корзинка!..

С тоски Антонина на три дня бюллетень взяла и долго еще курила по ночам. Конечно, она никогда, ни разу и ни в чем не упрекнула свою Зиночку: молодое счастье всегда



эгоистично, и в этом эгоизме его радостная и всепокрушающая сила. Зинаида должна была поступить так, как поступила, — у Тони не было никаких сомнений на этот счет, — но это никоим образом не облегчало ее состояния. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость.

А потом пришла в пединститут, который окончила три года назад. Поговорила с педагогами, познакомилась с девочками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделю выясняла и приглядывалась, а там пригласила к себе на все время обучения самую тихую и незаметную, у которой — как, впрочем, и у многих в те времена — отец погиб в самом конце войны.

Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Она с материнским самопожертвованием кормила, поила, одевала и согревала своих квартиранток, как их называли соседи, а на самом-то деле никаких не квартиранток, а временных дочерей, что ли, или, по крайности, младших сестренек. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, забот и хлопот, и она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда — правда, нечасто — даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами: то ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей.

Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неохотно и столь несправедливо, что Антонина пережила собою ошибку как самое тяжкое из своих ранений.

Но сначала о соседях, иначе непонятными окажутся не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история жизни и смерти Антонины Иваньшиной.

Стало быть, старший лейтенант Иваньшина с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели. Ей выделили комнату в двухкомнатной квартире почти в центре города, но в деревянном, чудом уцелевшем в пожарах войны двухэтажном доме. Одновременно в соседнюю комнату тогда вселилась большая и чисто женская семья: матери, дочери, бабки и внучки и — ни одного мужика. Ни мужа, ни отца, ни брата, ни сына — кого убили, кто сам помер, а кто и сбежал от всей этой чересчур уж громкой, плаксивой, истеричной бабской оравы.

Мужиков не оказалось, а тоска по ним осталась, чем и объяснялось особое, пронзительное любопытство соседей. За Тоней и за ее гостями-мужчинами следили, затаив дыхание, из всех щелей, и лейтенант Иваньшина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа. Так сложилось с первых дней, так и продолжалось потом, когда место несчастных мужчин заняли девочки-студентки. И здесь соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию, что Иваньшина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы. Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками и клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. В такие клятвы умудренный жизнью участковый давно не верил, но Иваньшина была фронтовичкой, и беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.

— А почему это она одна в четырнадцать метрах, а мы пятеро в семнадцати?

— А потому, что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается,— резонно объяснил милиционер и навсегда снял этот вопрос с повестки дня.

Вся эта сквалыжная возня привела к тому, что Тоня решительно вычеркнула соседей из своей личной жизни, проходя сквозь мам, дочек, теток и бабушек как сквозь объекты бестелесные и как бы вообще не существующие. И так шло: она жила своей жизнью, они — своей. Умирали, уезжали, ссорились, болели, выздоравливали, а потом вдруг съехали. И только когда переезжали, Антонина и обратила на них внимание: уж очень громко вещи перетаскивали.

Соседи исчезли, наступила тишина: комната долго стояла пустой. Потом появился управдом и с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой.

— Беляков Олег. Ордер вот получил. Соседом вашим буду.

Но до того, как стать соседом, требовалось сделать ремонт. Олег разыскал мастеров, каждый вечер приходил убирать за ними и убирал, надо сказать, очень старательно. Раза два или три он появлялся с женой — по виду так совершеннейшей девчонкой, которая придиричивой Антонине понравилась. Это уже было после института, уже лет двадцать, что ли, прошло, и у Иваньшиной сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась: понимала, что замотались ее дев-

чонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала, хотя веселее ей от этого не становилось.

В то время у нее жила Лада, Ладочка, Ладушка — ласковое и обаятельное создание, состоящее из сплошных кругов: круглое личико, круглые глазки, круглые ушки, круглый ротик и даже кудряшки над круглым лобиком были круглыми. Это умиляло само по себе, но на третий день их совместного житья Антонина умилилась беспредельно.

— Можно, я буду называть вас мамой?

Ладочка была из маленького районного городка, а мечтала работать здесь, в областном. Она часто говорила о своей будущей работе, о взаимоотношениях с учениками («Мы, конечно же, будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка?..»); о будущих сочинениях («Я не хочу казенщины: образ Татьяны... и так далее. Я хочу, например, такую тему: женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка?..»); и даже о будущих сослуживцах («Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?..»). Ах, как была счастлива «мамочка»! Ее никто никогда так не называл и — она знала — никогда так не назовет. Нет, нет, все предыдущие ее девочки были прекрасными, они давали столь необходимую ей возможность заботиться о себе, но ни к кому она не относилась так, как к упругой, кругленькой, вкусненькой, как пампушка, Ладушке. Лада умудрилась растревожить не только ее материнский инстинкт, но и материнское чувство: Антонина Федоровна Иваньшина впервые в жизни познала материнскую любовь.

— Ладушка, хочешь работать в моей школе? — К тому времени Иваньшина стала директрисой, и выражение «моя школа» звучало вполне уместно. — У нас хороший коллектив, опытные педагоги.

— Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.

— Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в горно.

— Я ни о чем не прошу...

— Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.

— Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов я комсомолка, и это мой долг.

— И ты оставишь меня?

— Мамочка! — Ладочка повисла на шее, расцеловала. — Ты моя родная. Самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.

— Говори мне так всегда. Мне приятно.

— Мамочка моя!..

Таяло, млело, умилялось сердце командира стрелковой роты. А после этого разговора по душам Лада стала еще внимательнее и нежнее.

В прописке не отказали. Хотя дали разрешение не сразу и без особой радости.

— В порядке исключения, Антонина Федоровна. Учитывая вашу личную просьбу.

Через пять дней сияющая Лада примчалась из милиции, потрясая паспортом:

— Мамочка, родная моя! Теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка!..

На радостях купили шампанского и огромный торт. Пили, плакали и мечтали.

— Мамочка, у нас начинается практика. Можно, я буду ходить в твою школу?

— Конечно, доченька. Привыкай, тебе в ней работать.

— Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города!

Все эти пиры и радости происходили еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый и основательный ремонт и каждый вечер регулярно приходивший убирать мусор.

А однажды — только маляры закончили работу — в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет за тридцать. Названная дочь несла объемистый тюк, а незнакомец — два больших чемодана. Иваньшина сидела у окна — в последнее время она что-то хуже стала видеть — и на руках подшивала своей любимице платье.

— Это мой муж.

— Муж? — улыбнулась Антонина, ожидая неожиданной шутки или какого-нибудь веселого розыгрыша, на которые ее Ладочка была мастерица.

— Паспорт показать, Антонина Федоровна? — Мужчина широко, по-свойски улыбался и вести себя старался тоже по-свойски, но Иваньшина видела, что он изо всех сил пытается преодолеть самого себя. — Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы повернуть, потолок побелить.

— Какой муж, какой ремонт? — Она все еще улыбалась, но уже чуяла что-то очень недоброе. — Почему вдруг — потолок белить?

— А потому, что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены.— Неизвестный уже справился с первым смущением, преодолел себя: и тон и вид его стали агрессивными, точно он стеснялся теперь за те первые нерешительные нотки.— Скажете, что не согласны, так вот вам заявление, чтоб, значит, жировочки пополам: мы свои права знаем. А будете спорить — общественность оповестим, что вы мешаєте счастье молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади с вашего же согласия. Устраивает? Тогда давайте сосуществовать.

Где-то в середине этой деловитой и, видимо, заранее сочиненной речи Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место, только боль была иная. Пронзительно острая, нестерпимо острая, лишившая ее не сознания, а способности двигаться. Двигаться и говорить, и Иваньшина только тихо сипела, наливаясь краской и широко разевая рот.

— Думаю, договоримся,— продолжал незванный гость, оказавшийся вдруг новым хозяином.— Вы с орденами: походите в горком, поплачетесь на тесноту да на нас в придачу, и вам, безусловно, где-то комнату выделят. И все тип-топ, как говорится: вы еще к нам в гости ходить будете, Ладкиного пискуна, который через полгода на свет явится, нянчить станете. Да еще и нам спасибо скажете, что старость у вас не одинокая...

Он много еще говорил, но говорил один. Лада молчала и изо всех сил старалась не глядеть в ее сторону, а Иваньшина, напряженно ловя ее взгляд, пыталась хоть слово из себя выдавить, пыталась и не могла. А новоявленный муж все говорил и говорил не переставая: ему тоже было неуютно.

— Вы же Ладку любите, а для нее эта комната — единственный способ счастья добиться. Мы с ней тут еще пару ребят заделаем...

В верхнем ящике старомодного комода, доставшегося ей еще по наряду военкомата при вселении, лежал «вальтер». Отличный офицерский «вальтер», с полной обоймой в рукоятке и запасной рядышком, который она сама сняла с убитого ею обер-лейтенанта во вражеской траншее. Очень уж ладный пистолет был, очень уж гордилась она им и когда-то хотела подарить его лейтенанту Вельяминову. Но лейтенант нашел невесту, исчез навсегда, а ей осталась эта комната, одиночество да памятный «вальтер». Вроде бы уж и не просто личное оружие, которое положено сдавать, а некий символ, связавший воедино ее первый бой

в немецких траншеях с ее последней, отчаянной, безоглядной и несостоявшейся любовью. И поэтому когда пришел приказ о демобилизации, она так и не смогла расстаться с трофейным пистолетом. Сунула его с глаз подальше, утопила в ворохе старых бумаг и забыла. А тут вспомнила. Отчетливо, до тяжести в руке.

Только бы встать, только бы сделать три шага до комода, только бы найти в себе силы вытащить ящик. И тогда — всю обойму в наглуго, самодовольную, уверенную в своем превосходстве физиономию. Только бы встать, только бы... Она уже не слушала, что говорят, она думала, как сэкономить силы, она приказывала себе встать. Встать. Встать!..

— А переборочку я все же в комнате сооружу. Ладка вас стесняется, а мы молодые, так что природа своего еще требует. Какое нам дано указание? А такое, что нечего нам ждать милостей: взять их — наша задача. Так, мамаша?

Господи, только бы встать. Сначала встать, потом — три шага. До смерти — четыре? А здесь всего-то три, полегче. Правда, ящик комода трудно выдвигается. Туго, со скрипом...

— Напополам делить нечестно: нас двое, а вы одна. Значит, так разделим: нам — две трети, вам одну. Какую половину выбираешь, Ладка? Тебе как беременной женщине первое слово.

Ладка молча ткнула рукой туда, где стояла кровать, на которой последнее время они спали вместе — названная дочь и названная мать. Войдя и перехваченным голосом представив мужа, она больше не проронила ни слова, бестолково копаясь в вещах, сваленных посреди комнаты.

— Ясно. Ну-ка, давай-ка кроватку мамашину к другой стеночке...

Именно тут открылась дверь и вошел новый сосед Олег Беляков. Почему вошел без приглашения, без стука даже — этого он и потом никогда не мог объяснить («Кольнуло будто: надо, мол, и все...»). В этот момент деятельный молодежен схватился за железную, с колесиками, никелированными шарами и панцирной сеткой кровать и потащил, не дожидаясь помощи онемевшей жены.

— Что тут происходит, Антонина Федоровна?

То ли потому, что кто-то вошел, то ли просто сил уже накопилось, а только Иванышина с огромным трудом подняла руку, ткнула в тащившего кровать мужчину и, напрягшись, косноязычно и непонятно выдохнула:

— Фашист.

Дальнейшие действия Белякова тоже оказались труд-

нообъяснимыми. Ничего ни у кого не спросив и ничего не сказав, он схватил один из чемоданов и, размахнувшись, вышвырнул его в открытую дверь. Вылетев в коридор, тяжелый чемодан ударился об угол печи, крышка отскочила, и на грязный, истоптанный малярами пол вывалились рубашки, подтяжки, майки, трусы. А Олег тут же сграбастал второй чемодан, открытый, в котором трудолюбиво и застенчиво копалась Лада, и отправил его следом, но чемодан не долетел до коридора, устлав всю комнату постельным бельем.

— Пстой, ты что? Ах, гад!..

Бросив кровать посреди комнаты, муж схватил соседа за грудки. Но Олег не испугался, хотя был заметно мельче своего противника. Кто-то ударил первым, кто-то ответил на удар, пронзительно завизжала Лада, а Иваньшину пронзила вдруг острая до световой вспышки боль в позвоночнике, и свет померк.

Очнулась она после укола. Вернулось сознание, просветлело в глазах, и она увидела, что сидит на том же месте, но ни молодоженов, ни их вещей уже нет. Рядом суетился молодой и очень озабоченный врач, поодаль сидел Олег, и медсестра прикладывала тампон к его избитому лицу. И еще Иваньшина увидела молоденькую жену нового соседа («Как ее... Алла, что ли?»): она сидела на корточках напротив, смотрела испуганно и держала Иваньшину за руку.

— Ну как вы? — спросил доктор. — Говорить можете?

— А где... где эти?

Иваньшина говорила затрудненно, неясно, но все же говорила. И глядела осмысленно, и спрашивала осмысленно.

— Наладил, — шепеляво, с присвистом сказал Олег и улыбнулся разбитыми губами. — Он думал меня на испуг взять. А мы с Алкой — детдомовские, нас за грош не купишь. Доктор, ты мне справочку об избиении все-таки изобрази.

— Изобразу, — отмахнулся врач; Иваньшина беспокоила его куда больше. — Двигаться можете?

— Руки теплые. — Она чуть сжала пальцы перепуганной Алле. — Ног не чувствую.

— Срочно в больницу. Срочно. — Доктор вздохнул и нахмурился. — Давайте санитаров, давайте носилки.

— А справку? — спросил Олег.

— Сейчас напишу, какой вы, право. Нашли время.

— Не для себя, доктор, — улыбнулся Беляков, осторожно тронув языком разбитые губы. — Нахалов учить надо. Вместе с Ладочками. — Тут он покосился на Антонину, добавил

виновато: — Вы, конечно, извините за самоуправство. Если хотите, я Ладу не трону.

Иваньшина ничего не ответила.

Почти три месяца провела она тогда в больнице. За это время новые соседи не только закончили ремонт и переехали, но и подружились с нею, поскольку ежедневно навещали то вместе, то порознь. Поначалу — причем довольно долго — она не слушала, не слышала да и не видела их, погруженная в невеселые свои мысли, но и Олег и Алла не ограничивали свои визиты только передачами да дежурными расспросами, где болит, что болит, как лечат да что говорят. Новые соседи обладали природным даром общения и огромным запасом добродушия, которое поглощало и молчание, и угрюмое неприятие, и даже безадресные нервны срывы больной настолько полно, что незаметно для себя Иваньшина стала оттаивать.

— Вот вы и начали нас вроде как замечать, Антонина Федоровна.

— Не понимаю, зачем утруждаетесь,— угрюмо сказала она.— Ходите, навещаете. Поручение от месткома?

— Приказ,— сказал Олег.— Мы же с вами родственники по Великой Отечественной войне, только вы яблонька, а я яблочко.

Иваньшина чуть улыбнулась: пара внушала доверие, даже нравилась ей.

— Заулыбались,— значит, на поправку дело пошло, и пора нам познакомиться,— сказал он.— Ну, Алка сама про себя вам наболтает, а я свою автобиографию на бумаге изобразил. Уйду — прочитаете, если захотите: Алка специально для вас ее на машинке отстучала в своей конторе.

Оставил несколько листков и ушел, и Антонина Федоровна сразу же начала читать.

«АНТОНИНЕ ФЕДОРОВНЕ, ДОРОГОЙ НАШЕЙ СОСЕДКЕ» — было напечатано большими буквами сверху. Далее шел обычный шрифт, но с первым экземпляром Иваньшина справлялась легко.

«Не хочу быть неправильно понятым, но слушать меня вы сейчас не станете, не до того вам, и, кроме как через это письмо, нет у меня способов все вам объяснить. А объяснить надо, по какому праву я к вам ворвался прямо, можно сказать, в личную жизнь. Вот почему и пишу, а Алка (это жена моя) отпечатает у себя на работе, чтобы вам читать было полегче.

Так вот, я детдомовец и за все своему детскому дому благодарен. За воспитание, образование, здоровье, за судьбу



свою, за Алку мою. Это все — огромные плюсы, но один маленький минус все же из детдомовской жизни вытекает. Из спальни на сорок пацанов: два десятка двухъярусных коек. Из столов на двенадцать жующих: по шесть с каждой стороны. Из общих игр, общих уроков, общих построений, из общих туалетов, если хотите, потому что ни от чего человек так не устает, как от ежечасной и многолетней жизни на чужих глазах. «Ты что читаешь?», «Ты кому пишешь?», «Ты что жуешь?», «Ты что задумался?». Задумался чего — и то ведь непременно спросят! Не со зла, не от любопытства: от того, что слишком уж много общего, и все невольно тоже становится общим. Даже мысли.

И тогда постепенно начинает шевелиться в тебе одна идея. Сперва — в слезах, потом — в мечтах, а там и как насущная жизненная необходимость: желание иметь свой угол. Свои четыре стены, чтобы отгородиться ими от всех хотя бы на время, на вечер, на ночь — да хоть на час один. И не желание даже — желания как-то мало для этого, — а жажда. Вот даже слова другого искать не буду: для любого детдомовца собственная комната — утоление жажды. Компенсация вроде бы чего-то такого, чего не было. Не знаю, как эта жажда у кого сказывается, а меня она буквально с ума сводила. Я во сне свою собственную комнату видел, я знал, где у нее дверь, сколько у нее окон, я мебелью ее в мечтах обставлял, обои подбирал, полочки приколачивал, выключатели ставил, проводку проводил. Еще в детдоме о своей норе стал мечтать, а когда в техникум поступил и перешел в общежитие, так обязательно перед сном об этой комнате думал. Заснуть иначе не мог, если в мечтах не найду в нее, стол не передвину, кресло не переставлю. Прямо как наваждение какое-то. С жилплощадью у нас везде трудно, а для детдомовца еще труднее. Не потому, что к нам плохо относятся — к нам как раз очень хорошо относятся, может быть, даже слишком хорошо, — а потому, что у детдомовца только одна возможность в этом плане: в порядке очереди. Обыкновенные дети ведь у родителей прописаны, а детдомовские — в общежитиях, и никакого права на жилплощадь у них нет, пока ордер им не вручат. А это, как правило, ой как нескоро случается.

Какие же варианты? А два ровно: либо на жилплощади жениться, либо за жилплощадь замуж выйти, и третьего не дано. Но это не для меня все, потому что я в свою Алку еще с седьмого класса влюбился. В детдоме еще она тогда в четвертом училась, вся в бантах была, а на Новый год изображала Снежинку. И так она ее изображала, что

я в нее влюбился навсегда, еле дождался, когда ей восемнадцать исполнится, и расписались мы без всякой жилплощади, и три года после этого по всему городу мыкались, комнаты снимая. Я еще молодым специалистом числился, Алка училась, и тратили мы тогда на комнату больше, чем на свое питание. Еле-еле концы с концами Алка сводила, но ребенка мы завести все-таки не побоялись. А через два года пьяная квартирная хозяйка, у которой мы комнату снимали, уронила с балкона нашего ребеночка, нашу девочку, когда мы на работе были.

Это все я вам, Антонина Федоровна, сообщаю, чтобы ясен был один побудительный мотив: я после этой трагедии начал приработок искать, чтобы денег накопить и, может, кооперативную квартиру или хоть домик за городом приобрести. Руки у меня всегда хорошие были, соображал я неплохо, если технически, в смысле там электроники или электротехники. Тут вскоре мода на звуковые системы пошла, и я сразу прослыл спецом экстра-класса. Дело для меня плевое, а заработок верный: и жить стало полегче, и откладывать даже начали. Тем более что заказы на меня прямо сыпались, и я уже выбирал, к кому идти.

И вот так зашел однажды к одному парню, Игорем его звали. Толковая у него была «система», только разрегулирована без предела. Стал я с того света ее вытаскивать, аппаратуру эту, каждый день после работы наведывался и вскоре познакомился с папой. А папа — начальник: какой да чего, дело ведь не в этом, а в том, что он попросил меня у него на службе секретарь-автомат швейцарский до ума довести. Я довожу, разговариваем, я ему, как вам, все обрисовываю: про Алку, про ребенка, про нашу бездомность и нашу мечту. А через месяц — бац! — ордерок на подселение в квартиру к инвалиду Великой Отечественной войны Антонине Федоровне Иваньшиной. К вам, значит, дорогая наша и первая в жизни соседка.

Спросите, зачем, мол, пишу все это? А затем, чтобы объяснить, какие мы есть, почему я в вашу комнату тогда без стука ворвался и что вы для нас значите. Мы детдомовские ребята, о чем и рапортуем, а вы вроде как пристань наша, как остров в океане. Может, это все Алка лучше объяснит, я насчет чувств не очень, но хотелось бы, чтобы жилось нам дружно и весело, для чего и доложил вам все про все.

*Ваш сосед Олег Беляков».*

То ли ослабела Антонина Федоровна, то ли сентиментальна стала, а только тронуло ее это откровение на пи-

шущей машинке. Она три раза перечитала «автобиографию» и три раза ощутила тепло в душе. И прямо — письмо требовало ответной прямоты — сказала об этом Олегу.

— Затем и писал,— признался он и неожиданно добавил: — Пока вы тут сил набираетесь, давайте мы у вас в комнате ремонт сделаем?

— Вот это уже ни к чему.

— Бойтесь, что стащим что-нибудь? Правильно: детдомовские, они такие.

Так спросил, так прокомментировал и так улыбнулся при этом, что она не смогла сдержать ответной улыбки. Но проворчала:

— Не терплю одолжений.

— Сочтемся! — безмятежно пообещал Беляков. — Обоим показать или Алке выбор доверите?

— Доверяю,— сказала Иваньшина, но уже без ворчанья и вполне серьезно.

А соседи во время ремонта все-таки кое-что «стащили»: адреса ее прежних «квартиранток», разлетевшихся по окончании института по работам и замужествам. И Антонина вторично онемела, когда в ее палату вдруг ворвалась немолодая и располневшая...

— Тоня, что с тобой? Что же ты мне-то не сообщила, Тонечка? Ведь не чужие же мы, кажется. Чего молчишь-то? Не узнаешь, что ли?

— Зинка,— с трудом выговорила Иваньшина, и слезы хлынули бурно и внезапно: впервые с того вечера.— Зиночка-корзиночка.

— И не одна,— всхлипнув, шепнула самая первая ее подопечная.— Эй, сынок! Иди с теткой своей познакомься.

И вошел застенчивый, неуклюжий, нескладный какой-то парнишка. Ну да не в этом дело, а в том, что на другой день Олега Белякова лишили постоянного пропуска в их отделение.

— Ну, знаете.— Лечащий врач только руками развел.— Мы с таким трудом Иваньшину из паралича выволокли, а вы?

— А я? — благодушно переспросил Олег.— Спасибо за комплимент, и давайте назад постоянный пропуск. Ее кормить надо, на ваших харчах йог и тот ноги протянет.

— Какой комплимент? Тут, понимаете ли, такая нервная встряска вами организована, что...

— Да бросьте, доктор. От радости ведь и вправду не умирают.

Вскоре после этого внезапного свидания, а скорее всего от первых своих слез Антонина Федоровна стала пома-

леньку ощущать собственные ноги. Стреляющие боли в поясище, от которых, как она сама говорила, виделся ей порою салют Победы, прекратились, а там помаленьку да полегоньку начала она вставать и передвигаться. Сначала, как водится, с костылями, а потом с палочкой, самостоятельно. И в тот день, когда она похвасталась Олегу, что впервые добрела до процедурной, он сказал:

— Значит, можно и о делах. Эта Ладочка не желает добровольно выписываться. Своего бугая, правда, больше не приводит да и сама в вашу комнату без нас не заглядывает — замочек я там новенький врезал с секретом, — но выписываться и не думает. Вот почему я вас прошу подписать эту бумагу.

Иваньшина молча прочитала заявление на имя председателя горисполкома, в котором живописно, но без преувеличений была изложена вся история с Ладой и ее супругом. И просьба в конце: считать постоянную прописку гражданки такой-то недействительной по изложенным выше бессовестным причинам. От заявления, так живо напомнившего ей о последнем свидании с ласковой названной доченькой, стало и тошно и тоскливо, и Иваньшина подписала его, не исправив даже прилагательное «бессовестный» на какое-либо более вразумительное.

— А она — в суд, — вздохнула Алла.

— И я — в суд, — весело улыбнулся Олег. — У меня справочка об избиении имеется.

Ни о каком избиении, а уж тем паче о справочке Иваньшина не помнила, поскольку пребывала тогда по ту сторону суетных житейских подробностей. Но такая предусмотрительность со стороны нового соседа ей почему-то была неприятна. Однако она ничего не сказала: не хотелось ни о чем вспоминать, а уж менее всего — о том вечере.

Никакого суда не случилось: девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. Что при этом сказал ей улыбчивый Олег Беляков, Антонина Иваньшина не спрашивала, но то, что какой-то разговор состоялся, знала. Правда, не от Олега — тот помалкивал, сообразив, насколько неприятно ей любое напоминание об этом, — но по-женски разговорчивая и по-женски гордящаяся мужем Алла рассказала достаточно. Беседа была короткой, насколько можно было судить по Алкиным намекам, но содержательной, коли не только Лада, но и ее громогласный супруг не нашли контраргументов. И только год спустя Олег признался:

— Русакова Петра Игнатовича помните?

— Какого Русакова?

— Военкома. Ну, он еще орден вам вручал. Так я его тогда на разговорчик-то пригласил, вот тут-то они и утерлись.

Какими бы горькими ни были обиды и неожиданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила, и Иваньшина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую-перемытую свою комнату на собственных ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь и — с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег.

— Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как-то.

— Деньги будете предлагать?

— Да и деньгами неудобно.

— Точно.— Он кивнул.— Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. А когда подрос, рассказали, что принесла меня в сорок пятом фронтовичка. Сдала и — в часть: ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подсесть, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, свободное дело, мамой мне могли быть.

— Мамой, говоришь?

Горько усмехнулась Иваньшина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега за волосы и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».

Через неделю после выписки вернулась в школу — с палочкой и заметной проседью в гладко зачесанных волосах. И потянулись обычные дни, наполненные детским шумом, мальчишеским озорством, девчоночьими слезами, жалобами учителей, просьбами родителей, совещаниями, заседаниями, собраниями, вызовами в районо и в райком, собственными уроками и собственной усталостью. Все было прежним, знакомым и привычным, и только собственная усталость оказалась для нее новой. Глухой, опустошительно беспощадной, отнимающей разом все силы — и физические, и умственные, и нервные. «Надо привыкать, — сказала она себе, ощутив эту усталость и сразу поняв, что ей от нее уже никогда не избавиться. — Надо приспособливаться, терпеть и привыкать».

А так было все, как бывало всегда, только Антонина Иваньшина не ходила более в родной институт, не приглядывалась к полушкольницам-первокурсницам, не заводила с ними бесед. С этим отныне было покончено раз и навсегда: Иваньшина умела говорить «нет» со всей жесто-

костью и непреклонностью офицера-фронтовика. И как ни горько ей становилось порою не столько от решения, сколько при воспоминании о причинах, заставивших ее принять такое решение, была тверда, ровна и почти спокойна.

Правда, жизнь ее изменилась не только в худшую сторону, и как знать, что стало бы со всеми ее принципами, если бы не эти изменения. Если бы не веселые, дружные, жизнерадостные соседи, встречавшие ее как родную, обращавшиеся с ней как с родной и — Иваньшина постепенно убедилась в этом при всей своей настроенности — искренне считавшие ее таковой.

— Ребята, вы хотя бы деньги у меня берите, что ли. Ведь каждый день с ужином ждете, миллионеры.

— Ну что вы, Антонина Федоровна, — смущалась Алла. — Тогда нам радости убавится, понимаете?

А Олег улыбался:

— Все нормально, как в детдоме: торт, он что? Он — один на всех и все — на одного. Верно, Алка?

Была еще одна маленькая, чисто женская радость: в кои веки объявился-таки хозяин, и квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрились штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось, вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно: даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде. У Олега были воистину золотые руки и неиссякаемая любовь к ремонтам и усовершенствованиям: он не жаловал старого.

— Слушайте, Антонина Федоровна, чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена.

Так сложилось, что печь никогда не досаждала Иваньшиной, не отнимала у нее ни времени, ни сил, и вообще не ее это была забота. Даже те капризные, завидушные соседи никогда не утруждали ее топкой общей печи и никогда не жаловались, что она этой обязанностью пренебрегает. После войны раздобыть топливо — торф, дрова или уголь — было чрезвычайно сложно, и соседи сразу же разделили обязанности: Иваньшина добывает топливо, они топят печь. И так оно и было всегда, это разделение, и Олег заворчал совсем не потому, что намеревался его пересмотреть, а потому, что сама печь раздражала его своим анахронизмом. Он обожал новшества не только в науке и технике, но и в быту и очень сердился, когда приходилось тратить время на печь.

— Каменный век!

Иваньшина отшучивалась, но Беляков был настойчив,

и если уж задумывал что-либо, то непременно добивался. К тому времени в городе уже шло широкое строительство, центр, где они жили, реконструировался и благоустраивался. Олег походил, поинтересовался, потолковал с людьми (он был на редкость общительным человеком) и однажды встретил Иваньшину в состоянии радостного нетерпения.

— Пишите бумагу в горисполком: рядом с нами тепло-центральный строят. Просите подключить, да не забудьте о ранениях указать.

— Это еще зачем?

— А затем, что вам, одинокой фронтовичке, раненой и контуженной при защите Отечества, трудно стало таскать дрова и уголь на второй этаж.

— А я и не таскаю.

— А они-то об этом откуда знают? Вы пишете, пишете, остальное беру на себя. Посуетимся, побегает — глядишь, и выгорит.

Он был оживлен, шутил и улыбался; Иваньшина написала под его диктовку нужное письмо, но ей это было неприятно. Конечно, она понимала, что послевоенные трудности уже позади, что люди живут иначе, что печное отопление в центре огромного индустриального города и впрямь анахронизм, и все же что-то царапало в ее душе. Что-то не нравилось ей в цепкой энергичной напористости никогда не унывающего соседа, но она не знала, что именно, а доискиваться причин не хотелось. И вскоре забылось, а через месяц пришли рабочие, провели центральное отопление и разломали печь.

— Ну как атмосфера, Антонина Федоровна? — шумно радовался Олег. — Потеплела?

— А грязи-то, грязи! — сокрушалась Алла. — И зачем, спрашивается, мы ремонт делали? Снова белить да переклеивать...

— А вот это уже за мой счет, — строго сказала Иваньшина. — Не спорьте, ребята, я человек одинокий, зарплата небольшая.

— Мы и не спорим, — улыбнулся Олег. — Все, как в дружной семье, чтоб топор и тот не обижался.

По случаю нового отопления закатали торжественный ужин. Иваньшина купила торт и бутылку вина, хотя пить врачи ей навсегда запретили. Но дело тут заключалось не в питье — кстати, Олег выпивал очень редко, — а в том семейном застолье и уюте, по которым так тосковала она всю жизнь, сама себе в том не признаваясь.

— Скажи, Олег, трудно было добиться резолюции!

— Это с вашей-то биографией? Чудачка вы, Антонина

Федоровна, ей-богу, чудачка! Мне бы такую биографию, я бы давно в отдельной трехкомнатной со всеми удобствами жил. Да еще и с телефоном.

— А я, видишь, живу в двухкомнатной. И довольна вполне, заметь. И вообще должна тебе сказать, что ты слишком уж часто разводишь абсолютно ненужную суету. Это все неприятно, несолидно, это... оскорбительно даже. Отличительной чертой русской интеллигенции была всегда потребность отдавать, а не брать. Отдавать! И этот принцип я вполне разделяю.

Антонина Федоровна даже в семейных разговорах употребляла стандартные формулировки, особенно когда заговаривала об интеллигенции. Она словно побаивалась самого этого слова и непременно старалась подпереть его знакомыми формами: Олег давно в этом разобрался.

— Так вы же не детдомовская, как мы с Алкой, — обезоруживающе улыбнулся он. — И русская интеллигенция, честь ей и хвала, тоже не оттуда, между прочим. А насчет телефончика, может, подумаем, а?

— В городе номеров не хватает, — хмуро сказала Иваньшина: ей было неприятно упоминание о детских домах, хотя она понимала, что Олег в чем-то прав. — Тут действительно нуждающимся поставить не могут.

— А вы не действительно нуждающаяся?

Она хотела ответить, но смолчала. Мелькнуло вдруг в голове, как предупреждающий сигнал, что еще один приступ неведомой ей раньше болезни, еще одна больница — и она станет действительно нуждающейся. И Алла поняла ее невеселое молчание, сразу же громко заговорив о чем-то постороннем.

Потом пришло письмо.

Корреспонденция Иваньшиной всегда была обширной: писали фронтовые друзья, ветераны, подруги по институту, давно окончившие и разъехавшиеся «квартирантки». Но это письмо было особым; Антонина Федоровна вышла на кухню очень озабоченной и протянула письмо Алле:

— Читай вслух.

— «Дорогая моя Антонина Федоровна, пишет вам прежняя ваша надомница и нахлебница Валя, а ныне преподаватель русского языка и литературы Валентина Ивановна Прохорова (это по мужу, а по-старому я Лыкова). Вы у нас в семье — живая легенда, и дочка моя Тоня мечтает стать на вас похожей. В этом году она оканчивает десять классов и хочет поступать в наш педагогический...» — Алла перестала читать и молча уставилась на Иваньшину.

— Понятно, — сказал Олег. — Ария певца за сценой.



— Антониной назвала,— вздохнула Иваньшина.— Валя Лыкова, значит. Хорошая была девочка, старательная и скромная.

— Все они хорошие.— Алла недовольно покачала головой.

— Погоди, Алка.— Олег походил по кухне, размышляя; остановился против Иваньшиной.— Берите. Ну? Мы поможем, а вам и веселее и привычнее. Берите, Антонина Федоровна, эту свою Тонечку.

И в тот же вечер бесконечно благодарная Олегу Иваньшина написала письмо Вале Лыковой (теперь — Прохоровой), в котором просила откомандировать под ее ответственность юную Тонечку Прохорову. Однако будущая абитуриентка, будущая — это если пройдет, тьфу, тьфу! — студентка намеревалась приехать в августе, то есть через девять с лишним месяцев. За это время многое могло произойти.

И произошло.

Начало года оказалось настолько радостным, что Иваньшина несколько раз суеверно подумала, что все это не к добру. И хмельной аромат новогодней елки, и радостные звонкие игрушки, и сама встреча с этой елкой оказались действительно праздником. Пока директриса проводила школьный новогодний вечер, дверь ее комнаты открыли, кое-что сдвинули с места, а когда Иваньшина вернулась и зажгла свет, то вспыхнула разноцветными огнями нарядно убранная елочка. Это было так неожиданно и так прекрасно, что Антонина Федоровна невольно вскрикнула, и тотчас же с криком и хохотом вбежали Беляковы.

— С Новым годом!

Никогда не было у нее такого Нового года. И такого 23 февраля, когда вечером ее ожидал пирог с надписью, «ГЕРОЮ ВОЙНЫ». И такого 8 Марта...

А 10 марта к мылу приклеилась мыльница, и, когда Иваньшина взяла его в руки, мыльница упала на пол и раскололась. Ерундовая мыльница, копеечная, но — соседская, а по горло занятая школьными делами (четверть кончалась!) директриса все время забывала ее купить. И вспомнила спустя неделю, увидев в хозяйственном отделе универсама «Господи, наконец-то набрела, растрепанная», — проворчала она про себя и положила пластмассовую мыльницу в сумку.

Хозяйственный отдел был обширным, и она медленно бродила по нему, разглядывая всякие нужные и ненужные вещи. Но, разглядывая товары, Иваньшина думала совсем не о них, а о девушке в фирменном халатике со значком,

которая стояла у входа на контроле. Лицо ее показалось Антонине Федоровне знакомым: кажется, именно эту девочку два года назад по ее настоянию исключили из школы, поймав в раздевалке с сумкой, набитой чужими шарфами и шапочками. После больницы Иваньшина никак не могла припомнить ее фамилии, да и лицо стерлось в памяти, но сейчас показалось: она. Настолько вдруг и настолько ясно показалось, что директриса сказала, проходя мимо: «Здравствуй, Трошина», но ответа не получила. И теперь, бродя вдоль стоек, в ячейках которых были навалены товары «для дома, для семьи», все время думала, Трошина это или не Трошина и правильно ли она поступила тогда, настояв на ее исключении.

Эти мысли настолько занимали ее, что ни о чем ином уже не думалось. Она машинально бродила по отделу, машинально брала в руки различные предметы, машинально разглядывала их и ставила на место. Правильно она тогда поступила или сгоряча, не учитывая ни возраста, ни личности провинившейся,— вот о чем думала она, и вывел ее из этой задумчивости девичий голос:

— А в сумке что у вас спрятано?

Иваньшина очнулась от размышлений и по тону, по голосу узнала: Трошина. Только имени никак вспомнить не могла.

— Здравствуй, Трошина. Не узнаешь меня?

— Я спрашиваю, что у вас спрятано в сумке, гражданка.

— Ничего.— Иваньшина была выбита из привычного состояния агрессивностью интонаций и отвечала растерянно.— Зачем же ты так, в таком тоне?

— Откройте сумку.

— Что с тобой, Трошина? — тихо спросила она.— Не терпится продемонстрировать власть?

— Требую открыть сумку! — Продавщица повысила голос.— Вера Тимофеевна, Люба, Лара, подите сюда! И милиционера пригласите.

— Как тебе не стыдно, Трошина.— У Иваньшиной потемнело в глазах.— Я директор школы...

— Откажетесь открыть сумку — отберем силой. Понятно?

Антонина Федоровна задрожавшими руками открыла сумку и, перевернув, вытряхнула ее содержимое на пустой прилавок. Посыпались монетки, кошелечек, шариковые ручки, платочек и копеечная пластмассовая мыльница.

— Вот, видите? Все видите? — с торжеством закричала продавщица.— А где чек на оплату?

— Чек?..— Иваньшина окончательно растерялась, в го-

лове туго застучали молоточки.— Я не знаю. Наверно, я машинально...

К этому времени на подмогу Трошиной уже подтянулись другие продавщицы. Милиционера, правда, не было, но зато группа с директором школы в центре стала быстро обрастать любопытными.

— Тихо! — громко сказала старшая продавщица.— Вы оплатили товар, гражданка?

— Вероятно, нет, но...

— Воровка! — звонко крикнула Трошина.— Подруги, я четвертый день за нею это замечаю.

— Какой четвертый, что ты, я же не хожу сюда...

— А где тогда чек? Чек где, спрашиваю?

— Помолчи, Трошина. Я спрашиваю вас, гражданка, вы оплатили покупку?

— Кажется, нет. Кажется, я забыла. Я стала забывать, я лежала в больнице.

— Значит, товар вы не оплатили. Так?

— Я же говорю, воровка она!

— Замолчи, Трошина! — оборвала старшая.— Придется пройти к директору. Мы составим акт...

Острая боль раскаленной спицей вновь вонзилась в спину. Перед глазами полыхнуло пламя, и бывший старший лейтенант Иваньшина грузно сползла на пол.

Та же больница и тот же врач, те же резкие и быстрые сестрички, по вечерам, когда уходило начальство, бесконечно долго болтавшие по телефону («А он что?.. А она что?..»). И даже палата оказалась той же, только сама Антонина Федоровна стала иной. Заговорила, правда, уже на второй день, а вот ноги и ощущались чужими, и стали чужими, словно она утратила не только силу, но и власть над ними.

— Быстро вы к нам вернулись,— вздохнул заведующий отделением.

Он был не просто заведующим и даже не просто хорошим специалистом: он был фронтовиком, и Иваньшина испытывала к нему безграничное доверие. Вероятно, это и сыграло решающую роль в том, первом случае, но теперь одной ее веры было уже недостаточно. Доктор наблюдал, хмурился, советовался, устроил консилиум, а после него вызвал Олега Беякова.

— Лекарство сможете достать?

— Если оно в природе водится.

— Водится, только не в нашей, к сожалению, и официальный рецепт на него я выписывать не имею права. А неофициальный — вот он.

— К этому неофициальному хорошо бы официальное письмо,— сказал Олег.— Так, на всякий пожарный.

— На чье имя?

— В Комитет ветеранов. Уж если они не помогут...

— Тогда и руки по швам? — сердито спросил врач, принимаясь писать официальное письмо.

— Тогда в другой комитет напишем,— улыбнулся Беляков.

С официальным письмом и неофициальным рецептом Олег отправился сам. Упросил в лаборатории, где работал, дать ему три дня в счет донорских и уже на следующий день вылетел в Москву. А через два дня явился с лекарством на полный курс лечения.

— Как это вам удалось? — ахнул невропатолог.

— Нет проблем, доктор, есть лишь разные пути к их разрешению.

— И все же? — допытывался доктор.— В два дня вы совершили невозможное.

— И в два часа,— уточнил Олег.— Знаете Вельяминова Валентина Георгиевича? Ну членкора, лауреата, депутата...

— Биолога? Знаю, труды его читал.

— Так вот, я с самолета — прямо к нему. Главное было дома его застать, а остальное — семечки, как говорится.

— Вы же с того света ее вытащили,— патетически воскликнул врач.— С того света!

— Сочтемся.

Сочлись для всех незаметно и неожиданно. Узнав от доктора, кому обязана спасением, Антонина Федоровна не смогла сдержать слез.

«А имя у тебя все равно девчоночье, академик...»

— Ладно, тетя Тоня, кончай реветь,— сердито сказал Олег.

— Не буду, Олег, не буду,— прошептала она, поспешно вытирая слезы.— Как он выглядит-то? Толстый? Очень постарел?

Он впервые назвал ее тетей, впервые обратился на «ты», впервые позволил себе командные нотки, а Иваньшина вроде бы и не заметила ничего. То ли ослабела, то ли думала о военкоматовском подвале, то ли отношения их, вызрев, естественно, сами собой должны были перейти в иное качество.

Швейцарское лекарство, которое с помощью бывшего лейтенанта Вельяминова раздобыл и привез Олег, почти поставило Антонину Федоровну на ноги. Почти потому, что она вновь обрела власть над ними, хоть, правда, и весьма ограниченную, а вот силу обрести ей так и не удалось.

Колени дрожали и подгибались, и Иваньшина ходила теперь только с костылями. И, несмотря на то что врач всячески обнадеживал ее, она точно знала, что от костылей ей уже не избавиться. Это было страшно, и все же в панику бывший командир стрелковой роты не ударилась: если ее спаситель Олег Беляков исповедовал убеждение, что проблем нет, а есть лишь различные пути их разрешения, то она до сей поры свято веровала во фронтовую заповедь: никогда не сдаваться. В конце концов есть соседи, есть тылы, есть резервы, есть командир, у которого на крайний случай можно попросить поддержки огнем, если уж совсем станет немого. Под поддержкой огнем с некоторого времени она стала понимать аккуратно вычищенный «вальтер» с полной заряженной и запасной обоймами, с тремя десятками патронов россыпью, которые хранились в верхнем ящике комода под старыми газетами, письмами и фотографиями. К его последней помощи она всегда могла прибегнуть, если дойдет до точки, если откажут ноги и перестанет слушаться язык, потому что и у нее, как и у Олега, тоже никого из родственников на этом свете не числилось. И поэтому Антонина Федоровна, приняв свое полупарализованное тело как данность и волей подавив отчаяние, сосредоточила все свои силы на трех вопросах.

Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей, о которой никто ничего так и не узнал, потому что она никому ничего не сказала. Вначале, когда язык еще с огромным трудом шевелился во рту, Антонина Федоровна много и всегда с острой и горькой обидой думала о чудовищном позоре, который обрушила на нее бывшая ученица. В тот период Иваньшина непременно добилась бы строгого наказания продавщицы Трошиной, но язык тогда не подчинялся ей, и гнев постепенно утихал. Память, к счастью, у нее не пострадала, и старательно вороша сейчас ту давнюю историю с исключением девочки, Антонина Федоровна начала допускать и вероятность собственной ошибки. Она отчетливо помнила, как рыдала в кабинете Трошина, как уверяла всех, что хотела только подшутить над подругами, попугать их; как ей все не верили, хотя, в сущности, это объяснение было правдоподобным. Да, девочка вполне могла позволить себе идиотскую шутку, розыгрыш своих одноклассниц, но эту версию никто тогда не пожелал рассматривать, и директриса в первую очередь. И прибегла к самому простому для нее и самому жестокому для девочки решению: исключить из школы за аморальное поведение. Вывод был скоропалительным, суд, скорее всего, неправым, а неправый суд рождает жажду возмездия.

И после долгих колебаний и размышлений Антонина Федоровна признала за Трошиной право на мщение, и этот вывод, как ни странно, не просто успокоил, а и умиротворил ее; с гневом, обидами да и вообще с неприятными воспоминаниями о той нелепой сцене в универмаге было покончено раз и навсегда, и никто никогда об этом так и не узнал.

Удивительное дело: признание собственной неправоты и тем самым, так сказать, отпущение греха той, которая спровоцировала второй приступ тяжелейшей ее болезни, породило в душе ее стойкое, тихое, равносильное почти праздничному настроение. Она представила, что могло случиться, добейся она сурового наказания продавщицы, и честно призналась самой себе, что то злорадное и быстротечное торжество, которое, вероятно, она испытала бы при этом, было бы в результате ущербным, как яблоко с жирным белым червяком в сердцевине. Теперь она думала о том, что гнев не дает и не может давать радости, ибо он обладает не созидательной, а лишь разрушительной энергией, — вот к каким мыслям пришла Иваньшина в конце концов, и мысли эти согрели и утешили ее, и к обдумыванию второго насущного вопроса она подошла с хорошим запасом спокойствия и готовности творить справедливость.

Этим вторым вопросом было ее собственное будущее. Да, она вполне могла бы продолжать руководить школой, где ее знали столько лет, где ее уважали, в меру побаивались и слушались, — разве что пришлось бы перенести директорский кабинет на первый этаж. Да, ее непременно оставили бы на этой должности, учитывая авторитет и опыт, фронтовые заслуги и тяжкие их последствия. Оставили бы по первой же ее просьбе, а то и без всякой просьбы, но непременно после паузы, ожидая, что у нее самой хватит пороку отказаться от всех своих должностей и преимуществ. И она может понять эту паузу и почувствовать ее, а может и не понять, и тогда все останется как было, и... Но ведь будет же, непременно будет эта пауза, это ожидание, эта невысказанная вера в ее добросовестность, мужество и сознательность. Директор школы, прикованный к собственному руководящему креслу? Красиво для заметки к 8 Марта и неудобно, чудовищно неудобно по существу. Неудобно педагогам, которые невольно начнут жалеть, а жалея, недоговаривать, скрывать неприятности, утаивать чрезвычайные происшествия и, оберегая ее, решать главное за ее спиной. Неудобно инспектирующим и контролирующим, вынужденным — даже невольно! — считаться с ее инвалидностью, которая всегда будет свое-

образной индульгенцией во всех ее деловых отношениях. И, наконец, самое главное: неудобно будет здоровым, веселым, буйным, шумным, озорным детям, которым непременно самым образом станут делать массу замечаний, ссылаясь на ее тяжелое положение. Вот сколько неудобств создаст она, решив изображать из себя героиню, этакого Маресьева на трудовом фронте: нечестно, недостойно и глубоко эгоистично в сути своей. Нет незаменимых работников, это легенда, и при всех прочих равных условиях всегда более ценен работник здоровый. Вовремя сойти с лыжни, чтоб не тормозить тех, у кого больше сил, умения, мастерства, возможностей, — это и есть элементарное соблюдение неписаных законов общежития. Это нормально, честно и достойно: уступить место завтрашнему дню. Да и пенсия для нее ведь не безделье: областное издательство и обком комсомола дважды просили написать воспоминания. Вот это действительно сделать надо, ее почти исключительный уникальный опыт должен быть сохранен для сегодняшних и завтрашних девочек. Невест. Невест?.. А она никогда не была невестой, но об этом — после, потом: Об этом потом: главное — заявление об освобождении от занимаемой должности, а затем невеселое оформление пенсии по инвалидности.

Ну, и последнее: письмо Вале насчет дочери. Чтобы не присылала, так как рассчитывать на помощь Антонины Федоровны Иваньшиной более не приходится.

— Долго думала, тетя Тоня? — Олег окончательно перешел на «ты», что Иваньшиной, честно говоря, нравилось. — Значит, отказываешь девчонке в возможности учиться в областном вузе?

— Почему отказываю? Пусть учится, только живет в общежитии.

— А ты будешь на костылях ее от института до общежития по вечерам провожать. Так или не так?

— Ну, а если она у меня жить будет, так и вечера отменят?

— Спокойно, тетя Тоня, спокойно. Во-первых, ни к чему девчонке излишняя опека, а во-вторых, если она где и застрянет, так ее Алка приведет. Или я.

— Понимаешь, Олег, я ведь инвалид. Глубокий инвалид.

— Ты — пример. Всем пример, живой пример перед глазами! И ей это — позарез, и она тебе — позарез. Вот и пиши письмо, чтоб ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона.

Разговор этот случился весной, когда девчонка Тонечка, ни о чем не ведая, еще училась в 10-м классе, еще только

готовилась к выпускным экзаменам, и об институте, кажется, мечтала больше мама Валя. Но Олег умел добиваться чего хотел, и Антонина Федоровна тогда же написала ей письмо, в котором хоть и сообщала о болезни и намерении уйти на пенсию, но от девочки не отказывалась. Лыкова (ныне Прохорова) тут же ответила, а вскоре и сама причалась проведать, и участь Тони-младшей была при этом окончательно решена.

Перед отъездом Валя с глазу на глаз потолковала с Аллой. Естественно, о дочери.

— Поможем, вы не беспокойтесь, — сказала всегда спокойная, основательная Алла. — Все будет нормально, а тете Тоне, учтите, о девочке заботу проявить — главное лекарство.

Олег дежурил в добровольной народной дружине, в квартире никого не было, и женщины уютно пили на кухне чай, обсуждая будущую Тонечкину жизнь. Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомств и точное указание, где, когда и с кем можно встречаться, уже оговорены на все пять лет учения. Вообще Тонечка старалась никого никогда не огорчать, но в пединститут куда больше стремилась мама, чем дочь, а если о чем Тонечка и мечтала, так это о том, чтобы как можно скорее улизнуть от папы с мамой.

Основательно продумав все, Антонина Федоровна начала решать свои проблемы и первым делом заручилась согласием на приезд Валечкиной Тонечки. Вторым вопросом, откуда ни считай, шли всякого рода бумажные дела, и очень скоро директриса Иванышина написала в горнозавявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Заявление отвозил Олег: он передал его, минуя бюрократическую иерархию. Антонина Федоровна ожидала ответ недели через две, если не через три, но уже через пять дней в палату заглянул лечащий врач:

— К вам, Антонина Федоровна. Посетители.

В голосе было что-то странное, но Иванышина не успела об этом подумать. Доктор исчез, дверь открылась, и вошли двое немолодых и весьма солидных мужчин с пакетами. Одного Антонина Федоровна знала по совместной работе, но второй...

— Товарищ военком?..

— Был, — сказал отставной полковник, не зная, куда девать пакет с апельсинами. — Был военкомыч, стал горкомыч. Ты что это, старший лейтенант, дезертируешь с фронта?

— Да, ставишь ты нас, понимаешь, в положение, —



вздыхнул завгороно, по-мужски неуютно и бестолково прижимая к груди собственный пакет, похожий на пакет полковника как две капли воды.— Не посоветовалась, понимаешь, не поговорила. Может, сперва путеочку тебе организовать, чтоб подлечилась, окрепла, дурные мысли чтоб из головы выбросила?

Не продумай Иваньшина свое решение досконально, не покантуй с грани на грань, не взвесь все «за» и «против», не поспорь сама с собою несколько бессонных ночей — уговорили бы они ее. Она ведь не командовать мужиками всю жизнь мечтала, а подчиняться им, и всегда была готова склонить голову перед волей и тут бы не выдержала. А сейчас только улыбалась, вытирала тайком слезинки (ослабела настолько, что уж с благодарности, от умиления нюни разводит!) и твердо знала, что права она, а не они. И спокойно, толково начала объяснять... Но тут Олег вошел, пришлось прерваться.

— Чего тебе?

— Здравствуйте, товарищи. Прости, тетя Тоня.

Убрался. Да еще подмигнул ей при выходе: мол, не унывай, соседка! И Антонина Федоровна с еще большим подъемом закончила свои объяснения.

— Резон,— нахмурившись, сказал бывший военком.— Совежливая ты баба, Иваньшина Тоня. Всем бы такими быть.

А заведующий гороно только сокрушенно вздохнул. Молча пожал руку, кивнул ободряюще. И отставной полковник добавил:

— Наша ты, поняла? Пенсионерка там или нет — все равно наша. С ответственностью говорю.

В коридоре посетителей ждал Олег. Вежливо проводил до машины, тихо переговорил и чуть не бегом вернулся в палату.

— Пиши заявление на телефон, тетя Тоня. Есть полная договоренность.

— А я тебя просила? Неужели ты не понимаешь, что мне ничего не нужно? Ничего. Не за то я на фронт пошла, чтобы квартиры да телефоны вне очереди...

И примолкла, вдруг расслышав собою же сказанное: «квартиры». Расслышав и вспомнив, что в победном горьком, веселом и нищем сорок пятом, когда тысячи вдов и сирот ютились по подвалам и временкам в невыносимой тесноте, сырости и мраке, не отказалась ведь от предложенной старым военкомом помощи, вырвала у городских властей отдельную комнату. Не постеснялась ведь, орденами брякая, мимо бесконечных, тихих, покорных очередей на

прием прийти за ордером. Думала она тогда об одиноких матерях, о вдовах, о детишках в трущобах? Нет, не думала. О себе думала она тогда да о лейтенанте Валентине Вельяминове. А сейчас поумнела, о других начала думать, а того и до сей поры не сообразила, что и Олег и Алла еще не умеют ни о ком, кроме себя, страдать да заботиться. Кроме себя и ее. А может, и о ней заботятся тоже только ради себя? Ну и что же тут крамольного? Они гнездо строят, им жить и дольше и дальше, и, значит, все правильно.

— А если ночью доктор потребуется, что делать прикажешь? Бегать по улицам да исправный телефон-автомат искать?

— Твоя правда, Олег.

Вот так и разрешились все проблемы Иваньшиной: прощением продавщицы Трошиной, девочкой Тонечкой и уходом на пенсию, так сказать, с обменом на домашний телефон. Его и впрямь поставили очень быстро — Олег сам добывал все резолюции, сам просил, сам грозил и сам телефонистам помогал, — и к возвращению Антонины Федоровны ее ждало два аппарата: один — в собственной комнате, другой — в коридоре на тумбочке.

— А почему в свою комнату не провели?

— Нам, тетя Тоня, не положено.

— Глупости какие!

Иваньшина сердилась для виду, потому что была очень довольна, увидев второй телефонный аппарат на общей территории. В этом для нее заключалось нечто большее, чем подчеркнутое отсутствие претензий: надежность. Надежность этих людей прочла она в столь простом и столь очевидном поступке.

— Значит, из дома без нас ни шагу. Продукты Алка будет доставлять, а гулять нам с вами, тетя Тоня, придется по вечерам. И чтоб телефон всегда под рукой, когда мы на работе.

Режим был задан веселым соседом, умевшим добиваться своего. А распорядок дня складывался в зависимости от занятости Олега и Аллы, поскольку существовала не только их работа, но и дополнительные затраты времени на различного рода дежурства, собрания, заседания, магазины, знакомых, редкие развлечения вроде общих культпоходов у Аллы или еще более редких посещений пивбара у Олега. Но что бы ни было у каждого в отдельности или у двоих вместе, Алла никогда не забывала о молоке, твороге и кефире для тети Тони, и Олег, когда бы ни возвращался, непременно выкраивал часок, чтобы погулять с нею по

тихому вечернему переулку, куда выходил торец их деревянного дома. При этом соседи всегда были веселы и добродушны и с нею и друг с другом, и Антонина Федоровна благодарила судьбу за свое удивительное везение.

— Если по среднему арифметическому, то нам двоим денег хватает.— Олег любил поговорить, сопровождая Иваньшину на ежевечерних прогулках.— Запросы у нас скромные, к хрусталам мы не приучены.

— А зачем кровь часто сдаешь?

— Для отпуска, тетя Тоня. Они мне три дня к отпуску за каждую банку плюсуют, а я туризм люблю. Костерок, палатка, лес шумит — свобода!

Что-то он говорил еще, а Антонина Федоровна вдруг припомнила, что ее соседи никогда не брали отпусков вместе. Ни разу. И даже остановилась.

— А Алка палаток с кострами не любит?

— Почему не любит? Еще как любит...— Олег спохватился, помолчал, засмеялся.— Главное в отдыхе — свобода, тетя Тоня, понимаешь? И поэтому мы берем отпуска в разное время...

— А вот врать не надо.— Она вздохнула.— Я, дура, только сейчас сообразила, что вы меня ни разу одну не оставляли. Ни разу за все время нашей общей жизни.

И зашагала вперед, резко вынося тело и со стуком переставляя костыли. Олег прибавил шагу, помолчал, вздохнул:

— Хуже будет, когда ребенка заведем.

— Хуже?

— Труднее,— поправился он.— И в смысле туризма, и в смысле денег. Но я, тетя Тоня, знаешь во что верю? В собственные руки. Хорошие у меня руки, не хвалюсь, скажу. В смысле там техники, электроники, всяких тонкостей. Я ведь в техникум электронной промышленности исключительно по доброй воле пошел. Исключительно сам выбрал, хоть и конкурс там был, как в киноактеры. Но я угадал с призванием, и конкурс мне был — тьфу, одно удовольствие. Технарь я, тетя Тоня. Вполне современный технарь с электронным уклоном. И знаешь, чем думаю заняться? Реставрацией телевизоров, поняла? Не ремонтом — ремонт и служба быта делает, а реставрацией, или, чтоб ясно было, так восстановлением абсолютных гробов.

— Что-то ты плоховато мысль излагаешь, Олег. Может, специально темнишь, а?

— А чего темнить, когда дело чистое. В комиссии старый телевизор стоит два, от силы — пять червонцев. Я его законно покупаю, довожу до ума и четкой видимости

и — снова в продажу. Только теперь уж не за три червонца, а за две сотенных. Законно?

— А где же ты возьмешь детали?

— А руки на что? — Он улыбнулся. — Все предусмотрено, тетя Тоня, сальдо-бульдо в нашу пользу — и никакого тебе мошенства!

Антонине Федоровне было трудно спорить с Олегом. Точнее, даже не спорить, а разговаривать на равных. И причиной тому являлась его всегда чуть ироничная, но добрая и какая-то замедленная, что ли, улыбка. Он не просто улыбался, он словно расцветал неторопливо, сам удивляясь, что улыбается и расцветает. И спорить с такой улыбкой не было никаких возможностей; Иваньшина знала, что это бесполезно, а потому, как правило, и не пыталась. Но никогда и никому — даже себе самой! — не признавалась в истинной причине своего соглашательского поведения. А порою вдруг что-то срабатывало в ней, что-то принципиально обратное тому тайному, и тогда она начинала спорить решительно и нелогично, и, хотя при этом предпочитала смотреть в пол, переубедить ее не удалось бы никому на свете. Олег слишком хорошо изучил ее: наткнувшись на подобную преграду, тут же менял разговор и к теме, вызывавшей резкое неприятие, более не возвращался.

— Тебе бы машину, тетя Тоня. Села за руль — и на природе.

— А я и так вон гуляю.

— Это в городской-то пылище?

И опять Иваньшина растерянно примолкла, потому что сочетание абсолютно серьезного тона с медленно «расцветающей», как определяла про себя Антонина Федоровна, улыбкой сбивало с толку. Порой ей казалось, что Олег как бы проверяет ее на нравственную стойкость, искушая соблазнами и чуточку подсмеиваясь при этом. Как бы там ни было, а их споры никогда, ни разу еще не доходили до выяснения принципиальных позиций: уловив металл в ее тоне, Беляков немедленно отступал, стараясь отделаться шуточкой, но Иваньшина ощущала некоторую досаду, поскольку никак не могла понять своего молодого соседа.

С Аллой было куда легче. Неторопливо и обстоятельно обсуждали хозяйские дела, смотрели — если получалось со временем — любимую кинопанораму с Эльдаром Рязановым, вязали, шили, чинили. Алла была мягкой, уютной и покладистой; с нею становилось покойно, мир суживался до размеров кухоньки, а все его тревоги, страсти и трагедии оставались где-то за бревенчатыми стенами их двухэтаж-

ного двухподъездного двенадцатиквартирного дома в тихом, словно забытом городом и строителями переулке почти в самом центре. С нею Иваньшина приятно ощущала себя хозяйкой, отдыхала душой, но с Олегом все равно было интереснее, и тянуло ее к нему, наверное, только поэтому.

— Завтра к тебе, тетя Тоня, из издательства рыжая придет. Крашенная, что ли, не разобрался.

— Какое еще издательство, Олег?

— Областное. Ты же как-то сказала, что хочешь книжку о себе написать. Вот и пиши теперь.

Он вернулся с работы, Алла еще не пришла, и Антонина Федоровна кормила его на кухне. Подавала и убирала, а когда нечего было ни подавать, ни убирать, садилась напротив и с удовольствием смотрела, как неторопливо и с аппетитом он ест. И становилось на редкость тихо и радостно. И вдруг — издательство, какая-то рыжая, какая-то книжка.

— Никакой книжки я писать не буду.

— Понимаю. А еще понимаю, что для этого дела договор нужен. Взаимные обязательства, сроки и аванс.

— Аванс?

— Точно. Я у главного редактора был, все оговорено, команда спущена. Завтра жди рыжую редакторшу. Ольгой ее зовут.

Он не давал ей ни опомниться, ни озаботиться, ни запечалиться, ни уйти в себя. Он отлично понимал, что бывший командир стрелковой роты старший лейтенант Иваньшина может жить в борьбе, в деле, в сражении, а не станет всего этого — вспомнит, что глубокий она инвалид, что жизнь прожита, что счастья нет и не будет и — все. Кончится боевая, деятельная, живая тетя Тоня, и возникнет кислая, старая, занудная развалина-соседка. Старуха, уныло считающая рублевки персональной пенсии и дни до смерти. И Антонина Федоровна слушалась его не только из-за медленной его улыбки, но главным образом в благодарность за то, с какой неукротимой выдумкой и энергией он дрался за нее.

— Ох, не смогу я.

— Сможешь.

И Иваньшина сразу перестала тревожиться: действительно, а почему это она не сможет? Мужиков на пулеметы поднимать могла, а написать об этом — кишка тонка? Не правда, напишем все, как оно было: другие ведь пишут.

Вообще-то о том, чтобы написать небольшую книжку, она думала часто, потому что, кроме желания поделиться своими размышлениями, опытом воспитания и собственной

жизнью, имела и некоторый навык, так сказать, пробу пера. В ее активе числилось пять работ: две статьи в «Учительской газете» по вопросам профессиональным и три очерка — в областной. После этих трех очерков, а по сути, отрывков из будущих воспоминаний, к ней и обратилось с предложением издательство, поддержанное обкомом комсомола. Но Антонина Федоровна все медлила, все раскачивалась, все никак не могла решиться. Ей нужен был толчок извне; Олег и в этом случае все понял и все организовал.

Через день действительно явилась молодая, слегка подкрашенная блондинка. Оговорив с Антониной Федоровной круг вопросов, которые желательно было отразить в будущих воспоминаниях, рыжая помогла составить нечто вроде творческой заявки, а вскоре привезла договор, подписанный директором издательства. Согласно этому документу гражданка Иваньшина, именуемая в дальнейшем «АВТОР», обязана была через год представить издательству рукопись объемом в восемь авторских листов, то есть, как пояснила рыжая, в двести страниц машинописного текста.

— Ой, Олег, втравил ты меня!

— Ерунда, тетя Тоня. Подумаешь, авторские листы! Это же все равно что двести писем написать. Двести писем в год: неужели не напишешь?

Антонина Федоровна успокоилась после такого разъяснения, но через полтора месяца ей переслали аванс. Сумма показалась значительной, Иваньшина занервничала, собралась было отослать деньги назад, но тут случилась Алла, с которой захотелось посоветоваться, и спокойная, рассудительная, этакая «девочка с поволокой» как-то очень просто убедила ее, что все будет отлично, а деньги отсылать — значит тех обидеть, кто авансом доверяет. Такой аргумент не приходил Иваньшиной в голову; она с облегчением расмеялась, и неудобство развеялось само собой. Но возникло в иной форме, когда Антонина Федоровна принесла всю полученную сумму на кухню и положила на стол.

— Это вам.

— Еще чего! — закричала Алла. — Это что же такое? Это же как тебе не совестно, тетя Тоня?

— Хорошо, — неожиданно сказал Олег.

Сгрел деньги со стола, сунул в карман, и Иваньшиной сразу стало не по себе. Нет, она, конечно, не жалела денег — она вообще никогда ничего не жалела, — но ей хотелось, чтобы соседи отказывались, отнекивались, сердились бы даже, а она бы их уговаривала. Тогда все выглядело бы вполне достойно, прошло бы по каким-то «правилам»,

что ли, а он вместо этого сунул деньги в карман, даже не сосчитав.

— Вот и отлично,— с деланным оживлением сказала она.— Вам они куда нужнее.

— Отдай сейчас же,— сквозь зубы процедила Алла.

— И не подумаю.

— Я сказала, верни деньги.

— И не подумаю! — весело повторил Олег.— Коли тетя Тоня дает, значит, о чем-то думает. Так или не так?

— Конечно, думаю,— согласилась она, но ей почему-то стало вдруг совестно.

— Стыдно, стыдно! — громко крикнула Алла, стукнула по столу бутылкой кефира, заплакала и убежала к себе.

— Не расстраивайся, тетя Тоня,— тихо сказал Олег.— Ребеночка она ждет, вот какое дело.

— Ребеночка? — радостно ахнула Антонина Федоровна, а у самой отчего-то так сжало сердце, что пришлось сесть.

Но Олег не заметил и не ответил, а ушел вслед за женой. Утешать, наверно. А на другой день, воротясь с работы, протянул Иваньшиной новенькую сберкнижку.

— Держи свои капиталы, тетя Тоня. И нечего переживаниями заниматься. Работать пора, а то аванс назад требуют.

Через неделю он принес три пачки бумаги и целый набор шариковых ручек, но Иваньшина все никак не могла тронуться с места. Каждое утро, проводив соседей на работу, садилась к столу, клала перед собою лист и застывала над ним, не в силах вывести первую фразу. Именно первую: дальше она ясно представляла, о чем будет писать.

Звонок в дверь застал ее в разгар бессмысленного отчаяния над чистым листом. Пока она поднималась, пока брала костыли, пока тащилась к входным дверям, звонок брякнул еще раз. Коротко и очень неуверенно.

— Иду, иду,— сердито проворчала она.

Распахнула дверь и обмерла: перед нею, держа в руках цветы и меховую шапку, стоял седой, с заметной лысинкой, солидный, но вполне еще стройный мужчина.

— Здравствуйте, старший лейтенант Тонечка.

А у нее запрыгали губы — слова выговорить не могла. И слабость такая вдруг изнутри прорвалась — если бы не костыли, рухнула бы старший лейтенант Тонечка. Но посетитель догадался, шагнул через порог, подхватил.

— Спасибо, Валентин. Я сама дойду, спасибо.

— Я здесь в командировке,— зачем-то начал объяснять он.— За один день управился и вот решил...

Кажется, Вельяминов волновался больше, чем она. Го-

ворил что-то еще, столь же необязательное: Антонина Федоровна не слушала. Припелась в комнату, рухнула на стул. Вельяминов сел напротив, тут же перестав бормотать. И так они сидели долго, улыбались друг другу и молчали.

— Извините,— наконец тихо, с трудом сказала она.— Это так неожиданно. Сколько же лет прошло?

— Должно быть, немало, если старший лейтенант Иванышина обращается к лейтенанту Вельяминову только на «вы».

Они говорили весь день. О чем? Обо всем и ни о чем, как всегда говорят давно не встречавшиеся друзья. О своей молодости, о подвале военкомата, о бесконечных спорах и ссорах, о холоде и голоде победного сорок пятого, о неповторимости судеб поколений.

Вельяминов ушел поздно, а утром вылетал в Москву. Олег пошел его провожать, Антонина Федоровна вернулась в комнату из прихожей, села за стол и, продолжая улыбаться и смахивать слезы, взяла ручку и вывела первую фразу: *«Сегодня утром вдруг раздался звонок, и ко мне прямо из юности шагнул лейтенант Валентин Вельяминов...»*

Потом она изменила первые фразы, но начала именно так и именно тогда. Начала с улыбкой и слезами, потому что к ней в комнату и вправду шагнула в тот день ее молодость, счастье и отчаяние: ее последняя любовь.

Антонина Федоровна писала натушно и медленно, трудно цепляя слово за слово и часто теряя мысль. Порою ее охватывало бессильное отчаяние, она бросала работу, но вечером появлялся Олег и безошибочно определял:

— Что, тетя Тоня, опять «караул» кричишь?

— Ты все смеешься, все зубоскалишь, а у меня ничего не выйдет. Ничего. Я неспособная.

— Понимаю: муки творчества. Понимаю и уважаю. Но скажи честно: может человек в день написать страницу? Даже самый неспособный?

— Допустим...

— А от тебя требуется... сколько у нас осталось? Сто восемьдесят три? А до срока триста двенадцать дней. Есть вопросы?

После такого урока арифметики вопросов не возникало. Поворчав, Иванышина успокаивалась и опять с утра усаживалась за стол. Писала, вычеркивала, исправляла, добавляла, рвала страницу, но дело медленно продвигалось. А как-то открылась дверь, и вошла светленькая, довольно рослая девушка с волосами до плеч, стареньким рюкзаком и новеньким чеходаном.



— Здравствуйте, это я.

— Тонечка? — заулыбалась Иваньшина.— Ну я тебя где угодно бы узнала: вылитая мама!

Стали жить вчетвером, уже реально, тревожно и нетерпеливо ожидая пятого. Как все нерожавшие женщины, Иваньшина любила давать советы беременным, точно знала, как им полагается себя вести, и строго блюла их режим. Возможно, это было бы тягостно, но Алла искренне любила свою тетю Тоню, тетя Тоня любила свою Аллу и ворчала на нее с таким открытым беспокойством, тревогой и озабоченностью, что Алла все ей прощала, хотя порою — когда не было Олега — и выдавала капризы.

— Боюсь! Первого рожать не боялась, а второго боюсь.

— Не бойся, это все естественно,— важно говорила Иваньшина.— Ты для этого на свет родилась.

А так все шло своим чередом. Алла хрустела солеными огурчиками, Антонина Федоровна писала и рвала, рвала и писала, Олег где-то раздобывал старые телевизоры, перебирал, перепайвал и регулировал их, допоздна засиживаясь на кухне, а Тонечка, которую все сразу же окрестили Маленькой, усердно готовилась к экзаменам. Она выглядела тихой и послушной, но Иваньшина, сразу же оценив ее крепкую фигурку, озабоченно хмурилась, по себе зная, какие могучие силы бушуют сейчас во вчерашней десятикласснице. И даже поделилась своим беспокойством с Аллой.

— Я так скажу, что если у нее был парень, то нечего нам волноваться. А вот если не было никого, тогда хуже. Тогда, тетя Тоня, голова у нее не на месте.

Но пока Тонечка Маленькая корпела над учебниками, вовремя являлась домой и ни о чем, кажется, не думала, кроме института. Но Антонина Федоровна беспокоилась не за сегодняшнее ее состояние, а за завтрашнее поведение, считала дни, какие остались до экзаменов, и писала еще медленнее. Больше рвала, чем писала, хотя стопочка отпечатанных листочков росла и росла. И Иваньшина любила взвешивать эту стопочку на ладони.

Но все кончается, кончилось и нетерпеливое ожидание. Тонечка Маленькая весело и отчаянно ревела от счастья, Олег купил торт, Алла подарила новой студентке колечко, а Антонина — фирменные джинсы, которые лишь финансировала, а доставал Олег. На джинсах настояли соседи, а сама Иваньшина поначалу была решительно против. Но ее уговорили, и правильно сделали, поскольку вопль Тонечки Маленькой был столь восторженным, что все засмеялись.

— Штатские! Товарищи! Настоящие! Штатские!

— А ты думала, военные тебе подарим? — улыбнулась старший лейтенант Иваньшина.

— Ой, тетя Тонечка, ничего-то вы не понимаете!

Свежеиспеченная студентка чмокнула Аллу, поцеловала Иваньшину, церемонно пожала руку Олегу и умчалась примерять подарок. Все еще улыбались, когда вошла чрезвычайно довольная и гордая студентка.

— Как влитая!

— Аж к телу прилипли, — шепнула Алла Антонине Федоровне. — Хороша девочка. И знает ведь, чертовка, что хороша!

— Ох!.. — вздохнула бывший командир роты. — До чего же с мужиками и проще и легче.

Но опасения ее (по крайней мере, поначалу) оказались преждевременными. Тонечка осталась маленькой и в институте: вовремя возвращалась домой, дружила с тихими и аккуратными девочками, всегда говорила, куда идет и когда вернется. Даже Алла, в то время уже с напряженной осторожностью носившая живот, сказала:

— Уж такая наша Тонька скромница, аж жуть.

— Почему жуть?

— В тихом омуте, тетя Тоня...

— Брось! — резко оборвала Иваньшина. — Знаю, тяжело тебе сейчас, но потерпи. А злой становиться — последнее дело.

— Я не злая, — вздохнула Алла. — Я вас люблю, тетя Тоня.

Что скрывалось за этой фразой, она не стала уточнять, а Иваньшина не стала допытываться, но почему-то заплакала. Она очень боялась за Аллу, хотя врачи утверждали, что все развивается нормально, и плакала сейчас от этого страха и еще — от жалости: ее разбитое, непослушное, будто чужое тело невольно заставляло все время думать, что роды — смертельно опасный акт.

А они прошли легко и быстро: Алла вскрикнула в одиннадцать — только телевизор на кухне выключили, а родила через полтора часа.

— Шустрый мальчонка! — улыбался Олег. — Без задержки, понимаешь, на свободу рванул!

Вопреки обыкновению, он в ту ночь пил цинандали в одиночестве. Обе Тони — Большая и Маленькая — хлопотали вокруг, кормили, угощали, подкладывали. А он мотал счастливой головой и улыбался:

— За сына — выпил, за маму — выпил, а за тебя, тетя Тоня? А за тебя, Маленькая? А за всех нас? За наш мир,

за наш дом, за нашу семью и за нашу кухню, где так вкусно кормят кадровых детдомовцев!

Вскоре счастливый папа привез Аллу с младенцем, и начались обычные неприятности. То у Аллы пропало молоко, то у малыша заболел животик, то с трудом резались зубки, то еще что-то. И все ходили невыспавшиеся и очень довольные.

Маленький Валерий Олегович уже начал бродить по кровати, цепко держась за перильца, когда названная бабка его навсегда утратила способность стоять на собственных ногах: они больше не слушались ее, не держали, подламывались, будто стали чужими. До этого она хоть как-то передвигалась, опираясь на две палки попеременно и раскачиваясь всем телом; на жестком стуле ей сидеть стало трудно (очень уж начинала ныть поясница, прямо как застуженный зуб), и Олег купил в комиссионке кресло: старое, пухлое и очень уютное. Она любила сидеть в нем: работала над книгой не столько о себе, сколько о погибших друзьях, читала, вязала и ждала Тонечку Маленькую. А Тонечка ранней весной не вернулась из института.

— Тетя Тонечка, я позже приду сегодня! Я у подружки заниматься буду!

Прокричала две фразы в телефон и повесила трубку, чтобы никто ни о чем не спросил. И исчезла до утра.

— Тетя Тонечка, доброе утро, я в институт побежала! Ты не сердись, я у Наташки ночевала, а у нее телефона нет!

Опять ровно две фразы, и опять — отбой, чтобы ничего не объяснять. И действительно побежала на лекции, а Антонина Федоровна, всю ночь просидевшая в кресле рядом с молчавшим телефоном, хотела встать — и не смогла.

— К несчастью, это необратимо, — тихо сказал Алле врач. — Предупреждали ведь, чтобы никаких волнений...

Взбешенная Алла надавала Тонечке Маленькой по щекам. Тонечка ревела и умоляла простить ее, Олег с нею больше не разговаривал, но Антонине Федоровне легче от этого не стало. Студентка искренне убивалась, стремглав мчалась после лекций домой, ухаживала, как могла и умела, и все время проклинала себя за эксперимент, сознаться в котором, правда, так и не решилась.

А эксперимент заключался в том, что Тонечка вместе с двумя подружками поехала на дачу к одному из старшекурсников. Там была музыка, свечи, вино, камин, трое интересных молодых людей, умные разговоры и в конце концов — постель. Правда, Тонечка легла одетой (только платье сняла, чтобы не мялось) и выдержала характер,

измучив и себя и соседа. Она впервые проводила ночь с мужчиной, которому ничего не позволила, и ей было так прекрасно и так страшно, что она напрочь забыла обо всем на свете. И ведь ничего с «тем» не было, ничего решительно, а расплата оказалась невысказанно жестокой. И Тонечка страдала вдвойне именно потому, что ей не в чем было покаяться.

— Ничего,— старательно улыбалась Антонина Федоровна.— Зато усидчивости прибавится, глядишь, и впрямь книжку закончу.

Она хорохорилась из последних сил: потеря ног тяжело ударила по ней прежде всего потому, что сделала ее совершенно беспомощной. Впервые в жизни она зависела от других людей, причем посторонних, какими бы любящими и прекрасными они ни были. Длинными ночами (господи, она ведь и не догадывалась, насколько же бессонная ночь длиннее дня!), слушая тихое посапывание Тонечки Маленькой, Антонина Федоровна часами глухо рыдала в подушку, несколько раз до отчаяния, до приступа физической боли жалея, что теперь уж навеки лишена возможности подползти к дряхлому комоду, выдвинуть верхний ящик и достать из-под кучи старых писем, газет и документов безотказный, хорошо вычищенный «вальтер». И даже не расслышать выстрела: она слишком долго воевала, чтобы промахнуться в решающий момент. И еще с болью, с горечью, с яростным презрением к себе думала, почему же она не сделала этого раньше, пока еще могла хоть кое-как передвигаться. «Надеялась? На что ты надеялась? Что вылечат? Что ноги заново отрастут? Что кто-то замуж возьмет каракатицу безногую?.. Нет, просто дрейфила ты, Тонька. Сознайся же, что просто боялась, что до последнего предела ждала да выжидала, что чудо высиживала, дерьмо трусливое. Ну вот он, твой предел. Дождалась чуда. А дальше? Что дальше-то? Тимуровцы с батоном под мышкой?..»

Пока Иваньшина не спала ночей, пока терзалась и беззвучно рыдала, привыкая к новому своему положению, Олег тоже ждал. Правда, не по собственной инициативе, а по совету фронтовика-невропатолога, к которому сразу же бросился за помощью.

— Кресло на колесах — не проблема. Проблема, чтобы она на этом кресле в ваше отсутствие к окну не подрулила. Какой у вас этаж? Второй? Ей достаточно.

— А что делать?

— Ждать. Просто не торопить событий: ко всему человек привыкает.

Пока решались эти психологические проблемы, Антони-

на Федоровна решала проблемы свои. Как-то незаметно, исподволь, продолжая еще горько размышлять о собственной беде, Иваньшина начала все чаще думать о Тонечке Маленькой. Она не таила против нее ни малейшей обиды, но, как и в случае с Трошиной, очень хотела уяснить причины, выстроить для самой себя логику девичьего поведения в ту злосчастную ночь. Оказывается, для того чтобы хоть как-то существовать, ей позарез необходимо было оправдать того, кто послужил вольной или невольной причиной ее несчастья. Понять молодых, во что бы то ни стало постичь причинно-следственную цепочку их поступков, шкалу ценностей, этику поведения — вот какую задачу ставила она, без всяких, впрочем, формулировок, потому что и в этом состоянии продолжала ощущать себя командиром и директором, то есть вечно ответственной за чужие грехи.

Естественно, она не поверила ни в какую Наташку не только потому, что имела большой навык школьной работы, а прежде всего потому, что оставалась женщиной и ясно представляла, сколь нуждается в жизненном опыте юная Тонечка Маленькая. В том опыте, который не может передать ни мама, ни семья в целом, ибо его приобретают не с чужих слов, а из собственных действий, из личных побед и поражений, удач и неудач. Обычно это происходит в среде сверстников, но для Тони этот путь оказался практически исключенным, потому что Тонина мама Валя Лыкова (ныне Прохорова) была не просто учительницей, но и классным руководителем в той самой школе и в том самом классе, в котором Тоня росла и развивалась, превращаясь из девочки в девушку, согласно всем законам естества.

Согласно этим законам, Тонечке еще в школе надлежало влюбиться, ревновать, страдать, реветь от счастья и задыхаться от ненависти. Именно там испытываются силы и бессилие, твердость и гибкость, вырабатывается чувство дистанции, мера дозволенности и границы собственной смелости. В школе юность проходит свою первую «школу»; это естественно и закономерно, но как раз-то этой естественности Тонечка и была лишена, поскольку постоянно пребывала на маминых глазах. Закономерность познания оказалась нарушенной, и Тонечке, вполне созревшей и сложившейся к пятнадцати годам, пришлось загонять свою природу внутрь и научиться скрывать, что эта самая природа пенится и бродит в ее душе. Дисгармония росла, Тонечка мечтала не о том, о чем рассказывала маме, и рассказывала не о том, о чем мечтала, не потому, что

стала лживой, а потому, что была вынуждена жить не по естеству, а по законам предлагаемых обстоятельств. «В разведку сбежала,— усмехалась про себя Антонина Федоровна.— Ну что же, девятнадцатый год девочке, и все естественное прекрасно...»

Начав с размышлений о Тонечке, Иваньшина незаметно перешла на думы о молоденьких девушках вообще. Она не разделяла мнения некоторой части своих коллег о якобы присущей нынешней молодежи определенной расхлябанности; она словно смотрела на юных с другой стороны и подмечала прежде всего уровень их развития, чувство собственного достоинства, широкую информированность. «Нынешняя молодежь стала интеллигентнее» — так определила она для себя разницу между военной молодостью и молодостью сегодняшнего дня. И тут же вспомнила, как почему-то нападала на интеллигенцию и как обижался лейтенант Валентин Вельяминов. И сырой подвал, и картошку в мундире, и кусочек сала, сбереженного для него. А он съел и не заметил... Неправда, заметил. Все он замечал, потому что был замечательным. Может быть, замечательным называется человек, который замечает окружающих? Часто ли обычные люди замечают своих попутчиков, соседей, даже сослуживцев? Увы, нечасто, ох как нечасто! Вот почему-то порою и слышишь о современной молодежи: они такие, они сякие, длинные волосы, брюки вместо юбок и прочий вздор. А они, сегодняшние, просто-напросто свободнее нас, вчерашних. Свободнее, раскованнее, естественнее — и это мы им дали свободу. Там, на залитых кровью полях Великой Отечественной. Что сказала на том злосчастном педсовете Трошина, когда ее исключали из школы? «Мы не другие, мы новые, понимаете? Вы старые, а мы новые. Новые!..» Кажется, так? Да, да, именно так: «Мы новые». И это абсолютно верно: они действительно новые. Качественный скачок, оплаченный нашими жертвами. Кровью, болезнями, голодом и холодом всего народа. Вот что следует непременно проследить в книге: рост новых людей, новой поросли нашей страны. А ты о собственном героизме талдычила. К черту, все переделать заново!

Вечером она потребовала бумаги и карандашей: писала, лежа на спине, и шариковые ручки при этом не работали. И писала, писала, писала, забывая о сне и еде.

— Пишет! — с восторгом сообщил Олег доктору.

— А я что говорил? Теперь смело можете предлагать ей кресло на колесах.

Через некоторое время обезножившая Антонина Федоровна получила каталку, дававшую ей хоть какую-то воз-

возможность не только перемещаться, не только хоть как-то обслуживать себя, но и в меру сил помогать их стихийно сложившейся коммуне, когда уже не могла писать от усталости. И возможность эта появилась в то время, когда все мысли о «вальтере» в комодке уже были передуманы, пережиты и отброшены навсегда. Антонина Федоровна Иваньшина, покопавшись, вновь отыскала в себе силы и смысл жить дальше.

— Вот тебе персональная машина, тетя Тоня.

Несмотря на слезы (плаксива стала Иваньшина, что уж тут поделаешь!), на безмерную благодарность, Антонина Федоровна подсознательно запомнила эту фразу. Три дня осваивала кресло, привыкала, приспособлялась, вновь обретая свободу, а фраза сидела где-то в глубинах и вынырнула вдруг. И зазвучала в голове, и уж не отпускала, что бы Иваньшина ни делала и куда бы ни ехала: к Валерику или на кухню, в общую ванную или в свою комнату. Антонина Федоровна мусолила ее и так и этак, вспоминала интонацию, взгляд, с которым произнес ее Олег, и, наконец, как ей показалось, поняла. И когда никого не случилось дома, позвонила бывшему военкому, а ныне крупному работнику горкома партии.

— «Москвич» тебя устроит? — без вопросов спросил он. — Инвалидный, с ручным управлением. Ну все, готовь документы, курьера пришлю.

— Только пусть твой курьер сперва мне позвонит. Не хочу, чтоб соседи до времени знали.

В следующем квартале Антонина Федоровна получила через райсобес инвалидный «Москвич» с ручным управлением. Узнала она об этом днем, упросила прислать нотариуса, и вечером, обмирая от счастья, положила перед Олегом документы на машину и доверенность.

— Катай нас.

А он долго ничего не мог сказать. Разглядывал документы, сопел, ниже обычного склонив голову, а когда поднял ее и впервые улыбнулся, Антонина Федоровна увидела слезы на глазах.

— А может, ты и вправду мама моя, тетя Тоня?

Да, если бы не инвалидная коляска — совсем бы современная идиллия. Нежно и уважительно относясь друг к другу, пять человек жили воистину душа в душу, хотя на все пять душ имели две комнаты со столь крохотной общей площадью, что жить можно было только плечо к плечу, только постоянно ощущая друг друга локтем, помогая друг другу и уважая друг друга. Почти повсеместно изжившее себя братство коммунальных квартир существовало в самом

центре областного города на втором этаже деревянного дома, кое-как отремонтированного саперами в победном сорок пятом. Но сколь бы ни прекрасно рисовалось это коммунальное братство, люди жили в постоянно напряженном поле, ибо келий было всего две на пятерых, а человек нуждается в одиночестве куда больше, чем в компании, даже если компания эта — почти родная семья. Вот почему Олег все чаще и чаще начинал разговоры о переселении, которых Антонина Федоровна не просто избегала, а очень боялась и, отшучиваясь, сколько могла, уходила... то есть уезжала к себе, когда иссякал запас юмора. И там, за закрытой дверью, часто плакала, давась слезами и не решаясь громко вздохнуть. И Алла всегда недовольно вываривала Олегу:

— Не смей ее обижать, слышишь?

— А жить-то как? — шепотом спрашивал он. — Ну как, ну объясни.

— Да уж как-нибудь, — осторожно вздыхала жена. — Только не за чужой счет: ведь пропадет она без нас, Олежка.

— Вот я и бьюсь над тем, чтобы вместе с нею. У юристов был, в горисполкоме интересовался. Обещают, но либо ждать неизвестно сколько, либо микрорайон, куда один трамвай два часа ходит. Тебя устроит трамвай? А садик для Валерика? А работа — твоя и моя? Или ее тоже на микро сменим? А телефон? Ну и наконец мелочи жизни: врачи, поликлиника, медпомощь без всякой волокиты, аптеки и тепе и теде. Стало тете Тоне хуже — гарантия, что через десять минут «неотложка» примчится, потому что ее тут все знают. А в том микрорайоне кто к ней примчится? Участковый врач на попутном самосвале?

— И все-таки надо подумать, Олежка.

— Вот я и думаю. — Он помолчал. — На углу Гвардейской кирпичный домиче строят, видела? Первой категории, по спецпроекту, я узнавал. Но шансов попасть туда у нас нет, потому что радиозавод для себя его строит, для своих работников. Вот если бы землетрясение случилось и рухнули мы, тогда бы другое дело. Тогда по линии несчастного случая. Четырехкомнатную, понятно, не дадут, но там и трехкомнатные — как две наших. С холлом, со встроенными шкафами, кухня — двенадцать метров, две лоджии — хоть на велосипеде гоняй.

В последнее время Беляков заводил осторожные разговоры о новых квартирах если и не чаще, то настойчивее, что остро ощущала Антонина Федоровна. Он словно готовил ее к чему-то; она считала, что готовит он ее к неминуемому



расставанию, и рыдала ночами. Гибелью считала она это неминуемое расставание, смерти оно для нее было подобно, и беспомощная Иваньшина страдала беспомощно и невыносимо. Настолько невыносимо, что однажды ночью подъехала на своем заботливо смазанном и абсолютно беззвучном кресле к комоду, вытянула верхний ящик, нащупала под газетами «вальтер» и осторожно достала его.

Вот он, спаситель, боевой товарищ, столь же заботливо ухоженный ею, как ее инвалидная коляска Олегом. Антонина Федоровна беззвучно оттянула затвор, вогнав патрон. Оставалось поднести и спокойно, плавно, неторопливо нажать спусковой крючок...

А Тонечка Маленькая вдруг всхлипнула за ее спиной, завздыхала, даже захныкала, будто ребенок. Может, приснилось ей страшное, может, о маме вспомнила, может, просто пожалела, что не позволила тогда ему ничего — кто их, девочек, поймет? И Антонина Федоровна тихо положила пистолет на место. Чуть скрипнула тугим ящиком комода и поехала к своей кровати, на которую приловчилась переваливаться с кресла без посторонней помощи.

Дом на Гвардейской строился медленно, но рос, и этот его неумолимый рост очень заботил Олега. Путь на работу пролегал мимо стройки, два раза в день Олег видел ее, точно знал, сколько кирпичей положили за смену, и заметно терял столь свойственное ему ровное расположение духа. Журавль в небе вот-вот должен был улететь в чьи-то неведомые руки...

А потом просветлел, заулыбался, как прежде, и вечером с глазу на глаз сказал Алле:

— Есть вариант. Слабенький, но, знаешь, вполне реальный.

— Это ты насчет дома?

— Это я насчет того, чтобы нам с тетей Тоней не расставаться. А вариант такой: наш дом признают аварийным, срочно ставят на капитальный ремонт, а нас временно переселяют в тот, что на Гвардейской.

— А если совсем не туда?

— Надо организовать. Понимаешь, фокус в том, чтобы въехать нам всем дружно в него до официального заселения. Ход реальный, если нас признают аварийщиками: Иваньшина — героиня войны, инвалид, ее в горьком знают. Словом, задача требует решения, и я уже кое-что начал.

— Что ты начал?

— Я жалобу управдому подал, что у нас вся электропроводка в недопустимом состоянии. А копию — пожарникам: теперь они друг друга контролировать начнут изо всех

сил. Так что если комиссия придет, а меня не будет, ты должна сказать, что у нас все искрит, греется и вот-вот закоротит.

Комиссия пришла, когда дома оказалась одна Иваньшина. Это случалось редко, потому что Беляковы старались не оставлять дома больную с малым ребенком. Правда, Антонина Федоровна уже ловко управлялась с креслом, но встать с него не могла, а только сваливалась в кровать, откуда без посторонней помощи не поднималась (ее каждое утро пересаживала в кресло Алла). Олег сделал полозки, чтобы коляска могла переезжать через порожек, но с ними дверь не закрывалась, и если Антонина Федоровна работала или отдыхала, их не ставили. А тут Алле срочно понадобилось в магазин, и она умчалась, прокричав, что уходит ненадолго и дверь запирать не будет. И почти сразу же появилась комиссия.

Собственно, это была еще не комиссия, а скорее совместная разведка: управдом да представитель от пожарной охраны. Управдома — пожилую, вечно озабоченную вдову — Антонина Федоровна знала давно, да и пожарник оказался человеком солидным и основательным.

— Печальный домик, — сказал он, оглядевшись. — Проводка времен царя Гороха: сигнал правильный. Без капитального ремонта тут никак не обойтись.

— Двенадцать квартир — это же двадцать семей, не меньше, — вздохнула управдом. — Ну составим мы акт об аварийном состоянии, а где их всех разместить? Тут не то что рай — тут горисполком за голову схватится. А выселять необходимо.

Они о чем-то спорили — Иваньшина не слушала. Тоскливый безнадежный ужас вдруг охватил ее: предстояло куда-то переезжать, предстояло расставание с Валериком, Аллой, Олегом, предстояло где-то как-то пристраивать Тонечку Маленькую. Капитальный ремонт, срочное выселение — куда придется, как придется, во времянки и, главное, в разные стороны — это была новая трагедия, которую требовалось освоить, осознать, понять, привыкнуть к ней. На все нужно было время — а может, она просто оттягивала этим неминуемое расставание? — и Антонина Федоровна сказала:

— Нас — в последнюю очередь, если можно. Очень прошу войти в мое положение.

— Доложу, — согласился пожарный представитель. — Войду с предложением начать выселение с той половины дома, там, кстати, и провода хуже. Договорились, товарищ Иваньшина, живите пока спокойно.

Может быть, так бы оно и случилось, может быть, и жили бы они спокойно, если бы не подоспел май с длинными вечерами, с черемухой и соловьями, с непонятной тревогой и беспокойной бессонницей. И дело заключалось совсем не в том, что у Тонечки Маленькой началась сессия, а в том, что было ей девятнадцать, все в ней вызрело и налилось и все-все, все вместе настойчиво требовало повторения первого опыта. С решительной поправкой: результат должен был стать иным, иначе Тонечка могла потерять не только покой и сон. Все в ней было настроено для прекрасной песни, но могло навеки рассыпаться и лопнуть. И струны и ноты: так ей казалось, и так оно и было на самом деле.

Но до того, когда и вправду все рассыпалось и лопнуло, еще оставалось время. Антонина Федоровна рассказала Олегу и Алле о комиссии и о своей просьбе; Олег ничем не выказал своего крайнего разочарования — именно эта просьба и сводила на нет все его далеко идущие планы, — но решил действовать куда более энергично и уж теперь ни под каким видом не посвящать женщин в свои намерения. А пока катал по субботам и воскресеньям Иваньшину и Валерика по улицам и за город, каждый раз вынося Антонину Федоровну на руках до машины и внося на второй этаж по возвращении домой. И каждый раз Антонина Федоровна очень смущалась, сердилась и ворчала:

— Ну к чему это, к чему? На руках таскаешь, будто...

— Будто мамочку, — улыбался Олег.

А больная, изувеченная войной, землей и осколками, парализованная женщина, обнимая рукой крепкую шею, заходила от небывалого счастья и небывалой нежности всякий раз, когда он брал ее на руки, испытывая порой такое волнение, что приходилось сваливать все на духоту:

— Тащил ты, а задохнулась я. Это от жары. Душно сегодня.

— А может, ты и вправду моя мама, тетя Тоня? Ну, признайся, нам же обоим легче будет?

Странное дело: именно тогда Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности. Не о ее героических деяниях, не о ее страданиях и жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами. Как детство немислимо без игры и удивлений, так юность немислима без любви и надежд. Даже там — не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов, — даже там неистово любили свою незаконномерную, будто по лотерее выигранную жизнь и неистово надеялись, что выигрыш этот непременно падет на тебя. На это

опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране — командиру взвода не выиграть своего личного боя за три бревна через безымянный ручей.

Было у нее такое сражение за три бревна. Было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзло, когда снега пропитались водой и люди проваливались до земли.

— Приказано нам на тот бережок, Тонька. Речонка, конечно, название одно, однако — препятствие. Твое направление атаки — отдельный куст, видишь? Перед рассветом по свистку...

— Можно пятьдесят метров левее взять, товарищ старший лейтенант? Там мостик в три бревна сохранился, снегом его запорошило. За полчаса до атаки троих с ручником вышло, чтоб прикрыли во время переправы, а солдат — по бревнам.

— Мудришь, Антонина. Смысла не вижу.

— Снега больно рыхлые, ротный. По пояс проваливаешься.

— Бойцов простудить боишься?

— Застрять боюсь. Завязнут ребята в каше этой: снег и ноги не держит, и ступить не дает. Забуксуем в низинке, а ну как немец минами забросает?

При ручном пулемете пошел пожилой боец: как звали-то его? Господи, забыла, а только помнится почему-то, что погиб он возле тех трех бревен. При нем вторым номером — парнишка-ярославец и один автоматчик. Лихой парень: недавно из госпиталя во взвод прибыл и сам в прикрытие напросился.

— Разрешите, товарищ лейтенант, за второй медалью слазить?

Дерзко спросил, с огоньком. Глянула: глаза синие-синие. Ну, будто нарочно покрасил кто.

— Как фамилия, ефрейтор?

— Ефрейтор Середа! — улыбнулся вдруг и уточнил, как на танцах: — Василий.

Знала ли тогда, что то первая любовь ей улыбалась? Нет, она другое знала: по свистку перед рассветом. Но наверно почувствовала, потому что никогда так отчаянно не бежала в атаку, никогда так твердо не была уверена, что сегодня ее не тронет. Сегодня не тронет, не смеет тронуть: уж больно глазищи у парня синие. Будто нарочно покрасил, чтоб девчонок с ума сводить.

И зачем она тогда военврача упросила? Рос бы сейчас синеглазый Васильевич или Васильевна. И была бы ты, Тонька, и в самом деле и мамой и бабушкой, и не было бы счастливее тебя на всем белом свете, но разве молодость думает о собственной старости?

А рос бы сын или дочь. Васильевичи.

Книжка была почти закончена, когда совсем иные воспоминания вдруг обрушились на Иваньшину, лишили сна и покоя, причем те, далекие времена, времена ее юности, теперь все чаще сталкивались в ней с относительно недавним прошлым. Порою Антонина Федоровна отчетливо видела торжества в собственной школе — юбилейные и не-юбилейные: пионерские сборы, треск барабанов, бойкое перечисление подвигов и героев — и пустые глаза детей, куда более занятых формой торжеств, чем их сущностью. Как-то она задержалась по своим директорским обязанностям, опоздала на встречу с ветераном и села не на сцене, как всегда, а в зале, сзади, за мальчишескими спинами. И почти сразу же расслышала:

— Во дает дед, — насмешливо прошептал красивый, чистенький, ухоженный мальчик. — Одной гранатой всех немцев перебил.

— Как в кино, — угодливо подхихикнул упитанный сосед.

Тогда она привычно одернула ребят, и они сразу же замолчали, но сейчас ей было не по себе от их послушного молчания. И дело заключалось не в том, что в тот раз и вправду ветеран оказался чрезмерно хвастливым; дело было в скрытом недоверии к подвигам вообще. «Почему? — спрашивала она себя и тут же отвечала: — А потому, что перекормили. Количество героической информации вдруг перешло в качество — только не в то, на которое мы рассчитывали. Исчезла искренность подвига, его порыв, боль, цена — и осталось голое перечисление. Остался реестр, длинный и нудный списочный перечень: кто, что, где и когда. Мы девальвируем собственную героическую историю: Герасим утопил собачку, и полтора года лет рыдают над нею потрясенные дети, а мы без конца толкуем о двадцати миллионах погибших — и встречаем отсутствующие глаза. А они должны гореть и страдать, иначе и за перо братья не стоит...»

Очередная перекройка почти готовой книжки была наиболее быстрой и беспощадной: Антонина Федоровна решительно выбрасывала примеры хрестоматийного, набившего оскомину героизма. Вместо отвлеченного читателя она старалась все время представить себе такие знакомые, такие привычные юные лица, она стремилась заинтересовать их, заставить поверить не в подвиг, как таковой, а в его значимость, в ту затрату сил, которых требовал каждый час обыденной каждодневной окопной жизни...

«...На другое утро после той перестрелки, в которой

тяжело ранили командира роты, случилось затишье, и комбат повел меня представляться командиру полка подполковнику Зотову Илье Харитоновичу.

— Лейтенант Иваньшина зарекомендовала себя толковым взводным, товарищ подполковник. Думаю, что командиром роты будет геройским.

Илья Харитонович был, по тогдашним моим представлениям, весьма даже стар, и я очень его боялась. И так тянулась, что стала вся красная. А он взял да и по щеке меня погладил. И сказал то, что я на всю жизнь запомнила:

— Знаешь, в чем командирский героизм, лейтенант? Первое: чтоб твой боец хотя бы разочек в сутки горячего похлебал — пусть из расчета котелок на двоих. Второе: чтоб твой боец хотя бы четыре часика в сутки лежа поспал — пусть в шинели и с винтовкой в обнимку. И третье, чтоб он, боец твой, всегда верил, что за спиной его — полный порядок: мать здорова, дети сыты и жена с другим не спит. А для этого надо о каждом бойце все знать. Кто он, откуда, чего ждет и о чем думает. Если все соблюдешь — при всех героем назову...»

Этот отрывок она вписала вместо пространного рассказа о том, как лично провожала полковых разведчиков через ей одной известную лощинку, как сутки пролежала в сугробе в пяти шагах от немецких окопов, пока разведка не вернулась. На рассвете лощинку надежно скрывали тени, утренники стояли солнечные и морозные, и про то, на сколько минут немцы теряют ту лощинку из виду, во всем полку знала только она, командир взвода, по часам изучавшая движение всех теней в секторе своего наблюдения. За безопасный маршрут, за ожидание своих у немцев под носом и короткий бой при отходе, когда все же потревожили противника, ее наградили солдатской медалью «За отвагу», и по этой причине Иваньшина заменила отрывок разговором с командиром полка. Из двух принципиально различных точек зрения — «Героизм есть исключительность» и «Героизм есть повседневность» — Антонина Федоровна ныне решительно выбирала вторую.

Этот вариант отвозил в издательство Олег. Рыженькая редакторша там уже не работала, и к Антонине Федоровне вскоре явилась ощутимо траченная временем ученая дама. Смачно бросила на стол рукопись и бережно — редакторскую папочку с аккуратно приклеенной бумажкой: «ИВАНЬШИНА А. Ф. «ФРОНТОВЫЕ ДНИ И НОЧИ». Творческая заявка».

— Что же это вы с нами делаете, Антонина Федоровна? Вопрос звучал риторически, но тон его был полон не-

понятной обиды. Иваньшина молча ждала разъяснений. Посетительница — то ли редактор, то ли литконсультант — развязала папку, извлекла листочек.

— Мы заключали договор на ваши воспоминания о войне под условным названием «Фронтовые дни и ночи». Заявка содержит обещание поделиться с нашей молодежью уникальностью вашего опыта, а что мы получили в рукописи? Ваша фронтовая жизнь и деятельность показаны в следующем ракурсе.— Дама нацепила очки, бойко зашелестела раздраженно исчерканными карандашом страницами.— Вот, пожалуйста, аборт. Убит любимый Вася. От страха при атаке ваша героиня — то есть вы, извините, мочитесь прямо в юбку. И ни одного военного эпизода, характеризующего командира... э-э... взвода, кажется?.. как действительно героическую личность. Так в чем же заключается уникальность опыта, что мы поведаем молодежи?

— Правду.

— Какую правду, какую? О том, как писают от страха? Кому это надо? Нет уж, пожалуйста, приведите нам хотя бы один положительный пример, который бы... который... который...

Нет, Антонина Федоровна не оглохла: шум в ушах вдруг все заглушил. И перехватило дыхание: не в спину ударило, как обычно, а впервые стиснуло грудь, тупой тяжелой болью отдалось в сердце, и воздух застрял в горле, не желая лезть внутрь, в легкие. «Это у вас они — легкие,— говорил старый военком,— а у меня — как свинцовый сурик». Вот и она узнала, что значит, когда легкие — «как свинцовый сурик»: широко разевала рот, закидывая голову, пыталась зевнуть, чтобы хоть зевком, силой чтоб протолкнуть глоток воздуха в судорожно сжатые легкие. «Героизм вам положительный? — отрывочно продолжала думать она.— А когда на тысячи солдат одна девчонка, это как, не героизм? А спать в землянке три на четыре среди двух десятков грязных, потных, усталых, вонючих, завшивевших с окопной тоски мужиков — тоже не героизм? А по нужде куда бежать, когда кругом — поле чистое, а до ближайшего сортира — полста верст?.. Эх вы, указчики, чистенькие да надушенные: вас бы туда часа бы на четыре — в то реальное, окопное, грязное, вонючее, пехотное, где вши и крысы, где трупы в трех шагах разлагаются, а рядом — ровики, полные дерьма, а воды — снегу котелок, а смену только через полмесяца обещали, да и то если маршевая рота подойдет, а бани нет и не будет, и неделями снегом умываешься — тоже не героизм?.. Эх вы, гладкие, не клевал вас петух...» Но она не смогла выдать из себя ни единого

слова и, разинув рот и серея на глазах у знатока героического, начала медленно рвать листы собственной рукописи...

— Что вы делаете? Что вы... Помогите же, помогите!

На счастье, дома оказалась Алка. Сунула Антонине Федоровне нитроглицерин, что купил предусмотрительный Олег, решительно выпроводила специалиста по героике и отобрала рукопись. Иваньшина вскоре отдышалась и отлежалась. Олег склеил разорванные страницы, отвез работу директору издательства, все объяснил, попросил прочитать лично. Замечания оказались мелкими и конкретными. Антонина Федоровна быстро с ними справилась, и рукопись ушла в набор. До мая оставались считанные месяцы, все стремились отрапортовать к празднику Победы, и уже в марте книжка Иваньшиной вышла из печати.

— Ну вот, тетя Тоня, а ты боялась.

— Так ведь чем старше, тем боязливее,— отшутилась счастливая Антонина Федоровна.

Вторая половина дома — та, жильцам которой Иваньшина отдала право первой очереди,— опустела как-то незаметно. Жильцы переезжали дружно, но тогда, когда Олег бывал на работе; однажды, возвращаясь домой уже в сумерках, он был неприятно поражен темными окнами соседей. И снова с горечью и почему-то даже с обидой («Тут носишься, устраиваешь, и все вдруг гибнет от бабских капризов...») вспомнил, как провалила Антонина Федоровна его план, всю тщательно подготовленную, оговоренную в горсовете операцию по вселению в практически уже готовый кирпичный дом на Гвардейской улице. Выселяемых из аварийного дома жильцов расселили по новым микрорайонам, но за отсутствием свободных квартир их половину дома пока оставили, и весь Олегов замысел на этом этапе рухнул окончательно. Оставалось одно: разрабатывать новый план, заручаться новой поддержкой. Все требовало времени, заветные площади вот-вот должны были занимать законные владельцы, и Олег с отчаянием чувствовал, как уходит из рук последний шанс.

На следующий день он возвращался с работы нормально, еще засветло, и ноги сами занесли его на опустевшую половину. Печальное зрелище поспешного отъезда встретило его там: комнаты завалены мусором, рухлядью, поломанными вещами, накопленным и ставшим вдруг ненужным барахлом; лампочки вывернуты, а кое-где и срезаны вместе с патронами, розетки частью вывернуты, частью разбиты, лишённые роликов провода, кое-где совершенно оголенные, свешивались со стен. Олег бродил из квартиры в квартиру,



шурша обрывками газет, обоев, книг и журналов, думая о поразительной беспечности и безответственности съехавших: после нас — хоть пожар. В самом деле, опасность короткого замыкания, о которой предупреждал Олег домоуправление и пожарную охрану, лишь возросла с разездом жильцов: любая случайность могла сблизить оголенные концы проводки, могла вызвать искру, и тогда весь этот сухой как порох хлам и сор затлели бы, задымили, разгорелись бы и... «Вот уж тогда нам всем сразу квартиру выделяют,— с усмешкой подумал он.— Погорельцам в первую очередь, это — верняк, люди жалостливы...»

Конечно, следовало немедленно поставить в известность об этих оголенных проводах домоуправление, но Олег ничего делать не стал. Не то чтобы он непременно хотел пожара — он просто не хотел отказываться от такой возможности. Не его то была беспечность, не его ответственность, а судьба его и его близких могла решиться вдруг, как в сказке, огненным чудом могла решиться. «Надо побыстрее дачу снять,— подумалось ему.— Увезу всех, и пусть оно будет, как тому суждено. А если и вправду суждено, то с квартирой нам — верняк: героиню Великой Отечественной Антонину Иваньшину никто на улице не оставит, уж я по всем кабинетам побегаю. Тем более после того, как книжечка вам понравилась...» И, заметно повеселев после этого пожароопасного открытия, пошел домой. А во сне увидел пожар: Алка говорила, что очень радостно смеялся.

Сон оказался в руку: Иваньшиной в тот же день позвонили с киностудии имени Горького с просьбой уступить право экранизации. А вскоре известный режиссер прислал пространное письмо, в котором излагал свои соображения относительно сущности героического и очень хотел сам писать сценарий, но непременно после консультации с автором. Антонина Федоровна почему-то испугалась, но и загордилась как бы тайком от себя самой, и в результате взаимодействия этих двух чувств вечером объявила, что ничего делать не собирается. Алла и Тонечка Маленькая начали ее уговаривать, а Олег хмуро помалкивал. Иваньшина объявила свое решение для него по преимуществу, а потому и ждала, вяло отшучиваясь.

— Дачу я снял,— неожиданно сказал Олег.— Тебе, тетя Тоня, природа нужна. Когда этот режиссер приехать намеревается?

— Не знаю.— Она несколько растерялась, поскольку известие о даче было для нее неожиданным.— Он ждет моего ответа.

— Напиши, чтоб не позже мая. Кино — дело нужное, но одну тебя я в городе не оставлю.

— Считаешь, надо соглашаться?

— Непременно, — увесисто подтвердил он. — Твои героические дела требуют всесоюзного...

— Прекрати, — строго перебила Антонина Федоровна. — Не было у нас этого разговора, все, кончено.

И уехала в свою комнату, чтобы поскорее вытереть вскипевшие слезы. Показалось ей или и в самом деле прозвучало в его тоне доселе никогда не звучавшее равнодушие? Может, показалось, может, и не равнодушие то вовсе, а озабоченность: ведь мужчина же он, ведь есть же у него свои дела, свои заботы. А что, если и впрямь надоела она ему смертельно вместе со своими болячками, докторами, колясками и прочими недугами?.. Она никак не могла понять, что же послышалось ей в словах Олега, промучилась всю ночь, а утром написала режиссеру, что ждет его не позднее конца мая.

Как и для каждого фронтовика, месяц май был для Антонины Федоровны Иваньшиной совершенно особенным месяцем. В нем было самое яркое солнце, самые звонкие птицы и самые красивые цветы. Антонина Федоровна всегда ждала этого месяца и великого своего праздника со жгучим нетерпением, хотя давно уже не ходила ни на какие встречи. Правда, ее не забывали не только тимуровцы: старые товарищи по прежней работе (однопольчан в городе не нашлось) во главе с бывшим военкомом непременно заявлялись к ней хоть на часок, но даже если бы и не заявлялись, если бы и не приносили с собой шума и звона тех давно ушедших лет, Антонина Федоровна все равно считала бы этот месяц самым прекрасным месяцем года. И не только для себя, но и для всей квартиры («для всей семьи», — как всегда говорила про себя Иваньшина): пекли пироги, готовили закуски, доставали заранее припасенные деликатесы, чтобы 9 мая радостно и торжественно поздравить свою тетю Тоню и себя с великим народным праздником.

Но в этом году счастливый май оказался иным. Весь апрель Олег был хмур и озабочен (особенно когда из соседней половины дома выехали жильцы), отвечал невпопад, грубил Алле, куда-то все время уходил, кому-то звонил, с кем-то секретничал, что-то улаживал. Нет, 9 мая он, естественно, взял себя в руки, и все было как всегда, но Антонина Федоровна уже так хорошо знала его, так чувствовала, так понимала и так любила, боясь признаться в этом даже в мыслях, что безошибочно отделяла искренность от обязательности. И даже спросила, не выдержав:

— У тебя что-нибудь случилось?

— У меня? — Он наигранно удивился. — Что ты, тетя Тоня! У меня полный хоккей, как говорится. Ну, дружно: «Этот День Победы порохом пропах...»

А не успели праздничные пироги доесть — заторопился на дачу. Алле велел отпуск раньше времени выпросить, Валерика из детсада забрать, а озадаченной Иваньшиной сказал:

— Обстоятельства диктуют, тетя Тоня, все потом объясню. Жди своего режиссера, за тобой пока Тонечка приглядит, я с нею побеседовал. У нее как раз сессия, будет дома зубрить.

— А может, ну его, это кино...

— Вот как раз кино нам — прямо позарез сейчас. — Он улыбнулся почти как прежде и пояснил: — Новоселье не за горами, оно денежек требует, а семья у нас одна. Одна, тетя Тоня, это уж навсегда.

И так он сказал, что Антонина Федоровна взлетела вдруг на седьмое небо. От небывалого счастья, от благодарности, от любви перехватило горло; она поспешно отерла слезы и молча погладила его по руке. И окончательно успокоилась, уже не замечая того, что их коммунальное братство затрещало по всем швам из-за появившихся вдруг тайн, недомолвок, умолчаний и растущей неискренности. Изощренной наблюдательностью обреченного на неподвижность человека, приумноженной на интуицию любящей женщины, Иваньшина замечала все, но то «все», что касалось Олега. Его озабоченность, его упрямство, его замкнутость, неискренность, растерянность и даже одиночество. Но ни о чем не расспрашивала, поскольку в душе ее, ни на миг не замолкая, звучали его слова, уже бессознательно приравненные ею к клятве: «Одна у нас семья, и это — навсегда». И, наблюдая только за ним, видя только его, совсем перестала замечать тихую и послушную Тонечку Маленькую, прилежно зубрившую конспекты накануне сессии. А следить-то как раз и надо было за нею, за девятнадцатилетней девчонкой, для которой месяц май ощущался не победным громом, а тревожным шепотом, как для всех девятнадцатилеток на всем свете и во все времена.

С той памятной ночи на даче до ужаса напуганная Тонечка Маленькая притихла, как мышонок. Вовремя уходила, вовремя приходила, посещала только библиотеку, театр да музей и только в компании девочек, весело рассказывала об институтских днях и горестно плакала по ночам. Соблазнов вокруг было великое множество, но она упорно гнала их от себя и побеждала, пока на ее пути не

встретился он. Тот самый, который непременно самым образом встречается рано или поздно каждой девушке, а когда встречается, все выученные правила, вложенные мамой аксиомы и нашептанные девичьи страхи разлетаются вдребезги.

Он — сейчас уже нет нужды называть его имя — был иногородним, учился в институте связи, жил в общежитии, подрабатывая мелким ремонтом, и не имел даже отдаленных знакомых, владеющих изолированным от мира пространством. Встречались в парке, в кино, в подъездах; теряли головы от первых прикосновений и уже ни о чем не могли говорить, потому что яростная сила рвала каждого в одиночку, требуя немедленно, сей же миг сложиться в еще более мощную общую силу. В судьбу Тонечки Маленькой впервые ворвалась любовь, все расцветив в душе, посеяв счастье и надежды, сладкие слезы и тревожные ожидания, тайны, недомолвки и даже обманы.

— Ты стала поздно возвращаться домой, девочка.

— Я? Мы занимались. С Таней и Оксаной. В библиотеке. И завтра тоже будем заниматься, потому что скоро сессия.

Ах, если бы Иваньшина не была так занята Олегом! Если бы хоть на пять минут забыла о нем и вслушалась, что бормочет на глазах краснеющая Тонечка Маленькая, как старательно она отворачивается, как замирает вдруг, позабыв перевернуть страницу столь тщательно изучаемого конспекта. Если бы знать, из скольких «Ах!» складывается одно «Ох»...

— Вот ключ, видишь? Нет, скажи, ты видишь ключ?

— Какой ключ? Зачем?

— Тонечка, родная, умоляю. Хозяева в отпуск укатили, а мне у них пол циклевать. Представляешь, какое счастье? Отдельная двухкомнатная!

— Но это невозможно. Невозможно! Ну что, что я дома скажу?

— Тонечка, это же впервые в нашей жизни. Первый раз мы будем вместе, никто нам не помешает. Целую ночь вместе, представляешь?

— Я не знаю, что делать, не знаю. Но я придумаю, слышишь? Я непременно что-нибудь придумаю.

Тонечка Маленькая ничего не смогла придумать, кроме одной фразы («Я сегодня у Оксанки всю ночь заниматься буду...») и вынужденного поступка, вызванного неосторожным замечанием Иваньшиной:

— Только звони. Слышишь, девочка? А лучше я сама Оксанке позвоню.

Тонечка обмерла: зачем, ну, зачем она сказала, что

будет у Оксанки? Лучше бы — у Наташки, там телефона нет... Так она подумала и, уходя, незаметно вытащила вилку из телефонной розетки в коридоре.

А режиссер задерживался, переноса приезд с недели на неделю. В конце концов Иваньшиной надоела эта болтливая необязательность, она дозвонилась до режиссера и с былой решительностью поставила вопрос: либо — либо.

— Шестого, ну максимум восьмого буду непременно, — клятвенно заверил он. — Никаких «но» не может более быть, Антонина Федоровна.

Разговор этот происходил еще второго июня, но она держала его в секрете, собираясь обрадовать Олега приятной неожиданностью. Он не расспрашивал ее, где-то озабоченно крутился, что-то делал, а четвертого вдруг объявил, чтобы она немедленно собиралась на дачу. Мол, нечего ей здесь одной, ничего с Тонечкой Маленькой не случится, а там Алле трудно с Валериком, и вообще погода стоит как на заказ.

— Скажи, чтоб Тонечка твои вещи собрала. Завтра возьму на руки...

— Седьмого. — Антонина Федоровна не смогла сдержать улыбки. — Раньше седьмого я никак не смогу, Олежка. Никак.

Он вдруг зачастил, закричал даже, не сдержавшись, но ей это было — как музыка. Улыбалась уже без удержу.

— Я не могу, не могу оставить тебя одну, тетя Тоня, пойми же, наконец. Ну не капризничай!

Чем больше он просил, орал, распался и сердился, тем упрямее становилась Антонина Федоровна. Ей хотелось довести его до ярости, до гнева, до резкой ссоры с нею; пусть он уйдет, отругав ее за упрямство, по-мужски хлопнет дверью, а потом... Потом, через каких-нибудь два-три дня, когда он, хмурый, все еще сердитый, приедет за нею и возьмет ее на руки, она шепнет: «Все в порядке, Олежка, мы можем переезжать, я заработала кучу денег...» И вот во имя этой мгновенной радости, когда он весь расцветет, заулыбается, Антонина Федоровна и упрямилась в тот вечер.

— Ну зачем, зачем эти штучки? За Тоньку боишься? Да она здоровенная телка...

— Вот за телку и боюсь. Ты, я, он, она — вместе дружная семья.

Олег действительно хлопнул дверью, исчерпав терпение и аргументы, и Иваньшина засмеялась от счастья. Да, у нее была настоящая семья, в которой просят и ссорятся, улыбаются и хлопают дверью, умеют заботиться и злиться

друг на друга тоже умеют. И это правильно, это и означает, что люди связаны не прохладной вежливостью, а горячей любовью.

Увы, все дело заключалось в крысах. В полчище крыс, то ли откуда-то переселившихся в пустую половину их дома, то ли расплодившихся там. Они шуршали в хламе, носились по комнатам и грызли все подряд. Олег зашел проверить, как там с проводкой, и обомлел: вот они, реальные поджигатели. Любая серая тварь может запросто перекусить оставшийся под напряжением провод, замкнуть цепь и... И он опять никому ничего не сказал: крысы так крысы, пусть все идет, как пошло, как определено судьбой. Но при этом он все время видел грызунов и провисшие провода, мусор и сушь, старый деревянный дом и безлюдную его половину. Видел, подавлял в себе страх и нервно, истерично просил Иваньшину как можно скорее перебраться на снятую им впопыхах дачу.

Он даже шестого забежал прямо с работы. Говорил, что Алла пропадает там одна с ребенком, просил немедленно уехать за город, и Антонина Федоровна опять таяла от блаженства. Олег понял, что заупрямилась она надолго, сказал: «Ну что ж, до завтра тогда», поцеловал в лоб и ушел. А пока она переживала свое небывалое счастье, Олег на кухне шепотом инструктировал перепуганную Тонечку Маленькую:

— Чтоб из дома — ни ногой! Никуда! Ни под каким видом! Ни на минуту! Поняла? Я завтра утром вернусь и увезу ее. Силой увезу!

— Ага, конечно. Ага, обязательно. Ага, непременно, — бормотала Тонечка, с ужасом думая, уж не пронюхал ли заботливый сосед о *ней*, пустой двухкомнатной квартире и заветной ночи вдвоем.

И как только Беляков ушел, проскочила в комнату, забормотала, что уходит на всю ночь к Оксане, заботливо постелила постель Антонине Федоровне и поставила телефон подле ее кровати. А уходя, ловко выдернула штепсель из розетки, чтобы тетя Тоня не позвонила Оксане. Было восемь часов вечера. Олег уехал на дачу, Тонечка сбежала на всю ночь, и Антонина Федоровна осталась одна.

Тонечка не звонила весь вечер, но Антонина Федоровна не очень беспокоилась, понимая, что по девичьим понятиям позвонить никогда не поздно. А по ее понятиям и режиму подошло время ложиться спать: телефон рядом, она услышит звонок, даже если задремлет. И Антонина Федоровна, подъехав к постели, ловко выжалась на все еще сильных руках, качнула немощное тело и выбросила его из коляски

на пружинно вздохнувшую кровать с колесиками, никелированными шишками и панцирной сеткой, ордер на которую ей вручили давным-давно. В сорок восьмом, что ли...

Она читала «Полководца» Карпова — она вообще любила книги о войне, а документальную военную прозу в особенности, — но часто отрывалась, потому что мысли ее шли сегодня путем самостоятельным. И ей думалось о том, как странно разделен мир на два начала, на мужчин и женщин, и что только в соединении, в союзе этих двух начал и заключена возможность счастья. И дело даже не в рождении ребенка — это результат, сумма, итог, но не самоцель. Нет, нет, цель в ином: цель во взаимном влиянии, способном чудесным образом удесятерять силы как мужчин, так и женщин, если, конечно, они любят друг друга. Впрочем, может быть, и это не главное: ведь ей легче было управляться со своей сотней солдат, чем иному мужчине, именно потому, что она была женщиной, и мужики рядом с нею становились лучше не потому, что хотели понравиться (хотя и этот элемент присутствовал: ефрейтор Вася Середа, к примеру, ставший лучшим бойцом ее роты и погибший сержантом на нейтралке от родимой пули), а потому главным-то образом, что она своим поведением, голосом, фигурой, походкой — самим присутствием своим в их короткой, как миг, фронтовой жизни вскрывала и умножала то лучшее, что каждый носил в себе на манер неприкосновенного запаса. И она тоже ощущала их влияние, тоже мобилизовала свои силы, делалась лучше...

Стоп, Антонина. Мобилизовала силы — правильно, а вот что значит: делалась лучше? Ты делалась грубее, жестче, резче, тверже, непреклоннее — разве это женские достоинства? Сомнительно. Женские качества — мягкость, нежность, ласковость: все то, что тебе приходилось подавлять в себе ежедневно и ежечасно. Война — мужское занятие: она вскрывала в тебе мужские черты, тщательно пряча женские. Нет, не у всех, конечно: медперсонала это не касалось, там как раз иное ценилось, подчеркнуто женское, милосердное, сострадательное. Но когда тебе самой убивать приходится, тут уж не до сострадания. Тут мужской закон действует, древний, как само человечество: убей или убьют тебя. И все, все вокруг было направлено к исполнению этого закона; все решительно: грубость, жестокость, воля, твердость, грохот, рев, пальба, дым...

Дым?.. Может, показалось? Может, это воспоминания привели к галлюцинациям, и никакого дыма нет и в помине?

Но дым существовал: першил в горле, щекотал в носу, чуть пощипывал глаза. Антонина Федоровна села, насто-

роженно вглядываясь; верхний свет был погашен, горела только лампочка у изголовья, и разглядеть, что творится в темных углах, никак не удавалось. Но она смотрела и смотрела, чувствуя вползающий в комнату дым, и, не видя, уже поняла, что ползет он с той, нежилой половины. «Пожар,— сказала она сама себе.— Без паники, сейчас пригласят пожарные. А пока они будут мчаться, позвоню Оксане, и Тонечка...»

А телефон молчал. Антонина Федоровна постучала по нему, плотнее прижала трубку к уху, даже встряхнула ее, но в аппарате было тихо, ничего не гудело и не трещало. На миг ее охватило отчаяние, но усилием воли она подавила его: «Только без паники, только без паники...» С трудом изогнувшись, она руками попыталась сбросить мертвые ноги с кровати, чтобы потом, уцепившись за кресло-коляску, как-нибудь вскарабкаться на него, подъехать к окну, разбить стекло, крикнуть. Стиснув зубы, она раскачивалась на панцирной своей сетке, а ноги никак не удавалось сдвинуть с места, к самому краю, чтобы потом...

Нет, так ничего не получится: спина ее могла сгибаться только в одном направлении, словно и не ее была та спина. Вот если дотянуться до кресла, опереться о него, выжаться на руках и перетащить проклятые ноги... Она потянулась, пальцами почти коснулась кресла, рванулась из собственной омертвевшей поясицы, сдвинулась даже, но от рывка потеряла равновесие. Рука ткнулась в кресло, и бесшумная, отлично отрегулированная и заботливо смазанная каталка мягко отъехала от кровати на пустячные, но уже недостижимые полметра.

— Помогите! Горим!..

Она крикнула во всю силу, но ровно два этих слова, и тут же привычно взяла себя в руки. Окно комнаты выходило во двор и было закрыто — от комаров, что ли, она попросила спешившую к подруге Тонечку закрыть его или боялась сквозняка? Какие комары, какие сквозняки, какая все это ерунда, когда дым лезет в горло, ест глаза и огонь вот-вот ворвется в комнату?.. Спокойно, Антонина, бери себя в руки и соображай, пока еще есть время.

Значит, так. Судя по всему, горит соседняя пустая квартира, от которой ее отделяет стена. Не очень капитальная, раз сквозь нее просачивается столько дыма. А если горит сама стена? Тогда огонь очень скоро засветится с ее стороны, займутся шторы, полки с книгами, старый комод... Первая ее мебель по разрядке из военкомата: откуда он, этот комод, кому принадлежал, чье белье, чьи семейные альбомы и любовные письма хранил в своем древнем



чреве?.. Стоп, не распыляться, не думать о постороннем, не терять зря ни мгновения. Ну выручай, Карпов, выручай свою фронтовую сестренку...

Она схватила «Новый мир», где была напечатана 2-я книга «Полководца», и, полулежа, вытянутой рукой, как гранату, швырнула журнал в окно. Она сама учила метать гранаты из положения «лежа» зеленых перепуганных парнишек на формировках. И «Новый мир» полетел, как и положено, только ударился не в стекло, а в переплет окна и упал на пол.

Она даже вскрикнула (не от страха — от злости) и выругалась так, как приходилось когда-то в другом дыму и другом огне. Что, скверно, когда баба ругается? Очень даже, а вы там, в том аду, в иступлении том без мата могли бы? Нет, были, конечно, которые не выражались, — говорили, Рокоссовский, мол, никогда такого не позволял, — ну, а она, двадцатилетний лейтенант Тонька Иваньшина, прибывшая после училища ускоренного выпуска на должность командира взвода, заматерилась в первой же атаке. Со страху, с отчаяния. И рейтузы мокрые были, и в сапогах хлюпало, если уж до конца признаваться. Это в кино бабы красиво под пули бегут, а там, где пули настоящие да впереди своего взвода из девятнадцати, помнится, пареньков, там и заплачешь, и матом орать начнешь, и с жизнью прощаться, и мамочку звать — все, только бы не упасть до назначенного тебе рубежа. И только бы бойцы не подвели, только бы не залегли. «Вперед, за Родину, за Сталина! Вперед, мать вашу!..»

Не упала.

Антонина Федоровна мучительно кашляла, задыхаясь от валившего дыма, и слезы ручьями текли из глаз. Какие слезы, Тонька, откуда? От дыма или от прошлого?.. Да, да, первый бой. Добежала, куда командир роты велел, и своих довела. Девять их оставалось: за бросок в триста метров десятеро души отдали. А она нарочно в лужу упала, чтоб не узнал никто, как во время первой ее атаки по ногам в сапоги текло...

А, черт, задыхаться прикажете? Нет уж, не будет этого! Спокойно, Тонька, опять в раму не угоди...

Антонина Федоровна вырвала из розетки шнур, обмотала им настольную лампу и метнула ее от бедра прямой рукой. Со звоном посыпались стекла, дым потянулся в разбитое окно, почти невидимый в серой июньской ночи. А вскоре и дышать стало легче, и кашель не так рвал грудь, и... и Иваньшина увидела отъехавшую от кровати коляску, комод, полки. И огонь тоже увидела. Он во многих местах про-

рвался сквозь стену, лизал полки, комод, книжки; что-то потрескивало, что-то вспыхивало, что-то еще только тлело, но от огня ее отделяли уже не бревна стены, а — шаги. Четыре шага, которых ей уже никогда не сделать и которые за нее сделает огонь.

Жанна д'Арк на костре сгорела. За Францию и короля. А она за что сгорит? А она не Жанна д'Арк, она — русская баба, что в двадцать лет, еще мужчин толком не познав, поднимала в атаку взвод. «Видишь, взводный, кустарничек под высоткой? Покуда до него не добежишь, не ложись и бойцам ложиться не давай, поняла? Там — мертвая зона, там отдышишься, там даже перекреститься можешь, что живой осталась».

Так ротный велел, и она добежала. Мокрая, правда, ну да ладно. Там отдышались, туда комбат людишек подбросил, а потом: «Вперед!», и на одном дыхании, на реве, на хрипе — вверх. На высотку. Вот там-то, на высотке, она своего первого и убила. Вылетел вдруг из щели прямо на нее, и она, не колеблясь, пять пуль в упор: до сей поры видится, как брызнула кровь с серого, как земля, немолодого и уже неживого лица, как упал тот фриц несчастный и бился на земле, хрипел, дугой выгибаясь. А она все смотрела, смотрела, глаз не могла отвести, а тут — комроты: «Живая, Тонька?» Сграбастал, целовал так, как никакую невесту не целуют, и сам — в слезах. А от нее — потом, грязью, порохом и страхом пахнет... А он все понял, все — умница был ротный, смелый и с характером, — все понял, прижал к себе: «Утром бриджи подарю, чтобы солдат не дразнила...» А через два месяца ранило его, ее первого ротного, тяжело ранило, что называется, навсегда, и приказано ей было командиром полка подполковником Зотовым роту принять. И она приняла, как положено, а потом всю ночь редела. Пила спирт с комбатом да старшиной, что по наследству вместе с ротой ей достался, и редела. А комбат — старый уж, из запасных, лет за тридцать — все по голове ее гладил да приговаривал: «Ранило бы тебя легонечко да поскорее...»

Ах, как книжки весело горят! Сами собой открываются, будто огонь просматривает их, прежде чем сожрать. Коробятся, топорщатся, изгибаются, словно живые: вот и она так же будет гореть. Только еще орать, наверно, начнет, не выдержит. А книги умирают молча.

Черт, может, зря она окно разбила? Задохнулась бы — все легче. А теперь дым вытянуло, не задохнешься. И никто не кричит, никто не ломится в дверь. Тонечка не идет, и пожарные не едут, и соседи не шумят: в их подъезде ведь

еще две семьи остались, правда, за лестничным пролетом, в торцовой части. Значит, гореть придется?.. Ах, ну почему, почему она с Олегом на дачу не поехала?! Он же просил, умолял, сердился. Взял бы ее на руки, она бы обняла его за шею... Всю юность огонь там был, снаружи: дома горели, танки, самолеты, автомашины — и люди, конечно, тоже горели. Живьем все горело, а в тебе, как отражение, страсть бушевала. Поэтому ты с такой неженской легкостью и пошла на подпольный тот аборт, загубила дитя свое. Выжгло твою душу, до угольков выжгло, вот ведь что война сделала. А теперь и тело сожжет. Нет, не уйти нам от нее, никуда не уйти и не спрятаться.

Ох, какое полымя! Уж лицо не терпит, уж, кажется, и волосы вот-вот займутся, трещат уже. Ну, почему, почему, дура ты старая, почему с Олегом не уехала?! И где эту Тонечку черти носят, где?! Ведь горю, люди, горю-у!..

Молчать, Иваньшина, молчать, ротный. Жить достойно — это ещё полдела, потому что это естественно. Вот помереть достойно — это посложнее, это — полтора дела, сто пятьдесят процентов. И не на миру, где она красна, эта самая смерть, а наедине с нею, с глазу на глаз. С глазу на глаз две старухи: ты и твоя смерть. Горячая она у тебя, Антонина, такая горячая, что и терпится уж с трудом. Ну здравствуй, старая, что скажешь? Погоди обнимать, руки твои больно горячи. Прохладная у тебя жизнь была, Тонька, зато горячая смерть: баш на баш, в среднем как раз то, что каждой бабе положено. Без любви ты тогда жила, с одной ненавистью... Без любви?..

Стоп, вранье: а лейтенант Валентин Вельяминов? Ты из любви к нему институт одолела, стала тем, кто ты есть, и горишь сейчас тоже из-за той, послевоенной своей любви. Но ведь была и еще одна, самая первая. Никому и никогда ты о ней не говорила, но перед смертью врать не годится: Вася. Васька Середа, синеглазый полтавский парубок, твой телохранитель, связной, адъютант, денщик, разведчик — все он, сержант Середа. Ах, какой был парень! Чуть с ума не сошла, когда немцы его на ничейной земле подбили: он из ночного поиска возвращался, ста метров не дополз. Ах, как кричала в беспамятстве: чудом роту в атаку не подняла, чтобы его вытащить. Комбат вовремя примчался: «Не жилец он, не жилец, опомнись, ротный! Ты же из-за одного умирающего десяток живых уложишь!» — «Стонет! Не могу, комбат, не могу, стонет ведь, стонет!..» — «Да помирает твой сержант, Иваньшина, потому и стонет. Без сознания он уже, успокойся!» — «Не могу-у!.. Комбат, родненький, разреши самой слазить, самой вытащить. Разреши, комбат,

жизнью своей заклинаю...» — «Слазить? Полнолуние, дура. Неделю светло будет, как на танцплощадке. Старшина, уведи ее. Силой волоки в землянку, слышишь?..»

Уволок ее старшина. Она кричала, билась, кусалась даже, кажется, а старшина молча впихнул ее в землянку, свалил на нары — и полушубок на голову. Потом комбат вошел в землянку, приказал отпустить. Она полушубок сбросила, старшине кулаком в лицо и — к выходу. «Не ходи, — сказал комбат. — Давай водки, старшина, царствие ему небесное, сержанту этому. Отмучился...»

За что это все, а? Ведь грудью машину ту сволочную остановили, голой грудью против танков. Кто «ура!» кричал, кто маму звал, кто плакал, кто матерился, но — ложились. Ложились перед фашистскими танками ряд за рядом, пока немцы в нашей крови не захлебнулись.

А тебе, Антонина, бескровная смерть на роду написана. Много ты крови повидала, много пролила, а помирать доведется целехонькой: кровь раньше сворачивается. Помнишь сгоревших танкистов? Насмотрелась ты на них вдоволь — все сухие, как головешки, без глаз и без губ. Вот и ты... Да плевать, какая буду: важно одно — не закричать важно. Не заорать беспомощно, жалко, бессмысленно...

Ох, какая жара! Одеялом лицо закрывать приходится, чтобы глаза раньше времени не полопались. Боль — терпеть удержу нет, а ноги ничего не чувствуют. Вот это хорошо, это — подарок: до половины сгореть можно, и все — без боли, все будто чужое, будто отмершее давно. Господи, чего же ты, дура, комиссию упросила, чтоб во вторую очередь переселяли? Жила бы сейчас в прохладе... Ах, кабы знать, что тянется за нашим «да», за нашим «нет». Диалектика — она и при смерти диалектика, и паникует в тебе, Антонина, способ существования белковых тел, в борьбе утверждая право свое.

Грудь печет, жарко. И жалко: грудь до слез жалко, ей-богу. Каждой женщине природа что-то особенное для жизни дарит: кому — волосы, кому — ножки, кому — голос, а тебе, Тонька, грудь выдала. Такую соразмерную, точеную, такую спелую да тугую, что мужики от нее глаз оторвать не могли. На формировках или там когда большое пополнение полотенцем, бывало, затягивалась, чтоб скрыть подарок этот, чтоб один бугор бесформенный под гимнастеркой, пока мужики не привыкнут, не остынут, не успокоятся. А тогда — пожалуйста; полотенце долой, локотки назад и — пяльтесь, мальчишки. И пялились. Еще как пялились-то!.. А она в каждом бою, в каждой перестрелке, при обстреле или при налете больше всего боялась, чтоб пуля

или осколок в грудь не ударил. Руками, бывало, от пуль загораживала, как полотенцем — от мужских глаз. И миновали ее грудь пули, и осколки тоже миновали, и нетронутой она осталась. Потому что берегла всегда...

Выстрел!

Что это, неужто с ума сходишь: откуда выстрел-то, откуда? Не тот это огонь, не боя, а мира, и выстрелов быть не может...

Выстрел. И еще — выстрел. И пуля знакомо свистнула. Сквозь треск огня, сквозь гул пламени, сквозь вой — значит, рядом совсем пронеслась, если услышала. Что же это, откуда же? Может, оттуда, из одна тысяча девятьсот сорок третьего?

И снова часто-часто выстрел за выстрелом прорвались к ней сквозь сплошную стену огня, и только тогда поняла она, откуда и кто стреляет в нее сейчас. Поняла, и выпрямилась, и развернулась, сколько могла, подставляя грудь звеневшим вокруг пулям.

А из горящего комода, что достался ей по разрядке военкомата, раз за разом били по ней пули из патронов к «вальтеру», принадлежавшему когда-то убитому ею германскому обер-лейтенанту...

Она уже не ощущала боли, а потому и не почувствовала страшного удара в грудь. Просто ее вдруг бросило на стену, и в ослепительно полыхавшем пламени она ясно-ясно увидела улыбающегося Васю Середу с неизменным автоматом на плече и своего первого командира роты, который целовал ее, мокрую, после первой ее атаки. Того, навсегда раненого, только был он сейчас не ранен и — улыбался. «Идем, — сказал. — Нам бы еще одну высоточку взять...» И протянул руку. «Ой, у меня же ноги мертвые», — подумалось ей, но она потянулась к нему, и встала легко, и пошла сквозь огонь, не чувствуя и не помня ни болей своих, ни болезней.



# Рассказы



## ПЯТНИЦА

Кровать стояла у окна, но спать пришлось головой к дверям, потому что Костя постригся наголо, а рама не закрывалась с 1 мая до 7 ноября: накануне Международного праздника трудящихся Федя собственноручно обрывал шпингалеты.

— Все, слабаки, лафа кончилась. Закаляйтесь!

В комнате их жило трое: Костя, Федор и Сенечка Филин. Месяц назад Сенечка влюбился, описал это в стихах и отволлок их в заводскую многотиражку. Стихи взяли, а Сенечке вдруг разонравилась собственная фамилия.

— Понимаешь, не тот звук. Вот Лермонтов — это звук. Или Некрасов. Или, скажем, через тире. Лебедев—Кумач. Просто и революционно.

— Вот и ты давай революционно, через тире, — говорил Федя, приседая с двухпудовыми гирями на плечах.

— Думал, — расстроено вздыхал Семен. — Филин—Пурпурный? Филин—Аврорин? Филин—Красный?

— Краснов, — предложил Костя. — Коротко и ясно.

— Смеетесь всё...

Неделю Сеня ходил сам не свой: кокал в столовке стаканы, выпустил кислород из баллона при сварке и прожег выходные штаны. А ночью вдруг заорал:

— Нашел!.. Ребята, нашел!..

Костя не очень переполошился, но Федор был из беспризорников, и синяк Семену достался. Зато стихи вышли в свет с гордой подписью: «Филин—Киноварь». Правда, радость оказалась недолговечной, потому что девчата вмиг переиначили революционный довесок в обидного «киноваря», но Сеня все же не очень огорчался.

Честно говоря, до этих стихов Сеня Филин имел другую программу: он собирался учиться на массовика-затейника и деятельно организовывал вечера с фокусами, беседы с играми и балы с научными загадками. Но, став Филиным—Киноварем, с удивительной быстротой сменил природную



живость на поэтическую задумчивость и начал пропадать по ночам.

А Федор был человек самостоятельный: работал в кузнице, выжимал гири и носил тельняшку, хотя ни разу в жизни не видел моря. А главное, у него была цель: он хотел стать чемпионом. Сначала чемпионом завода, потом — района, потом — Москвы, а уж потом... Вот что будет потом, Федя представлял себе весьма туманно, но все равно никому не могло прийти в голову называть его Киновралем. Ломовиком, правда, звали, но Ломовик — это ж все-таки прозвище...

Вот какие парни жили вместе с Костей. А сам Костя существовал без всякого плана, и кто он, этот Костя, так никто на заводе и не знал. Ну, парень. Ну, монтерит. Ну, током однажды треснуло, еле откачали. Ну, что еще? Еще взносы платит аккуратно.

И даже когда Костя вдруг подстригся под нулевку, на это не обратили внимания. Только Федор спросил:

— Для гигиены?

— Я в армию иду,— сказал Костя.— В понедельник с вещами приказано.

Конечно, подстричься можно было и позже, но Костя хитрил. Он хотел поразить своим боевым видом некие серые глаза, но глаза не поразились, и Костина голова понапрасну мерзла по утрам.

Из-за этого он и проснулся в тот день ни свет ни заря. Повздыхал, повертелся, хотел было запихать голову под подушку, но тут в комнату вошел Сеня Филин—Киноварь и сообщил:

— Заря над миром мировая, о чем не думал никогда я!..

— Который час? — с тоской спросил Костя.

— Четыре.— Сеня явно был в ударе.— Рассвет пылает над Кремлем...

Тут он споткнулся о забытую Федором гирию и долго скакал на одной ноге. Потом угомонился и сел на кровать к Косте.

— А я знаю, почему ты не спишь.

— Голова босиком, вот и не сплю.

— Врешь! — Сеня засмеялся.— О Капочке думаешь, да?

— Какой Капочке, какой?.. Пошел ты!..

— Спать! — хмуро сказал вдруг Федор.— А то как дам гирей по башке...

В комнате сразу стало тихо. Костя попытался было нырнуть под одеяло, но Сеня не позволил. Зашипел в ухо:

— Массовка сегодня. Не забыл?

— Никуда я не поеду.

— Поедешь! Поедешь, потому что тебя Капа ждать будет.

— Ну зачем, зачем врать-то?

— Будет! — Сеня тихо засмеялся. — Мне Катюша моя сказала. Сидит твоя Капочка у окошечка и звезды считает.

— Врешь ты все, Киновраль несчастный!..

Сенечка хохотал, возился, пока Федор не встал и не перебросил его на соседнюю кровать. Там Сеня завернулся в одеяло и сразу уснул, потому что до выезда на массовку время еще было. И Федор заснул, погрозив на прощание могучим кулаком, а вот Костин сон куда-то пропал.

После того как Костя побывал под высоким напряжением, в нем пробудился интерес к физике, который и привел его в заводскую библиотеку. За столом в библиотеке худенькая девушка застенчиво подняла на Костю большие спокойные глаза.

— «Кавказский пленник» есть? — посторонним голосом спросил Костя.

— У нас техническая библиотека. А вам нужно...

Костя уже знал, что ему нужно: глядеть в эти глаза и слушать этот голос. Но в нем не было ни Сенечкиной бестолковой настойчивости, ни Фединой тяжеловесной самоуверенности, и поэтому Костя молчал, когда встречался с Капой. А встречался он с нею часто, потому что Сеня вскорости влюбился в Капочкину подружку, и на первых порах они всюду ходили вчетвером. Но на этих встречах Капочка болтала со всеми, кроме Кости, и выходили одни страдания. И Костя однажды осмелел и пригласил Капочку в клуб. Там они стояли в углу: Капа говорила всем, что очень устала, а Костя ждал медленного танца, потому что от волнения никак не мог уловить ритм. Наконец заиграли что-то унылое, Костя, не дыша, взял Капочку за руки и тут же наступил на блестящие туфельки. В первый раз Капочка только испуганно улыбнулась, а в четвертый вдруг вырвалась и убежала. А Костя остался один посреди зала, и танцующие толкали его со всех сторон.

И вот сегодня, в воскресенье, в шесть утра Капочка ждала его. Правда, Сеню недаром прозвали Киновралем, но в таком серьезном вопросе он просто не имел права обманывать. А с другой стороны, Костя никак не мог понять, почему она тогда убежала, и поэтому вздыхал и ворочался, пока в половине шестого не прозвенел будильник...

Завком расстарался и добыл два грузовика и большой автобус. В автобус посадили девчат, ребята набились в

открытые машины, и колонна тронулась в путь. Ехали по еще спящей воскресной Москве, во все горло орал песню, и редкие милиционеры сердито грозили вслед. И Костя орал до хрипоты, потому что в сумятице у заводской проходной успел заметить, как оглядывалась Капочка, усаживаясь в автобус.

— Главное — инициатива, — поучал Федор в перерыве между песнями. — Сперва про звезды наворачивай, про мироздание. Большую Медведицу знаешь?

— Так ведь день, — сказал Костя. — Какая тебе Медведица?

— Ну, насчет стран света. Знаешь, с какой стороны муравейник строить полагается?

— Да что ж она, муравьяха, что ли? — рассердился вдруг Семен. — Спрячь ты свою эрудицию, пожалуйста! Девушке что нужно? Чувства ей нужны. Чувства, Костя, понял? Ты вздыхай больше. Вздыхай, цветы нюхай. А если спросит, почему грустный, отвечай: «Так...»

— А я про что говорю? — обиделся Федор. — И я про то же. Про чувства. Рассеянным стань.

— Как это? — удивился Костя.

— Ну, бормочи невпопад. А еще лучше потеряй что-нибудь. Расческу, например.

— Стихи, — мечтательно сказал Сенечка. — Основное — стихи. Выучил?

— Выучил, — вздохнул Костя. — «Одеяло убежало, улета простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня».

— Да, — сказали ребята.

Они очень грустно спели веселую песню, а потом Костя сказал:

— Я чего боюсь? Я боюсь, что не нужна ей такая голова.

Федор внимательно осмотрел круглую Костину голову, пощупал, похмурился:

— Уши торчат. Будто ты слон.

Тут они вдруг заулыбались и весело спели очень грустную песню.

Грузовики легко обогнали тяжелый автобус, и когда девушки въехали на поляну, там уже всю развернулась массовка: играла музыка, летал мяч, и Федор демонстрировал поклонникам искусство выжимания тяжестей, подбрасывая захваченные из дома гири. Поэтому девичий автобус встречали двое: галантный Сеня, чудом не угодивший под колесо, и Костя во втором эшелоне. Разглядев из-за куста Капочку, Костя заорал что-то и ринулся в центр поляны, где любители перепасовывали мяч. Там он быстро сколотил

две команды и стал играть с таким рвением, что пришел в себя, только наткнувшись на Катю.

— У папы было три сына: старший, средний и футболист.— Катенька была особой энергичной.— Так вот, я интересуюсь, ты до конца футболист или еще есть надежда?

— А что? — спросил Костя и покраснел от такого глупого вопроса.

Катя презрительно повела плечами и пошла. Костя откинул мяч, крикнул, что выбывает, и двинулся следом. Они свернули в кусты и остановились возле Капочки и Сени Киноваря.

— Центрфорвард в масштабе один к одному, — сказала Катя.— За мной, Филин: нам еще завтрак организовать нужно.

Косте очень хотелось крикнуть: «Не уходите!» — но Сеня с такой готовностью поспешил за Катей, а Капа так равнодушно смотрела в сторону, что Костя промолчал. И молчал долго.

— В июне будут грозы, — говорила Капа на ходу.— Вообще, самый грозовой месяц — июль, но в этом году все будет раньше, я читала в «Огоньке».

Они трижды обогнули поляну. Шли аккуратно, по периметру, не вылезая на открытые места, но и не забиваясь в кусты. Капочка толковала про осадки, розу ветров и влияние Гольфстрима на климат Подмосковья, а Костя слушал, как гулко стучит его сердце, и боялся, что Капочка услышит этот стук. Но она говорила и говорила, и Костя не догадывался, что она тоже боится. Он вдруг оглох, и ослеп, и слышал только, как журчит ее голос, и видел только, как бьется трава о ее колени. А вокруг играла музыка, орали ребята, в кустах целовались парочки, но это все было сейчас нереальным, призрачным и ненужным.

— Голова у вас не закружилась? — сердито спросила Катя, встретив их на пятом круге.— Иногда полезно ходить по прямой.

— По прямой? — переспросил Костя и опять покраснел от собственной глупости.

— Вот именно! — отрезала Катя.— Топайте в лес и без букета не возвращайтесь. Это тебя касается, подружка.

Капочка молча покивала. А Сеня перехватил Костю и сунул ему свои часы:

— Отправление ровно в шесть вечера...

— Зачем? — перепугался Костя.— Зачем мне часы?

— Чтобы не заблудиться, — вредно сказала Катя.— Умеешь определять, где юг, а где север?

— Я умею, — не глядя, сказала Капа.

И первой пошла прямо сквозь кусты...

В лесу было сыро. Солнце путалось в листве, холодный воздух еще цепко держался под елями, и оголтелые июньские комары кусали Костину голову. Он стеснялся чесаться и терпел. Капочка сорвала ветку и хлестала ею по голым ногам. Это был действенный способ, но бить хворостиной по собственной голове было унизительно. Костя изредка как бы в задумчивости проводил ладонью ото лба к затылку: башка зудела неимоверно.

— Зачем же ты постригся? — с материнской ноткой спросила вдруг Капочка. — Вот теперь напрасно мучаешься. Ведь мучаешься, правда?

Она повернулась, и Костя близко увидел ее спокойные глаза: серые, с рыжими блестками. Он никогда еще не видел их в такой пугающей близости, судорожно глотнул и сознался:

— Кусаются.

— А почему ты кепку не надел?

— Из моей кепки Федор Ломовик настольную лампу сделал.

— О господи, — совсем уж по-взрослому вздохнула Капа. — Ты пока похлопай себя, а я колпак сделаю: у меня вчерашняя «Комсомолка» есть.

Пока Костя хлопал, она быстро сложила из газеты большой кораблик. Костя нагнулся, чтобы она надела этот кораблик на его многострадальную голову, но Капочка сначала ласково погладила ее, чтобы побыстрее заживали комариные укусы.

— Плюшевый! — Она вздохнула. — Две макушки, значит, у тебя будут две жены.

— Нет! — закричал Костя. — Ни за что!..

— Примета, — важно сказала она. — И зачем ты только подстригся?

— Я в армию иду, — тихо сказал он. — В понедельник к двум в военкомат.

— У нас же бронированный завод.

— Я добровольно.

— Молодец. — Капочка еще раз погладила его и надела колпак. И вздохнула. — Это ты правильно решил.

И, опять не оглядываясь, пошла вперед, похлопывая прутиком по ногам. Он глядел на эти белые ноги, видел, как легко топчут они цветы, и умилялся. Сам он сорвал три хилых стебелька, тискал их в кулаке и лихорадочно соображал, о чем бы завести разговор. Но в голове было гулко, как в колодце.

— В летчики попросишься? — спросила она.

— Нет.— Он догнал ее, шагал рядом.— Меня в связь берут: я ведь монтер.

— Смотри, опять током треснет.

— Не треснет: там напряжение слабое.

— Три года! — сказала она.— Все-таки это ужас, как долго. У тебя мама есть?

— Есть. Они с отцом под Москвой живут, в Софрино.

— А у меня только тетка.— Капочка вдруг поджала губы и липким голосом сказала: — «Ну, куда, куда ты за платье хватаешься? Приличная девушка сначала одевает ноги...» — Она засмеялась.— А что мне ноги-то одевать? Сунула в тапочки — вот и готово.

— Здорово ты тетку вообразила! — восхищенно сказал Костя.— Она мизинцы оттопыривает, да?

— Все она оттопыривает,— вздохнула Капа.— Вообще-то она, конечно, заботится обо мне. Только... только она ужас какая жадная. И все велит считать и записывать. Купила спичек и — записывает. А уж про вещи и говорить нечего. Я знаешь как тогда наревелась?

— Когда? — со страхом спросил Костя.

— После танца. Я ведь ее туфли надела. У меня нет на каблучке, вот я и надела. А ты их оттоптал, Собакевич.

— Капочка...

Они остановились. Капа как-то боком, как птица, глянула на него, спросила вдруг:

— Какая же я девушка: приличная или не очень?

— Капочка, ты... — Костя задохнулся от восторга и волнения.— Ты...

— Цветы собираешь? — Она улыбнулась.— Торопишься?

— Нет, что ты! Я думал...

— Думать сегодня буду я,— тихо и как-то особенно серьезно сказала она.

И, не ожидая ответа, зашагала в лес. А Костя, бросив цветы, покорно шел следом...

Они вырвались из комариной низины, и теперь вокруг них щелкали птицы, жужжали шмели и звенела тугая листва. Пахло разогретыми соснами и земляничкой, и Капочка, присев, уже собирала в ладошку редкие ягоды. Потом сказала:

— Закрой глаза, открой рот.

Костя крепко зажмурился, и она высыпала ему в рот землянику.

— Вкусно?

Он чуть коснулся губами ее сладкой земляничной ладони. Сердце грохотало, заглушая птичьи голоса, хотелось прикоснуться, прижаться хоть на мгновение к ее губам,

но он не смел. Он испытывал почти священный трепет и, случайно касаясь ее платья, поспешно отдергивал руку.

— Ты хотел бы стать Робинзоном?

Он с трудом расслышал, что она спросила. Глянул, словно вынырнув:

— Нет.

— Почему же нет?

— Капиталист он. Идеология капитализма, все себе да себе.

— Так ведь не было же больше никого!..

— А Пятница? Зачем он Пятницу слугой сделал?

— Слугой...— Капа подозрительно заглянула в его глаза.— Неужели для тебя это главное в Робинзоне Крузо?

— Нет вообще-то...— Костя хмурился, думал. Потом сказал: — Главное, человек не может один. Без общества, без коллектива, без...— Он запнулся.— Без друга. Ты не согласна?

— Вот ты какой...— удивленно протянула Капа и, невольным движением подобрав платье, опустила на траву.— Ты, оказывается, и спорить умеешь?

— Если нужно...— Костя сел рядом, позаботившись о дистанции.— С Федей приходится.

— А с Сенечкой Киновралем?

— А зачем с ним спорить? Он в стихах весь. В стихах да в Кате.

— В стихах да в Кате...— повторила Капа.— Катя счастливая, правда?

— Не знаю. Федор говорит, что счастья вообще нет, потому что счастье — это миг.

— А ты как думаешь?

— По-моему, миг — это счастье для пауков. Сlopал муху — вот и все счастье. А для человека...

До сих пор он говорил не поднимая головы, а тут вдруг поднял. Поднял и увидел ее глаза: серые с рыжими блестками... И сразу пересохло во рту, гулко загудело в ушах, и он, уже не соображая, неуклюже, по-телячьи ткнулся лбом в ее колени...

— Эй, ребятки, бычков не видали тут?

Костя рванулся в сторону, перелетел через куст, вскочил, часто моргая и задыхаясь. А Капа и не шевельнулась: одернув платье, невозмутимо поправляла прическу.

— Бычков, спрашиваю, не встречали?

Проморгавшись, Костя обнаружил маленького замшелого деда-опенка: в мятых штанах, сатиновой рубашке и нелепой соломенной шляпе с огромными полями. У деда были

хитрые выцветшие глазки, плешивая бороденка и корявые, растоптанные ступни.

— Каких бычков?..— с трудом спросил наконец Костя.

— Колхозных. Вчерась на ферму не заявились, вот сегодня меня и послали искать заместо воскресного чина-почина. Два бурых, один пегий...

— Не знаю,— сказал Костя.

— А вскочил, будто своровал чего.— Дед хитро посмотрел на невозмутимую Капочку.— А может, своровал?

— Он, дедушка, не грабитель,— ласково улыбнулась Капа.— Он в армию завтра идет.

— Полезное дело.— Дед уселся на соседнюю кочку и достал кисет.— Сам служил, полезное дело. Табачком балуешься?

— Я не курю.

— Ну, закуришь еще. Жизнь, она длинная, в ней обязательно даже закуришь. От тоски.

— В нашей жизни нет никакой тоски,— недружелюбно сказал Костя.

— А она не в жизни, тоска-то. Она в человеке заводится. И ежели ты не вор,— тут дед опять хитро покосился на девушку,— то может тоска та в тебе завертеться, и станешь ты ее дымом из себя выживать. Вот так-то.— Он поднялся.— Ну, счастливо вам, парочка,— барашек да ярочка.

— Спасибо.— Капа встала.— А что значит счастливой быть?

— Ну, тебе, значит, жизнь перелить в сынка или в доченьку. А стриженому твоему — вырастить их да на ноги поставить.

— А вам?

— А мое счастье — помереть в одночасье,— улыбнулся дед и шустро затопал через поляну.

— Дедушка!..

Капа догнала его, о чем-то потолковала, долго махала вслед. Потом вернулась с ломтем ржаного хлеба, густо посыпанным солью. Она отломилась от ломтя маленький кусочек, а остальное протянула Косте:

— И лучше не спорь. Ешь и не спорь со мной.

Костя был голоден и не спорил. Только дожевывая этот необыкновенно вкусный хлеб, проворчал непримиримо:

— А насчет счастья он неправду говорил, дед этот. Неправильное у него представление о счастье, частное какое-то.

— Как у Робинзона Крузо? — не без ехидства спросила Капа.



— В общем, да,— сказал Костя.— Зачем он жил, Робинзон этот?

— Как — зачем? Чтобы выжить.

— Значит, есть, пить, спать? Так для этого и те бычки живут, которых дед искал. А я — человек, мне этого мало.

— А что же тебе надо?

— Не знаю.— Костя вздохнул.— Может, это еще понять нужно? И, может, человеческое счастье в том и состоит, чтобы понять, для чего на свете живешь?

— Может быть...— Капа тоже вздохнула.— А я знаю дорогу в деревню.

— А зачем нам в деревню?

— За молоком,— неопределенно сказала она.— Сколько времени?

— Двенадцать часов без четверти.

— Вот видишь.— Она опять вздохнула.— Кажется, нам пора.

Мир стал тускнеть, наливаясь свинцом, и даже сосны вдруг зашумели тревожно. Костя огляделся. С запада шла низкая черная туча.

— Гроза,— сказала Капа.— Все равно придется идти в деревню.

Костя промолчал. Она подождала ответа, вздохнула и пошла вперед — вниз, к невидимой речке. А он послушно шел следом...

Сосновый лес незаметно перешел в сырой осинник, сквозь кусты блеснула медленная и запутанная лесная речка. Они спустились к воде и нашли кладку: два неошкуренных березовых ствола. Капа сняла тапочки, первая осторожно ступила на скользкие бревна.

— А знаешь, зачем я у бабушки хлеб выпросила? — вдруг спросила она.— Есть такая примета: если поесть от одного куска...

Босая нога скользнула с гладкой березы, Капочка взмахнула руками и, ахнув, полетела вниз. Костя прыгнул следом: ему было по пояс, но Капа падала боком и угодила под воду с головой. Костя подхватил ее, мокрую, испуганную, жалкую. Схватил, прижал к груди и замер, боясь, что она рванется, оттолкнет... Но она молчала, и он долго стоял в воде, бережно держа на руках ее невесомое тело.

— Тапочки!..— вдруг крикнула она.— Я же тапочки утопила!..

Они бестолково бросились к берегу, завязли в осоке, упали.

— Может, они еще плавают?

Костя побежал, шурша мокрыми штанинами. Метался

по берегу, распугивая лягушек,— тапочек нигде не было. Так и вернулся ни с чем, а Капа еще издали закричала:

— Не подходи!..

Сквозь листву смутно белело что-то. Потом над кустами взлетели руки, и Капа спросила:

— Ну, где ты там?

Костя подошел: она наспех одергивала кое-как отжатое платье.

— Утонули.

— Знаешь, я платье порвала,— тихо сказала она.— Вот.

Повернувшись, чуть выставив ногу: на мгновение мелькнуло голое бедро и сразу исчезло.

— Не расстраивайся...

Тут он вспомнил про часы. Поболтал: в корпусе хлюпала вода.

— Стоят.

— Господи, какая я нескладеха! — с досадой воскликнула она.— Ты один в деревню пойдешь.

— Почему один?

— Я заявлюсь в рваном платье и босиком, да? Ты выпросишь иголку и ниток. Белых! И узнаешь, как нам до своих добраться.

— Ты здесь ждать будешь?

— Здесь меня комары сожрут: они обожают мокрых.

Иди вперед.

— Почему?

— Господи, какой ты глупый! Да потому что я страшная, вот почему. И смотреть тебе не на что.

Костя хотел сказать, что смотреть ему есть на что, но не решился. С темного неба тяжело упали первые капли.

— Дождика нам еще не хватало,— вздохнула Капочка.— Ох, какая же я телема!

— Кто?

— Не оборачивайся! Телема — значит нескладеха. Так меня тетка величает.

Они миновали кусты, и справа показался полуразрушенный сарай. Костя добежал до него, открыл скрипучую дверь, заглянул:

— Иди сюда!

В сарае еще недавно хранили сено. Костя сгреб остатки в одно место, взбил, сказал, не глядя:

— Грейся. Я мигом...

Низкие тучи метались по небу, но дождь все никак не мог разойтись. Часто грохотал гром, желтые молнии вспарывали пыльный небосвод, а капли падали редко, словно прицеливаясь, куда ударить.

Костя бежал к деревне, а невесть откуда взявшийся ветер бил в лицо, прижимал к телу мокрую одежду. Луга кончились, по обе стороны проселка, чуть прибитого робким дождем, тянулись поля, гибкая рожь стлалась под ветром. За полями совсем близко виднелись первые крыши. Костя взбежал на бугор, за которым шли огороды, и... И остановился.

Вой стоял над деревней, бабий вой над покойником, над минувшим счастьем, над прожитой жизнью. Пронзительный плач метался со двора во двор, из избы в избу, и не было в нем ни просвета, ни передышки, как в том низком, свинцовом небе, из которого хлынул наконец ливень. И Костя мок под ливнем и не смел войти в эту деревню, в этот страшный, кладбищенский плач, древний, как сама гроза.

Вымокнув до нитки, Костя пошел назад, подгоняемый чужим стонущим горем. Добрел до сарая, проскользнул в скрипучую дверь и чуть не заорал, увидев что-то белое, что мерно качалось под перекладиной. Но тут сверкнула молния, и он успел заметить, что на палочке болтается Капино платье.

— Промок? — тихо спросила она из угла.

— Я не принес ниток, — вздохнул он. — Там несчастье какое-то в деревне: воют все разом, будто в каждой избе по покойнику.

— Ты простудишься, — сказала она. — Сейчас же все сними, слышишь? Я отвернусь.

Костя покорно стянул липнувшую к телу рубашку и брюки, отжал, раскинул на загородке. Снаружи по-прежнему лил дождь, сквозь дырявую крышу капало, и Костя, поживаясь, все выбирал посуше местечко...

— Ну где же ты? — шепотом спросила Капа. — Ты же простудишься так. Иди сюда: в сене тепло...

Он не помнил, как сделал эти четыре шага. Шел, как слепой, вытянув руки, наткнулся на Капочку, упал рядом.

— Мокрый, — озабоченно сказала она. — И вытереть-то тебя нечем. Ближе ложись, я тебя сеном укрою.

Как пахли ее волосы! Сеном и дождем, солнцем и земляникой, женским телом и сосновой смолой. И Костя держал руки по швам, боясь шевельнуться, боясь спугнуть, боясь оскорбить эту немислимую щедрость...

— Обними меня...

Неужели ночь сменяет день только потому, что Земля вращается? Неужели все льды Арктики нельзя растопить теплом одного-единственного человеческого сердца? Неужели

ли есть на земле рыдающие деревни и черные грозы? И неужели может быть на свете вторая, третья, десятая любовь?..

— Я люблю тебя. Слышишь? Я люблю тебя!..

— Говори. Говори, что ты любишь меня. Говори.

— Я люблю тебя.

Он чувствовал себя взрослым, могучим, готовым сделать все, что прикажет эта единственная во всем мире женщина.

— Меня нельзя любить,— вдруг сказала она.— Разве можно любить девушку с таким длиннющим именем — Капитолина?

— Капелька! — Он зарылся лицом в ее волосы.— Я знаю, что такое счастье, Капелька. Счастье — это ты.

— Неправда! — Она радостно засмеялась.— Сам на девушку накричал...

— Счастье — это ты,— убежденно повторил он.— Знаешь, каждый из нас в юности высаживается на необитаемый остров. Каждый из нас строит свой собственный дом и сажает свой собственный хлеб. У кого-то этот дом течет, а хлеб получается горьким, но это не беда. Главное, что все мы Робинзоны и все ждем свою Пятницу. И когда приходит она...

— Вы делаете ее слугой.

— Нет, Капелька! Я дождался тебя в воскресенье, значит, ты не Пятница. Ты мое воскресенье.

— Я твоя Пятница. Твоя Пятница, слышишь!.. Обними меня. Крепко, крепко!..

— Завтра мы пойдем в загс...

— Зачем?

— Разве мы не муж и жена?

— Мы муж и жена. Но лучше ты спроси меня об этом ровно через три года.

— Но почему, Капелька?

— Надо уметь ждать, Костик. Считать дни и часы, мечтать о встрече, писать письма и все время думать друг о друге. И я хочу ждать. Хочу плакать в подушку, хочу мечтать о тебе. Наверно, это и есть счастье: уметь мечтать и верить в свою мечту.

— Я люблю тебя. Слышишь? Я просто люблю тебя.

— Какой сегодня удивительный день!..

Разве существует время? Нет. Остановились все часы, и только два огромных человеческих сердца грохочут сейчас во всей вселенной...

— Я люблю тебя.

Разве существует пространство? Нет. Оно до отказа заполнено тобой. Твоими глазами. Твоей улыбкой.

- У нас будут дети. Трое: девочка и два мальчика.
- Хорошо бы близнецы...
- Глупый! Это знаешь как редко случается?.. Ужас!..

Но ты не бойся: я крепкая.

— Ты красивая. Ты очень красивая.

— Что ты! Я телема. Это просто счастье во мне светится. Как лампочка.

— Пусть дети будут похожи на тебя.

— Мальчики — на меня, девочка — на тебя: есть такая примета. И еще: первой обязательно должна родиться девочка.

— Почему?

— Она будет мне помогать.

— А как мы их назовем?

— О, это нельзя решать заранее! Есть имена весенние, а есть осенние, и все зависит от того, когда человек рождается.

— У тебя весеннее имя, Капелька...

Гроза давно прошла, тучи разогнал ветер, и над миром опять светило огромное и равнодушное солнце. А в деревне все еще плакали женщины, бились о твердую землю, рвали на себе волосы. И в старом сарае на охалке прошлогоднего сена сидели двое: стриженный парнишка и большеглазая худенькая девочка...

А времени действительно не было: часы Сени Киноваря остановились на трех минутах первого в воскресенье 22 июня 1941 года...

В этот день, ровно в четыре утра, мой сосед, скрипя протезом, неторопливо спускается во двор. Когда он проходит мимо дворников, они, оставив работу, почтительно приподнимают кепки. Он садится на скамейку у детских качелей и закуривает. А над Москвой тихо всплывает заря.

Константин Иванович, угрюмо нахохлившись, разглядывает папиросу и вспоминает тех, кто никогда не увидит ни зари, ни заката.

И дворники тоже вспоминают. Вспоминают своих поэтов и своих кузнецов...

У Константина Ивановича большая семья: два сына и дочь, только сыновья родились первыми. Один раз всей семьей они были в Польше и медленно прошли весь Освенцим — от ворот до печей — тем самым путем, которым прошел его когда-то заводской поэт Семен Филин—Киноварь. А однажды они заехали в Севастополь: постояли у обелиска, на котором пятым сверху значится старшина

Федор Ломов. Нет, московский кузнец не зря носил тельняшку.

А вот в Смоленск Константин Иванович всегда приезжает один. Он копит отгулы, чтобы раз в году выйти на огромную пустую площадь. Ветер гоняет рыжие кленовые листья, треплет седые волосы Константина Ивановича. Но он стоит долго и одиноко, стоит не шевелясь. Стоит на том самом месте, где 17 октября 1942 года гестаповцы повесили партизанскую связную со странной подпольной кличкой «Пятница»...

И о ней он никогда не рассказывает. Никому...

А потом по асфальту звонко стучат каблучки.

— Папка, я пошла!..

Константин Иванович машет рукой. Мне всегда кажется, что он шепчет вслед этим веселым звонким каблучкам:

— Возвращайся счастливой, дочка. Пожалуйста, возвращайся счастливой!..

У его девочки редкое и очень длинное имя: Капитолина. Капелька...

## СТАРАЯ «ОЛИМПИА»

В нашем переулке никогда не появляется интуристовский автобус. Маршруты проходят рядом — по широкой, прямой улице, подмявшей под себя тихие поленовские дворики. Здесь, у сверкающих неоном бесконечных витрин, тормозят машины и туристы степенно разминают ноги. Зрачки аппаратов привычно обшаривают монументальные фасады, гид торопливо и бесстрастно перечисляет квадратные метры стекла, тонны бетона и кубы пространства, и автобус трогается.

Когда в моей комнате открыто окно, я слышу вздохи автобуса, шелест дверей, монотонный голос гида. Мой дом — за спиной ультрасовременного проспекта. Когда прокладывали магистраль, снесли деревянные дома и построили панельные; наш дом уцелел чудом. Правда, он каменный и трехэтажный, но три его этажа равны пяти современным.

Мы живем на самом верху — там, где нелепо торчит единственный балкон. А попасть к нам можно только со двора по узкой лестнице со стертymi каменными ступенями. Она ведет под крышу. Здесь площадка и дверь, обитая старым войлоком. На косяке — звонок, а под ним — табличка с семью фамилиями.

Когда-то в школе учитель истории показал нам план Москвы конца восемнадцатого столетия, и я нашел на том плане наш дом. Он сгорел во время великого московского пожара, но фундамент остался. После урока мы спускались в подвал и нюхали стены: они пахли порохом 1812 года.

За стеной моей комнаты день и ночь стучит машинка. В нашей квартире не принято ворчать по этому поводу: работа есть работа. И когда в коридоре раздастся один никому не адресованный звонок, дверь открывает тот, кто оказался ближе.

— К машинистке? Вторая дверь налево.

Посетитель исчезает за указанной дверью, и если за-

держаться в коридоре, то почти всегда услышишь один и тот же диалог:

— Ваша машинка берет пять экземпляров?

— Семь. У меня хорошая машинка. У меня старая «Олимпия».

Итальянский фильм «Рим, 11 часов» она любила больше всех фильмов. Это был фильм о машинистках, а значит, о ней. Она смотрела его двадцать восемь раз и знала наизусть:

«— О, вы прямо пулемет!..

— Старый пулемет, синьор...»

Слезы текли по ее лицу, и она очень стеснялась, потому что в зрительном зале больше никто не плакал. Она торопливо вытирала глаза скомканным платочком, кусала губы, но слезы все равно текли и текли и мешали смотреть. От слез затуманивались очки, их приходилось снимать, а фильм не ждал, фильм шел дальше, и тогда она плакала без очков.

— Семь экземпляров. У меня старая «Олимпия».

Она говорила с печальной гордостью. Она гордилась своей машинкой и считала старой не ее, а себя. И все во дворе называли ее «Старой Олимпией». Разумеется, за глаза.

— Катька, война-а!.. С немцами, Катька! Ур-ра!..

Это кричал я. Мне было тогда тринадцать, но я до сих пор не могу простить себе того идиотского восторга. Я плясал на темных кирпичках нашего двора, а из всех окон на меня молча смотрели неподвижные лица жильцов. А я орал и бесновался, потому что ее окно было закрыто.

— Катька, Киев бомбили!..

Окно распахнулось, и Катя почти по пояс высунулась наружу. Она была без кофточки и прикрывала руками голые плечи.

— Ты дурак, да?

Я обиделся и замолчал. Я был тайно влюблен в Катю, а она упорно считала меня младенцем. Накануне у нее был выпускной вечер, и она целовалась впервые в жизни.

...Через две недели провожали вчерашних десятиклассников. Ломкая колонна неторопливо вытягивалась из школьного двора, а по обе стороны стояли люди. Мальчишки кричали и махали плакатами, взрослые молчали. Колонна двинулась по переулку, сворачивая на Арбат, к Смоленской, провожающие шли по тротуарам, а девушки, надевшие в



этот день лучшие свои платья, в драгоценных туфельках семеня по мостовой. В конце Арбата стали отставать знакомые, потом друзья, но девушки шли до конца, до Киевского вокзала, до ворот, дальше которых никого не пускали. И стояли у этих ворот тихо и обреченно, пока ребят не погрузили в эшелоны.

На другой день я не узнал Кати. Она разговаривала теперь негромко и коротко, улыбалась мельком, ходила строгой и важной. И подружки ее, собираясь, уже не хотали, не прыгали через три ступеньки, и голоса их не звенели больше во дворе. Тогда я думал, что расстались они с любовью, и даже злорадствовал, но теперь понял, что в тот день расстались они с юностью. Она ушла из их жизни ломкой колонной вчерашних десятиклассников, отстучала подошвами по арбатскому асфальту, и хмурые сторожа со скрипом закрыли за нею тяжелые ворота киевского грузового двора. Закрыли навсегда.

...Осенью вслед за юностью ушла и Катя. Ее долго не хотели брать, потому что ей было только семнадцать, но Катя добилась своего. Утром постучала в нашу комнату.

— Ну, до свидания,— сказала она мне и подала руку, как взрослому.— Смотри, маленьких не обижай!

Ее долго целовали плачущие женщины, совали на дорогу припрятанные шоколадки. Катя что-то говорила, улыбалась, и глаза у нее были сухие. А я стоял в углу и молчал: кажется, именно в то утро я начал понимать, что такое война.

Семнадцать лет и хрупкость все-таки подвели Катю: ее не взяли ни в разведку, ни в связь, ни даже в санитарки. Ее направили в штаб армии и вместо автомата вручили разбитый «Ундервуд».

— Портянок зимних — двадцать тысяч шестьсот сорок три пары. Рубах нательных теплых... из них первого роста... второго... Напечатала, Катюша?

Лысый, страдающий аритмией начальник вещевого довольствия подполковник Глухов был ее первым «полководцем». Он научил ее печатать на машинке и подшивать документы, познакомил с армейским бытом, защищал, наставлял и берег:

— Если кто приставать будет, сразу мне говори.

Катя краснела, прятала глаза. К ней еще никто никогда не приставал, а теоретические познания были невелики. Спала она вместе с другими женщинами, они были старше ее и тоже берегли и наставляли:

— Главное, тех, которые с усами, бойся. Усатые насчет юбок хорошо соображают, учти. И бей сразу по физиономии.

Катя послушно кивала, но бить было некого. Молодых в штабе армии не держали, старшие же с удовольствием опекали ее, дарили редкие сласти, перешивали по росту одежду. Даже ошалевший от бессонницы командующий, взлета бровей которого боялись пуще бомбежки, остановил как-то на улице:

— Сколько лет?

— Я доброволец,— испуганно сказала Катя.

— Доброволец! — усмехнулся командующий.— Савельев!

Щеголеватый адъютант метнулся от машины:

— Слушаю вас, товарищ генерал!

— Посылку не всю слопал?

— Никак нет, товарищ командующий. Не трогал.

— Отдай девчужке.

— Сейчас?

— Ну?..

— Слушаюсь! — Адъютант кинулся в избу, скользя на утоптанном снегу хромовыми, в обтяжку, сапогами.

— Так сколько же все-таки лет? — допытывался генерал.

— Девятнадцать! — отчаянно соврала Катя и покраснела.

— Нехорошо старику врать,— укоризненно сказал командующий.

— Я не вру,— тихо сказала Катя.— То есть... немножко.

— Ну?

— Семнадцать с четвертью,— честно призналась Катя.

— Довоевались,— вздохнул командующий и сел в машину.

Из дома с грохотом вылетел адъютант с фанерным ящичком. Отдал ящичек Кате, скользя, побежал к машине. Катя неудобно держала ящичек на вытянутых руках и с опаской глядела вслед, потому что адъютант был с усами.

В посылке оказался урюк, и вечером женщины пили в землянке чай. Катины слезы капали на урюк, сладкое мешалось с соленым: машину с командующим и щеголеватым адъютантом накрыло случайным снарядом.

— Кальсон байковых... Чего потупилась, Катюша? Кальсоны — спасители наши: морозы под сорок...

Тяжелая рука ложилась на плечо. Сначала Катя ежилась под этой рукой, а потом поняла, что ложится она защищая. От этого открытия жить сразу стало проще; Катя ничего уже не опасалась и вечерами, если не было работы, громко распевала песни.

— Чего, Катюша, краснеешь?

Катя не могла объяснить, почему краснеет. Краснела от резкого окрика, от пристального взгляда, шуток, соленых

анекдотов, мата ездовых и собственной, крепнувшей на пшенином концентрате фигуры.

— Ох, грудочки! — кричала перед сном озорная официантка военоторговской столовой. — Ох, мука чья-то растет! Ох, грудочки что грузочки!

Катя сердилась, пряталась под одеяло. Женщины добродушно смеялись.

В армейском тылу было тихо: наступающие части ушли далеко вперед. Зимой самолеты летали редко, а к весне Катя настолько освоилась, что совсем перестала пугаться. Как только начинали стучать зенитки, накрывала свой «Ундервуд», шла в щель и терпеливо пережидала бомбежку.

Она смирилась со своей негероической должностью: кому-то надо было считать портянки, чтобы победить. И она с такой яростью печатала ведомости, инструкции и докладные, что молодой майор, приехавший с фронта ругаться из-за маскхалатов, распахнул дверь в ее каморку.

— Это что за пулемет?

— Образца двадцать четвертого, — улыбнулся Глухов.

Вечером майор явился с трофейным шоколадом и бутылкой. Женщины пили спирт и опасно шутили, а Катя, краснея, грызла шоколад. Майор сверкал новеньким орденом и, рассказывая, глядел в глаза. У Кати стучало сердце.

— Нет, Катенька, не для вас эта бухгалтерия, — говорил майор, поскрипывая тугими ремнями. — Война кончится, и вспомнить будет нечего. А в разведке я вам через недельку орденочек обеспечу.

Появись этот майор на два месяца раньше, Катя, не раздумывая, сбежала бы с ним, хоть и понимала, что не отвертеться ей от этих уверенных рук. А сейчас только сердце щемило от возможности в любое мгновение глянуть особо и получить этого майора целиком — от хромовых сапог до чуть светящейся лысины.

— Ну, босиком вы тоже не много навоюете.

Это так Глухов говорил, когда она просилась на передовую. А теперь и сама знала, сколько натруженных рук, голодных глаз и бессонных ночей стоит за каждой солдатской спиной. И считала, что она на месте.

Женщины шутили, строили глазки, но за Катей приглядывали строго: дурочка еще, необстрелянная. И все-таки не углядели: выманил ее разведчик в темноту. Схватил в углу, шептал жарко; Катя не соображала. Прижимала руки к груди, вертела головой: он тыкался губами в щеки, в шею. Пролез под руки, стиснул грудь; Катя чуть не вскрикнула. Выворачивалась молча и не так чтоб очень

сердито, и он вдоволь нашарился по натянутой гимнастерке. Пуговицы расстегивать начал, но Катя вырвалась и убежала.

А ночью не спалось — металась. Одеяло сбрасывала, вертелась, подушку тискала так, что болели руки: «Дура, дура несчастная, ну чего испугалась, чего? Вот дуреха-то, настоящая дуреха ты, Катька!..»

Наутро майор уехал, и снова поплелись дни, одинаковые, как шинели. И не для кого даже по двору пробежать, потому что кругом одни старики. Лет под сорок...

А через пять дней у деревни Ольховки, про которую так любили петь в женской землянке, прорвались немецкие мотоциклисты. Вылетали один за другим из-за разбитой церкви, и веселая официантка, первой увидев их, крикнула что-то озорное. И первая же упала, наискось прошитая очередью.

Два часа отстреливались. На счастье, стены в штабной избе срублены были хозяйственным мужиком: с расчетом на правнуков. Держали они и пули и осколки, а вплотную немцы подойти так и не смогли, потому что боеприпасов хватало и лупили в мотоциклистов все, кто только мог.

Катя тоже стреляла. Била, крепко зажмуриваясь перед каждым выстрелом и все время забывая прижимать приклад к плечу, — оно потом распухло. Катя долго не могла печатать... Впрочем, диктовать было некому: подполковник Глухов умер у нее на руках. Смотрел в упор уже уходящими глазами, силился сказать что-то и не сказал. Только кровь пузырилась на губах.

За этот двухчасовой бестолковый и яростный бой начальство всех представило к наградам. Через месяц, красная от гордости и смущения, Катюша получила из рук члена Военного совета первую солдатскую медаль «За боевые заслуги».

А потом редела в землянке. В голос редела: слезы текли по крутым щекам и капали на новенькую медаль. Жалела Глухова, беспутную официантку и себя. Почему-то очень жалела себя. До боли...

Вместо подполковника Глухова, похороненного в одной братской могиле с разбитой официанткой и еще двенадцатью работниками штаба, пришел капитан Дворцов. Высокий, седой, длиннорукий. Может быть, потому длиннорукий, что рука у него была всего одна, и Катя все время видела только ее, эту одну несуразно длинную сиротливую руку.

— Ты, что ли, моя команда?

— Я.— Она встала, вдруг чего-то испугавшись, словно

в комнату вошел не однорукий, весь в шрамах и орденах капитан, а ее собственная судьба.

— Как называть прикажешь?

— Катя. То есть...

— Катя так Катя.— Он тяжело плюхнулся на жалобно заскрипевший стул.— Была пулеметная точка, досталась пулеметная дочка. Ну, волоки ведомости, вводи в курс. Чего уставишься: калек не видела, что ли?

Катя опустила глаза, закусила губу, достала папки. Он листал ведомости, мучительно морщась, точно глотал кашторку.

— Дожил ты, Дворцов. Хлопцы там глотки фрицам грызут, а ты портяночки считаешь, мать твою в перемать...

— Не ругайтесь,— до жара покраснев, тихо сказала Катя.— Пожалуйста.

— Что? — Дворцов удивленно посмотрел на нее.— Уши ватой заложи, пока не привыкнешь.

— Я заложу.— Катя очень боялась, что он увидит слезы в ее глазах.— Заложу, но никогда не привыкну. И вы поэтому все-таки не ругайтесь.

Дворцов фыркнул, но промолчал и сердито уткнулся в бумаги. На следующий день Катя притащила ворох ваты и, как только Дворцов вошел, демонстративно законопатила уши.

— Ладно,— хмуро сказал он.— Перестань дурить, я не буду ругаться.

Он и в самом деле никогда при ней больше не ругался, а вот нечаянное прозвище «пулеметная дочка» так и осталось за Катей. И она, вероятно, даже гордилась бы этим прозвищем, если бы не та откровенная насмешка, которую чувствовала, когда эти слова произносил капитан Дворцов.

Так началось состояние «холодной войны». Катя очень страдала, ощущая непонятную в своей откровенности недоброжелательность нового начальника. Она не пыталась понравиться, уже перешагнув за детский рубеж, но еще не обретя женской независимой уверенности. Она стала вдруг какой-то неуверенной, скованной и крайне неуклюжей: отвечала невпопад, делала глупейшие ошибки и все роняла. И плакала по ночам без всякой причины.

— Влюбилась наша Катюша,— вздыхали женщины.— Надо же!

Катя сердилась, яростно отнекивалась, даже кричала на старших. Она была убеждена, что ненавидит своего капитана. Так ненавидит, что не может на него смотреть. И сидела, уставившись в истертую клавиатуру потрепанной машинки.

А он и не разговаривал с нею. Даже не диктовал: просто клал на стол написанное от руки, сухо пояснив:

— Сегодня к вечеру. В пяти экземплярах.

И она печатала, не поднимая глаз, не обращая внимания на входивших в комнату. Словно ее не было здесь. Словно она уже была и не она, а простой придаток к пишущей машинке.

— Костя, ты ли это? Болтали, что тебя на куски разнесло!..

— Сашка, друг!

Катя никогда не слыхала таких интонаций у капитана Дворцова. Даже не предполагала, что он способен радоваться, как все люди. И поэтому впервые за много дней оторвалась от машинки.

Дворцов хлопал по плечам, по спине, бил кулаком в грудь коренастого незнакомого полковника. Полковник хотел, хлопал в ответ Дворцова: только ордена звенели. Потом они утомонились, присели, закурили. Катя делала вид, что считывает отпечатанную справку, но уши ее были там, у стола начальника.

— Значит, уцелел, старый черт! Ну, рад, рад до смерти! Где Лена, где парнишка твой?

Пауза была очень маленькой, почти неуловимой, но Катя почувствовала ее. Почувствовала и, еще не слыша ответа, уже поняла, каким он будет.

— Одной бомбой, Саша. И Лену и Юру — одной бомбой.

— Что ты, Костя...

— Одной бомбой, Сашка, — спокойно и строго повторил Дворцов. — А я, видишь, живой. Смешно, да? Под танком побывал, а живой. Вот какие пончики, как говорил наш начальник штаба.

— Ты точно знаешь, Костя? Может...

— Ничего, Сашка, уже быть не может: в той машине майор Крестов ехал. Помнишь Крестова? Рыбу ловить любил... Вот. Ему стопу оторвало, а их — в куски. Мне сам Крестов все и рассказал: мы с ним в госпитале встретились.

Полковник говорил что-то необязательное, Катя не слышала. Да и Дворцов тоже не слушал. Поднял вдруг голову, усмехнулся.

— Слушай, полковник, если я тебе сейчас морду набью, меня в штрафбат отправят? Не могу я тут, понимаешь?.. Жить не могу!

Полковник встал, прошелся, посмотрел на Катю, как на печку, вернулся к Дворцову:

— Пиши рапорт на имя командующего. Все изложи: про Ленку, про сына, про танк, который тебя пропахал.

Я сам командующему передам; он меня знает, думаю, простит уставное нарушение.

Вечером капитан Дворцов пришел в избу, где жили женщины. Положил на стол банку тушенки и полную флягу:

— Помяните моих... Поревите, если сможете.— Пошел к дверям, остановился, достал из сумки толстую плитку американского шоколада: — Держи, пулеметная дочка.

И ушел. Катя рассказала, что знала о погибшей семье Дворцова. И женщины пили сырец, плакали и пели.

И опять Катя плакала всю ночь, но теперь это были иные слезы. Она уже не думала о себе и жалела не себя. Впервые в своей короткой жизни она жалела чужого мужчину, жалела не за то, что он — калека, а жалела вообще, как умеют жалеть русские бабы. И в этой щемящей жалости рождалась и крепла уверенность, что именно она, Катя, должна спасти его от тоски, горя и одиночества, именно она должна вернуть ему счастье и радость. И она уже знала, что надо сделать для этого, и тоже впервые в жизни не стеснялась своих мечтаний. Наоборот, именно с ними, с этими грешными женскими мыслями, она становилась сильной, спокойной и мудрой, как самая настоящая женщина.

Но отчаянно смелой Катюша была только в мечтах, по ночам. А днем краснела, прятала глаза и стучала не по тем буквам на своем «Ундервуде».

Мужество нашло Катю, когда в нем уже не было нужды, потому что капитан Дворцов вдруг повеселел. Он вошел в комнату, скрипучим голосом и весьма немзыкально напевая песню, которую так любили именно в их армии:

День и ночь стучит колесами вагон,  
День и ночь идет на запад эшелон,  
В том вагоне фотографию твою  
Из кармана гимнастерки достаю.  
Ты, я знаю, измениться не могла,  
Ты, я верю, все такая ж, как была.

Катя смотрела на него разинув рот.

— Ну, Катя, вместе! — весело крикнул он.

Атака ночная,  
Граната ручная,  
Сплошной нескончаемый бой,  
Я верю, тебя вспоминая, родная,  
Что скоро я встречу с тобой!..

И Катюша запела тоже. Сначала тихо, неуверенно, а потом во весь голос, как во времена подполковника Глухова. А когда они дружно и старательно допели песню до конца, капитан Дворцов сказал, улыбаясь от уха до уха:

— Разрешили, Катерина! Разрешили, чуешь?..

— Что разрешили? — еще продолжая по инерции улыбаться, но уже все поняв, спросила Катя, и сердце ее застучало стремительно и больно.

— «На позицию девушка провожала бойца...» — Капитан обнял стул единственной рукой и провальсировал по комнате. — Назначен ПНШ-один в действующий стрелковый полк. Завтра за мной заедет Сашка, и... прощай, пулеметная дочка!

— Завтра?

— Завтра, Катерина, завтра!

Катя вдруг встала. Какие-то очень важные и почти секретные бумаги посыпались на пол, но она уже ничего не видела и не хотела видеть. Она видела только его, опаленного изнутри и перепаханного снаружи. Видела его и шла к нему, натываясь на пронумерованные и оприходованные штабные стулья.

— Ты что это, солдат?

Капитан схватил за плечо, больно сжал и не позволил сделать того последнего шага, за которым уже не было ничего, а лишь его грудь. Его грудь, к которой она до боли хотела прижаться; тело, в которое она мечтала перелить свое тепло, свой жар молодого, глупого и безоглядного в этой глупости девичьего тела. А он сказал: «Солдат». Не «Катя», не «девочка», даже не «дочка». «Солдат». И Катя с такой быстротой закрыла ладонями свое пылающее лицо, словно сама себе давала пощечины.

— Это еще не любовь, солдат, — тихо сказал Дворцов, все еще цепко держа ее в отдалении длинной единственной рукой. — Это жалость. А мне жалость ни к чему, я от жалости сам себя жалеть начну. А на мне — крест. И в прошлом и в будущем.

— Уйдите, — тихо сказала Катя, по-прежнему пряча лицо в ладонях. — Пожалуйста, уйдите отсюда.

— Прощай, солдат! — Дворцов крепко встряхнул ее за плечо. — Любовь и на войне — золото: береги ее. Для хорошего парня сбереги!

Это был горький урок, и горечь рассасывалась медленно. И, наверно, поэтому сменивший капитана Дворцова майор Мельник — тоже раненый, но не утративший желания прихлопнуться, — так ничего и не добился. Катя была строга, грустна и неприступна, была вся в прошлом, в своей неудачливой любви к одорукому капитану, и это прошлое спасло ее любовь в незамутненной неприкосновенности еще на целый год войны.

Через год она взорвалась в Кате, эта зажатая девичеством и гимнастеркой жажда любить. Взорвалась в объятиях



такого же молодого, как и она, лейтенанта с седыми висками, обожженным лицом и горькой мужской складкой между сгоревших бровей. Взорвалась в светлом, как храм, березняке, и птичий гомон заглушил Катин девичий вскрик... И Катя до сих пор помнила этот гомон и этот вскрик, до сих пор улыбалась им, улыбалась тихо и печально, осторожно, кончиками пальцев снимая с ресниц слезинки.

Лейтенант был горяч и настойчив. Катя смущенно и сбивчиво втолковывала ему про смятую юбку, про людские глаза, про стыд, а он молча вел ее мимо этих глаз к помощнику по разведке. Почти силой втащил в избу.

— Это моя жена, товарищ полковник. Прошу официально оформить брак.

— Выйди,— помолчав, сказал полковник Кате.

— Нет.— Лейтенант сжал ее руку.— Говорите при ней все, что хотели.

— Хорошо.— Полковник опять помолчал.— Сначала — война, потом — семья.

— Одно другому не помешает.

— Не помешает, если вернешься с задания...

Он не вернулся с задания. Полковник рассказал Кате, что лейтенант отстреливался до последнего патрона и взорвал себя противотанковой гранатой: поиск сложился неудачно. Но для Кати этот лейтенант остался тем, кто приходит в девичью жизнь с любовью и уходит из нее, унося эту любовь. И с того звонкого майского дня она писала в анкетах, что муж ее погиб на войне...

Ах, как стучит за стеной машинка! Как пулемет...

— Понимаете, это очень срочно. Девяносто страниц. Я опоздал со сроками.

— Я сделаю, не беспокойтесь.

Катя сделает. Будет стучать всю ночь, а утром пойдет на работу. И там тоже будет стучать, и там тоже будут просить поскорее, и она скажет, что успеет. И успеет все сделать, не успев пообедать...

...Победу Катя встретила в Германии. Три дня она пела и плакала, плясала и стреляла в чужое, наконец-таки затихшее небо, опьяненная невысказанным счастьем. Это счастье было так велико, что притупило даже ту страшную боль, которая жила в ней с марта сорок пятого. Тогда, в марте, она получила письмо, где сообщалось, что отец ее был убит в январе под Варшавой, а мать умерла месяц спустя. Это письмо писал я сразу после похорон на нашей ком-

мунальной кухне. Поседевшие соседки тихо звякали стаканами, готовя суровые военные поминки, а я мучительно искал, чем бы заменить слово «смерть».

Летом Катя вернулась в пустую комнату. Мы — вся квартира — сидели за ее столом, пили привезенное ею вино и закусывали американской колбасой из последнего Катиного пайка. И я был единственным мужчиной за этим столом, потому что все остальные наши мужчины, отцы, мужья и сыновья, все наши семь звонков остались в братских могилах войны.

Катя очень хотела учиться. Мы тогда много говорили об этом. Все женщины дружно уговаривали ее идти на дневной факультет и ни о чем не думать, кроме учебы.

— Ты же у нас одна вернулась, Катюша. Уж как-нибудь и прокормим и оденем — только учись.

— Спасибо! — Катя улыбалась, смахивая слезы. — Спасибо, родные вы мои!

Она выросла из всех платьев и долго ходила в военной форме, весело звеня медалями. Бегала в МГУ, узнавала о конкурсе на филологический, навещала подруг и осиротевших матерей одноклассников.

И еще искала родственников. Упорно искала, писала письма, делала запросы, ходила, хлопотала, выясняла. И нашла.

— Знаешь, я поступила на работу.

— Как — на работу? А МГУ?

— МГУ? Не получается МГУ.

Было около двенадцати. Я только вернулся с занятий, так как работал днем, а учился вечером. И Катя вышла на кухню, услышав, что я брякаю посудой.

— У моей двоюродной сестры муж пропал без вести. В мае сорок второго, под Харьковом. А у нее трое: двойняшки как раз в сорок втором и родились. Хорошие такие двойняшки.

Помню, я уговаривал ее, с жаром доказывал, что она заслужила право подумать и о себе, что нельзя предавать мечту, что... Что мог еще доказывать семнадцатилетний фрезеровщик с завода «Динамо»? Катя слушала молча, иногда поглядывая на меня, и почему-то с благодарностью. А потом сказала:

— Они картошку поштучно делают.

И ушла работать в машбюро. По специальности.

И на работу Катюша продолжала ходить в старой солдатской форме. Только медали больше не брякали, потому что она сняла их уже на второй день.

— Там вдовы одни, в машбюро нашем. Зачем напоминать?

Первое платье мы подарили ей на день рождения. Мы думали, что она обрадуется, а Катя заплакала. Она плакала так громко, так отчаянно, так безнадежно, что мы и не пытались ее утешать. Мы как-то сразу поняли, что наша Катюша, которой в этот день исполнился двадцать один год, с чем-то прощается.

Катиной зарплаты никак не могло хватить на две семьи, и никакие сверхурочные тут не помогали. Но помог случай, и случай этот Катя считала самым большим своим счастьем. Кроме тех трех часов в березовой роще.

Звонок был длинным, вызывающе веселым, и дверь открыл я. На площадке стоял полковник, держа в правой руке странный и, видимо, тяжелый чемодан. Левый рукав был аккуратно засунут в карман шинели. Он ничего не успел спросить, как за моей спиной вскрикнула Катя, и я посторонился.

— Здравствуй, пулеметная дочка,— тихо сказал полковник.— Здравствуй, родная, здравствуй!

Я забрал лимитки у всех соседей и в смоленском гастрономе купил две бутылки коньяку и самый красивый торт: на большее не хватило. А когда прибежал, перед Катей на столике стояла новенькая пишущая машинка «Олимпия».

Мы всей квартирой пили коньяк, вспоминали тех, кто не вернулся, и громко пели вместе с Катей и Дворцовым:

День и ночь идут жестокие бои...

Допели песню, и Дворцов заторопился:

— Извини, Катюша, через час — поезд. Я ведь проездом: в Сибирь нацелился.

— Как — проездом?..— Катюша встала.— Почему проездом?

— К жене.— Полковник улыбнулся смущенно и чуть виновато.

— Жива?! — крикнула Катя. И столько радости было в этом крике, столько счастья!..

— Нет,— вздохнул Дворцов.— Влюбился, понимаешь, в переводчицу. Девчонку мне родила...

Дворцов уехал, а подарок остался, и теперь Катюша брала работу на дом. Я написал объявления, и мы с ней расклеили их по столбам: «ПЕЧАТАЮ НА МАШИНКЕ».

Катя печатала не просто быстро, она печатала очень грамотно и непременно считывала текст, и ее работа не нуждалась в правке. У нее появилось много заказчиков, но она никому не отказывала, отказывая себе. И не просто в отдыхе или в развлечениях, а в личной жизни, в своей женской судьбе. Она словно приняла ее, эту неустроенную

судьбу, такой, как она сложилась, не споря с ней, не пытаясь сопротивляться, но и не горюя. Только смеяться стала все реже, а редкие новые платья постепенно темнели, пока окончательно не превратились в черные. С белоснежными и очень строгими воротничками.

Впрочем, тут была еще одна причина.

...Тогда она печатала рукопись какого-то заезжего начинающего сценариста. Отдавая работу, часть которой была отпечатана, а часть написана от руки, сценарист стеснялся, беспрерывно курил и повторял:

— Понимаете, все это, конечно, чепуха, не стоит внимания, но просит студия. А в общем, чепуха. Не читайте, если можно.

«Мистер Тутс,— улыбнулась про себя Катя: она очень любила Диккенса.— Милый мистер Тутс». И сказала:

— Как же я буду печатать, не читая?

— Да, конечно, конечно,— покорно согласился он.— Только вы не вникайте.

— Тогда я наделаю ошибок.

— Тоже верно.— Он вздохнул и прикурил новую сигарету.— Ничего, что я курю? Просто мне очень не хочется, чтобы вы подумали, будто я графоман.

Как только «Тутс» ушел, Катя села читать сценарий. Она с трудом продиралась сквозь бисерный почерк сценариста, но ей понравилось. А печатая, вдруг споткнулась на середине.

— Ты не спишь?

Было два часа, я только заснул, но поднялся. Катя вошла с рукописью, странно улыбаясь. Она словно открыла что-то, но робела, не веря в собственную догадку.

— Скажи, если ты — девушка и очень любишь одного человека...

Я хотел спать, не был девушкой, сидел в одних трусах и мерз, потому что именно зимой у нас топили плохо. Но я поднатужился и спросил по делу:

— Люблю-то стоящего парня?

— В том-то и дело! — У Кати, как в юности, сверкнули глаза. К тому времени зрение ее уже стало сдавать из-за бесконечных ночных работ, и глаза теряли блеск. Но очков Катюша еще стеснялась.— В том-то все и дело! Просто он тебя еще не любит. Еще, понимаешь? И поэтому случайно обидел. А тут у него сплошные неприятности с какой-то шахтой, и все от него отвернулись. Все! Он один-одинешенек, и ему плохо. Что ты сделаешь?

— Черт его знает... Впрочем, я — влюбленная девица? Тогда приду к этому парню, и плевать мне на его шахту...

— Но он же тебя обидел.

— Ну и что? Ему же плохо...

— Вот! — с торжеством сказала Катя. — А автор про это забыл. А когда любишь, даже когда просто влюбишься, то все отдашь. Все, понимаешь? Все отдашь и все простишь. С радостью!

Она уже не стала дальше печатать, а утром позвонила «мистеру Тутсу». Было воскресенье. «Тутс» быстренько прибежал, и они о чем-то долго спорили за стенкой. Потом Катюша влетела ко мне.

— Согласился!

Катя всю ночь печатала исправленный вариант, а через неделю сценарист заявился с букетом и вином.

— Приняли! И особенно знаете что хвалили? Ваш эпизод!

— Ну что вы! Я...

— Ваш эпизод, не спорьте! И если бы не вы... Словом, приглашаю вас на просмотр...

— Мне одного билета мало, — улыбнулась Катя. — У нас в квартире семь звонков.

Они пили вино, «Тутс» шутил, и Катюша была счастлива. И чем темнее становилось за окном, тем все оживленнее делалась Катя, и сердце ее стучало так, как не стучало уже давно. С войны.

А он совсем не торопился уходить, сбегал еще и за шампанским и ловко рассказывал смешные истории. Катя хохотала, боялась, что он уйдет, и боялась, что останется, боялась его и боялась себя.

— Ох, как поздно! — спохватился он в первом часу. — Пожалуй, меня к друзьям-то и не пустят. Может, мне к соседу вашему попроситься? Он, кажется, один.

— Зачем же? — сказала Катя, с ужасом услышав, как спокойно звучит ее голос. — Я вам постелю на диване.

Она постелила две постели, но проснулись они в одной. Как всякая женщина, Катюша знала, что так оно и будет, и, как всякая женщина, верила, что утром случится что-то очень важное, а если и не случится, то хоть бы прозвучит.

Но утром ничего не прозвучало. «Мистер Тутс» был суетлив и очень торопился по важным делам. И в этой суетливости было что-то невыносимо оскорбительное.

Больше он никогда не появлялся и не звонил... Катя упорно старалась думать о другом, о светлом, но горечь росла помимо ее желания и воли. И тогда она впервые во всеуслышание назвала свою машинку «старой «Олимпией» с той интонацией, которая осталась навсегда. И стала носить очки.

А фильм она все-таки посмотрела. Правда, не премьеру, потому что билетов ей никто не прислал. Сцена, которую она придумала, была, но от этого горечь, засевшая в ней, словно всплыла наружу, и на картине той плакала она одна, хотя финал был оптимистическим и жизнеутверждающим, как и положено в кино.

И больше решительно ничего не случилось в ее жизни. Сын двоюродной сестры окончил институт и уехал, а двойняшки весело вышли замуж. Они никогда не бывают у нас, но Катя озабоченно говорит, что второй трудно жить, и зарабатывает ей ночами на кооперативную квартиру.

— Семь экземпляров. У меня хорошая машинка. У меня старая «Олимпия».

Если вам надо что-нибудь отпечатать, заходите: Катюша никогда не откажет. Наш дом за спиной ультрасовременных гигантов из стекла и бетона. Подниметесь на самый верх по крутой лестнице со стертymi каменными ступенями и сразу увидите дверь, на косяке которой — табличка с семью фамилиями, и только одна из этих фамилий с мужским окончанием. Моя. Только одна, потому что из нашего дома, подвалы которого до сих пор пахнут порохом 1812 года, а стены — горечью 41-го, мужчины уходили навсегда.

А фамилия... Какая разница, какая у нее фамилия? Она — *Катюша*, а это имя очень многое значило для нас. Очень многое.

Поверьте уж мне на слово, молодые...

1975

## ВETERAN

— Алевтина Ивановна, что же это вы свои факты скрываете? Нехорошо!

Старший бухгалтер отдела сбыта Алевтина Ивановна Конинова — пятидесятилетняя, в меру полненькая и еще не утратившая инстинктивного желания нравиться — удивленно смотрела на секретаря комсомольской организации фабрики. Секретарь был юношески самоуверен, горласт и глядел с победоносным торжеством.

— Я ничего не скрyla, — начала она, лихорадочно припоминая все анкеты, когда-либо заполненные ею. — Я всегда...

— Да вы же, оказывается, ветеран!

Алевтина Ивановна неудержимо начала краснеть. Краснела она по-девичьи, заливая краской и лицо и шею, и сердилась при этом, но сейчас улыбалась мучительно заискивающей улыбкой. И встала.

— Ну что вы, какой же я...

— Знаем, знаем, факты проверены! — прокричал комсорг, наслаждаясь собственной осведомленностью. — Скромность, конечно, украшает, но в год, когда вся наша страна...

Комсорга несло, сотрудницы перешептывались. Алевтина Ивановна чувствовала их взгляды, смущалась еще больше, что-то бормотала, виновато оправдываясь, что она была не на фронте.

— Ну зачем же... Я же не на передовой. Я же...

— Вы — ветеран! — сияя искренней радостью, твердо перебил комсорг. — Ну, намучился я, пока вскрыл... У нас на фабрике при наличии поголовного большинства женщин вы, Алевтина Ивановна, — клад! Завтра выступаете.

— Завтра? — перепугалась Алевтина Ивановна. — Как завтра? Почему завтра?

— Мероприятие завтра в семь во Дворце культуры. Уже объявление пишут: «Воспоминания о войне». Пока!

Комсорг ушел, Алевтина Ивановна опустила на стул

и заплакала. Сотрудницы всполошились, побежали за водой, валерьянкой и главбухом. И главбух пришел раньше, чем притащили валерьянку. Он тоже был женщиной, этот главбух в строгих очках, ему не требовались ни факты, ни логика, и одновременный рассказ всех присутствующих позволил принять единственно правильное решение.

— Идите домой, Алевтина Ивановна.

— Как же..— выпив наконец-таки доставленную валерьянку, вскрикнула Коникова.— Отчет ведь.

— И завтра тоже можете не приходите: я договорюсь с дирекцией. Успокойтесь и подготовьтесь: у вас ответственное выступление.

И Алевтина Ивановна пошла домой. Впрочем, не сразу домой, а сначала в магазин, потому что у нее была семья, которую надо кормить. И, стоя в привычной очереди, занимаясь привычными делами, она как-то сама собой успокоилась и пришла домой хоть и взволнованной, но без того страха, который вдруг обрушился на нее при известии, что она — ветеран Великой Отечественной войны и что завтра ей предстоит выступить в самом большом зале Дворца культуры.

Она готовила обед, кормила прибежавшую из школы младшую дочь, слушала ее новости, даже что-то отвечала ей, а сама с необычайным упорством думала об одном. О том, как завтра выйдет на залитую ослепительным светом сцену, на которой доселе никогда не была, а видела только заезжих артистов, президиум в дни торжеств да участников местной самодеятельности. Думала о том мгновении, когда окажется перед затихшим залом, наполненным ткачихами, которые много лет знали ее и которых знала она. И этот знакомый зал будет напряженно ждать, что же она скажет, будет смотреть на нее, сдерживая дыхание, будет видеть в ней уже не старшего бухгалтера Алевтину Ивановну Коникову, а полномочного представителя тех, кто победил, и тех, кто не увидел победы. И этот момент появления перед людскими глазами занимал ее сейчас куда больше того, о чем нужно было бы подумать и к чему следовало серьезно подготовиться.

Правда, тут Алевтина Ивановна немножко успокаивала сама себя. Она очень верила собственному мужу — человеку серьезному, непьющему, прошедшему фронт, трижды раненному и все-таки взявшему Берлин. Он кропотливо собирал библиотечку военных мемуаров, читал только их, а художественную литературу считал выдумкой, не стоящей внимания. И Алевтина Ивановна твердо верила: уж он-то знает, как и о чем следует выступить, и напишет все, что полагается.



Но сегодня он что-то задерживался, ее Петр Николаевич. Алевтина Ивановна переделала все домашние дела, отправила дочку погулять, дождалась, когда она вернется, выслушала очередные секреты и усадила за уроки, а мужа все не было. Она мыкалась по квартире, пыталась написать письмо сыну, но дальше слов: «Здравствуй, дорогой сыночек!» — так ничего и не написала. И снова бродила, то вдруг хватаясь за очередное женское занятие, то вновь бросая его.

Следует сказать, что Алевтина Ивановна твердо считала себя очень счастливой женщиной. Настолько счастливой, что подчас ужасалась, оценивая размеры собственного женского счастья и не ощущая за собой ровно ничего необыкновенного: ни красоты, ни утонченного обаяния, ни больших знаний, ни каких бы то ни было талантов. Порой ей становилось отчаянно страшно за свое счастье, но то был добрый страх: он не пугал, а лишь как бы увеличивал цену того, что у нее дружная семья, любящий муж, хорошие дети, работа и уважение окружающих. И она всю жизнь старалась изо всех сил и дома, в семье, и на работе. Старалась оправдать и эту любовь, и эту дружбу, и это уважение. И однажды, допустив ошибку в какой-то особо важной бумаге, терзалась так, что чуть не угодила в больницу. И люди давно привыкли и к ее старательности, и к ее безотказности.

— Бригаду в колхоз? Поручите Кониковой.

Коникова ехала без всяких разговоров, и никто не сомневался, что порученные ей девчонки-ткачихи, оторванные от привычного труда на очередной картофельный аврал, сделают все точно и в срок. Сделают не потому, что Алевтина Ивановна проймет их юное легкомыслие какими-то особыми словами, а потому, что сама не уйдет с поля, пока задание не будет выполнено. Дотемна так дотемна, до ночи так до ночи.

— Поручите Кониковой. Коникова не подведет.

Коникова никогда не подводила, а вот завтра могла подвести. Она чувствовала, что могла, не знала, что следует предпринять во избежание этого позора, и все сегодня валилось у нее из рук. И ждала она своего Петра Николаевича как спасения.

Петр Николаевич пришел поздно: дочь уже спала, а по телевизору кончились передачи. Пришел усталый и хмурый, долго мылся в ванной, громко и сердито фыркал. Это было особое его фыркание, и Алевтина Ивановна знала, что спрашивать о причинах плохого настроения, а тем паче высказывать какие-либо свои неприятности не следует. Следует ждать, когда сам заговорит: мужчина был с норовом.

Заговорил Петр Николаевич, закурив после ужина. Курил он только на кухне, обязательно открывая форточку: берег некурящих. А в этот вечер про форточку забыл, и Алевтина Ивановна открыла ее сама.

— Видишь, до чего довели? — с укором сказал он. — А все — главный. Я ему говорю, что обрывов не избежать: станки изношены, люфты уж никакими прокладками не выберешь. Я сегодня полторы смены без обеда ковырялся, аж внутри все дрожит. Тут не только про форточку забудешь, тут дом родной не найдешь.

— Сделал? — спросила она.

Спросила нарочно: знала, что все он распрекрасно отладил, проверил и проследил, как работает. Ее Петр Николаевич был редчайшим мастером-наладчиком, надеждой руководства, «доктором», как его называли в цехах. И спрашивала она только для того, чтобы он улыбнулся и чуточку похвастался.

— Спрашиваешь! — Он действительно улыбнулся. — Дело знаем, не волнуйтесь. В лучшем виде, как говорится: не зря фабричный хлеб едим.

Теперь, когда он пришел в свое обычное дружелюбно-улыбчивое состояние, можно было рассказывать о своих заботах. И Алевтина Ивановна, волнуясь и говоря поэтому массу лишних слов, поведала о посещении комсорга и о своем предстоящем выступлении во Дворце культуры.

— Дело серьезное, — сказал муж, и Алевтина Ивановна увидела знакомую складочку меж строго сдвинутых бровей. И обрадовалась.

Складочка эта — а его лицо она знала куда лучше, чем он сам, — так вот, эта особая мужская складочка появлялась тогда, когда мастеровой человек, наладчик высочайшего класса Петр Николаевич Конилов всерьез, так сказать, на полную мощность включался в иную, непрофессиональную сферу деятельности. С этой складочкой он читал мемуары советских полководцев, старательно разбираясь в стратегических планах кампаний; с этой складочкой долго и мучительно писал брошюру о наладке станков, а также свои собственные выступления, потому что тоже был ветераном и даже почетным членом одной пионерской дружины. Теперь эта складочка возникла из-за нее, и Алевтине Ивановне стало не просто тепло на душе, но и покойно.

— Вот и о тебе вспомнили, — улыбнулся он, проходя в комнату.

— Ох, Петя, не надо бы всего этого, — вздохнула она. — И чего им нас-то вспоминать, какие мы солдаты?

— Все правильно,— строго сказал муж.— На войне у каждого — свое дело, не все же из винтовок лупили.

Петр Николаевич неторопливо надел очки и прошел к заветной полке, где любовно были собраны дорогие его сердцу книги. Ласково провел ладонью по суперобложкам, подумал, припоминая. И не припомнил.

— Кто у тебя командующим-то был?

— Техник-лейтенант Фомушкин.

— Ну, какой там Фомушкин! — усмехнулся муж.— Я тебя серьезно спрашиваю, а Фомушкин твой — это, знаешь, для домашнего употребления. Ты же выступать будешь перед массами. Перед комсомолом, звонкой нашей сменой. Какое им дело до твоего техника? Тут масштаб нужен! Толбухин, точно?

Она кивнула немного расстроено и тут же улыбнулась, чтобы скрыть это расстройство. Но Петр Николаевич на нее уже не глядел, а отбирал с полки то, что имело касательство к Четвертому Украинскому фронту.

А расстроилась Алевтина Ивановна из-за его пренебрежительного отношения к ее «командующему», технику-лейтенанту Фомушкину. Расстроилась, потому что сразу вспомнила этого Фомушкина, когда-то наглухо засыпанного в окопе и откопанного благодаря великой фронтовой случайности. После этой контузии у него непроизвольно дергалась голова и при малейшем волнении дрожали руки. Все девочки отряда знали об этом и изо всех сил старались уберечь своего «командующего» от неприятностей. Не потому что жалели — на войне этого чувства ни у кого долго не хватает,— а потому, что техник-лейтенант был в два раза старше любой из своих подчиненных и всегда упорно твердил одно:

— Вы, девочки, мне все говорите, все свои секреты. У меня дочке двадцать лет, и я все про вашего брата знаю. Требую не стесняться.

Но они все-таки были девочками, стеснялись, мучились из-за этого и болели, и руки техника-лейтенанта Фомушкина дрожали все сильнее и сильнее.

— Какую основную стратегическую задачу решал Четвертый Украинский фронт под командованием Маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина? — опять сдвинув брови, начал муж, и Алевтина Ивановна тотчас же постаралась изгнать из своей памяти дрожащие, как у старика, руки своего командира.— Ну, первый этап войны мы отложим: ты ведь в сорок третьем на фронт пришла?

— В сорок третьем. В апреле.

— Значит, главное — второй этап,— важно сказал Петр

Николаевич.— Он и вообще важнее, и ты — прямая участница. А второй этап — это интернациональная помощь поработенным фашизмом странам. Освобождение Румынии, братской Болгарии и боевое взаимодействие с югославскими партизанами. Ты где войну закончила? В Белграде? Значит, сходится, этим и завершишь. Про освободительную миссию, поняла? Завтра проштудируешь.— Он уважительно погладил стопочку отложенных книг.— Тут я тебе материал подготовил. Не какая-нибудь там художественная литература: мемуары! Вот на них и опирайся.

— А про себя?

— Что про себя? — не понял Петр Николаевич.

— Про себя рассказывать велели.

— Это как белье стирать? — усмехнулся он.— Стирать они и без тебя умеют.— Но, чтоб сгладить слишком уж явную насмешку, добавил серьезно: — Про себя, Аля, рассказывать нам ни к чему, это никому не интересно. Важно в масштабе вопрос поставить. Миссию подчеркнуть важно, понимаешь?

Алевтина Ивановна покивала, соглашаясь. Она верила мужу: он и выступал часто, и знал больше, и читал книги. А сама Алевтина Ивановна, относясь к литературе с великим уважением, читала редко и мало, чаще обходясь телевизором да семейными походами в кинотеатр «Ткачиха». И времени на чтение у нее не хватало, да и потребности особой она не испытывала. Книга требовала сосредоточенности и времени, а телевизор можно было смотреть, штопая дочке колготки.

Но следующий день ей дали не для отдыха и не для домашних дел, а для работы, для того, чтобы она готовилась. Это было сродни привычным поручениям, вроде картошки, родительских собраний или занятий с молодыми ткачихами в кружке художественной вышивки, которой она очень увлекалась. Да и Петр Николаевич советовал ознакомиться с мемуарами, и поэтому она, проводив мужа на работу, а дочку в школу, не стала дописывать начатое письмо служившему в армии сыну, а, разыскав чистую дочкину тетрадь, села к столу и начала читать отложенные мужем книги.

Она читала очень старательно, хотела понять и запомнить, выписывая для этого целые абзацы в тетрадку. Это был нелегкий труд, но она бы справилась с ним — она и не с такими трудностями справлялась,— она бы справилась, если бы не все растущее в ней несогласие с тем, о чем говорилось в книгах.

Там рассказывали о коварных замыслах противника и

о хитроумных контрпланах наших штабов. О разведанных и передислокации войск, об удобстве рокадных дорог и значении танковых соединений при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника, о транспорте и снабжении, о донесениях снизу и о докладах наверх, о политике союзников на Балканах и об использовании личного резерва командующего фронтом в критические моменты гигантских сражений.

Это была какая-то иная, не ее война. Алевтина Ивановна вспомнила усталость, от которой тошнило во сне, вшей на мертвых и на живых, тяжкий запах переполненных братских могил, вспомнила обугленных танкистов в сгоревших танках, двадцатилетних лейтенантов с седыми прядями в аккуратных прическах, надсадный вой пикирующих бомбардировщиков и искалеченные молодые тела — мужские и женские. Изодранные осколками, пробитые пулями, исколотые штыками, изрезанные кинжалами. И еще — своего «командующего»: сорокалетнего техника-лейтенанта с дергающейся головой и дрожащими, как у старика, руками. «Только вы не стесняйтесь, девочки, все мне говорите. Вы же тяжести таскаете и в сырости все время, в пару. Если болезни какие, не скрывайте, очень прошу. Боюсь, покалечитесь — рожать не сможете».

Алевтина Ивановна всю войну прошла бойцом банно-прачечного отряда, а попросту говоря — прачкой. Двести пар заскорузлого от крови и пота обмундирования и горы окровавленных бинтов ждали их на каждом рассвете войны. Двести пар были нормой, а бинты шли сверх всякой нормы и в первую очередь, потому что их не хватало. И с рассвета и дотемна бойцы банно-прачечного отряда гнулись над корытами и кипящими баками. В пару не видны были ни руки, ни лица, и это было хорошо, потому что заодно не видно было и слез, капавших прямо в мыльную пену, прожигая в ней дорожки до самого кипятка. И только техник-лейтенант Фомушкин знал об этих слезах. И вздыхал.

— В войну соль дорожает, а слезы дешевеют. Вот какие дела, девочки.

От кипятка и ядовитого, пронзительно вонючего мыла трескалась и уже не заживала кожа. Ее разъедало горячей пеной, и девушки всегда старались прятать от мужских глаз свои красные, распухшие, покрытые язвами руки.

А потом как-то незаметно, исподволь стали исчезать и ногти. И стирать стало не просто больно, но и страшно: а вдруг они, эти ногти, так и не вырастут никогда! И девушки очень расстраивались и плакали теперь не только

от боли и усталости, но и от страха. Вернуться с фронта с лапами вместо рук: что это за женщина без ногтей? И опять Фомушкин обо всем догадался, ничего не сказал, а утром на лошади привез военврача. Она посмотрела:

— Все у вас вырастет, не бойтесь, девочки. Все хорошо будет, только бы война эта проклятая кончилась поскорее.

А врача — непрерывно курившую суровую женщину — через неделю технику-лейтенанту пришлось потревожить снова: у двух девочек вдруг нарушения обнаружили. Сначала внимания не обратили, а потом то же самое еще с несколькими произошло, и тогда уж струсили по-настоящему. Без ногтей вернуться — это хоть и некрасиво, да куда ни шло: война и не такое с людьми делает. Но вернуться не женщинами, а неизвестно кем, средним родом каким-то, замуж не выйти, детей не иметь — это уж было совсем невозможно. А к тому шло.

— Баки очень тяжелые, — сказала военврач. — Нельзя вам такие тяжести поднимать, девочки милые.

— Так, — сказал Фомушкин, и руки у него задрожали. — Не стирать, пока не вернусь. Приказываю.

Залез было с докторшей на подводу, но спрыгнул. Выволол баки, достал старый наган и лично прострелил днища. Всем шести бакам. Пошвырял дырявые на подводу и отбыл.

К вечеру только вернулся. Дергался больше прежнего, но привез другие бачки. Поменьше калибром, девять штук.

Вот после этого и ходил он за девичьими согнутыми спинами и молил как дочерей:

— Не стесняйтесь вы меня, девчата, правду говорите, ради Христа. Не прощу себе, если покалечитесь.

Алевтина Ивановна давно уже не видела строчек в лежавшей перед нею книге. Обваренные паром лица, распухшие руки да красная от крови мыльная пена, в которой отмокало поступавшее из медсанбатов обмундирование, все настойчивее, все четче и яснее возвращались из далекого далека, из того далека, что у всех поколений всегда бывает самым звонким, самым свободным и самым прекрасным, за что и называется юностью.

Прибежала из школы дочь, что-то болтала об уроках, о подружках, об этом длинном дураке Сережке, но Алевтина Ивановна, поддакивая, не слушала ее. А отправив гулять, снова села за стол, за раскрытую книгу, снова честно пыталась читать, и снова строчки плыли перед глазами...

— Девочки, еще бинтов двадцать два мешка привезли. Это срочно, девочки: в медсанбатах перевязывать нечем, — сказала младший сержант Самойленко.

Двадцать два часа тогда за корытами и простояли, два-

дцать два — почти сутки. И ели тут же, среди щелока и мыла, в едком пару, сидя на грудях бинтов, ломких от крови и гноя. Ели медленно и молча, как старушки, ложки качались в руках, а жевать не было сил: глотали нежеванное. И падали на эти же бинты, теряя сознание или засыпая на десять минут, снова вставали и снова склонялись над корытами. И казалось, что нет уже никаких сил и никаких желаний: только спать, спать, спать.

Но одно желание было всегда — желание нравиться, и мечта, что когда-нибудь и для них придет оно, девичье счастье, в скрипящих сапогах, с таким знакомым, таким привычным запахом пороха, пота и крови. Придет — они молились за это счастье, они верили в него и ждали его как награду за труд, за страх, за боль и за то еще, что, несмотря ни на что, вопреки всему на свете, они оставались тем, кем были: женщинами.

Именно об этом ей особенно хотелось рассказать молодым ткачихам. Ей казалось, что эти молодые девчонки не выдерживают первых испытаний, что слишком многое прощают, слишком легко подчиняются, слишком суетятся, спешат жить, хватая и отдавая по кусочкам то, что отдают и получают целиком, торжественно и серьезно. Очень хотела рассказать, как назло всему тогда на войне женщины старались быть женственными, как ночами, с ног валясь, перешивали солдатские гимнастерки; как единственное зеркало — большое, правда, случайно доставшееся — от бомбежек берегли, укутывая одеялами да еще и сверху ложась; как руки от мужчин прятали, чтоб не коснулись ненароком те мужчины их распухших, шершавых, изъязвленных лап, как...

Алевтина Ивановна улыбнулась и смахнула слезу, вспомнив дружное девичье отчаяние, когда им вместо чулок выдали трикотажные офицерские кальсоны. Все было забыто перед этой чудовищной несправедливостью, перед этим официальным отрицанием их женского естества. Ревели и бунтовали и хотели даже делегацию к самому высокому начальству посылать, да Леночка Агафонова выручила. Живая девочка была, выдумщица и хохотушка; убило ее потом. Весной сорок пятого.

Пока они там спорили, возмущались, кричали и плакали, Лена деловито надела кальсоны, походила перед бесценным зеркалом, разглядывая себя со всех сторон, что-то подтянула, подобрала, прикинула и крикнула торжествующе:

— Рейтузики!

Тут же переделала верх, вставила резинку, снизу штрипки пришила, чтобы кальсоны, как чулки, натянуты были,

лишнее вдоль всей ноги в аккуратные швы подобрала, и вышло то, что надо. Да еще и со швом, очень модным в те времена.

— Вот, девочки, смотрите.— Прошлась, затянутая, как гусар.— Красота! Даже сапоги надевать не хочется. Эх, туфельки бы сейчас! Хоть самые заваливающие...

— А цвет?

— А лук на что?

Выварили в луковой кожуре, надели — даже гордые связистки обзавидовались. Им, связисткам, чулочки с пояском выдавали, как положено, только этот пояс с резинками на казенном языке вещевого довольствия назывался очень уж некрасиво и неделикатно: «пояс-держатель». Армия точность любит.

Вот так они тогда колготки изобрели — эту непременно принадлежность каждой сегодняшней девчонки. Так что и радости и открытия тоже были, не только пот, кровь да слезы.

Да, были и радости. Правда, мало, не для всех, зато за других радоваться умели. От всей души. И чужую радость берегли и гордились ею, как своей собственной. А может, и больше.

— Девчонки, влюбилась я, кажется...— сказала самая младшая и тихая, Лидочка Паньшина, когда спать вповалку укладывались.

Сразу трескотня утихла. Кто лежал — из-под одеял вынырнул, кто раздевался — раздеваться перестал: все на Лиду смотрели.

— Кажется? Или влюбилась? — строго спросила младший сержант Самойленко.

— Ой, не знаю. Ничего не знаю, девочки.

Лидочка сидела на нарах в бязевой солдатской рубаше, глядела в пространство, как в завтрашний день, и улыбалась.

— Это уж не кажется, а вполне точно, — вздохнула Лена.— Кто он?

— Лейтенант. Мост разминировать, что немцы взорвать не успели.

— Сапер, значит, — сказала Самойленко.— Ясно. Завтра чтоб здесь был. Предъявишь, а там решим. Спать! Спать без разговоров, в пять — подъем, в пять тридцать — свидание с корытами! Все!

Лейтенант был молод: мальчишеская шея по-гусиному торчала из гимнастерки. Вырвался всего на полчаса, смущался, робел и очень старался помочь. Помочь, а не поправиться.



— Годится,— сказала Лена.— Крути роман, подружка!  
— Он меня в девять на берегу ждать будет,— замирая от счастья, сказала Лида.

— Никаких романов и никаких берегов,— отрезала Самойленко.— По внешнему виду замечаний не имеем, а внутренний еще надо выяснить. Приведешь на беседу.

— Ой, Тоня...

— Не Тоня, а младший сержант! — одернула Самойленко.— Беседовать буду я, комсорг и...— Она подумала: — И Фомушкин, если сочтет нужным.

Лида немного поплакала, но лейтенант явился как штык. И предстал перед техником-лейтенантом Фомушкиным, младшим сержантом Самойленко и комсоргом, которую тогда звали Алей, а ныне — Алевтиной Ивановной.

Лейтенант стоял перед высокими собеседователями с полной серьезностью и готовностью отвечать. Лиду подружки увели на берег, где пугали примерами мужского коварства. Для профилактики.

— Тут такое дело,— начал Фомушкин, листая потрепанную тетрадку, чтобы не было заметно, как дрожат руки.— Тут, понимаешь, армия, у бойца ни мамы нету, ни батьки— только мы, его товарищи.

— Я понимаю,— сказал лейтенант.

— А боец — девушка,— продолжал Фомушкин.— А девушке ошибаться нельзя, она за свою ошибку всю жизнь расплачиваться будет. Вот ты — сапер?

— Сапер.

— Нельзя тебе ошибаться?

— Нельзя.

— Вот и ей тоже,— с торжеством отметил Фомушкин.— Значит, вам двоим ошибаться никак нельзя.

— Нет,— улыбнулся лейтенант.— А мы и не ошибаемся.

— Уверен? — Самойленко строго сдвинула брови.

— Уверен,— кивнул лейтенант.

— Тогда доложи, кто ты есть по мирному состоянию, где родители и как думаешь жизнь строить,— строго сказал техник-лейтенант Фомушкин.

Все доложил тогда лейтенант: и что мать — учительница в Москве, и что отец в ополчении в сорок первом погиб, и адрес домашний (его Фомушкин аккуратно в тетрадку занес), и как думал жизнь строить. А думал он завтра же подать командованию рапорт с просьбой разрешить ему жениться, поскольку согласие от невесты уже имелось.

— Рапорт мне покажешь,— сказал Фомушкин и протянул руку.— Ну, как говорится, поздравляю, и беги-ка ты

сейчас к бойцу Лидии Панышиной. Она тебя, паренек, поди, заждалась.

— Увольнение ей до подъема, — подобрев, объявила Самойленко. — Целуйтесь на полную катушку за всех за нас!

— Поздравляю, — сказала тогда Алевтина Ивановна. — Лидочка наша — замечательная комсомолка, вот увидите.

— Спасибо, — говорил лейтенант. — Большое спасибо.

Он вышел очень счастливый, но получил невесту не сразу, потому что красную от счастья и смущения Лидочку одевали всем отрядом.

— Юбочка сидит отлично.

— Пройдись, Лидочка.

— Стоп, стоп, стоп! Надень мои сапоги. У твоих голенища широкие: некрасиво.

— Гимнастерку надо на вытачках подобрать.

— Это зачем же?

— Чтоб грудь смотрелась.

— Это в темноте-то?

— Ну, все равно лучше, когда она подчеркнута.

— Думаешь, он смотреть собирается?

— Не думаю, конечно, но сначала должен полюбоваться.

— Нет, я знаю, что нужно! — закричала вдруг Лена. — Знаю, знаю, дура я несчастная, что раньше не сообразила!

И достала прекрасную, как сон, шелковую комбинацию. И шла по рукам эта комбинация, и девушки нежно гладили ее и передавали дальше: невесте.

— Что ты! Что ты! — испугалась Лида. — Это же такое чудо, это же тебе самой нужно, это же взять невозможно, Леночка!

— Надевай, говорю!

— Зачем? Ну, зачем же...

— А затем, что расстегнет он тебя...

— Ни за что, — твердо сказала Лида, и все заулыбались.

— Ну, сама расстегнешься, — усмехнулась Лена. — Надевай, а то силой наденем.

— Пошла я, — сказала Лида, одетая, причесанная и придирчиво осмотренная со всех сторон.

— Иди, — сказала младший лейтенант Самойленко и поцеловала бойца. — Заждался твой-то: четвертую папиросу курит.

— Пошла я, — тихо повторила Лида, топчась в дверях. — Пошла. — Вдруг повернулась к ним, всплеснула руками: — Помирать буду, день этот вспомню, сестрички вы мои!..

С плачем выбежала, и все примолкли. Молча улыбались, молча слезы смахивали, молча постели стелили.

— Завтра ей до обеда — спать, — сказала Самойленко. — Значит, норму ее на всех разделим, по справедливости.

А лейтенант все-таки ошибся, и через три дня разнесло его на куски незамеченным фугасом. Лида Паньшина отвоевалась, но замуж так и не вышла: то ли сапера своего забыть не смогла, то ли другие девушки за это время подросли — помоложе и покрасивее...

Петр Николаевич на полчаса раньше с работы прибежал: волновался за нее. Заглянул в комнату:

— Простудировала?

Алевтина Ивановна с трудом вырвалась из прошлого, из повыбитой и окровавленной юности своей, улыгнулась:

— Простудировала.

— Планчик составила или в голове держать думаешь?

— В голове, — сказала она. — Не выскочит.

— Значит, так начнешь: «Выполняя свой священный долг, победоносная Советская Армия...»

— Нет, Петя, я не так начну, — вздохнула Алевтина Ивановна. — Я совсем по-другому начну, я уже все вспомнила.

— Да? — озадаченно переспросил он. — Ну, гляди, мать.

Пообедали. Потом Алевтина Ивановна переделалась в самое нарядное платье, что надевала три раза в год по самым великим праздникам. Завязала мужу галстук — он так и не научился завязывать его, зато ремнем, если случилось, даже во сне затянуться мог на самую последнюю дырочку, — и они торжественно, под руку пошли во Дворец культуры. Принаряженные ткачихи спешили со всех сторон: замужние — непременно с мужьями под ручку, а незамужние — стайками, и стаяк тех было куда больше.

Между колонн Дворца культуры висел большой щит, на котором художник очень красиво написал, что сегодня в 19.00 ветеран Великой Отечественной войны Алевтина Ивановна Коникина поделится своими фронтовыми воспоминаниями.

— Волнуешься? — спросил муж, прижав ее локоть.

— Волнуюсь, — шепнула она. — Но ты не беспокойся.

Она знала, о чем будет рассказывать. О сорокалетнем старике Фомушкине, который и по долгу и по совести считал их дочерьми; о неунывающей хохотушке Леночке Агафоновой, навеки оставшейся в югославской земле; о суровом и справедливом младшем сержанте Самойленко, вырастившей трех сирот на крохотную зарплату управдома; о Лиде Паньшиной, которой до сих пор снится разорванный на куски саперный лейтенант, и еще о многих-многих ровесницах тех, кто будет сидеть перед нею в светлом и просторном зале.

И она увидела этот зал со сцены. Огромный зал, переполненный веселыми, нарядными, красивыми девчонками. Увидела их свежие, никогда не знавшие голода и страха лица, их улыбки, наряды, сверхмодные прически. Увидела в президиуме директора и секретаря партбюро — они что-то говорили ей и долго жали руку. Увидела торжественных, со всеми орденами фронтовиков — увидела все разом, вдруг. С трудом расслышала собственную фамилию и пошла к трибуне сквозь аплодисменты, как сквозь туман. Встала в тесном трибунном загончике, погладила ладонями отполированные локтями предыдущих ораторов дубовые панели и, с ужасом понимая, что она так и не сможет сказать того, о чем думала, о чем плакала и что вспоминала, вдруг отчаянно выкрикнула в переполненный зал:

— Выполняя свой священный долг, победоносная Советская Армия, сломив ожесточенное сопротивление озверелого врага, вступила в поработленную фашизмом Европу...

1976

## «МИР ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК»

На встрече в одном из подмосковных городов мне передали письмо. Я привожу его без сокращений, лишь по вполне понятным причинам изменив имена и опустив начало.

«...Совсем недавно умерла моя старая учительница Анна Георгиевна Третьяшова. Она уже плохо ходила, а последнее время стала быстро слепнуть, но все равно каждый год 9 Мая самой ранней электричкой приезжала в Москву и весь день проводила в парке имени Горького. Под вечер перебиралась в Александровский сад, кланялась Вечному огню, клала цветы на мрамор и возвращалась домой. Если вам случалось бывать 9 Мая в этих местах, вы непременно видели мою Анну Георгиевну: с палочкой и самодельным плакатиком: «ИЩУ СЫНА». Там еще была поблекшая за эти годы фотография лейтенанта Юрия Третьяшова: в мае сорок пятого ему не хватило четырех месяцев до девятнадцати.

А мне исполнилось семнадцать, и я была в него влюблена. Так мне всегда казалось, потому что он любил мою сестру Лиду, с которой учился в одном классе, но Лида его совершенно не любила, и в военкомат в конце сорок третьего провожала его я. Так, повторяю, мне тогда казалось, но потом стало ясно, что я и вправду люблю его, одного его, Юру Третьяшова, люблю всю жизнь, все эти сорок лет, и считаю его отцом своего ребенка. И сын мой Юрий Юрьевич тоже так считает.

Извините, что пишу сумбурно и непонятно, но в жизни моей оказалось столько невольной лжи и вольного самобмана, что все перепуталось, и никак мне не понять, где главное, где второстепенное, с чего начинать и как все вам объяснить. Все кружится передо мною, сорокалетняя давность перехлестывается с современностью, прошлое пересекает настоящее, и мертвые становятся отцами наших

сыновой. Все — так и все совершенно не так, все правда и все совершеннейшая выдумка, и уж лучше я буду рассказывать так, как рассказывается, а то запутаюсь и никогда не смогу закончить этого письма.

Юра пошел в армию добровольцем из десятого класса, как только ему исполнилось семнадцать. Его сначала братья не хотели, требовали, чтобы он получил среднее образование, но он был очень настойчивым и в конце концов добился, чтобы его послали в военное училище. При военкомате как раз команда собиралась, все были из госпиталей, все не на год или там два, а на целый фронт старше Юры, все — в форме, один он — в пальто да кепке, и поэтому над ним начали подшучивать. Конечно, совершенно добродушно, по-свойски — знаете, как мальчишки подсмеиваются? — но Юра был исключительно самолюбивым и поэтому стал краснеть и сердиться. А тут еще я рядом.

Но сначала я объясню, как получилось, что влюблен он был в мою сестру Лиду, а провожала его я. Я уже написала, что Лида Юру совершенно не любила, хотя он по ней буквально сходил с ума, и не только в школе — во всем нашем городке про это знали. Но Лида не пошла провожать Юру не из капризов своих — все-таки человек добровольцем уходит, — а потому, что как раз в тот день работала. Правда, я и тогда думала и теперь считаю, что она вполне могла отпроситься на час, чтобы проводить юношу, который в нее открыто влюблен, но Лида, как видно, не очень-то рвалась на эти проводы. У нас в том году — весной еще — отца убили, мама совсем без всякой профессии, а тут так повезло, что Лиду взяли судомойкой в горисполкомовскую столовую, и она местом таким, конечно, дорожила, но там сразу бы ее отпустили, если бы она хоть намекнула. Отпустили бы в секунду, но она промолчала. Она очень красивая была, самая, наверно, красивая во всем нашем городе и очень даже хорошо знала об этом. А Юрина мама Анна Георгиевна от его решения идти добровольцем совершенно с ног свалилась, но Юру это уже не могло остановить. Юра был очень принципиальным человеком и настоящим мужчиной — я думаю, он весь был в своего отца, которого я никогда не видела, потому что Анна Георгиевна жила без мужа, и Юра был ее единственным ребенком.

Придется мне немного и о себе рассказать, чтобы была ясность. Теперь девочки растут и зреют куда быстрее, чем мы, но в сорок третьем мне ведь было всего пятнадцать, да еще два военных года отнимите: чему уж там зреть. Я нескладеха была, худая, длиннорукая да длинноногая,

еще даже на девчонку не тянула, так, переросток, кузнечик какой-то, если бы не коса. Но и коса-то у меня в тот день была под маминым платком, пальтишко коротенькое, чулки в резинку — детские такие чулочки, знаете? — и мальчиковые ботинки на два номера больше: мне их школа бесплатно выдала, когда мой папа погиб. То есть страшила, если уж честно, и эта страшила за Юрой увязалась, потому что очень осуждала свою красивую сестру за черствость и еще потому, что ей в отместку, что ли, считала, что я сама в Юру безумно влюблена на всю жизнь. И потопала, а он очень переживал и огорчался, что Лида не пошла, и меня стеснялся, и вообще ему было не по себе. Он какой-то напряженный был, нахмуренный, и когда фронтовики над ним, школьником, посмеиваться начали, он весь покраснел и брови сдвинул. А тут какой-то шутник возьми да крикни: «Это что же, любовь твоя, защитник Родины?» И он сказал вдруг — громко, ясно так сказал: «Невеста». Поцеловал меня при всех куда-то в платок, добавил: «Маму береги», — и ушел, не оглянувшись. И ворота за ним закрыли.

А я заревела. Да как еще: в голос, в крик, как взрослые бабы по мужьям кричат. Не слезы, не рыдания — вой бабий из меня тогда вдруг вырвался и, как я теперь думаю, всю жизнь мою определил. Женщины какие-то мимо шли, подхватили: «Ты что, девочка?» А я им: «Юра, — говорю, — Юрочка мой ушел!» «Брата, значит, провожала?» «Нет, — трясусь вся, слезами исхожу. — Мужа».

Вот как я замуж-то вышла. Посреди улицы. Сама себя вдруг женой ощутила, без всяких слов поклялась, что ждать его буду и что нет и не может быть у меня никого другого, кроме него.

Через год я и школу оставила. У мамы сердце совсем сдавать стало, Лида замуж вышла и в Москву уехала, а я устроилась на почту. И была, наверно, самой маленькой письмоносицей во всем Советском Союзе. Не по возрасту, а по росту: с папиной гибели да маминой болезни я совершенно расти перестала. И сумка — раньше почтальонши с огромными сумками ходили, помните? — ниже коленок у меня волочилась.

Длинно пишу, да? Короче не получится, потому что тогда можно будет неправильно понять, тогда я даже сама себе не смогу объяснить, почему поступила так, как поступила.

Пятого мая, за четыре дня до победы, умерла моя мама. Я не знаю, как она умирала, я на работе была, а только лежала она, будто уснула, и я думаю, что не было у нее никаких мучений. На похороны Лида приехала с мужем —

представительный такой, в шляпе: тогда редко, чтоб в шляпе кто ходил. Все ладно было, проводили маму, как положено, даже помянули хорошо: Лида продуктов привезла и бутылку спирта. Соседки пришли, знакомые, Анна Георгиевна, Лида с мужем — мама, поди, и не гадала, что столько обеспокоит, она очень стеснительная была, скромная и тихая. Хорошо так помянули, душевно, ласково, и Анна Георгиевна все время меня уговаривала, чтобы я к ней жить переходила, пока Юра не вернется. А я ее слушала и сама все время помнила, как Юра сказал: «Маму береги». И несмотря на то, что поминки, что маму только-только схоронили, Анна Георгиевна свою радость никак скрыть не могла. Но и я на нее не обижалась, и все ее понимали, потому что хоронили мы мою маму восьмого мая, а лейтенант Юра Третьяшов был жив, цел и невредим.

Вы помните, что в тылу — я о Москве и Подмосковье говорю, на фронте или там в других местах, может, как-либо по-иному было, — а у нас в те дни радио гремело, песни, марши, рассказы о героях и героизме и снова — песни да марши. И все знали, что война вот-вот, ну не к этому утру, так к завтрашнему вечеру непременно кончится, потому что фактически уже кончилась, потому что Берлин пал, знамя над рейхстагом, Гитлер и другие мерзавцы потравились да разбежались, как крысы, наши на Эльбе с американцами встретились, и теперь, как у нас говорили, уже и не война, а так, гитлеровских недобитков доколачивают, и перекрестись тот, кто уцелел. И если уж правду говорить, то крестились матери и жены, что уберегла судьба их бесценных, их единственных, и учительница Анна Георгиевна на маминых поминках торжественно перекрестилась, и я, комсомолка, тоже: не за мамину память — я правду вам пишу, истину чистую, — а за Юру, потому что не за упокой мы тогда молили, а за здоровье, не за мертвых, а за живых, не за смерть, а за жизнь, потому что столько смертей повидали да оплакали, что не поверят те, кто не видал; я знаю, я людям не только треугольнички с фронта носила.

В тот день — ну, когда маму хоронили, восьмого мая, — Лида с мужем обратно в Москву уехала. А мы еще немного посидели, поговорили, потом прибрали все, и Анна Георгиевна сказала, чтобы я к ней ночевать шла: мол, что ты тут одна, девчонка, всю ночь реветь будешь, давай лучше ко мне. И я пошла сразу же. Будто подтолкнуло что меня.

Я уже сообщала, что в ту пору мне восемнадцатый год шел, и хоть вверх я немного подросла, а созреть-то созрела



и уже не детские вещи носила, а женские, хоть и самодельные или ушитые. Это я к тому, что когда Анна Георгиевна увидела меня перед тем, как мне под одеяло нырнуть, то удивилась и очень обрадовалась. И как я ни краснела, а заставила меня перед нею повертеться, радостно так засмеялась и сказала: «Вот Юрка-то наш удивится, правда? Уходил — была коза-дереза, придет — козочка с двумя рожками». И вертит меня и смеется, а я тоже смеюсь и плачу. И с горя и с радости, и от несчастья, и от счастья одновременно: и что маму потеряла и что победы дождалась. А потом из рук ее выскользнула и — под одеяло. Она поцеловала меня, сама легла на кровать (я на Юрином диванчике спала) и уснула, а я долго еще уснуть не могла. Взгляд ее почувствовала всем своим телом, представляете? Не просто женщины взгляд, не старшей — свекрови то взгляд был, понимаете? Она меня для сына приглядывала да разглядывала, и я все это поняла прекрасно, и все во мне бурлило от счастья и от горя — печаль с восторгом пополам. И я долго еще о Юре думала, о том, как мы встретимся с ним.

Не знаю, спала ли я в ту ночь или просто забылась, а только очнулась от крика. Очнувшись, ничего сперва понять не могла, испугалась даже, потому что очень уж кричали женщины. Одни женщины — и во всем доме, и во дворе, и во всем городке нашем, и во всей России — одно слово кричали: «Мир!..» И хоть слово это мужского рода, а «победа» — женского, про победу всегда мужчины кричат, а про мир всегда женщины рыдают, замечали? А тогда, в то майское утро, как-то особенно рыдали, кричали, волосы на себе рвали, плакали, смеялись, о землю бились — все было и все — вместе, все разом, и такого ликующего и рыдающего вопля не только я, девчонка, — сама Земля наша не слыхивала со дня сотворения своего.

И еще помню — все куда-то бежали. Кто на работу, кто к родным или знакомым, кто по дворам или по улицам, а только никто не хотел одиноким себя в тот великий день чувствовать, никто, ни одна душа, даже навсегда осиротевшая, потому что радость была общей, нашей, выстраданной, для всех радостью была, словно четыре года войны всех нас вместе в одной слезной купели окрестили, и вышли мы из нее родными сестрами навек.

Вот я жизнь прожила, уже на пенсии, сыну — за тридцать, две внучки, а такого, как тогда, 9 мая 1945 года, более не переживала. Каждый год и государственные праздники всей семьей отмечаем, и свои, семейные, а День Победы обязательно празднуем поторжественнее, что ли,

но все это праздники как праздники, как и положено им быть, праздникам. А тот день, единственный тот, он ведь и праздником-то не был, если подумать, он чем-то совсем иным для всех нас — для мужчин и женщин, для фронта и тыла, для всей страны, а, может, и вообще для всех людей, — иным он оказался. Нет, он, безусловно, никаким не был праздником, и даже само слово это к тому отсчетному дню никак не подходит, оно мельче его, проще, обыкновеннее. В тот день, если подумать, два события переплелись — конец войне, смертям, увечьям, горю и начало мира, надежд, жизни самой начало, той жизни, которой лишили нас фашисты 22 июня 1941 года. И мы не дату отмечали, что в календарях — красной цифрой, мы над войной рыдали и миру улыбались. Мертвых поминали, о живых радовались и все вместе — погибшие и уцелевшие, вдовы и сироты, мужчины и женщины — все-все, весь наш народ самый тяжелый, кровью, болью и слезами набухший лист собственной истории собственными перетруженными руками перевернул, чудом не надорвавшись. Чудом. Чудом устояли, чудом разгромили, чудом себя и других спасли, и тот день особым был, потому что каждый это чудо почувствовал, каждый ощутил его, каждый понял, что не Бог, не Вождь и даже не Герой, а он сам, лично он, гражданин Советского Союза, сотворил это Чудо. Мы все в тот великий день, все, весь народ были и великомучениками, и страстотерпцами, и чудотворцами одновременно: знала такое История за всю историю свою?!

Опять я отвлеклась, а все потому, что от самой себя — от той девчонки сорок пятого — убегаю. Боюсь вечера того 9 Мая, даже не вечера, а сумерек. Но я — по порядку, так легче.

Значит, разбудили меня крики те страшные, что никак у меня с победными кличами до сей поры не увязываются, и Анна Георгиевна.

Растрясла, крикнула: «Мир! Мир, девочка!..» — и побежала в школу. Я мигом оделась, выскочила следом, попала в первый день мира и помчалась по этому дню к своему отделению связи, потому что ночевала-то я не дома, а совсем в иной стороне, у Анны Георгиевны. Все кричали, плакали, целовали друг друга, и я летела из объятий в объятия, и вся зацелованная да зареванная к своим ввалилась. И там — слезы да крик, и никто никого не слушает, и не работает никто, только рыдающие телеграфистки три слова в телеграммах оставляют: «МИР ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК». А потом мы вообще свое отделение закрыли и пошли по улицам с песнями, смехом и плачем, и я, где

только могла, со стен таблички «БОМБОУБЕЖИЩЕ» ногтями срывала, и мы топтали эти таблички, плясали на них, только звон стоял со стоном пополам. Потом есть захотели, сперва решили у кого-нибудь собраться, но начальница лучше придумала: чтоб каждый захватил из дома, что может, и чтоб все — опять на работу, опять вместе, за одним столом.

Так и сделали. Я с поминок маминых остатки принесла, кто — картошки, кто — витаминный сироп, кто — постного масла, а старая почтальонша Мироновна — бидон самогонки: для сынов берегла, когда вернуться, да они не вернулись. И пили мы, и песни пели, и заходились от счастья и от рыданий тоже заходились, и на судьбу жаловались — как еще бабы празднуют? Запьянели немного, а Мироновна — она все сынов поминала — так и уснула в слезах. И начальница мне: «Посмотри, — говорит, — ее сумку, она и вчера писем не разносила, а все плакала». Залезла я в сумку Мироновны — там для корреспонденции карман специальный был, — вытащила письма, просматриваю, по адресам сортирую, чтобы разносить проще, и вдруг...

Вот написала «вдруг» и ручку бросила. Подумала, что все, ну, будто в художественной литературе, где без «вдруг» не обойдешься, а в жизни нашей этого самого «вдруг» подчас куда больше, чем в любом романе или кино. Вся наша жизнь — «вдруг»: ну, в самом деле, не назови меня Юра со злости невестой, не написала бы я вам этого письма, потому что и писать-то было бы не о чем. Ну и так далее, что об этом говорить, но мы почему-то подозрительно к случаям относимся и считаем, что все в мире закономерно, все предусмотрено и все заранее распланировано. А кто предусмотрел, чтобы в сумке загоревшей, одинокой, как только осиротевшая мать могла быть одинокой, Мироновны окажется письмо Анне Георгиевне с фронта? «От Юры!» — закричала я и, как стояла, так и рванулась в дверь. Бегу по сумеречному городу нашему, где еще песни недопели, вдовы да матери недоплакали, раненые из трофейных «вальтеров» не все пули в небо выпустили, а сердце мое так бьется, так несет меня, что я и ног не чувствую. Лечу над землей, письмо двумя руками к груди прижимаю и смеюсь во весь голос.

Не знаю, что было бы, если бы Анна Георгиевна дома оказалась. Но она еще не вернулась, и я, задохнувшись, села на ступеньку. Взяла письмо, что к груди прижимала всю дорогу, глянула и увидела, что написано оно совсем не Юриной рукой. И все тут во мне оборвалось, и боль — это только мы, женщины, знаем, какая боль вдруг внутри

нас возникает, будто бьют по нашим, по будущим детям нашим, которые и родиться-то, от нас отделиться еще не успели. Развернула я это письмо — оно ведь не запечатано, не в конверте, просто фронтовой треугольничек,— прочла первую фразу: «Дорогая Анна Георгиевна...», как все поплыло-поплыло. Сложила я письмо, затолкала кое-как в лифчик, к сердцу поближе, и пошла наверх. Пошла?.. Нет, поползла с болью своей, что рвала меня изнутри. Как вползла — не помню, кое-где и на коленках, а только никого я не встретила, и дверь на чердак оказалась открытой, и я забилась к самому дальнему слуховому окошку. И тогда достала письмо.

#### «ДОРОГАЯ АННА ГЕОРГИЕВНА!..»

Хотела полностью его переписать, да сын не разрешил. «Пиши,— говорит,— самую суть, мама, потому что не в том дело, как погиб мой отец, а в том, что для нас он не погиб и никогда не погибнет». А в письме его друзья-однополчане как раз-то и объясняли, что с Юрой случилось, потому что им — там, на фронте — всегда казалось, будто матерям легче станет, если они узнают, что не от бомбы их сыночек в землю лег, а от автоматной очереди. Но я все-таки расскажу самое главное, иначе не все понятным окажется.

Первого мая на рассвете Юрина часть вышла к небольшому немецкому городку, который сдался без боя, вывесив во всех окнах белые простыни, а во многих и красные флаги. Вот эти-то красные флаги 1 Мая очень всех удивили и даже растрогали. Городок тот совершенно от войны не пострадал, но при выезде из города на берегу озера стоял старинный замок каких-то немецких курфюрстов, что ли, в который угодила чья-то бомба — то ли наша, то ли американская, то ли германская,— но по странности и она не взорвалась. Проломила крышу, пробила верхние перекрытия и зависла над знаменитым Мраморным залом, которым гордились не только местные жители, но и вся Германия, а может, и вся Европа.

Обо всем этом нашим офицерам рассказал бургомистр — человек уже немолодой, двух сынов потерявший и кое-как говоривший по-русски, потому что еще в ту, в первую мировую к нам в плен вовремя угодил. И еще он сказал, что бомба эта проклятая неизвестно на чем там держится, каждое мгновение сорваться готова, и тогда может черт-те что натворить и даже взорваться. А вы учтите, что 1 Мая, что городок приветствует наших воинов, как освободителей от фашизма, что весна и победа, и молодые все, хмельные чуточку и от весны, и от победы, и от вина: праздник

ведь, немцы угощают, девушки улыбаются. И тогда Юра сказал, что замок этот есть памятник культуры, реликвия германского народа, и что нам пора об их будущем подумать. Его многие поддержали, сразу же добровольцы объявились, уговорили командира и прямо из-за стола отправились в тот замок вместе с бургомистром.

За ними многие увязались — и наши и местные жители, — но командир части в поврежденное здание разрешил войти только самым опытным добровольцам во главе с лейтенантом Юрой и, конечно, бургомистру. Проникли они туда, огляделись, поняли, как бомбу эту обязать и на веревках осторожно через пролом в крыше вытянуть, и полезли наверх. А бургомистр и Юра внизу остались, в том Мраморном зале: там по стенам портреты владельцев замка были развешаны, и бургомистр о них Юре рассказывал. И в этот момент взорвалась бомба. И убила одного-единственного человека — лейтенанта Юру Третьяшова.

Так было написано в письме. А на самом-то деле все случилось гораздо проще, гораздо легкомысленнее: мальчишки ведь очень рисковать да собой рисоваться любят, особенно когда на них полгорода смотрит во все девичьи глаза. Кто-то что-то недосмотрел, кто-то куда-то полез, кто-то где-то не подстраховал, а в результате бомба-то и с места не сдвинулась и уж тем более не взорвалась, а вот черепица с надломленного свода в бомбовой пролом рухнула вдруг, как обвал. В Мраморный зал, на мраморный пол и на лейтенанта Юрия Третьяшова: бургомистр всего лишь ушибами отделался, потому что чуть в стороне оказался.

Удивляетесь, откуда я все это знаю? Думаете, что сочиняю, выдумываю, а это все — слово в слово. Это все мне сам бургомистр господин Леберт Курт Фридрихович рассказывал. И в замок сводил, в Мраморный зал, где пол — сплошная мозаика из мраморов всех цветов и оттенков, очень красивый пол, реликвия германского народа. И на то место привел, где стоял Юра и где он упал. Это точно напротив третьего от входа окна — там до сей поры выщербинки на мраморе от черепиц: я их руками трогала, выщербинки эти.

А похоронили Юру в дворцовом парке со всеми воинскими почестями. Она и сейчас там, его могила, единственная могила советского воина во всем этом тихом, обойденном войной, средневековом каком-то городишке. Ну, а в письме друзья Юры чуть погероичнее смерть придумали. Вот чудачки: будто не все равно нам, раз уж нет его в живых, Юры нашего. Он ведь и для нас, и для однополчан,

и для бургомистра Курта Фридриховича, и для всех жителей за мир погиб. За мир для России и мир для Германии, ведь правда, ведь так же это и есть на самом деле?

Вот о чем письмо я прочитала на чердаке Юриного дома при свете редких ракет и прожекторов со станции: мы же не Москва, и салют у нас был не столичный. Ну, а об остальном вы догадались: я не отдала письма Анне Георгиевне, а все ее запросы и все ответы на эти запросы перехватывала или печатала на бланках: «Поиски вашего сына продолжают». И она до самой смерти верила, что Юра жив, что, может быть, — это так она мне часто объясняла — он память потерял или стесняется какого-нибудь увечья, искала его и ждала. Так мне тогда казалось и так я ее тогда понимала.

Жалко, что нет у нас памятника матери, которая ждет. Что, невозможно сделать? Или не подумали об этом? «Неизвестному солдату» есть, а «неизвестной матери» — нет. А кто его родил, вскормил да воспитал, нашего «неизвестного солдата»? Кто?

А теперь немного о том, о чем вы и догадаться не можете. Через несколько лет я на три года поехала на работу в ГДР по своей специальности почтового работника (я к тому времени техникум связи заочно окончила), а своим девчонкам в отделении связи наказала отвечать Анне Георгиевне так, как я все это время отвечала. Вот тогда-то я и побывала на Юриной могиле, в замке побывала, мрамор, на который Юра упал, руками огладила, с бургомистром Куртом Фридриховичем поговорила. А в свой городок к своей Анне Георгиевне — я с того дня с нею жила: двум сиротам, правда, не теплее, но как-то легче, — так вернулась я домой с ребеночком, с Юрочкой. С Юрием Юрьевичем, как он официально записан. И не начала бы я этого письма, если бы после смерти Анны Георгиевны не нашла бы в ее бумагах официальное извещение о гибели лейтенанта Юрия Сергеевича Третьяшова 1 мая 1945 года. Похоронку, как это тогда называлось.

Вы думаете, мать от горя как бы помешалась? Не в себе как бы? Нет, не было ничего этого: она меня берегла. Она хотела, чтобы я до конца дней своих верила, что Юра жив, чтобы ждала его, чтобы надеялась, чтобы смысла в жизни не потеряла. Я ее берегла сорок лет, а она — меня: вот как оно странно все получилось.

А вот плакатик «ИЩУ СЫНА» она уже не для меня придумала, а для моего сына, для Юрочки. Он всю жизнь ее бабушкой называл, а ее сына — папой, и она хотела, чтобы он тоже ждал его. Ждал и надеялся.

Показала я эту похоронку Юре, объяснила, почему она так поступала, наша Анна Георгиевна. Он нахмурился, вздохнул, ни слова не сказал мне, а достал плакатик: «ИЩУ СЫНА». Достал и переделал на «ИЩЕМ ОТЦА И ДЕДА». Только это и изменил и сказал: «В День Победы я с дочками пойду по всему бабушкиному маршруту». Заплакала: «Так какой же он тебе отец, Юра?». «Они всем нам отцы», — ответил.

Я почему вам написала про это? Не только потому, что я матери всю жизнь лгала, но и потому еще, что сыну я тоже лгала. Моему единственному Юрию Юрьевичу: он ведь совсем не мой сын. Я его в сиротском доме взяла. В том городке, где Юрина могила. У сирот ведь нет национальности, правда?»

## СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕТЯТ МОИ КОНИ. Повесть . . . . .	3
ИВАНОВ КАТЕР. Повесть . . . . .	81
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ. Повесть . . . . .	203
САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. Повесть . . . . .	299
ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ. Повесть . . . . .	373
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА. Повесть . . . . .	407
ПЯТНИЦА. Рассказ . . . . .	485
СТАРАЯ «ОЛИМПИА». Рассказ . . . . .	500
ВETERAN. Рассказ . . . . .	516
«МИР ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК». Рассказ . . . . .	530



## ***Борис Васильев***

Собрание сочинений в восьми томах

*Том 1*

Редактор *Г. Меркин*  
Художник *А. Макаренков*  
Технический редактор *Т. Андреева*  
Корректор *В. Шполянская*

Лицензия ЛР № 070781 от 9.12.92. Сдано в набор 29.11.93. Подписано к печати 7.02.94. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. п. л. 28,56. Бумага тип. № 2. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1954. Смоленская областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова. 214000, г. Смоленск, пр. им. Ю. Гагарина, 2.

## **СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА**

**В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ.** *Роман*  
**НЕ СТРЕЛЯЙТЕ БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ.** *Роман*  
**ПРАХ НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ...**  
*Роман в письмах и фактах*  
**КАЖЕТСЯ, СО МНОЙ ПОЙДУТ В РАЗВЕДКУ.**  
*Повесть*

## **СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ТОМА**

**ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА.** *Роман*  
**ЖИЛА-БЫЛА КЛАВОЧКА.** *Повесть*  
**КОРОТКАЯ РОКИРОВКА.** *Повесть*  
**КРАСНЫЕ ЖЕМЧУГА.** *Повесть*  
**РОСЛИК ПРОПАЛ.** *Повесть*  
**СУД ДА ДЕЛО.** *Повесть*  
**ПОТРОШИТЕЛЬ МАТРАСОВ.** *Повесть*

Фирма «РУСИЧ» предлагает военторгам и книготорговым предприятиям организацию подписки на собрание сочинений Б. Л. Васильева в 8 томах, в которые войдут широко известные произведения и новые исторические романы о России XII—XIII вв.

### **ФИРМА «РУСИЧ»:**

- издательство
- оптовая книжная торговля
- инвестирование перспективных программ.

Наш адрес: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, 7.  
Телефоны: 51-46-98, 51-43-87, 51-41-27.  
Факс 51-42-73.

### **ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРАСТ-ИМАКОМ»:**

**просветительская и художественная  
литература:**

Владимир Помещик. Поля проигранных сражений.

Повести и рассказы;

В. С. Баевский. Б. Пастернак — лирик;

Л. Чарская. Паж цесаревны. Историческая повесть;

В. Быков. Русская феня. Словарь асоциальных элементов;

Серия «Свидетельства о XX веке»:

Б. Васильев. «Люби Россию в непогоду...»

А. Борохов. Этюды врачевания. И не только.

Д. Будаев. Родом из детства.

Телефон: 3-03-01.

